

Н О В Ы Й  
М И Р

9

Н О В Ы Й  
М И Р

1976

9



1976



# НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 9

Август, 1976 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ — Вольная паташка, роман	3
ВЕНИАМИН БОГАТЫРЕВ — Перед рассветом, стихи	93
С. СЛАВИЧ — Лукьяныч, рассказ	96
ПАВЕЛ БОЦУ — Образ, стихи. Перевел с молдавского В. Солоухи:	122
ЛЕВ СЛАВИН — Арденские страсти, роман	126
НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА — Деревья, стихи	208

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА — Через реку	211
---------------------------------	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ — Возможности жанра	235
Е. ГОРБУНОВА — Горизонты малой прозы	239

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	252
В. В. Новиков. Не сглаживая противоречий.— Яков Хелемский. Северный фасад отечества.— Инна Соловьева. Знак равенства.— Вл. Гусев. Дух и архитектура «Собора».	

*Политика и наука* 264

И. Кошелева. «В единстве духовной жизни...» — Г. Резниченко. Об Америке и американцах.— Ю. Игрицкий. Тайное становится явным.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КОРОТКО О КНИГАХ: Л. Аннинский.— Елена Ржевская. Февраль — кри- вые дороги. Повести. ✦ Г. Петрова.— Вардгес Петросян. Армянские эскизы. Перевод с армянского. ✦ Дмитрий Ковалев.— Алексей Ре- шетов. Рябиновый сад. Стихи. ✦ Ксения Бродер.— Воспоминания о Константине Паустовском. Составитель Л. Левицкий. ✦ А. Панков.— Арк. Эльяшевич. Лиризм. Экспрессия. Гротеск. ✦ Г. Койранская.— Мастера Большого театра. Народные артисты СССР. ✦ Е. Немиров- ский.— Н. А. Рубакин. Избранное. В двух томах. ✦ Б. Розен.—Жак- Ив Кусто и Филипп Диоле. Затонувшие сокровища. ✦ И. Пешкин.— Евгений Моряков. Я в рабочие пошел...	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

---

---

---

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ

★

## ВОЛЬНАЯ НАТАСКА

*Роман*

1

Отец Верочки Воркуевой воевал. Чудом выжил после тяжелого ранения в живот. Порванный кишечник был укорочен в результате сложной, трехчасовой операции, остатки сшили, спрятали в брюшной полости, погрузили в кровотокающий теплый мрак и, уповая на молодые силы раненого, на счастье, на везение, оставили на животе бугристый кровавый шрам, идущий от левого подреберья к пупку и опять влево к паху. Шрам этот на веки вечные смял, исковеркал живот, поражая теперь грубостью своей и неестественностью: трудно было поверить, что седеющий и весь какой-то мягкий на вид, ласковый сероглазый человек мог когда-то вынести страшный удар раскаленного осколка, а потом не менее страшную и почти безнадежную в полевых условиях операцию, после которой он все-таки выжил, хотя и мало кто из «животников» вставал после такой раны.

Олег Петрович Воркуев, толстый Олежка, в детстве своем, отваливаясь от стола, как от высосанной груди, похлопывал себя по набитому кашей животу и, на радость бабушке, бездумно приговаривал услышанную от бабушки же нелепейшую чертовщинку: «Пузо лопнет — наплевать, под рубахой не видать».

В медсанбате, не теряя ни на секунду сознания, он с каким-то потусторонним удивлением и холодом вспомнил вдруг детскую эту приговорочку и, терпя жуткие муки, недвижимый и, можно сказать, обреченный, затвердил в своем сознании странным образом бодрящую его дикость.

Ему тогда шел двадцать четвертый год, а было это в конце зимы сорок третьего. Врачи говорили, что он остался в живых только лишь потому, что не ел двое суток до того страшного момента, когда рядом с ним разорвался снаряд, — был голоден и зол. Иначе косточки его давно бы уже почернели, скалясь под землей белозубой молодостью.

Теперь ему пятьдесят шесть: он называет себя стариком, у него растет внук, и он без ума от него, от этого нового, другого Олежки, названного так в честь деда, то есть в его честь. В нем он видит бессмертие свое, хотя в тайной этой надежде боится признаться даже самому себе.

Воркуев, как и все фронтовики, хлебнувшие окопного горя, особо чтит праздник Победы. Отец казался дочери смешным и нелепым, когда в День Победы надевал старенький свой китель, который и теперь ему впору, и торжественно нес на груди к Большому театру орден Отечественной войны, цветные колодки позвякивающих меда-



лей, среди которых одна была боевая — «За отвагу», и потускневшие, блеклые нашивки за ранения — две красные и одна желтая.

Мало кто теперь помнит, а молодые и вовсе не знают, эти немые вскрики былой боли, былого страха и надежд, тряпичные эти символы на груди изувеченных людей: желтая — кость, красная — кровь... Цвет жизни и короткой передышки или проклятья госпитальной полугодной жизни. И цвет костлявых объятий смерти, из которых вырвался человек.

Верочка Воркуева никогда, конечно, не посмела бы высказать свое недоумение: зачем все это?! Но ей, родившейся в сорок шестом, «папочка» казался в эти дни эдаким большим ребенком, забывавшим про свои годы. «Папочка, а может, ты наденешь просто костюм? Как бы твой китель не рассыпался от ветхости. Все ведь приходят в костюмах...» И чтобы он не обиделся, гладила его седеющие волосы, зная наперед, что «папочка» угрюмо отмолчится и весь день будет ходить в кителе, а вечером, когда соберутся его друзья, он выпьет и будет обязательно рассказывать о войне и своем ранении в живот...

Пьянел Воркуев быстро и недобро: у него набухали и краснели веки, кожа на лице дубела, он очень возбуждался, и в доме, когда уходили гости, наступала тревожная и бранчивая, с угрозами и слезами, проклятая бессонная ночь, после которой отец всегда каялся перед матерью — худенькой маленькой женщиной, никогда не попрекавшей мужа за редкие вспышки мутной страсти, за ту брань, после которой, казалось бы, надо немедленно, ни минуты не раздумывая уходить от мужчины, позволившего себе так распуститься, довести себя до пьяной истерики.

Но Анастасия Сергеевна Воркуева с распухшими от слез глазами утром с грустью смотрела на мужа, гладила его и с состраданием спрашивала: «Ты хоть помнишь, что ты мне говорил? Как ты обзывал меня? Ты помнишь, ты говорил мне, что я тебе загубила жизнь, что я безлика и глупа, как кафельная плитка... Ты хоть помнишь? И все это при дочери...»

«Я подлец,— соглашался с ней измученный, больной Воркуев.— Я ничтожество, подонок... Но, Настенька, милая, не верь... Это не я. Это не я тебе говорил, нет! Ты теперь не прощай меня, ты меня побей, пожалуйста, ударь изо всех сил, а потом все-таки прости, а? Настенька, прости. Ладно? Простишь? Поцелуй меня, и я подпрыгну до потолка...»

«Ну вот еще! — с горькой улыбкой говорила сострадательная Анастасия Сергеевна.— За что же тебя целовать? Тоже мне, Аника-воин!»

А он целовал ее руку, прижимал к губам, щеке, не отпуская.

«От тебя перегаром пахнет! — говорила Анастасия Сергеевна.— Иди хоть умойся. Под глазами мешки, господи... Голова-то болит?»

Он и у дочери тоже просил прощенья, и чем старше она становилась, тем сильнее чувствовал свою вину перед ней, тем больше мучила его совесть.

«Ну-у, папочка! — говорила она ему.— Я тебя такого еще и не видела. Устроил праздничек!»

Но злости тоже не было у нее в душе.

«Перепил, доченька,— говорил он ей виновато.— Я ведь не знаю нормы... Мне все время кажется, что с каждой рюмкой, с каждым глотком я становлюсь мудрее и вот-вот приближусь к истине».

«Самая большая мудрость для тебя — не пить совсем,— говорила ему Верочка.— Зачем ты пьешь, если знаешь, что это кончается дебошем? Ну зачем? Мама всю ночь проплакала от обиды, я тоже еле жива, а на тебя просто смотреть страшно. Зачем ты это делаешь?»

«Не знаю, Верочка,— искренне признавался ей отец.— Я ведь и так очень редко пью, можно сказать, совсем не пью... Не умею, наверно. Вот и результат».

«Вот и не пей никогда! — говорила ему дочь, очень жалея в эти минуты отца.— Не будешь пить, да? Если ты вообще ничего не помнишь наутро, значит, тебе никак нельзя пить».

«Не буду больше,— обещал ей отец.— Никогда!»

И в самом деле не пил, а если и приходилось в гостях или на праздники, то никогда не терял рассудка: бывал веселым и остроумным и очень нравился женщинам.

Но... наступало 9 мая и Олег Петрович Воркуев забывал о своем обещании.

Еще накануне он нервничал, был мрачен и раздражителен, ходил по магазинам, стоял в очередях, приносил закуски и водку.

Анастасия Сергеевна покорно исполняла его нетерпеливые, капризные просьбы, а он, как будто у него отрастали какие-то черные крылья, как будто бы в него всеялась восторженная и ликующая Ника, не находил себе места, много курил, был глух и слеп; то вдруг обнимал жену, целовал ее в щеку; то замыкался и долго пребывал в сером каком-то оцепенении. Можно было подумать, что в эти минуты он полон трагических воспоминаний, но это было не так. В эти минуты он чувствовал себя самым одиноким человеком на земле, покинутым всеми и забытым — его оставляли силы, как перед атакой, когда тоже чувствуешь себя совсем одиноким, в последние минуты перед неизбежностью, когда думаешь, что у тебя не найдется сил подняться и кинуться вперед. И словно бы нет никого рядом, кто бы мог понять тебя... Все уже обговорено: «Слушай, пойдем вместе, если тебя, я не брошу, а ты тоже... Давай держаться близости...» Договорились, хотя и знали, что этого нельзя было делать, знали, что нельзя отстать в атаке — никак нельзя! Если, конечно, ты цел, и ноги несут тебя, и земля принимает тебя живого, упавшего на нее, прижавшегося к ней, чтобы снова подняться и метнуться дальше. Говорят, атака пьянит. Олег Петрович Воркуев придерживался на этот счет другого мнения. Да, конечно, можно не помнить многого из того, что только что было, или даже не понять, как оказалась ты здесь, на новом месте, если атака была успешной и бой был выигран. Но это не хмельное беспамятство. Это что-то совсем другое, чего никак не смог бы назвать и объяснить, рассказать сам Воркуев. Словно бы включался какой-то резервный механизм, неподвластный сознанию, срабатывало какое-то реле и все происходило совсем не так, как предполагал Воркуев: словно бы его несли какие-то черные крылья, словно бы с каждым прыжком, с каждым броском на землю злой этот и хитрый торжествующий гений, изгоняющий страх, выключающий робкое сознание, подводил его к истине, которую Воркуев понимал как полное бесстрашие перед смертью, на которое не способен слабый разум... «Просто инстинкт срабатывал,— говорил Воркуев.— Какие там крылья, гений торжествующий... Черт его знает как все получалось. Сначала страшно, но особенно потом. Я потом, когда сознание возвращалось, очень боялся, трясло меня как в лихорадке... Как девушку какую-нибудь целуешь, целуешь, а тебя дрожь уже бьет, словно прозяб до костей. Так и там. Со смертью нацелуешься и дрожишь... ни она тебя, ни ты ее, луканькина мать!» И он с каким-то непривычным цинизмом в глазах и в голосе дробко похохатывал...

Пьянеть Воркуев начинал после первой же рюмки. Он старался не смотреть в сторону жены и дочери, говорил только с мужчинами,

заставляя их слушать себя. Говорил всегда одно и то же, пьянея с катастрофической быстротой.

Чем старше становилась Верочка, тем чаще она думала, что отцу в такие минуты и не нужны были слушатели. Он как будто бы молодец и, уже ничем не связанный с нынешним миром, с праздничным столом, мерз опять апрельским холодным утром со своим товарищем, корректируя с лесистой высотки огонь артиллерии. Они были голодны и злы на своих, которые словно бы забыли про них, про то, что они уже двое суток не ели...

«А тут как раз посмотрим, едет этот... как его?.. да у нас там был хохол один... А мне друг говорит: ты останови его, пусть нам... Ты, говорит, сало бери и водку... Больше ничего не надо. Я выскочил, а он, болт, не подъехал, увидел меня и бросил мешок со жратвой, а сам опять назад... Я к мешку-то подхожу, только нагнулся, а тут поблизости... рвануло, и чувствую — вдарило мне... Капут, думаю, товарищ Воркуев, отворковался...»

Олег Петрович в этот момент всякий раз всхохатывал и с какой-то пьяной, слезливой горечью в голосе продолжал:

«Хорошо, боя не было, а то бы и остался... Чувствую, что в живот ударило, упал я, а сознание не теряю... Молодой. В медсанбат, три часа операция... ни рукой, ни ногой пошевелить не могу, но все помню. Все! Бой был, немцы опять вернулись... Паника: «Немцы вернулись, немцы!» Кто легкий, ушел, и врачи тоже с ними. А мы лежим-полеживаем — тяжелье... Куда денешься? Слышим, в тишине наши за оврагом: «Ура-а-а...» — и стихло все...»

Рассказывая, Воркуев так возбуждался, так далеко отлетал, так отчуждался, что, казалось, сам уже не слышал самого себя, своей брани, не видел никого вокруг, кроме тех давнишних видений, которые теперь преследовали его. За столом оставались только мужчины, а женщины уходили чай пить в маленькую комнату. Они же, оставшись за столом, мрачно пьянели и все с большим вниманием и сочувствием слушали своего товарища, хорошо понимая его состояние.

«Тишина. Никого. Все сбежали, йё, а мы лежим, прислушиваемся. Вдруг танк в деревне, слышим, остановился рядом... Капут, думаю... Немцы. Врубят сейчас фрикционы — и все. Домик наш деревянный, гнилой... Чего ему! Все! Сейчас все! Слышим, крышки люков загрохотали. Кто-то подошел, открыл дверь, входит. Бляха-муха! Наш! Майор. В шлеме! Йё мое!»

Нервы Воркуева не выдерживали, и он давился от слез, когда доходил в своем рассказе до этого места. А все, кто слушал его, улыбались и хмурились, хотя уже слышали эту историю и знали ее наизусть. Как дети слушают старую сказку, так и они слушали и всякий раз опять переживали вместе с Воркуевым всю ту фронтную жуть, которую пришлось пережить когда-то.

«„Где врачи?“ — спрашивает, — продолжал между тем Воркуев. — „Ушли...“ — „А... Я их перестреляю собственноручно... Ну ничего, ребята... Не робей! Вы тут положите малость, мы сейчас немцев отгоним, вас в тыл отправят. Танковый корпус сюда пришел. Сейчас мы им, йё, дадим прикурить!“».

Воркуев уже кричал криком, пугая женщин, стучал по столу, изображая гнев танкиста-майора. Ах, какой прекрасный человек этот майор! Как все его любили в эти минуты и будут любить, пока сами живы, пока жив Воркуев и те, которые лежали тогда пластом на своих койках. Ах, какой славный человек!

«Опять жив! — кричал Воркуев, торопливо выпивая рюмку водки и не закусывая. — Жив, бляха-муха! — И смеялся прежним своим молодым смехом, позвякивая медалями на груди. — Ну просто чудеса!

Жив! Настенька,— кричал он,— милая, дай-ка нам еще одну бутылочку!.. Дай, дай... Ничего нам не будет... Ты ведь знаешь, это мой день. Дай. Не серди меня».

Анастасия Сергеевна, отмахнувшись в сердцах, уходила, но тут же возвращалась с холодной вспотевшей бутылкой водки.

«Сегодня да, твой день,— говорила она, еле сдерживая раздражение.— А завтра чей будет? Наступит завтра, не забывай».

«Ладно, иди... Всё! Иди,— сурово говорил ей Олег Петрович и, проводив взглядом, продолжал свой шумный и угарно-мрачный рассказ.— А как меня в тыл отправишь? Только на самолете, а тут как раз оттепель, полосу развезло: ни взлететь, ни сесть... До железной дороги километров сто, а как до нее доберешься, когда ты пирог с капустой, а не человек? Врачи вернулись, сестры, санитары — ругаемся с ними: что ж вы, мать вашу за ногу, бросили-то нас? А что они могли? Ничего не могли. На себе не потащишь, да и тащить-то нельзя. Это все равно что убить человека. Повернул не так, тряхнул — и убил. А жить-то каждому хочется. Поругались-поругались — утихли. Ждем, когда полоса подсохнет. Немцев далеко отогнали. Тихо. Лежу, а у меня на груди, как на памятнике каком, больничная карта — все там в ней сказано обо мне. Это ж вспомнить страшно: день и ночь на спине — сплошная боль и бессилие. Но жив, ёе мое! Сала с водкой не успел принять, голодный был, а это для животника спасение — голод... Столько протопал, столько пробегал, а тут — пластом. Я после двух лет войны как-то в баню попал. Это когда немец к Волге шел, к Сталинграду, а у нас на Северо-Западном затишка сравнительная была. Попарился с веничком, хорошо помылся, а потом гляжу — что такое?! Кожа, как подошвы, на полу осталась. Во набил как ноги! На лыжах тоже приходилось в сорок первом, когда от Москвы прогнали немцев. Но бой был, трупов столько, что на лыжах невозможно. Просто невозможно! Бросили их к чертовой бабушке... Ладно. Солнышко все-таки подсушило полосу, самолет прилетел и нас забрал. А на станции опять что получилось... — Воркуев, захлебываясь своими страстями, разгоряченный и совсем уже не управляемый, вдруг смеялся опять до слез, кашлял, багровел, и все смешивалось в нем: и боль, и смех, и пьяная, какая-то безудержная веселость.— Я всегда был везучий на это дело. В первом классе было: всех учительница рассадил по партам, а я у доски один остался, забыла она про меня, и уже начинается урок... Я ей говорю чуть не со слезами: «А я-то?» «Ай-яй-яй,— говорит,— как же я про тебя-то забыла...» Вот и на станции тоже. Всех уже в эшелон погрузили, а меня, как был я на носилках, так и оставили на земле. Лежу жду... А чего делать? Забыли, думаю... Ладно. Не будешь же орать! А тут идет с молоточком, колеса обстукивает. «Ты чего,— говорит,— лежишь?» «Забыли». «Как это забыли? Сейчас!» Пошел куда-то, смотрю, бегут две девушки: «Ой, братишка, как же это мы тебя?» Только взялись, только понесли, немцы налетели на станцию. Девушки опустили меня на землю и бежать скорей в укрытие. Бомбят, а я лежу и думаю: «Ну и болт с ним,— про себя думаю.— Капут. Тут уж не уйдешь». Бомбы падают, осколки над головой летят, рядом со мной в землю врезаются, а в меня не попало. Как в сказке: по усам текло... Немцы улетели, а девушки бегут ко мне: «Жив, братишка?! Слава богу! Прости, родной... Испугались мы... Прости». Ну а что тут скажешь! Девчата все-таки... Страшно, конечно. Да и жить хочется. «Несите,— говорю,— меня, девушки, скорее». А они чуть ли не бегом. Вот видишь, что получается,— заканчивал свой рассказ Воркуев,— там забыли про меня, тут бросили, а там опять забыли, а я живой. Значит, везучий. Значит, так надо, чтоб обо мне почаще забывали — выходит



дело, для меня это выгодно... Все забыли! Одни вы, мои друзья, одни вы... — говорил Воркуев и лез ко всем целоваться. — Люблю одних только вас! Люблю! Братцы мои! Давайте за нашу победу поднимем и, знаете как, не чокаясь выпьем за тех, кто пал, за мертвых наших, которых больше, чем живых. Давайте, братцы, молча. Минуту молчания! Всё. Эй вы! — кричал он женщинам. — Минута молчания! Хватит болтать! Молчание...»

И все покорно умолкали, потому что каждый знал, что этот день был днем Олега Воркуева, рожденного в девятнадцатом году, чудом оставшегося в живых, искалеченного, но вошедшего в живую тройку из сотни солдат его возраста. Три из ста. Жуткая арифметика!

Потом, когда уходили гости... Впрочем, стоит ли рассказывать о бессонной этой, мучительной ночи, о трижды проклятом пьяном буйстве доброго и ласкового человека, превращавшегося в зверя, которого посадили в клетку, лишив свободы. Он обязательно что-нибудь разбивал в эту ночь: тарелку какую-нибудь или чашку, а то и стул. Слава богу, хоть частично он сохранял благоразумие и никогда не поднимал руку на жену или дочь. Хотя, казалось, бывал и к этому падению близок, с ненавистью и жутью в глазах пожирающий свою несчастную Настеньку, которая как только ни пыталась усмирить, успокоить, уложить спать своего Анику-воина. Однажды ей это удалось сделать очень странным образом — она расхохоталась на все его угрозы и сказала строго, но и весело в то же время: «Васька, иди спать сейчас же!» Он удивился и, ошеломленный этим «Васькой», вдруг улыбнулся, размяк, полез целоваться, покорно улегся в постель и уснул с улыбкой. Утром он обычно ничего не помнил и испытывал беспокойство необыкновенное, тревогу такую, словно бы он, негодяй из негодяев, натворил нечто неопишемое. От страха у него заходило сердце, бессмысленные попытки вспомнить что-то приводили к еще большему страху, он холодел при мысли, что Настенька сейчас встретит его заплаканная и бесконечно обиженная, разнесчастная, а дочь будет отворачиваться от него или поглядывать исподлобья. Боже мой! Какие муки испытывал он по утрам. И в отличие от многих, не умея опохмеляться, не в силах даже взглянуть на водку, от одной лишь мысли о которой его начинало подташнивать, мучился весь день и страдал душой, ощущая себя особо опасным преступником, совершившим нечто такое, от чего холодела кровь в жилах: бомбу бросившим в детский сад — не меньше.

Но в тот раз проснулся в удивлении и, вспомнив «Ваську», спросил:

«А почему ты меня Васькой вчера назвала?»

«Похож был на кота Ваську», — ответила Анастасия Сергеевна.

«Нет, серьезно».

«Просто так... Разозлилась и хотела крикнуть «брысь», а получился «Васька»...»

«У тебя есть какой-нибудь Васька?» — не унимался добренький и заигрывающий с женой Воркуев.

«К сожалению, не завела. А надо бы...»

Но это утро было исключением из правил. Да и ночь, закончившаяся улыбкой, тоже. Однажды Воркуев шел по улице, а его обогнали молодой человек с девушкой. Воркуев услышал, как он сказал ей, вспоминая о чем-то вчерашнем: «Хорошо было: поели, выпили и разошлись». Эта случайно услышанная фраза вдруг возродилась в нем и поразила необыкновенной ясностью и простотой. «Действительно! — подумал он. — Как хорошо! Поели, выпили — и разошлись».

Дома он эту фразу Настеньке своей преподнес как некую очень простую и ясную формулу маленького человеческого счастья. «Ты чув-

ствуешь, как хорошо сказано? — спрашивал он у жены. — Поели, выпили — и разошлись. Главное, уметь хорошо и мирно разойтись. А я не умею. Благородства во мне, наверное, ни на грош!»

Но Анастасия Сергеевна не оценила его восхищения.

«А зачем обязательно пить? — спросила она. — Поели, выпили... Знаю я это «хорошо!»»

«Не об этом я, Настенька! Смысл в том, что разошлись. Люди встретились, поели, выпили и с улыбками разошлись. Разве плохо? Мы, наверное, расходиться по-человечески не умеем».

«Потому что пить не умеете».

«Правильно», — печально согласился с ней Олег Петрович.

Но глубинный смысл этой фразы разросся в сознании до таких обобщений, что он и в самом деле вывел для себя формулу поведения, некий свод неписаных правил, состоящих из трех пунктов: поели, выпили и разошлись.

И все-таки опять наступал День Победы...

Ночные его буйства были хоть и бессмысленны, но что бы там ни говорили о Воркуеве, им что-то все-таки руководило в эти мрачные часы. Скорей всего это было неосознанное, гипертрофированное чувство брошенности, оставленности, которое такой обидой перепаливало ему душу, такую тьмой заливало глаза, что он на Настеньку свою кричал, как на недруга, словно бы это она была виновата в том, что о нем, как казалось ему в эти минуты, забыл весь род человеческий, и в первую очередь, конечно, жена. А ей этого он никак не мог простить. В опьяненном, взбудораженном, мерцающем сознании эта идея забытости становилась навязчивой. Иначе трудно объяснить все те проклятья, которые сыпались на голову бедной Анастасии Сергеевны, верной и любимой жены, его второго «я»...

Впрочем, сам Воркуев иногда говорил Анастасии Сергеевне, что он не на нее, а на самого себя кричит, потому что они с ней настолько сроднились душами, что она — это он, а он — это она.

«Я себя в тебе вижу и ору на себя. Я кажусь себе большущим неудачником и проклиная себя за то, что повел тебя по жизни, а тебя, прости ради бога, ненавижу за то, что ты рабски согласилась идти со мной. А куда я тебя привел? Обещал полмира, а забываю даже купить цветы на день рождения, в день свадьбы тоже... Разве не так? Мне иногда кажется, что ты все еще чего-то ждешь от меня, на что-то надеешься, все еще мечтаешь, что озолочу тебя, одену в меха, повезу на всякие там побережья слушать цыган, «жить роскошно и богато». Но я-то знаю, не будет ничего этого. И проклиная себя».

Трогательное это признание жалостью отдавалось в сердце Анастасии Сергеевны, она плакала и, целуя его солеными губами, говорила, что ей ничего от него не надо, лишь бы он был живым и здоровым и всегда любил ее.

Вот в такой семье выростала Верочка Воркуева. В семье погодков — девятнадцатый и двадцатый, — на долю которых досталась тяжелая и тревожная жизнь: разруха после гражданской, голод, карточная система, война, незадолго до которой каждому из них, еще не знавших друг друга, было по шестнадцать и семнадцать лет, и, казалось, вот-вот должно было что-то произойти в их жизни такое, после чего будут понятны и объяснимы все те невзгоды, которые выпали на долю их семей.

«Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю...» Шипящая патефонная пластинка, шаркающие в танце пары... «Парень кудрявый, статный и бравый, что же ты покинул нас?..» Эти песни, как отметины острого счастья, врезались в память с довоенных

прохладных и теплых вечеров в Сокольниках и ЦПКиО. И еще: «Утро красит нежным светом...»

Первое мая, утренний солнечный холод, чисто выметенный, умытый двор, толпы на улице...

Верочка Воркуева песен этих не пела. Песни порой разъединяют людей, проводят черту между поколениями. Они у каждого свои. И даже забытые всеми, способны вдруг воздвигнуть в памяти былые годы, запах прошлых дней, шум и звуки былого.

«Парень кудрявый, статный и бравый...»

А парень-то, оказывается, был влюблен, а потому и покинул всех девушек, которые тоскуют без него. Да к тому же еще «ранней весной в армию идти служить». А девушки влюблены в него и взглядов не сводят «с карих и лукавых глаз». А он, как в той неаполитанской «Скажите, девушки...», просит передать ей, чтоб она ждала его. «Вместе я хочу с ней быть», — говорит грустный парень.

Ах, как любил и любит до сих пор эту песню Олег Петрович Воркуев! Мурлычет себе под нос ее мотивчик и пребывает в эти минуты в блаженнейшем состоянии. Он даже писал однажды на Апрелевский завод, чтобы выпустили пластинку с этой песней, но ответа не получил.

Женился Воркуев в двадцать шесть лет, познакомившись с Настей на танцах перед началом сеанса в «Ударнике». Она была тогда в расклевенной плиссированной юбке и в хромовых офицерских сапожках, на крутые волны ее волос была наброшена тоненькая сеточка с белыми снежинками, а губы ярко накрашены.

Они танцевали танго, смотрели друг другу в глаза и смущенно улыбались, словно бы все уже знали наперед — знали о первом поцелуе, пропахшем губной помадой, о первой стыдливой и неловкой ночи и о праздниках Победы... Все знали! В зале они умудрились усесться рядом, поменяв билеты, смотрели трофейный немецкий фильм, ничего не видели на экране, а только чувствовали прикасавшимися плечами тепло друг друга. И у каждого из них прихватывало вдруг дыхание от этого очень осторожного и головокружительного полукасания.

Верочка Воркуева вряд ли догадывалась о тех нежнейших чувствах, которые испытывал ее «папочка» с тех пор, как узнал будущую свою жену, хохотливую и какую-то, как он говорил, тормошеную, живую Настеньку. У нее было много подруг и не было ребят — не вернулись. И, казалось бы, чего уж тут беспокоиться! Один жених на сотню обездоленных. Но сколько же бессонных ночей пережил Олег Воркуев, как коротки были вечера и бесконечны дни...

На свадьбе почти не было мужчин. Подруги плакали, поздравляя. До сих пор многие из них коротают ночи в одиночестве, состарившиеся и давно уже потухшие, пеплом подернутые женщины, которые никогда не забывают поздравить свою счастливую Настю с днем свадьбы.

«Будь ты проклята! Ты пойми, я давно не люблю тебя... Пойми! Я завтра же уйду от тебя к иху матери! Ты мне противна со своим нытьем! Я давно хотел тебе это сказать. Завтра же.. Нет! Сегодня же, сейчас — уйду. Уйди от меня, не прикасайся ко мне!»

«Милая, прости меня, если можешь. Сделай божескую милость — прости. Я не могу без тебя. Я люблю тебя... никто никогда так не любил и не будет никогда любить. Прости, пожалуйста, Настенька. Я обещаю тебе никогда больше не пить... Вот увидишь — никогда. Только прости. Я очень виноват перед тобой! Я понимаю... Но прости».

Два полюса необузданной русской души. Где же предел? Когда же прославленное благоразумие возьмет верх над твоими страстями? Придет ли это время? Сколько еще поколений должно натерпиться, намучиться? Какое же сердце нужно иметь, чтобы простить твою тьму и увидеть свет! Какое терпение! Не легче ли махнуть рукой, плюнуть в бесстыжие глаза: пропади ты пропадом!

«Я верю тебе» — вот и весь ответ.

Холодно становится, зажигаются окна, уже не хватает дневного света.

«Не надо» — вот и вся твоя просьба.

Наступает ночь.

Молчание и слезы. Крик.

Что же дальше?

«Прости»...

«Я верю тебе»...

Беда и счастье — все перемешалось в растрепанной душе.

«Ехал, думал, людей увижу, а тут... такие же, как я. Выйдешь на набережную, к морю, тоже всякая шушера, а людей нет. Где люди-то?»

«А сам ты кто?»

«Я-то? Я — никто. Так... работаю...»

«Зря говоришь...»

«А чего зря! Люди сюда летом приезжают, когда купаться можно. Вот так. А зимой всякая шушера вроде меня».

Ялта. Холодное море. Бархатисто-черные лысухи качаются на скользких волнах. Люди в шапках жмурятся на солнце. Кипарисы. Пальмы. Иду, думаю: неужели в его глазах я тоже шушера? Зимой приехал — шушера. Летом — человек. Наверное, презирает меня брат мой любезный.

Горы туманно-сизо стыннут над белой оштукатуренной Ялтой. В облаках пробоины солнечного света, золотистая мишура на склонах.

Рыбаки на пирсах между бортами катеров ловят с пальца мелкую кефаль и ставридку. Тоже шушера? Один в лакированных концертных штиблетах, за которыми жена небось часа три простояла в очереди, замерз, а в мешочке две кефальки чуть побольше его пальца, с которого свисает в зеленую воду белая леска. Штиблеты заляпаны грязью. Шушера?

«Наша рыба самая вкусная», — говорит молодой ялтинец.

«А я люблю речную... Зацепишь, так чувствуется, а тут мелочь...»

«Перестаньте», — говорит ялтинец с укоризной и бросает на говорящего ждущий улыбки, шутки взгляд.

Шушера?

Хожу, ищу своего недруга, который людей не увидел, а только одну лишь шушера, жажду сказать ему гадость какую-нибудь, расправиться с ним: «Душонка у тебя лакейская. Лакей ты природный, для которого хозяин — человек, а все остальные — шушера. Ах ты лакей несчастный — зачем же ты мне настроение-то испортил?! Мерзавец ты эдакий!»

Хожу, ищу кремовое пальто, набриолиненный веер черных, мелко вьющихся волос, поджатую нижнюю губу, косолапящую походку и наглые, настырные, игриво-свирепые глазки.

Нет его. Очень обидно все это. Жаль.

Ушел с набережной. Тихо. И вдруг ветерок потянул. Слышу, за мной собачонка какая-то бежит, коготками по шершавому асфальту царапается. Оглянулся, а это большой скрюченный лист дуба волочится по ветру за мной. Дальше иду. Знаю уже, что листья за мной, а все-



таки оглядываюсь... Очень похожи на собачек, которых в Ялте множество: каждая дежурит у своей столовой, у своего кафе. А около меня — листья.

## 2

Верочка Воркуева взяла от своих родителей, казалось, все самое лучшее, и они не могли нарадоваться на нее и нахвалиться ею. Но в семнадцать лет, когда ее мать в том же возрасте танцевала фокстроты под патефон и ни с кем еще не целовалась, даже под ручку ни с кем не ходила, что по тогдашним временам уже кое-что значило, Верочка Воркуева стала женщиной, хотя никто, кроме, разумеется, некоего Коли Бугоркова, не узнал об этом. Впрочем, до поры до времени...

Я не буду рассказывать, как все это произошло и как обошлись без последствий две эти сумасбродные встречи на даче, или, вернее, в домике на садовом крохотном участке под Москвой. Скажу только, что никаких особых достижений не было.

Она, конечно, хотела покончить жизнь самоубийством и долго обдумывала, как это лучше сделать. Но победило любопытство, желание увидеть себя мертвой в гробу, оплакиваемой несчастными родителями и, разумеется, краешком глаза хотелось увидеть кающегося Бугоркова, его слезы и отчаяние. А главное, хотелось узнать, что бы он стал делать дальше. Она понимала, что он безумно влюблен в нее и готов на все, хотя для нее он был в некотором роде просто друг... И все-таки...

Когда это случилось, когда она вдруг подумала, что «по дружбе» может родить ребенка, ей стало безумно страшно, она прогнала прочь Бугоркова, который ничего не мог и не хотел понять, и, рассказав обо всем самой близкой своей подруге, стала в постоянном ужасе ждать, прислушиваться, приглядываясь к себе, боясь почувствовать те самые симптомы, о которых все рассказала ее более опытная, сексуально образованная подруга.

А Бугоркова она просто возненавидела как предателя и вычеркнула из своей памяти. Когда же родители узнали о ссоре, не догадываясь о причинах, и стали печалиться по этому поводу, потому что Коля Бугорков им обоим нравился, она со слезами накричала на них и просила, нет — приказала им никогда при ней не упоминать его имени.

Анастасия Сергеевна, пытаясь вывести дочь на откровенность, спрашивала у нее по-дружески:

— У него что, какая-нибудь девочка появилась? Какое-нибудь увлечение?

— У кого? — спрашивала грубым, густым и изменившимся голосом Верочка.

И столько было в этом «у кого» отвращения, гадливости, столько нетерпения слышалось, так неприятен был ей этот разговор, что мать пожимала плечами и умолкала.

Однажды все же она решилась спросить, путаясь в догадках о причинах, видимо, серьезного разрыва:

— У вас с ним ничего не было? Или?..

Верочка, к тому времени уже уверенная в себе, холодно и долго посмотрела на мать и с какой-то полупрезрительной, словно отталкивающей усмешкой спросила:

— С кем?

На это мать обиделась, назвала ее невоспитанной дурой, а дочь устроила истерику и кричала на нее, как отец:

— Я же просила не упоминать мне о нем! Я просила... Почему ты так жестока? Да, ты мать, ты вправе требовать от меня многого, но твоей жестокости я не потерплю! Учти это!

На что обескровленная и оглушенная Анастасия Сергеевна с трудом смогла ей ответить.

— Учту.

И тут же резким, неожиданным движением ударила ее по щеке.

Пощечина эта не испортила добрых их отношений, скорее она была врачующим и благотворным жестом: обе почувствовали друг перед другом острую вину и стали более ласковыми и предупредительными друг к другу, чем раньше.

А Бугорков, о котором Верочка и думать не хотела и, если он приходил к ней домой, не пускала на порог, грубо захлопывая перед ним входную дверь,— Бугорков не предполагал, что ему дана полная отставка. Наоборот, он считал себя обязанным как-то уладить эту естественную, как ему казалось, но затянувшуюся ссору и не то чтобы не оставлял надежды на мир, а был совершенно уверен в неизбежности мира, громкой свадьбы и доброй семейной жизни с женщиной, которую он и теперь, обмирая от восторга, считал своей женой.

— Верочка! — говорил он ей, подставляя ногу под дверь.— Объясни, что случилось?! Ну подожди... Ты ведь ногу мне раздавишь. Я хочу спросить...

А Верочка с гримасой отвращения на лице молча тянула на себя дверь, а однажды даже ударила его по коленке узкой своей туфелькой. Ему было очень больно, но физическая боль пока еще смешила его: он и предположить не мог, что эта боль суший пустяк по сравнению с той пронзительной и тоскливой болью, которая ждала его впереди.

— Ты с ума сошла? — спросил он у нее, все еще удерживая дверь.— За что ты меня ударила? Думаешь, не больно?

— Я сейчас позову соседей,— с угрозой проговорила Верочка.— Что вам нужно в чужой квартире? Уходите сейчас же отсюда.... Уберите ногу!

Он понял, что это сказано уже без всякого намека на шутку, и растерялся.

— Прости, но мы, кажется, были... на ты,— сказал он первое, что сложилось в сознании.

— Ногу, тварь несчастная! — крикнула Верочка и опять что есть силы кожаным жестким носочком туфли ударила его по щиколотке.

Плаксиво-мстительное выражение на ее лице, белая мусть мгновенного бешенства...

— Что с тобой?! — крикнул он и отдернул ногу.

И тут же дверь с треском и грохотом захлопнулась перед ним.

В тот день он впервые заплакал от обиды. Никак не мог спуститься по лестнице, стоял возле широкого подоконника на каменной площадке, скрипел зубами, вдавливая их в челюсти, и беспомощно плакал от боли и обиды.

Но он даже и тогда знал, что это не последняя их встреча, он был еще уверен, что придет время — и он напомнит ей об ударах, об оскорблении, а она попросит у него прощения. Ему даже казалось в эти минуты, что если он сейчас же поднимется и позвонит, то она как и раньше откроет дверь, улыбнется и спросит: «Почему так бывает, я подумала о тебе, а ты пришел?» Ему стоило больших усилий не сделать этого. Хотя он никак не мог поверить, не мог смириться, что это Верочка Воркуева была только что за дверью, она смотрела на него с такой ненавистью, она дважды ударила его...

Она жила на пятом этаже хорошего, а по тем временам даже очень хорошего дома, который огромной буквой «П» возвышался над

зеленым двором. В верхней перекладине этой, так сказать, буквы круто изгибалась гулкая и высокая арка, которая вела на тихую старую улочку с сохранившимися особняками и знаменитыми московскими двориками с липами и сиренью, желто-белой церквушкой и вечерней душистой тьмою, тихо освещенной молочными фонарями, повисшими над мостовой. Тут редко проезжали автомашины. Возле ворот особняков стояли серые каменные тумбы, высеченные из песчаника, кое-где были еще крашенные масляной краской, врытые в землю деревянные скамейки и палисадники перед окнами с чистой травой, среди которой мощно и сыто темнели стволы старых лип и тополей. Тополя были большие и буйные, похожие на зеленые какие-то тучи, а по весне они цвели красными сережками, которые падали, как гусеницы, на тротуары, и люди давили их, расплющивая на асфальте, и тогда вся улочка пропитывалась запахом горькой тополиной смолы. На этой заремоскворецкой улице были, конечно, свои проблемы, и порой неразрешимые, с этой улицы, из ее домов люди уходили в тюрьмы за воровство или хулиганство, а то и за бандитизм, и вы сами, конечно, понимаете, что уходили они отнюдь не добровольно — за ними приезжали, и они надолго пропадали, о них забывали, а потом с трудом улица узнавала своих повзрослевших, а точнее, заматеревших сыновей с серой причесочкой под бокс, в модных тогда «прохарях» и малокозырках. Но с этой же улицы люди уходили и на фронт, их ждали, и о них никто не забывал, но они чаще всего не возвращались, и тогда на освободившуюся жилую площадь под бок к осиротевшей матери подсаели новых людей, а матери сухими от горя глазами смотрели на новых своих соседей, прощаясь с тихой, как могила, а некогда шумной, плачущей, смеющейся комнатой, с залоснившимися возле сыновних кроватей обоями, с каким-нибудь пятнышком на дубовом паркете, с белым кафелем голландской печки, с черным каким-нибудь угольком из топки, с исцарапанным подоконником, с карандашной штриховкой на стене, оставленной сыновьями, и с теми зарубками на дверном косяке, которые пугающе зримо воскрешали маленьких, растущих, выросших и навсегда ушедших мальчиков. Вздохи, похожие на стоны, испуганные, недоуменные улыбки, сгорбленная спина и пучок седых волос. А потом запах масляных белил, известки, клейстера, восковой мастики... Чужие шаги, голоса, чужая радость, к которой так трудно привыкнуть... Но что же поделаешь? Привыкали и нянчили чужих детей, дарили старые игрушки, давным-давно упрятанные в сундуки: цветные пирамидки, оловянных солдатиков, остатки цветных карандашей, грифели которых были стертые, сточены размашистым и напряженным усилием детских рук, рисовавших когда-то домики, небо и деревья.

Все было на тихой этой и давно ушедшей в прошлое московской улочке. Был, например, один домик, три нижних окна которого всегда удивляли своей безукоризненной чистотой, какой-то черной поблескивающей прозрачностью, а по вечерам зажигавшихся ярко-сиреневым светом. В большой комнате под абажуром, нависшим над круглым столом, никогда не видно было людей за тюлевыми занавесками. Верочка Воркуева почему-то боялась этого дома. Или, вернее, в ней пробуждал он какие-то мистические ощущения, какое-то пугливое любопытство увидеть хозяев нижней комнаты, словно они должны были чем-то отличаться от обычных людей, потому что никто больше нигде не зажигал такого яркого сиреневого света. Она даже не знала, что там было сиреневым: стекла или абажур. Но, казалось, дом этот по вечерам был виден отовсюду.

Об этом доме знали все и обычно говорили: «За домом с сиреневыми окнами» — или: «Не доходя до дома с сиреневыми окнами». А если кому-нибудь надо было объяснить дорогу, а на улице уже было темно,

то говорили: «Идите прямо, а как увидите дом с сиреневыми окнами...» В общем, вариантов было великое множество.

А дом, где жила Верочка Воркуева со своими родителями, назывался просто домом шесть, или «домом, где магазин». Он неуклюже встал на четной стороне, придавив своей каменной громадой слабую и незащитную улочку, словно бы наступив на нее обеими своими кирпичными ножищами. Он был первым домом, построенным по плану реконструкции, и никто не смог бы толком ответить, почему именно он, дом шесть, начал неумолимое нашествие на московские дворики, почему не дом один или дом десять, а именно дом шесть безлико вознесся над железными крышами, придавив своей тяжестью деревья, дома и узкую улочку.

В этом доме обитало, наверное, ничуть не меньше жильцов, чем во всех остальных домишках. Квартиры были с максимальными по тем временам удобствами. Жильцам дома шесть завидовали незаконные наследники купеческих и мещанских особняков, которые не имели ни парового отопления, ни тем более ванны.

Но все-таки надо сказать, что улица со стрельчатой, ажурной колоколенкой словно бы сама по себе сопротивлялась каменному великану, и когда великан этот был еще трехэтажным младенцем, запеленатым в деревянные леса, ночью случился страшный пожар, задержавший надолго его возмужание. Но время и человеческие усилия взяли свое — дом построили. Кухни, уборные и ванны выкрасили голубой краской, провели синий бордюрик на стенах, двери покрасили коричневой краской, а деревянные полы охрой. Дом засиял изнутри сомнительной масляной красотой, комнаты вобрали в себя счастливых новоселов, зафырчали водопроводные краны и чугунные бачки под потолками, а вскоре появились первые после укладки дома трещинки на потолках, серая паутина, скрип половиц, кошачий дух в подъездах и фольклорные надписи в кабинах лифта — все те признаки человеческого общежития, без которых вообще немислим современный большой дом. Местные вольнодумцы не оставили без внимания и скромные, отпечатанные на жесте инструкции по пользованию лифтом, несмотря на кричащую табличку: «Берегите лифт, он сохраняет ваше здоровье». Вероятно, они просто не согласились с этой жэковской мудростью, потому что давно уже доказано — ходить пешком гораздо полезнее для здоровья, чем ездить на каких бы то ни было видах транспорта, кроме, конечно, велосипеда. Но как бы то ни было, эти вольнодумцы всяк на свой лад стали соскабливать некоторые буквы в безобидных словах инструкции, которые в болезненно-игривом воображении приобретали удручающе безграмотный, но все-таки непристойный смысл.

Верочка Воркуева очень бы удивилась, если бы ей, например, сказали, что в тексте исцарапанной и трудолюбиво переработанной инструкции замечены некоторые следы тайнописи. «Чепуха какая-то!» — сказала бы она.

Но на то она и Верочка Воркуева! А как быть человеку, который все на свете знает и который даже при слове «корма» загадочно и греховно улыбается?

Воркуевы занимали из трех комнат квартиры две: в одной жили Анастасия Сергеевна с Олегом Петровичем, а в другой — старенькая бабушка Пелагея Ильинична и сама Верочка. Комнаты нам могут понадобиться в дальнейшем, хотя я и не очень уверен в этом. Мало ли что может приключиться! Сработает, как любит говорить Воркуев, интуиция, и сам не заметишь, как ты очутишься так далеко от голубой этой квартиры, от ее суповых и мясных запахов, от визгливых скрипов половиц и стеклянного дребезжания кухонной двери, от



бельевых веревок, что останется только подивиться, для чего и зачем понадобилась эта улочка, во дворах которой в жирной земле зрели розово-белые шампиньоны, зачем сиреневый свет в окошках и кабин на лифта в доме шесть...

Где все это теперь? Живы ли люди, которых ты знал? На какие окраины выбросил их строительный бум?

Это как старая дорога в лесу. Когда-то нужна была людям ее не близкая ухабистая околесица, ее неглубокие овраги, крутые спуски и тяжелые подъемы, но потом про нее забыли, потому что новое асфальтированное шоссе и автомобили легко соединили далекие и близкие селенья. Хмурая и гладкая лента пролегла в стороне от старой дороги, спрямила изгибы, надежно прыгнула через овраги и реку.

Не только деревни хирели и теряли свое бывшее значение, но и города умирали, если дороги волею судеб меняли свое течение. История знает примеры куда более значительные: погибали царства.

И не мудрено поэтому, что такая же печальная судьба была уготована и деревне, оставшейся вроде бы не у дел.

Лесная дорога поросла нежным и чистым мятликом, и живая лента ее, некогда щедро удобренная конским навозом, четко и ярко зазеленела среди прочей лесной растительности. Но странное дело! Казалось бы, почему вездесущей малине не выйти из лесу на эту добрую полосу, почему бы не прорасти тут еловому семени или не покрасоваться на солнышке розовой кисти кипрея?

Наезженная, брошенная людьми, не годящаяся для современной техники травная дорога непонятным образом сохраняла былые, отвоєванные у леса границы, приобретя со временем вид какого-то ухоженного, стриженного, бульварного газона. Идти по ней хорошо, особенно если на этот опрятный и далеко протянувшийся коридорчик в лесу падают дымные лучи утреннего солнца, посверкивая в росе. Порой темные лапы елей с колючим шорохом упруго глядят путника по плечу, шуршат сзади, покачиваясь и успокаиваясь, словно бы убирая маленькие зеленые коготки. Говорят, что деревья любят и ждут ветер, потому что им тоже хочется пошевелиться, размять уставшие в оцепенении суставы, раскататься в вечном своем гнезде, набрать силы на будущее стояние. А почему бы нет? Может быть, ель, слыша, как трепещут листья осины, уловившие легкое дуновение воздуха, чутко прислушивается к этому тихому биению, напрягает могучие свои корни и в ожидании настоящего ветра радуется и волнуется, как и мы перед дальней дорогой. Тот краткий путь, который чертит в ненастном небе ее острая вершина, бесконечно мал, а пляска ветвей кратковременна, но все-таки это — дорога, которая ей, может быть, снится в штилевые дни и ночи.

С такими мыслями на заброшенной дороге становится неуютно, словно бы, цепляясь за одежду ветвями, деревья просят остановиться добросердечного путника, постоять вместе с ними, не спешить, взглянуть на прозрачный бочажок, заросший осочкой, подернутый огуречно-светлой ряской, над которой цветут голубые и розовеющие незабудки. Маленький этот влажный мирок прекрасен и чист в своем удивительном подражании огромному миру, который лежит за этим лесом. Но в величине ли дело! Жизнь и движение не оставили и бочажок, родившийся на месте бывлой разбитой колеи, какого-то маленького ухаба на дороге. Жук-плавунец коричневым плоским батискафом выплыл из прозрачной глубины и повис в невесомости. От него опротеью кинулись прочь циклопы, похожие на крохотные аэростатики. Серебристо-бронзовый наездник легко скользнул по поверхности воды и замер, продавив прозрачную и упругую поверхность

ную пленку живого бочажка, словно бы не в воду, а в какую-то тончайшую и туго натянутую поверхность вдавили его ворсистые лапки, не порвав и не задев при этом ее невидимых шелковых нитей. Плавунец, лениво переваливаясь с боку на бок, опять поплыл в глубину, задев своей лапой спокойный донный ил, и там, на донышке, вырос серый дымок... Прилетела стрекоза и, потрескивая сверкающими крыльями, хищно замерла над водой, но вдруг метнулась в сторону, посверкала над темными ветвями ели и снова вернулась, усевшись на острый лист осоки. Лист прогнулся. А хищница с маслянисто-голубыми переливчатыми глазами притихла в засаде. Комары толклись над водой. С листа на листок перелетали малюсенькие мухи. Никто никого не трогал, потому что, видимо, все уже были сыты друг другом.

## 3

Именно по этой дороге и ходил Коля Бугорков в деревню Лужки в гости к деду. Дед его был знаменит в округе тем, что был четырёхжды женат и пережил трех своих жен, причем четвертая, последняя жена умерла, а третья, брошенная дедом, осталась в живых. Работал он до сих пор егерем районного общества охотников.

А деревня оживала только летом, когда сюда собирались из районного города и даже из Москвы бывшие жители и новые родственники этих старожилов.

Александру Сергеевичу, как звали старого Бугоркова, жилось здесь неплохо. Во всяком случае, перебираться он никуда не хотел, лучшего и более тихого места, чем Лужки, отыскать было невозможно. Милиционер приезжал сюда на своем мотоцикле так редко, что его никто и в лицо-то не помнил. Однажды только пришлось насмотреться на него, когда обокрали бугорковский дом, утащив постельное белье, одеяла и раскладушки, предназначенные для приезжих охотников. «Два поллитра взяли из-под лавки,— подсказывал Бугорков милиционеру, который искал следы преступников.— Купил три, одну выпил и ушел... А они взяли. По три шестьдесят две поллитры». «Отстань ты со своими поллитрами,— отмахивался от него милиционер.— Не мешай работать». «А если поймаете,— подсказывал Бугорков,— пусть вернут. Все ж таки деньги. Не самогонка ведь, а купленная. Я ее в сельпо купил. Нюра может подтвердить. В воздвиженском сельпо, Нюра там работает, она небось знает, что я каждый раз по многу беру, потому как далеко и чтоб не бегать. А гнать — я не гоню. Тут уж все по чести. Могу любую клятву».

Милиционер не очень-то церемонился с ним. Он поглядывал на деда с недоверчивым прищуром и как бы невзначай возвращался к одному и тому же вопросу:

«Значит, Александром Сергеевичем зовут... Родственник?»

«Чей?»

«Пушкина. Так вот, гражданин Пушкин, скажи мне откровенно, откуда у тебя такие деньги имеются. Сам говоришь, по многу берешь. А? Откуда на много-то? Может, ты эти одеяла да подушки того?.. А?»

«Отродясь не воровал и... Это можно ведь и жалобу на вас написать,— отвечал дед с обидою.— Прав у тебя таких нету, чтоб честно-му человеку оскорбления наносить».

«А вот мне, например, известно, гражданин Пушкин, что вы на Новый год кабанчика съели... Отловили для дела, а под праздник съели. Как это расцениваете?»

«Не мы съели,— отвечал Бугорков без прежней уверенности в голосе.— Дело прошлое, но я тут не вмешан. Я объяснения писал, все

рассказал как было. И к этому возвращения обратного не может быть, потому как дело это прошлое. Сами должны понимать».

«Так. Хорошо. Выходит, по-твоему, кабан сам свои окорока съел?»

«Не знаю уж»,— отвечал Бугорков, бодливо мотая головой.

«Под Новый год взял и закусил своими окороками?»

«Может, и под Новый. Не помню».

«Не темни!»

«А я и не темню. Чего мне это... Кто-то съел, верно. А не я.— И дед Бугорков разводил руками.— Не я. Ты ж не продашь мотоцикл казенный? — спрашивал он и отвечал: — Не продашь, не дурак. А что ж я совсем уж?.. Как это можно! Не-ет... Это мой хлеб. Какое уж тут баловство. Мне тут доверие полное. И ты мне не намекай! Молод еще! И к тому ж я не Пушкин, а Бугорков Александр Сергеевич. Вот так! По форме все давай, без этих...»

«Ладно, Бугорков, не обижайся. Но учти, поллитры ты свои забудь. Сам посуди, как это я в официальном протоколе буду писать о поллитрах?»

Был Бугорков сухой и смуглый. Волосы его, навеки примятые зимней шапкой, свалывшиеся, как жесткий матрасный волос, только на лбу грубо курчавились сивым вихром, прикрывая глубокие складки напряженного лба. Черные его брови, не знавшие седины, резко и зло сходились к переносице. Природа наградила его многими внешними признаками злого и жестокого человека. В светло-серых глазах было столько недоброй, звериной пустоты и бездушия, так они следили за каждым, казалось, твоим движением, так сколько уходило от прямого взгляда, что с непривычки можно было черт знает что подумать о нем, о лесном человеке с острым топором за поясом, с которым он почти не расставался. Он неохотно разговаривал с людьми, никогда при этом не глядел в глаза и лишь изредка вдруг взглядывал из-под хмурых бровей с паучей какой-то зоркостью и свирепостью, словно бы ты был мухой, запутавшейся в его тенетах.

«Слова, слова, слова... Много их,— говорил он насупленно и зло.— Был намедни в аптеке, таблетки для сердца брал. Вижу коробочку, а на ней написано: «Бодяга». Что такое бодяга? Трава. А если одну буковку прибавить? Кто по свету белому шляется? Ну-ка сообрази. Бродяга»,— и он резко и зорко взглядывал на тебя, как бы делая ядовитый укол.

«Ну и что ж из этого?»

«Одна буковка, а слово совсем меняется».

«Что ж из этого, что меняется?»

«Что из того — не знаю. Не моего ума дело. А наблюдения некоторые имею, хотя и не берусь судить — не учен этому... Возьми ты другое слово — «пижма», тоже трава. Ну что бы ты сделал? Какую букву приставил? Тоже загадка. А отгадка проста — «пижама». Видал, что получается! — Он опять взглядывал с природной своей и неприятной пристальностью, и, казалось, в глазах у него в этот момент что-то неслышно, но напряженно жужжало.— В газету отнести — денег можно небось заработать. А? Подобрать побольше слов и оформить как полагается. Глядишь, на три бутылки дадут, а? Как думаешь?»

Стыдно было слушать старого этого человека, ломать перед ним дурака, боясь обидеть правдой.

«Я тут одну статейку написал,— говорил между тем Бугорков, рикошета взглядом по земле. (Мы с ним сидели на пороге терраски.) — Может, отнесете куда-нибудь? Хорошая статейка вышла».

«О чем?»

«О вольной натаске... Про любовь там кое-что. Про жизнь».

«А что это — вольная натаска?»

«Так это я сам термин такой изобрел — вольная. Это когда легавая молодая за птичками гоняется. Другой егерь сразу ее на шнур, а я даю ей вволю набегаться, а когда сама поймет, что не догнать ей птичку, язык на плечо, тут я ее беру на шнур... Много дней, пока сооразит что к чему. А потом на шнур — и к бекасу. Тут и ставишь стиль. Это собака! Когда вольная натаска, тогда она как огонь. А когда на шнуре, собака затягивается, покоряется, гнать-то не гонит, а стилия нет. Она тебе все сделает, диплом заработает, а все равно когда-нибудь погонит, потому что ей еще не приходилось себя попробовать, она сразу в петлю и в тягло. Пошла! А к хозяину неопытному вернется и погонит обязательно, пропадет. Егерь-то опытный удержит, а хозяин нет. Мои же собачки никогда не гоняют. Я поставил собаку, отдал владельцу: пожалуйста, получите удовольствие... Она у меня сама все поняла, нагонялась. В молодости все мы за птичками гоняемся, пока-то настоящую дичь найдешь, пока-то по ней стойку сделаешь. Вот что получается».

Сам я, признаться, никогда не пытался натаскивать своих собак, хотя теоретически хорошо знал это дело. Но о вольной натаске и слыхом не слыхивал. Я знал, что с легавой нужно много потрудиться, прежде чем она научится ходить челноком. Причуяв дичь, она подойдет к ней на возможно близкое расстояние, волнуя охотника красивой и напряженной потяжкой, и наконец замрет в стойке, поджидая охотника, слыша его, но не в силах даже оглянуться, не в силах шевельнуть хвостом, дрогнуть мускулом... О таких собаках говорят: «Мертво стоит». Но чтобы добиться такой работы, надо отучить собаку от соблазна гонять птицу, не обращать внимания на мелких пташек, работать только по красной дичи. В общем, в собаке надо укротить природную страсть, заставить ее остановиться перед дичью. Для этого нужно множество всевозможных тонкостей, о которых я слышал от опытных натасчиков, хотя сам и не постиг этого искусства... Я даже был уверен, что для натаски собак, как и для укрощения диких зверей, нужен талант, особая какая-то власть над животным...

Но вот о вольной натаске впервые услышал от Бугоркова. Если я его правильно понял, то он делал как раз наоборот, то есть с первого выхода в поле позволял собаке делать все что угодно — гонять, носиться как угорелой по болоту, поднимать пташек, а за одно и бекасов — и при этом даже не пытался остановить ее, взять на шнур... Это было явным нарушением всех инструкций и пособий по натаске собак.

Я сказал:

«Такую статью в охотничьем журнале надо печатать».

«Это да... только как бы это сказать... статейка моя особая, ее петть можно».

«Петть? Ах, петть... Стихи, что ли?»

«Нет, не стихи, статейка».

«Ничего не понимаю, а как же ее петть?»

«Петть-то? Как песни поют».

«Ну, значит, слова песни? Да?»

«Может быть, так».

«Значит, стихи... Показали бы, Александр Сергеевич».

«А чего показывать, я ее наизусть знаю. Только петть неохота. — И он грозно посмотрел на меня, увидел мою улыбку, нахмурился и сказал: — Потом когда-нибудь. Музыку подобрать никто не может. А так чего ж получается? Она без музыки, как баба без ж... Ох, была у меня баба! Знаешь, как поется: «Полна пазуха сиськов!»... Померла от сердца. Я с ней хорошо жил. Ласковая была и выпить со мной любила. Во какая! Сама принесет, скатерку постелет, лучку нарежет: чистенькая,



аккуратная. «Ну,— говорит,— Александр Сергеевич, милости просим». Ах, жалко мне ее! Мало мы с ней пожили. Птичек гонял! А красную дичь не чуял».

И Бугорков ронял голову на грудь. Он это делал так естественно и выразительно, что, казалось, сам не замечал момента, когда голова его как подкошенная падала, упираясь в грудь подбородком. словно бы что-то вроде обморока или какое-то мгновенное расслабление пора- жало вдруг его, и чудилось, будто не только голова, но и сам он весь как бы опадал вдруг: плечи падали, руки — не было злого и насуплен- ного сивого мужика, а сидел передо мной горбатый, разбитый жизнью немощный дедушка, эдакий старенький тряпичный арлекин в резино- вых литых сапогах и рубашке с измятым, скрючившимся, пропотев- шим, грязным воротником над морщинистым загривком.

Я клал руку на его теплое костистое плечо, а он тихонечко тряс- ся. Это был редкой чувствительности человек.

Речка Тополта течет поблизости от Лужков. Хрящеватое черное доньшко, по которому скользит прозрачная ее вода, рябит поверх- ность, и чудится, будто река аспидной струей прыгает по камням, будто это заблудившаяся в березовых рощах горянка, занесшая сюда горячий нрав предков. Битком набитая почерневшими от тины камня- ми, скользит она среди березовых перелесков, дубняков, стиснутая сухими берегами, поросшими бессмертником, лиловым вереском и можжевельником.

Но за недалгим крутым изгибом уже не узнать речку Тополту. Высоко поднимаются над ней берега, густо заросшие мелким дубом. А сама река светлеет на песчаном доньшке, и вода ее словно бы ста- новится теплее. Смутно просматривается сквозь ровно и плавно дви- жущиеся пласты воды золотистый песок.

Многолика и непостоянна Тополта! Не знаешь, что увидишь за следующим ее изгибом, чем поразит тебя своенравная красавица, в какой оденется наряд. То она течет спокойно и плавно, затаиваясь под нависшими кустами ивняка, зеленея омутами и тихими плесами. То вдруг раздробится на мельчайшие, сверкающие под солнцем оскол- ки, шумно и торопливо побежит по мелким перекатам. То на ее пути встанет плоский островок, поросший нежно-зеленой травой, и река лениво разольется вширь, подмывая крутой лесистый и высокий бе- рег, такой высокий, что чудится, будто река течет в горном ущелье, в вечных его сумерках и холодной сырости. Змеистые корни обречен- ных дубов в застывших судорожных изгибах повисли над водой. Тем- ные стволы погибших, уйдя вершинами под воду, навеки легли в реку, вздыбив кричащие руки мертвых корней.

Место это называется Бурчало. Река здесь, напарываясь на остро- вок, и в самом деле бурчит. Струи ее несут стремительные водоворо- тики, вспучиваются вдруг глубинными силами, образуя стеклянные наплывы, проносящиеся мимо, разбегающиеся какие-то воронки, гря- ды, жгуты. Отчаянно бьется, мешая в этом бегущем кипятке черная ветка упавшего когда-то дерева, и что-то механическое видится в ее равномерных взмахах.

На берегах Тополты испокон веков селились люди, сеяли хлеб, строили мельницы. Воздвиженское — большое село с массивной ка- менной церковью, со старым кладбищем, с единственным на все клад- бище надгробием из черного лабрадора с высеченной в камне над- писью: «Здесь покоится прах священника Окулова с детьми». Это вот «с детьми» всегда смущает людей. Как это так, «с детьми»? Вообра- жение рисует печальные картины, «дети» понимаются буквально —

маленькие, пухленькие, пушистые, которые легли в землю вместе со своим батюшкой. Старухи крестятся и кланяются этому камню, хотя ни одна из них не знала священника Окулова, молод он был или стар, какие проповеди читал своим прихожанам, овцам господним.

Теперь село Воздвиженское пахнет техникой и соляжкой, гремит моторами мощных «ЗИЛов», а в церкви с погнутым крестом разместились колхозный склад, есть кладовщик, весы и набитые зерном серые мешки. Не ладаном тут уже пахнет, а холодным камнем и хлебом, а на колокольне гнездятся крикливые галки.

Воздвиженское стоит на большой дороге. Иное дело Лужки. Там даже улица заросла жилистой подорожной травой, одичали яблони, а огороды частенько желтеют по весне сплошной сурепкой, словно бы ее тут специально посеяли для какой-то корысти. Зимуют в Лужках всего лишь семь человек: Бугорков и шесть старух пенсионерок. Одна из них слывет богатой и жадной, потому как пенсию свою не тратит кроме как на хлеб, соль да на растительное масло — круглый год ест одну только тюрю, благо лук всегда хорошо родится в Лужках. Яички и те она носит на продажу. А коров в Лужках давно уже не держат, есть десяток серебристо-черных красивых коз с задумчивыми карими глазами и один крутолобый козел, принадлежащий Бугоркову и прозываемый им не иначе как дураком.

Бугорков сам испытывал его на сообразительность и убедился, что козел его дурак, зато козочка умница. Он привязывал их возле пруда на длинных веревках, а сам лежал на бережочке, любуясь тонкой мордочкой козы, ее чуткими губами, которыми она аккуратненько щипала сочную травку. Козел же ходил поодаль на привязи и блял грубым басом. Был он грязно-песочного цвета, сильный и злой, как дикий кабан, и глаза у него были похожи цветом на снятое молоко, а черные зрачки — на дохлых плавающих мух.

«Чего орешь, дурак? — лениво спрашивал Бугорков. — По рогамоту у меня получишь, быдло мордатое. Чего тебе надо? Ивушки захотел? Мужик — он всегда погорчее чего да покислее любит. Ну что, морда? Дать ивушки?»

Бугорков ломал ветки с сочными молодыми листьями. Козел быстро обглаживал лакомые побеги, выдергивая их из рук. Бугорков же сильно хлестал его голым прутом по морде. Тот пускался наутек, тащил за собой веревку, которая всей своей длинной гладила траву, словно бы каким-то серебряным серпом подкашивая ее. Начинались любимые опыты Бугоркова: козел останавливался, старик манил его зеленой веточкой, тот подходил и без опаски рвал ветку из рук, за что получал резкий удар прутом и убегал, чтобы тут же вернуться, забыв о побоях.

Таким вот эмпирическим путем Бугорков пришел к выводу, что козел у него дурак, а козочка умница, потому что, получив однажды прутом по морде, она уже не подходила, как ни манил ее хозяин. Козел же предпочитал быть избитым, лишь бы полакомиться горькими и вяжущими листочками, нежной корой молодой веточки. Бугорков сделал из этого опыта далеко идущие выводы, о чем, впрочем, не любил распространяться.

Но все свои козлиные обязанности дурак этот исполнял отменно, за что и кормил его Бугорков долгую зиму и весну.

Была у него еще гончая собака Найда, с которой он гонял зайцев и лисиц. Но она почти всю свою жизнь сидела на цепи, и вспоминал о ней Бугорков только поздней осенью, когда открывалась охота на зайцев, — вот тогда-то он и любил ее, и ласкал, и подкармливал. Летом же это было самое несчастное существо, заедаемое мухами, блохами

и комарами. Собака порой выходила из конуры, смотрела на людей слезящимися глазами, зевала со скулежом и снова пряталась во тьме вонючей конуры в ожидании нескорой еще зимы. Она, наверное, не навидела лето и боялась его, как тюрьмы.

Зимой Лужки засыпало снегом, и никаких дорог сюда не было. Старушки безвылазно жили в своих избах, а по вечерам ходили к «богачке» играть по полкопейки в истрепанное, чудом сохранившееся с незапамятных времен лото. Они так привыкли к этой игре, так любили выигрывать копейки, что если бы вдруг у них не стало этого лото, они бы очень и очень горевали. Они берегли его, как святую икону, и чуть ли не молились на истрепанные, почерневшие листы и бречащие деревянные бочоночки в холщовой мешочке. «Двадцать три — нос утри! — тихо выкрикивала какая-нибудь старушка. — Восемь — сено косим!» А другие напряженно молчали, подслеповато глядяваясь в черные цифры на картах, накрывали их всякими щепочками, картоночками или подсолнышками, пока одна из них не вскрикивала молодо-весело: «Окончила на нижней!.. Давайте-ка сюда богатство мое, давайте!» Все сокрушались по этому поводу, очень переживали свои неудачи, особенно если выигрывала «богачка». И лишь когда удача выпадала на долю почти ослепшей старушки, которая тоже принимала участие в игре, хотя следили за ее картами все вместе, бывали довольны и шумно поздравляли свою подругу, а та розовела лицом и улыбалась смущенно. Иногда же по молчаливому согласию друг с другом они нарочно проигрывали ей, особенно если слишком уж долго не везло в игре бедной слепушке.

Бугорков все эти копеечные игры презирал и занимался в холодное время года — с осени и до весны — охотой и рыбной ловлей. Всегда в его доме зимой стояли где-нибудь в уголке правильцы с натянутой заячьей шкуркой наружу желтой подсыхающей мездрой с кровавенькими дырочками от дроби.

Зато когда наступали теплые дни, когда прогретая земля зарастала молодой травой, а из скворечника уже высовывались желторотые птенцы, жизнь его круто менялась: приезжали внуки и внучки, дочери с мужьями и, конечно, старший внучок от старшего сына, то есть от первой, умершей давно жены, любезный его сердцу Николашка, Николенька, который, как казалось Бугоркову, унаследовал лучшие черты дедовского характера, хотя отец и был непутевым, болезненным мужиком, не прожившим на свете и пятидесяти годов и умершим «на нервной почве», потому что он сразу же после войны поступил в Московский экономический институт, работал плановиком в книжном издательстве и, конечно, надорвался, ибо не его это было дело — жить в суматошной Москве да еще планировать издания всяких книг, которых отродясь не было в доме старого Бугоркова. А вот Николашка ужился на гнилых отцовских корнях, пустил свои и не только не чурался деревенского рода, как его покойный отец, а наоборот, гордился им и деда своего любил — любил слушать его рассказы о прошлом, о своей прабабке — дворовой девке, которая прижила от помещика Самсонова ребенка, похожего на кучерявенького цыганчика со светленькими глазками, окрещенного Сергеем. От него пошли потом такие же смуглые и сухопарые дети, а среди них и Саша, Александр Сергеевич Бугорков собственной персоной, которому суждено было пережить братьев и сестер. Имена у них у всех были не простые, не крестьянские — Петр, Алексей, Николай, — что по тем временам было редкостью. Видно, не только Самсонова прельщала милостивая в молодости прародительница, но и батюшка тоже благоволил к ней, выбирая для ее отпрысков красивые имена в святцах.

«От дворянина я родом и от дворовой девки,— говорил Бугорков в минуты душевного разлада, когда ничто не радовало его в жизни и оставалось только это сомнительное утешенье.— У меня, может, от этого душа горит, я, может, оттого и пью, что наш род от барского бабловства на свет появился, от разврата его. Поганая кровь течет в моих жилах, оттого я и развязный такой делаюсь... Я с малолетства такой развязный был! Мог на спор в ледяной воде искупаться или с крыши спрыгнуть, аж с самого конька. Думаю, что в роду моем какие-нибудь гусары были, не иначе... Уж очень я подраться любил в молодости. И ловкий был в драке. В тебе-то этой крови барской вовсе не осталось,— говорил он внуку.— Ты вон и цветом не очень темен и характер у тебя добрый. Это хорошо. С моим характером только коз пасти или зайцев гонять, а ты молодец — усидчивый».

«А что, дед, значит, можно сказать, мы не Бугорковы? — спрашивал его внук, глядя с затаенным обожанием ему в глаза.— Можно сказать, мы Самсоновы?»

«Вполне,— соглашался с ним Бугорков в такие минуты.— Но не надо! Чем, по-твоему, дворовая девушка хуже дворянина? Она ведь за простого мужика, за Бугоркова была отдана с дитем, вот и не надо нам другой фамилии. Не надо! Вот ты человек взрослый, вот я тебе скажу — ты небось заметил одну слабинку во мне: уж очень горяч я в любви к бабам... А зачем мне это? Я и не хочу этого вовсе. Любовь эта не для нас. Нам от любви-то одна беда. А я вроде бы всю свою жизнь на это угробил. Для чего, спрашивается? Вот она где, самсоновская-то кровь поганая! Всю жизнь мою травит. Другому и горя мало, махнул рукой на бабу — и забыл про нее, а я, Николка, уважаю женщин... Вот какое неудобство вышло в жизни. А женщины, думаешь, не понимают этого? Как еще понимают! Ты сам-то хоть любишь кого-нибудь?»

«Люблю, дед!» — отвечал ему Николай Бугорков с улыбкой, представляя себе сразу же Верочку Воркуеву.

А дед глядел на него печально и отворачивался, выдыхая чуть слышные слова: «Ох, беда, беда...»

От второй жены приезжала к нему из Топольска дочь с маленькой девочкой, черненькой и игривой насмешницей Танечкой. Все перетряхивала в избе, стирала, мыла полы, терла стены можжевельником, морила клопов, ворчала на отца и на Танюшку и только дня через три успокаивалась и целыми днями пропадала на огороде.

В доме Бугоркова под дощатым медно-красным потолком крыльца жили осы в сером грушевидном мешочке, похожем на груду бумажного пепла, из которого вырывались вдруг полосатые тигрята и улетали куда-то. Вечно в этом пепле зудело летучее семейство, и звук всегда стоял такой же пронзительно-тихий, какой бывает, когда перегорают электрическая лампочка. Казалось, что там тоже было нечто похожее на раскаленный вольфрамовый волосок, в этом пепле.

Когда-то Бугорков пытался разорять гнездо, но, кроме неприятностей и злых укусов, ничего не добился — осы опять строили себе гнездо — и с некоторых пор поддерживал с ними нейтралитет. Но все-таки иной раз какая-нибудь неосторожная обнаглевшая оса кусала внуку, которая очень пугалась и молча бежала домой с ужасом и страшной обидой в глазах, а дома взрывалась воплем слезного плача, жалуясь во весь голос на полосатую вражину. Особенно много и часто кусали ее возле колодца, где всегда была влажная земля и куда осы, видимо, прилетали в жару на водопой. А внучка босая ходила туда играть в сыром песочке и наступала на кусачку.

Тогда Бугорков тоже убивал в знак протеста двух или трех заложниц, вечно ползающих и жужжащих в верхней двойной раме

окна, и клал их скорчившиеся тельца на перильце, чтобы другие осы видели его месть и помнили о его силе. Да и внучку свою успокаивал таким необычным, мягко говоря, способом: она тут же умолкала и даже улыбалась от внезапного удовольствия, видя дохлые тельца лимонно-черных красавиц.

Летом, когда в деревню приезжало много нарядной молодежи, Бугорков жил отчужденно от людей, понимая себя безнадежно составившимся, а потому и никому не интересным человеком; сторонился молодых людей, не желая быть им в тягость, боясь напомнить лишний раз и самому себе о своей необратимой и глухой старости, да и людей молодых тоже освободить от лишних раздумий на этот счет, хотя по давнему своему опыту знал, что молодежь редко задумывается о старости. И как это ни странно, совсем переставал напиваться пьяным. Так ему, видимо, приятнее было жить, сохраняя в себе, как ему казалось, свою никому неведомую молодость и молодую жажду жизни, которую он еще не утолил и которая с годами как будто бы стала сильнее мучить своей внезапной и резкой тоской по быстротечности жизни.

В минуты этой тоски он дряхлел душою, становился молчаливым и злым и его тянуло прочь от людей, словно бы где-то за неведомым изгибом Тополты, за ее высокими песчаными берегами далеко от дома он наконец-то увидит что-то такое, чего еще не успел увидеть, не успел удивиться чему-то небывалому. И в протяженной этой, долгой и вечной, как жизнь, мечте он садился где-нибудь под кустом на теплый песочек, смотрел, как крутит вода на бурчале, как режет реку упрямый островок, разглядывая парящего коршуна в жарком бесцветном небе, его раздвоенный длинный хвост, клекот его слышал, видел синие вспышки пролетающих над водой кургузых зимородков, вспоминал красивых и сильных голавлей, которых он ловил здесь когда-то на стрекозу, и как жестко упирались они в придонной воде, и как гнулось удилище и ходила натянутая леска, а он сидел тогда, совсем еще нестарый, на поваленном дубе, опустив голые ноги в струи теплой воды, и знал, что этот голавль не последний и тот, который попадется завтра на крючок, тоже далеко не последний... Теперь их мало осталось в Тополте.

Ходила об этой реке легенда, что под песчаным ее дном хранятся несметные богатства — тысячи кубометров древнего мореного дуба, достать который стоит огромных денег, и что-де американцы предлагали очистить дно реки, да наши не согласились, потому что, может быть, и у нас когда-нибудь найдется время и деньги и придет острая нужда в мореном дубе: вот тогда и вспомним о Тополте. Бугорков знал и верил в эту легенду, вполне одобряя решение наших властей.

«А что, Николаша, хорошая у тебя девушка?»

«Замечательная, дед! Лучше не бывает...»

«Ох, беда, беда! Не живут они с нами, Николашка. Вот беда так беда! Самсоновская кровь поганая губит нас своим разворотом. Ты с ней поласковее будь... Не очень-то притесняй».

«Что ты, дедушка! Я люблю ее по-настоящему».

«Беда с тобой, Николашка, беда...»

Коля Бугорков, конечно же, опять пришел к Верочке Воркуевой, пришел с самыми решительными намерениями, но, к огорчению своему, не застал ее дома. Встретила его Анастасия Сергеевна, робко-удивленная и приветливая, как и прежде. Пригласила в комнаты, и Бугорков не отказался, хотя и не готов был к какому-либо разгово-

ру с воображаемой своей и уже давно обожаемой «тещенькой», которую он еще и потому, наверное, так нежно любил, что находил в ней большое сходство с Верочкой: она так же приятно и застенчиво удивлялась, так же, как когда-то Верочка, была внимательна к нему, только отцвели, поблекли краски.

Она, как всегда, спросила первым долгом:

— Хотите перекусить? Или чаю? Вы обедали сегодня?

— Спасибо, Анастасия Сергеевна,— с грустью отвечал Бугорков, присаживаясь к столу и делая это без прежней уверенности в себе.— А что Верочка? Скоро ли она придет?

— Боюсь, что нет, Коля, у них сегодня вечер на факультете, танцульки всякие...

— Жаль,— сказал Бугорков.— Вы, наверное, знаете, она не очень-то жалует меня в последнее время. Вернее сказать, просто на порог не пускает. Сегодня мне повезло.— И он несмело усмехнулся, по-дедовски быстро вскинув глаза на Анастасию Сергеевну, которая в ответ виновато улыбнулась и, прикрыв глаза, легонечко закивала ему в знак того, что она хорошо понимает его.

Он же испытывал в эти минуты острое желание обо всем рассказать доброй Анастасии Сергеевне, повиниться перед ней, пожаловаться на Верочку и попросить о помощи. «Что же теперь делать? — сказал бы он ей.— Я ведь люблю ее». Он был почти уверен, что Анастасия Сергеевна поможет ему и уговорит дочь помириться с ним. И если бы она в эти минуты сама начала об этом разговор, он, наверное, не сдержался бы и выложил все как на духу.

Но что-то вовремя подсказало Анастасии Сергеевне уйти от продолжения этого трудного разговора, что-то, видимо, предостерегло ее об опасности, она смутилась и как о деле уже давно решенном сказала, преодолевая неловкость:

— Вы посидите тут, а я быстренько чайник... У меня сегодня торт есть.

Бугорков даже не успел возразить ей, как она уже гремела на кухне посудой, ставя чайник на газ.

Он оглядывал комнату, в которой давно уже не бывал, и не в силах был даже на миг представить себе, что сможет дальше жить без этого абажура над столом, без этого комода под красное дерево, без книжного шкафа с блекло-серыми, а некогда голубыми, наверное, шторками, без этой тяжелой хрустальной пепельницы, в которой чего только не было — и наперсток, и заколки, и катушки ниток, и старый пионерский значок, и лезвие бритвы, и мелкие монеты, и маленькие изогнутые ножницы, и даже нитка искусственного жемчуга; пепельница эта стояла на комодe, на кружевной, старинной скатерти, пожелтевшей от времени. На комодe стоял еще радиоприемник, на шкале которого было так много названий городов мира, так приятно и бархатно разливал он по вечерам музыку, так уютно светились эти далекие и близкие города и зеленый глаз индикатора, когда погашен уже верхний свет и горит розовый торшер, освещающая необыкновенное лицо милой Верочки Воркуевой,— все это вместе было таким привычным уже и незываемым, что представить себе или даже просто предположить, что всего этого может вовсе и не быть, Бугорков уже не мог. Не говоря уж о том, что Анастасию Сергеевну и Олега Петровича он любил как отца с матерью и расстаться с ними навсегда было бы для него невыносимой мукой.

В этом доме он все любил, все ему казалось преисполненным великого смысла и значения, во всем присутствовал высокий вкус, и даже огромный столетник возле окна, соком которого лечилась от плевритов Анастасия Сергеевна, казался Бугоркову особенно краси-

вым и гармоничным, не говоря уж о темно-зеленой лилии в горшке, которая изредка выбрасывала к свету большой оранжевый цветок с пушисто-желтыми тычинками на тонких струнках. Цветы стояли на специальных белых скамеечках на подоконниках, что тоже было как бы особенностью этого дома, где жила Верочка Воркуева, особенно стью комнат, оклеенных розовато-оранжевыми и зелеными обоями, в которых вечно витал запах ее духов, похожий на запах увядающей чайной розы.

Нет, Бугорков никак не мог жить без этого дома! Его душа упивалась счастьем, лишь только переступал он порог квартиры, он задышался от одного лишь прикосновения к Верочкиной руке, он мог, как четки, бесчисленное количество раз перебирать, ощупывать своими пальцами ее расслабленные пальцы, каждую подушечку, каждую морщинку на сгибе, каждый ноготь и каждую косточку под тонкой и нежной кожей. И было великим счастьем для него прикоснуться, обхватить пальцами запястье ее руки и услышать ее пульс. О большем он и мечтать не смел в то далекое время, когда она ввела его в свою семью, познакоив с родителями, когда они вдвоем оставались в дальней маленькой комнате и она позволяла ему дотронуться до руки. И то не сразу, конечно! Сначала он дотронулся до ее руки в кино, и она не отстранила ее, а, наоборот, повернулась так, чтоб ее рука удобнее легла в его руку. Он сжал эту руку и, пылая лицом, просидел весь сеанс, как когда-то Олег Воркуев со своей Настенькой, замерев на полтора часа, боясь пошевелиться, пугаясь при одной мысли, что Верочка Воркуева может вдруг раздумать и отобрать у него свою теплую и словно бы еще не заостеневшую, а сотворенную из каких-то упругих хрящиков руку. Но она не отобрала, и когда зажегся свет, лицо ее тоже пылало и поблескивало маслянистой испариной.

Вот только после этого он и при свете осмелился взять ее руку в свою.

Любовь его была так обыкновенна и до такой степени тиха, так, казалось бы, приглушены были страсти, что ни о каких потрясениях душевных не могло быть и речи. Весь вечер сидели они в комнате, он держал ее руку в своей, касался коленкой ее бедра и тут же спешил отодвинуться, чтобы не вызвать подозрений Верочки. Они почти не говорили ни о чем. Были и такие вечера, когда она читала вслух, а он держал ее руку, или, вернее, пальчики, и в буквальном смысле слова внимал каждому звуку ее голоса. Он досиживал до самого позднего часа, и Верочка частенько чуть ли не выталкивала его из квартиры, из темного коридорчика, в котором они задерживались и начинали шептаться, договариваясь о дне и часе новой встречи. И пожимали при этом руки друг другу.

Он так привык к запаху ее рук, так полюбил запах высушенных роз, так обострилось его обоняние на этот аромат, так он стал необходим ему, что он даже собирал билеты, которые Верочка имела обыкновение держать в руках во время спектакля и которые как будто бы пропитывались ею самою или, во всяком случае, какой-то ароматической ее частицей. Верочка обычно перед театром пользовалась духами, а со временем у нее кончились те, что пахли сухими розами, а таких же она не нашла в магазинах. Так вот Бугорков по запаху билетов, которые он хранил в душистой деревянной шкатулочке, по запаху каждой пары помятых бумажек мог с удивительной точностью восстановить тот вечер и цвет платья, в котором была Верочка, цвет ее улыбок, которые у нее тоже, как казалось Бугоркову, были разные: голубые, коричневые и розовые. Между прочим, больше всего он любил коричневую, теплую, домашнюю улыбку. Голубая же отчуждала, а розовая была не только для него предназначена, для Бугоркова, но и

для всех людей — самая красивая и самая опасная, как думал Бугорков, улыбка. Этим цветом Верочка пользовалась, если можно так сказать, чаще, чем всеми остальными, а иногда все цвета смешивались в ее глазах, и тогда улыбка бывала то надменно-голубая, то вдруг коричневая для него, для Бугоркова, то розовая — для всех остальных. Но и для него тоже!

Если ему не удавалось увидеть ее несколько дней подряд, он доставал по вечерам эти билеты и, зажмурившись, принюхивался к ним. Простой аромат духов, впитавшийся в бумагу, рисовал перед его мысленным взглядом Верочкину улыбку, которая как бы дорисовывала и все остальное — глаза, губы, пухловатенький нос с узенькими щелочками ноздрей и под стать носу несколько увеличенный, с точки зрения пропорций, тяжеловатый подбородок...

Но дело, конечно, не в подбородке и не в носике, ибо Бугорков и не смог бы сам описать или рассказать о тех подробностях ее лица, которые он, стоило ему услышать Верочкин запах, не видел, но в то же время словно бы и видел своей оживляющейся всякий раз, чуткой на запахи памятью. Видел и не видел, а все равно она бывала с ним рядышком в эти минуты, и ему даже казалось, что он ее чуть ли не осязает — так близка и понятна была Верочка, сотканная из запаха.

Это странное состояние влюбленного помнит, наверное, каждый. При условии, конечно, что мать природа наградила его даром любви. Но вот что непонятно: фотокарточка любимого человека вовсе не приближает, а словно бы отгораживает его от тебя непроницаемой какой-то стеной, серой дымовой завесой, как бы ни было высоко исполнительское мастерство фотографа. И если, например, Бугорков, которому Верочка подарила однажды свой небольшой портретик, смотрел на любительский этот снимок, он не испытывал и сотой доли того наслаждения, в котором он плавал, разглядывая и нюхая потертую, заворсившуюся бумажку.

Видимо, фотография моментально гасит воображение человека, не вызывает в нем ассоциаций, не затрагивает подкорковое сознание. По всей вероятности, человек просто видит второй мир, который, конечно же, бледнее первого, реального, в то время как сочиненный художником второй мир во сто крат увеличивает наше представление о первом.

Я думаю, если следовать этим моим неясным рассуждениям, то билетик в театр был в руках Бугоркова тем сочиненным им самим миром, который являлся перед внутренним его взором ярче и в то же время таинственнее, чем была сама реальность, то есть Верочка Воркуева.

Такого свойства напрочь лишена фотография, хотя Бугорков и целовал иногда Верочкино изображение, испытывая при этом благоговейный страх и не надеясь, что это когда-нибудь будет возможно в реальности.

Точно так же были сочинены все эти комоды, шкафы, радиоприемники — в общем, довольно скромный и далеко не идеальный с точки зрения вкуса мирок воркуевских комнат, одухотворенный Верочкой.

Более того, ему нравились пресные и бледные котлеты, которые готовила Анастасия Сергеевна, они были гораздо вкуснее, чем изготовленные родной матерью жесткие, прожаренные, начиненные луком духовитые котлеты. А ведь известно, что в каждой семье свои котлеты, не похожие ни на какие другие и, конечно же, самые вкусные, потому что это уже привычка, а менять привычки тяжело. Но Бугорков с легкостью изменил своим котлетам, и ему даже казалось порой, что ничего более вкусного он вообще никогда не пробовал,



особенно, если за столом сидела веселая, возбужденная Верочка и то и дело поглядывала на него с каким-то смешанным чувством удивления и благодарности, а впереди был свободный вечер, плотно затворенная дверь зеленой комнаты, свет настольной лампы, блики в глазах, светлая, очень чистая, напряженная кожа открытых до локтя рук и акварельный, неуловимо голубой рисунок вен.

Верочка Воркуева сама любила свои руки и как-то даже сказала, что у нее музыкальные пальцы с чуткими и упругими подушечками и что родители ее, конечно же, сделали большую глупость, не отдав ее с детства в музыкальную школу.

Бугорков был совершенно согласен с ней: у нее были идеальные пальцы, каких он никогда еще не встречал в жизни да и вряд ли встретит когда-нибудь.

Разумеется, сам Бугорков тоже нравился Верочке, не говоря уж об Анастасии Сергеевне: приятный, мягкий и до какой-то вкрадчивости предупредительный мальчик с голубыми глазами. Коротко стриженные ногти безукоризненной чистоты, белые их каемочки, увязшие в пухловато-розовой, тонкокожей мякоти. А взгляд его голубых глаз казался сиреневым, потому что у него были вечно усталые, набухшие нижние веки и краснота их как будто бы отражалась в глазах. Но в то же время ни капли усталости во взгляде, одно только нежное любование.

Он был одним из тех молодых людей, о которых мечтают матери взрослеющих дочерей, от всей души желающие счастья своей любимице и немножечко себе. Главное, чтоб этот молодой человек не обижал дочь, любил ее и не очень ругался с ней, когда придет этот черный час в их жизни, ну и, конечно, был бы устроен, то есть кормил бы семью.

Вот и все то «немножечко», о котором мечтают родители дочерей. А Коля Бугорков, казалось, превзошел все представления об идеальном муже для дочери и был до такой степени мил и приятен Анастасии Сергеевне, что она сама была чуточку влюблена в него, стараясь всячески внушить дочери, что это именно тот человек, который нужен ей в жизни. Она ничуть не меньше Верочки радовалась, когда приходил Бугорков или когда они вместе возвращались с позднего сеанса пить горячий чай, и как будто бы молодела, любуясь исподтишка Колей Бугорковым.

Не будет преувеличением сказать, что она была больше, чем Верочка, влюблена в него и с момента его появления в доме стала внимательна к самой себе, желая тоже понравиться ему. И очень скоро Коля Бугорков так прочно вошел в их семью, что когда они садились за стол ужинать или пить чай, а Бугоркова не было за столом, Анастасия Сергеевна, а вслед за ней и Олег Петрович спрашивали всякий раз: «А где же Коля? Почему он сегодня не пришел?» На что Верочка даже не знала, как ответить.

Дело дошло до того, что Олег Петрович однажды с усмешкой сказал Анастасии Сергеевне: «Похоже, что ты без Коли жить уже не можешь? Не гони картину, он еще мальчишка...»

«А ты знаешь,— сказала вдруг Анастасия Сергеевна, очень смутившись,— ты прав! Я мечтаю, чтоб он был Верочкиным мужем. Он мне нравится, да. И я не собираюсь этого скрывать... Да ты что? — спросила она изумленно.— Ты с ума сошел?»

Олег Петрович с добродушной издевочкой в глазах смеялся над ней, а она чувствовала, что краснеет и никак не может справиться со своим внутренним, глубинным каким-то испугом, или, вернее сказать, с испугом души, который далеко не лучшим образом называется смущением.

Само собою разумеется, что ни о какой чувственной влюбленности не могло быть и речи, хотя, конечно, бывают в жизни и такие случаи.

Но как бы там ни было, Анастасия Сергеевна, присаживаясь на диван в присутствии Буторкова, всегда самым тщательным образом скрывала от него свои колени, натягивая на них подол платья. Она в то время была еще молода и, на мой взгляд, ничуть не уступала Верочке, а в чем-то даже превосходила дочь: ей было сорок три года, но выглядела она гораздо моложе.

«Дурачок,— говорила она мужу, оправившись от испуга.— Какой же ты у меня, оказывается, дурачок!»

«Ну-у девка! — говорил и он, все еще посмеиваясь.— Был бы у нас сын да привел бы он красавицу в дом, ох и приударил бы я за ней. Я ведь старый стал, мне уже девочки нравятся, чужие дочки... Ты знаешь, чужие дочки тоже... они тоже, знаешь, будь здоров!»

«Ты — старый? Нет, ты правда дурачок! Ты самый молодой у меня, самый ревнивый...»

Они в этот вечер были одни в квартире: сосед на месяц уехал в деревню, а дочь — на дачу. И каждый из них по-своему знал о том, что они одни в большой и тихой квартире — мужчина и женщина, муж и жена,— и что им все дозволено в этот летний августовский вечер, пропахший цветущими флоксами, которые ярко и пышно розовели в глиняной обливной вазе на столе.

В такие вечера они праздновали свободу и, запирая входную дверь квартиры на засовчик, чтобы кто-нибудь из своих случайно не открыл ее ключом, вновь узнавали друг друга, как в молодости забывая обо всем на свете.

«Ты меня любишь?»

«Очень».

«Ты у меня самый сильный мужик на свете. Я тебя очень люблю. Наверное, так никто не любит, как мы с тобой любим друг друга. Мы с тобой не как муж и жена, а как любовники, да? Я твоя любовница, да?»

«Да. Не спрашивай меня больше ни о чем».

«Хорошо. Я не буду... Мне хорошо...»

И она целовала его так, как никогда не целовала, не умея этого делать раньше, и обнимала так, как никогда не умела обнимать.

Был включен телевизор, в комнату заглядывали дикторы и о чем-то рассказывали, а потом люди скакали на лошадях, лошади прыгали через препятствия, расстилаясь в воздухе и неся на спинах пригнувшихся к шее всадников... Мелькали кадры, то освещая темную комнату голубым: голубые волосы Настеньки, голубые плечи, голубые колени,— то погружая ее в темень, в августовскую вечернюю темень...

Иногда они засыпали, забыв про телевизор, лежали в голубой мерцающей зыби, словно бы луной освещенные Адам и Ева, и только за полночь кто-нибудь из них, пошатываясь в полусне, подходил к светящемуся экрану и выключал его. И все сразу проваливалось в коричневую темную ночь. После голубого света тьма казалась даже багрово-коричневой, как густое вишневое варенье. И сильно пахло флоксами.

У Анастасии Сергеевны был единственный мужчина в жизни, ее муж, и она, естественно, очень хотела, чтобы у Верочки не было причин для печальных и сомнительных перемен, так сказать, к лучшему. Она-то знала, что люди, уходя друг от друга, никогда не находят этого мифического лучшего. Даже в самые отчаянные минуты, когда жизнь казалась ей невыносимо мрачной и как будто бы не было уже никакого будущего, когда люди ставят точку и говорят короткое и ре-

шительное «хватит!»,— даже в эти минуты Анастасия Сергеевна в терпеливой надежде ждала других дней и, подгоняя время, дожидалась их. А впрочем, какие там дни! И часа не проходило, как они уже мирились. Ну, самое большое — ночь! Они просто не умели, не могли жить друг с другом и, как умудряются некоторые, не разговаривать по нескольку дней.

Анастасия Сергеевна и Олег Петрович знали, конечно, таких людей, и, как правило, эти люди не отличались большим умом. Такое странное поведение в быту было чаще всего лишь компенсацией тех бесчисленных компромиссов на службе, где они просто не осмелились бы, например, выступить с резкой критикой неправильного, с их точки зрения, решения начальства, побоялись бы бойкотировать грубого и хамоватого человека, от которого зависела бы их спокойная жизнь вне дома, и так далее и тому подобное — примеров можно было бы привести множество.

Для проявления своего уязвленного и очень раздраженного «я» у них остается только жена или только муж... И вот тут-то начинают они измываться с таким неподдельным пафосом честного и бескомпромиссного человека над женой или над мужем, что если посмотреть со стороны на стойческое их молчание, многодневное их ослепление, когда они словно бы перестают видеть и слышать друг друга, пугая детей и бабушек, может вдруг показаться, что это и в самом деле принципиальные и кристально чистые люди, не забывшие о чести.

За очень редким исключением это совсем не так. Как правило, это очень слабые духом, давно уже побежденные и, в общем-то, несчастные люди, которые никогда не согласятся, кстати сказать, с такой вот критикой. У них просто духу не хватит согласиться. Под любым предлогом они постараются оправдать себя. Вряд ли кто-нибудь сможет помочь им, и вряд ли надо жить с человеком, который способен быть рядом и, например, неделю молчать, терпеливо выдерживая пресловутое свое: «Я не разговариваю с тобой!»

Я, право, не знаю средства, как из трусливого человека сделать храброго. Медицина, кажется, тоже бессильна, хотя какие-то опыты, я слышал, уже ведутся в этом направлении. Но хотелось бы спросить, как спрашивает в подобных случаях один мой знакомый: «Вестись-то они, может быть, и ведутся, но чтобы что?»

Примерно в такой же темный августовский вечер, когда белые флоксы светились в потемках и, сливаясь с тишиной, стрекотали всюду кузнечики, ныли комары, Коля Бугорков был в гостях у Верочки в маленьком дощатом домике на крохотном участке, на котором росли маленькие яблони, крыжовник и красная смородина.

На хлипкой терраске и во всем домике было темно: Верочка ужасно боялась комаров и никогда не засыпала, если хотя бы один из них летал в комнатке, противно, мстительно и плаксиво ноя в темноте.

Она полулежала на диване, а Бугорков целовал ее. Она просила, чтобы он уходил, но он не мог этого сделать, словно бы Верочка просила его умереть или, во всяком случае, совершить какой-то противоестественный поступок...

И никто не узнал, что он ушел от нее только перед рассветом, оставив ее плачущей в темном домике. Он, конечно бы, не ушел, если бы она не прогнала его. Но она больно укусила его за плечо и с ожесточением просвистела на ухо: «Уйди, или я сейчас буду визжать... Не прикасайся ко мне... Уйди! Ты липкий от пота... Я ненавижу тебя».

Он обиделся и ушел. Но тут же вернулся.

«Верочка,— тихо сказал он,— прости меня. Я не хотел».

Он не обманывал ее — это была правда: не хотел. Она ничего не сказала ему на это, он присел опять на краешек дивана и опять стал целовать ее лицо, горячее от слез.

На этот раз она словно бы испытывала его, словно бы давала ему самому возможность убедиться в собственной лжи.

«Эх ты,— сказала она ему с презрением.— Теперь понимаешь, какой ты негодяй?»

«Понимаю,— сказал он.— Но и ты пойми... Я люблю тебя».

«А я нет. Если хочешь знать, мне просто было интересно... и все... А теперь уходи. И никогда не попадайся мне на глаза».

К станции он пришел по колено мокрый от росы. В ботинках хлюпала холодная вода. Разбухшие ботинки и тяжелые брюки были набиты семенами травы.

Мозг его отказывался что-либо понимать, усталость и сон давили на него. В тумане за станцией скрипел коростель. Продрогший, он сел в пустую холодную электричку и, оглядевшись, закрылся руками и заплакал от обиды и страха перед будущим. Ему представлялся свирепый взгляд Олега Петровича, его жуткий крик: «Негодяй! Я убью тебя!... Ей всего лишь семнадцать! Ты не имел права, негодяй!» А Верочка как будто бы смотрела из-за отцовской спины и всхлипывала, ожесточая Олега Петровича.

Боже мой, как он боялся Олега Петровича и Анастасии Сергеевны! Понимая себя чуть ли не уголовным преступником, злостным рецидивистом, безобразно липким, потным, омерзительным вурдалаком, которого теперь никто никогда не захочет, не сможет полюбить. Все теперь будут показывать на него пальцем и потихонечку говорить: «Это тот, который испортил семнадцатилетнюю девушку, никогда не любившую его».

Но, кажется, никто не обратил на него особого внимания: плачет, значит, так надо, значит, кто-нибудь умер.

Теперь Анастасия Сергеевна, накрывшая чайный стол, поставившая эмалированный и фарфоровый чайники на край стола, сидела напротив Коли Бугоркова, разливая крепкий чай в синие чашечки, украшенные сусальным золотом. От чая шел душистый парок. В фарфоровых розетках с малиновыми розочками уже громоздились ломти свежего бисквитного торта с жирными лепестками кремовых роз. Золоченые ложечки блестяли на белой скатерти. Обезумевшая от неожиданного угощения, домашняя муха чернела то на скатерти, то на торте, то на лезвии ножа, которым Анастасия Сергеевна резала торт, то улетала к окну, словно ей делалось дурно, то снова появлялась на скатерти, на торте, на ноже — была неуловима, нахальна и вездесуща и, казалось, повизгивала от удовольствия и хлопала в ладошки, дудела в свою какую-то дуду, радуясь, что никто не гонит ее.

Бугоркову даже эта муха, живущая в комнатах Воркуевых, казалась особенной и очень симпатичной, и когда Анастасия Сергеевна легким жестом согнала ее с толстого лепестка оплавившейся розы, сказав при этом с морщинкой между бровей:

— Муха какая-то противная...

— Да,— сказал он.— Такое угощение... Она, наверное, думает, что все это для нее... Я хочу сказать, что мухи, наверное, нас, людей, считают чем-то вроде обеденного стола, так сказать... Я — стол, вы — скатерть самобранка...

Он сказал это и очень смутился, заметив, как еле уловимо вздрогнули брови Анастасии Сергеевны, выразившие явное недоумение и неудовольствие.

— В том смысле,— поправился он, усугубляя положение,— что они, наверное, нас и за людей-то вовсе не считают.

— Кто?! Мухи?!

— Да.

— Господи, да что это вас сегодня мухопатия какая-то охватила? Пейте лучше чай,— сказала Анастасия Сергеевна, которой как хозяйке дома неприятен был этот разговор о мухах, словно бы ей делали эдакое вежливое замечание, намекая на нечистоплотность: дескать, вот вы торт на стол подали, а его уже мухи засидели.

Лицо ее порозовело, и муха, которую она только что почти не замечала, превратилась вдруг в нечто громадное и нестерпимое, если и не в слона, то, во всяком случае, в существо очень крупное, прожорливое и наглое.

— Как вы живете, Коля? — спросила Анастасия Сергеевна, отвлекаясь.

И он стал ей отвечать с той неловкой обстоятельностью и скукой в голосе, какая бывает только в тех случаях, если разум осеняет вдруг бесконечно важная и великая мысль, требующая немедленного воплощения и выхода на свободу.

С каким-то жарким ветром, с фарфорово-чайным сверканием и блеском, с теплым сладко-ванильным запахом ворвалось вдруг в сознание бедного Бугоркова отчаянное и до слез искреннее желание тотчас же, не медля ни минуты обо всем рассказать Анастасии Сергеевне, которая, несмотря на неприятную заминку, угощала и слушала Бугоркова с душевным расположением к нему и всепрощающей материнской улыбкой.

Ему вдруг показалось, что если он сейчас же откроет тайну, она очень обрадуется и, пускай смущенно, пускай с долей некоторого осуждения в голосе, пожмет его руку и скажет, целуя его в лоб: «Чему быть, того не миновать». Или что-нибудь вроде: «Вы, Коля, очень честный и благородный человек. Лучшего мужа я и не желала бы дочери».

В сознании его пронеслись какие-то торжествующе-радостные всхлипы, какие-то бурные и счастливые жесты, поздравления и уверения в полной солидарности, в сохранении до поры до времени тайны, пока Верочка сама не привыкнет к новому своему положению, пока она не поймет всю естественность и необходимость происшедшего с ней.

Голова его гудела, ему не хватало воздуха...

— Мы с мамой,— говорил он между тем,— ездили к дедушке. Помогали ему картошку окучивать... У него там хорошо. Купались. Река там чистая, песок горячий... Погода стояла хорошая. Землянику собирали. Я вам принесу баночку варенья. Мама наварила много варенья. Я рыбу ловил. Пил козье молоко...— Бугорков вяло улыбнулся и, совершенно обессиленный, словно бы мешки на нем возили, сказал:— А у нас с Верочкой, Анастасия Сергеевна...

Но Анастасия Сергеевна с испугом перебила его, спросив, как у маленького:

— Дедушка козочек держит?

Бугорков поднялся со стула и, прячась в густой тени абажура, перехватил вдруг над белой скатертью блестящий, жалкий какой-то серо-розовый взгляд Анастасии Сергеевны, которая с удивлением и страхом смотрела на него, как если бы он замахнулся, а она втянула бы голову в плечи перед ударом.

— Я должен вам сказать... У меня только на вас надежда... Вы, конечно поймете меня... У вас доброе сердце, и я знаю, вы любите

меня, как сына... Я понимаю, это не так-то просто услышать матери... но вы не беспокойтесь... Я, конечно, молод, но что же я могу теперь поделать, если так случилось... Я не знаю, говорила ли вам Верочка...

— Не смейте,— тихо сказала вдруг Анастасия Сергеевна и, неузнаваемо-бледная, с тоскливой вибрацией в голосе, загнанно и вкрадчиво-примирительно, как перед бездушной силой, добавила, пригрозив несмело пальчиком:— Вы не смейте, пожалуйста... Я не разрешаю... Я не хочу ничего слышать от вас. Вы меня плохо знаете, Коля. И я вас плохо... Вот ведь Вера-то ничего мне не говорила. Ведь вы предатель, Коля!

Бугорков очень испугался вдруг и, потеряв всякую власть над собой, очутился в каком-то липком и холодном тумане. Он чувствовал только огромный, поглощающий всего его без остатка, вползающий во все клеточки тела стыд, с которым он не в силах был справиться.

Как он оказался на улице, он не помнил. Ему отшибло память. И только когда он дошел до площади, к нему стало возвращаться сознание, или, вернее, способность подумать о том, что же вдруг произошло в его жизни, почему он так испугался, потеряв всякое самообладание.

Он вспомнил глаза Анастасии Сергеевны и почувствовал себя так, словно бы подумал вдруг о только что умершем человеке, свидетелем смерти которого он был,— остановившийся взгляд некогда живых глаз, застывшая блесточка боли и смертельной тоски... Последний звук голоса.

«Вы, конечно, поймете меня... У вас доброе сердце, и я знаю, вы любите меня, как сына... Я понимаю, это не так-то просто услышать матери, но вы не беспокойтесь...»

«А-а-а-а!»— жалобно кричала теперь его душа.— А-а-а-а! Как же это глупо! Как стыдно... «Вы не беспокойтесь...» А-а-а-а! Слова-то какие! Как же я мог, дубина?! Все кончено! Теперь уже все!» — панически думал он, спускаясь в туннель подземного перехода, а потом еще глубже под землю, в сверкание и гул станции метро.

Внешне он никак не проявлял своего состояния. Шел в том же темпе по переходу, как и все люди; с той же легкостью, как и другие, бежал вниз по эскалатору, привычно скользя ладонью по резиновому поручню; так же, как и все, ждал поезда и даже уступил место пожилой женщине, улыбнувшись в ответ на ее удивленную благодарность. Он, может быть, казался несколько уставшим и проголодавшимся за день, но не больше того. Никто бы и подумать не смог о тех мучениях, какие испытывал в эти минуты бедный Бугорков, о той внутренней казни, какую он совершал над собою с хладнокровием профессионального палача, о тех жалобных криках и столах, какие раздавались в эти минуты под скрытыми от посторонних глаз гудящими сводами черепа...

Впрочем, как всякий житель большого города, Коля Бугорков успел уже впитать с молоком матери это спасительное умение владеть своими эмоциями и мог бы с полным правом считать себя старым, коренным москвичом. Если и случалось ему порой проявить на людях свою слабость, как это было с ним в электричке, когда он заплакал, то это целиком и полностью можно было отнести за счет его очень чувствительной натуры. В этом смысле он был поразительно похож на своего деда.

Но в общем-то, младший Бугорков, хоть и связан был корнями с деревней, хоть и гордился добрыми корнями, пожалуй, все-таки впра-

ве был считать, что уже привычно может владеть внутренним своим не побежденным, но смиренным бесом, умея прятать от людей и от самого себя, от главного своего «я» свои страстишки, чувственность безмерную, животную злобу или радость, зависть или страх, то есть умел уже усмирить безобразное естество, которым другой человек только и живет, подчиняя неосознанное свое «я» безрассудству беса, не умея еще бороться с ним, не зная даже, как подступиться к нему, с чего начать, да и не желая этого, потому что ему с бесом своим хорошо живется. Такой человек даже скучает по бесу, если обстоятельства, которые сильнее его, вынуждают его порой жить умом и рассудком, а не страстями своими. Как запойный пьяница, мучается он тогда и страдает от такой «красивой» жизни, мечтая скорей добраться до грязного корыта, до какого-нибудь привычного безобразия, отдохнуть душой и телом...

Бугорков хорошо знал и чувствовал таких людей и не любил их очень. Еще с малолетства перенял он от отца эту нелюбовь, но в отличие от родителя не отрекся от своего естества, а исподволь научился как бы раздваиваться, возвышая главное свое «я», свой разум над неразумным, но очень древним и живучим вторым «я», хорошо понимая, что сила теперь уже не за бесом, хотя она и не убавилась ничуть со времен Адама и Евы.

Но легко сказать — понимал! А вот в жизни следовать всегда и во всем этому он еще не умел. Порой получалось так, что его очень легко обманывал бес, давая советы как будто бы весьма разумные, а на самом же деле это не разум, а естество выплескивалось наружу, и Бугорков в конце концов обнаруживал обман, хотя и было поздно.

Так и теперь, как говорится, его «попутал бес»: был уверен, что в жизни наступила именно та минута, когда нужно все рассказать чистосердечно и честно Анастасии Сергеевне и, таким образом, завоевать еще большее ее расположение к себе, а потом вернуть и Верочкину любовь. Но вышло все наоборот. То есть вышло так скверно, так неуклюже, что другой на его месте напился бы сейчас и вернулся к Анастасии Сергеевне просить прощения, а не добившись ничего, нахамил бы ей, праздно беса в душе, и кто знает, каких еще дел натворил бы в распушенности своей. Вышло и в самом деле так, что Бугорков нечаянно предал свою Верочку, раскрыв тайну ее и свою перед Анастасией Сергеевной, которая ничего не знала. Если и была у него какая-то еще надежда на мир с Верочкой, то теперь и следа ее не осталось. Теперь ему не только у родителей Верочки надо прощения вымалывать, чтобы быть опять вхожим в их дом, но, главное, у нее самой выпросить милости быть прощенным за гнусное предательство. А на это даже и надеяться невозможно, особенно после того, как он уже испытал на себе Верочкину жестокость и твердость.

А бес, подшутив над ним, показав силищу свою молодецкую, теперь как будто бы сам испугался и так крепко запал в каком-то дальнем уголке души, что его и не слышно было, хотя распустился Бугорков, он опять вылезет наружу во всем своем безобразии и начнет ахать и охать в голос, пугая людей.

Бугорков его усмирил и только изредка поругивал, перепоясывая, как кнутом, бранью: «Ну какая же ты сволочь! Какой же ты гад! Как же я ненавижу тебя! Зачем все это?! Как же ты мог, подонок, все погубить?»

Впрочем, надо сказать, что сам Бугорков ни о каком своем бесе и не подозревал.

И когда он так поругивался, то он не беса, конечно, а самого себя имел в виду — себя ненавидел и презирал.

От поленницы, освещенной солнцем, хорошо и горько пахнет. Слякотно и тепло. Звонко кукарекает петух. Свинцово-тяжелая серая льдина, присыпанная за зиму красными ольховыми опилками, панцирем укрывает темную сторону двора. Только под вечер приходит сюда солнце, и лед залежался под опилками: крепок он и каменно-тверд, как в ледничке.

Но теперь вот сочатся из-под него крохотные слюдянистые токи талой воды. Дрожащие блестки на мокрой хлюпающей земле расползаются по всему двору, а под городьбой, на чуть приметном склоне, бугрится уже маленькая, мутная струйка, которая, вырыв себе тонкое русло, скользит крученой льняной веревкой и обрывается водопадиком, журчит в комочке грязной пены.

Коля Бугорков в клетчатой рубашке стоит на ледяном панцире, курит душистую сигарету, голубой дым ярко светится в солнечном чистом воздухе. Смотрит на свои резиновые сапоги, на гляцевитую их непроницаемость, в которой играет солнце, и ощущает себя вездеходом в этой апрельской сумятице, на этой тающей, сочащейся, разжиженной, размороженной солнцем, набухшей живой ваагой земле.

И счастлив он оттого, что сам живой и здоровый стоит среди этой текучей воды, которая в душе его тоже играет всеми своими незримыми токами и струями.

В голубеньком и по-весеннему мутном небушке гложнут петушиные крики, далекие и близкие отклики, водянисто-нежные журчащие песни скворцов, которые словно бы нарочно подражают бегущим ручейкам, струйкам и хлюпанью воды. Пахнет холодной землей и провяленными на солнце ольховыми дровами, оранжевыми поленьями в грязно-серой коре с темными лишаями.

Горячая от солнечных лучей рубашка согревает Бугоркову грудь, тепло и коленям, хотя в ступни ног вливается уже холод мрачного льда, на котором он стоит, не сходя с него на язвкую, исследенную курами, жидкую землю, чтоб не занести ее на сапогах в чистую избу.

Петух опять хлопает крутыми крыльями и зычно кричит с ворчливой оттяжкой в конце крика, соблюдая свой, ему одному лишь известный черед в петушином бое. А потом яростно, радужным комом набрасывается на зазевавшуюся курицу, мнет ее, топчет, как ястреб, пригибает к земле, рвет клювом перья на темени, а она, освободившись, бежит к поленнице и, взъерошив перья, встряхивается вся от клюва до хвоста в брезгливом вздроге.

— Весна-а,— говорит Александр Сергеевич Бугорков, сидя на крылечке своего дома, и откидывает движением головы кепку на затылок.— Ручьи бегут,— продолжает он в полупьяном умилении,— щепка на щепку лезет...

И посмеивается, довольный своей шуткой. А кепка его снова сама собой падает на глаза. Александр Сергеевич запрокидывает голову и смотрит на своего внука из-под козырька.

— Ты в избе-то не бойся — кури,— говорит он ему.— Бабы ушли, так...

Бабы — родная тетка Коли Бугоркова Марья, навестившая отца в родительский день, ее дочь, внучка Александра Сергеевича, Катюша и еще одна тетка — Анна, приехавшая из Топольска и привезшая отцу три дешевенькие фарфоровые чашечки с блюдцами. И, конечно, жена Александра Сергеевича — третья по счету — мачеха. С утра ушли все на далекое отсюда воздвиженское кладбище, сестры поминать родителей, а вернее, матерей своих, которые родили их от одного и того же бугорковского семени, а Клавдия Васильевна — своих.



Видно, Анна засиделась в гостях у сводной сестры в Воздвиженском, а с ней и Клавдия Васильевна.

Вчера они, так же как теперь Александр Сергеевич, сидели на крылечке, греясь на вешнем солнышке, и тихонько, благостно переговаривались о празднике, о родительском дне, про который многие давно уже позабыли в больших городах.

— Какую возьмем-то с собой, свою или купленную?— спрашивала Мария у сестры.

— Купленную,— отвечала ей та.— Нехорошо на кладбище со своей идти.

— Верно,— соглашалась с ней Марья.— Все ж таки кладбище.

И взяли «купленную», которую привезла Анна из Топольска, иссиня-зеленую, грубую бутылку «особой», решив, что на кладбище пить самогонку грех.

А сам родитель не пьет весной, посмеивается в ответ на угощение, машет на нее, на водку, рукой, отворачивается, словно боится этого зелья, бежать готов от него, и приговаривает с усмешкой:

— У меня за зиму баки все переполнены, могу теперь все лето без заправки...

Марья вчера жаловалась на свою корову, которая яблоки лежащие отказывается есть, говорила о ней как о какой-нибудь привередливой женщине, словно бы стыдила за глаза, а ей Анна в ответ на мужа и на дочку стала жаловаться, что они, дескать, мясо вареное из супа не едят— тоже беда. Жена Александра Сергеевича тоже внесла свою лепту и пожаловалась на самолет, который удобрения рассыпает с воздуха, а от него яблони рожают плохие яблоки, которые и не лежат долго, хоть и зимние сорта.

Обо всем женщины вспомнили, всем от них досталось, а теперь они благостные и умиротворенные ушли в резиновых сапожках на кладбище, прихватив с собой водку.

Но не для того приехал сюда Коля Бугорков. Он даже понятия не имел, когда собирался к деду, что приедет как раз в родительскую субботу, в день, который чтился тут одним из самых хороших праздников.

На гвозде в сених висела старая, но еще не расстрелянная, свежая, чистая немецкая двустволка «Эммануил Меферт» шестнадцатого калибра, которую когда-то купил отец, но так и не пристранился к охоте. Эта двустволка так резко и так при этом кучно била, что если Коля Бугорков попадал на тяге в вальдшнепа, то на землю вместо красивой птицы шлепался растрепанный, мокрый от крови, дряблый комочек перьев. Она хороша была на осенних тяжелых охотах по пролетной утке и, конечно, на тетеревиных и глухариных токах.

На тока и приехал сюда Коля Бугорков и жил теперь только своей страстью, нетерпением своим, витая душою в раздетых, прохладных и уже почти освободившихся от снега лесах, в которых текли теперь последние ручьи, а на припеках цвели медуница и лиловые лесные фиалки, которые в народе зовут подснежниками.

На глухаря Коля никогда еще не ходил, и дед, не дождавшись к себе охотников, обещал внуку сводить его на ток, на котором пело в этом году четыре петуха. Он берег этот ток и часто ночевал в лесу.

Уходил из лесу, когда совсем уже рассветало и петухи прекращали песни. Из четырех глухарей был взят только один, которого разрешено было убить районному прокурору. Бугорков подвел его к глухарю, попросил прощения у птицы за предательство, и когда та упала после выстрела и побежала подраненная, волоча бурое крыло, он с бранным криком успел вскинуть свое ружье и добить птицу. Прокурор был ему очень благодарен и, уезжая, подарил красивый китай-

ский термос, похожий на большую красную елочную игрушку. Теперь, когда охота подходила к концу, Бугорков решил на свой страх и риск «отдать» еще одну птицу внуку. Внук, узнав об этом, рассмехался как сумасшедший и, хохоча и прыгая от радости, приговаривал в восторге: «Ну дед! Спасибиче!»

Приближался вечер, вернулись из Воздвиженского Анна с Клавдией Васильвной, потекли опять разговоры, зашумел самовар, засветилась керосиновая лампа, по стенам зачернели большие тени, осветились теплые лица, радость тихая и скрытая прорывалась вдруг быстрым и игривым голосом, смехом, доброй улыбкой.

— Ложись, Коля,—говорил дед,—В два часа выходить. Так отдохнуть перед охотой, чтоб рука крепкая была и глаз верный. Идти четыре километра до тока, а по весеннему лесу это знаешь—за все десять покажутся.

А Клавдия Васильвна игриво поругивала деда, с женским сердоболием жалела внука, которому дед отдохнуть мешает. И чувствовал себя Коля так хорошо, так по-младенчески радовался этим заботам о себе, что, когда я сам думаю о Коле Бугоркове, у меня сердце сжимается от тоскливой зависти. «Вот ведь,—думаю я тогда,—как повезло человеку в жизни. Живет в Москве, а в трехстах километрах живет родной дед в доме, в котором началась бугорковская фамилия и в который он приезжает чуть ли не самым желанным гостем».

Я знаю таких счастливчиков и всегда завидую им, потому что во всей России нет у меня ни одного живого родственника, а мертвые мои предки все лежат на Даниловском кладбище, а один и вовсе на берегах Немана, где застала его война. Я тоже приезжал с такими счастливчиками к какой-нибудь бабушке, живущей на окраине маленького городка. Усталые после дороги, умывались мы под рукомойником, вытирались насухо, надевали сухие рубашки и, пока бабушка готовила обед, внук ее брал буханку местного черного хлеба, тягелую и сырую, с твердой, расплывшейся, как у какого-нибудь громадного боровика, коркой, в карман засовывал бутылку, соль, стаканы, и мы шли с ним на бабушкин огород, садились под неспелыми еще, зелеными яблоками, а внук по-хозяйски дергал из земли молодой и сочный лук, чистил его, обрезал большим ножом белые корни, макал в банку с солью, мы поднимали граненые стаканы, чокались с глухим стуком и вливали в себя огненную жидкость, закусывая, как каким-нибудь яблоком, белосочным, хрустящим луком и черным ломтем хлеба.

А бабушка уже звала к столу есть картошку в мундире. Мы выпрастывали свои мешки с московскими гостинцами, со всякими сырами, колбасами, рыбными консервами, грудой наваливали все это на стол и выпивали остаток водки вместе с бабушкой, которая свой «наперсток» тоже, сладко зажмурившись, выпивала и закусывала колбасой. Брала она колбасу со стола с такой деликатностью, с такой, я бы даже сказал, робостью, что оба мы, заметив это, возмущенно пододвигали бабушке все, что было у нас на столе, и потчевали ее с такой хмельной щедростью, от которой старушка терялась совсем и вела себя, как маленькая девочка, попавшая на мужское пиршество.

Ах, как я завидовал своему другу, когда он в коричневой полутьме родительского дома ходил в шерстяных носках по истертым, накрытым домоткаными дорожками половицам, по-хозяйски раскрывал скрипучие дверцы буфета, доставал из ящичка какую-нибудь иголку или ножницы или заводил будильник старой работы, который наигрывал чуть слышно какую-то очень знакомую, но и совсем незнакомую мелодию, колко рождая свои звуки, просыпаться под которые было истинным удовольствием; колокольчики этой тихой музыки

словно бы будили тебя, но не настаивали на том, чтобы ты обязательно и немедленно поднимался с постели. Они как бы говорили: «Вот и наступил тот час, когда ты хотел проснуться. Мы не подвели тебя, мы напоминаем, что время уже вставать, но если ты не хочешь, мы не будем тебе мешать, мы можем и убаюкать тебя».

Когда так нежно будят, хочется улыбнуться и с томительно-сладким потягом вскочить на ноги, чтобы встретить зарю в бодрости и чистоте.

Вот и завидовал я Коле Бугоркову, живым его и крепким корням, ощущая себя рядом с ним, с темно-зеленым дубком, подрезанным, подрубленным тополем, выросшим в дырке среди асфальта, на маленьком земляном пятачке, укрытом чугунной решеткой. В такие минуты отчаяния я ненавижу свой город, сутолоку его улиц, дым, пыль, шум, сеть проводов над головой, камень, в который крепко вцепились мои корни, и чувствую себя в такие минуты большим ностальгией — вырваться из каменных объятий, убежать, спрятаться, отсидеться где-нибудь в тишине...

«Тишины хочу!!!»

И еще тоскливее и горше становится, когда поймешь вдруг в тысячный раз, что бежать-то и некуда. Некуда бежать! Растерял друзей, у которых бабушки, да и бабушек свезли на погосты. А к чужим людям теперь не поедешь. Не в каждую избу теперь пустят не только пожить, но и переночевать-то за рублик. Было время, когда и задаром пускали, не спрашивая, кто ты и почему тебе негде укрыться ночью. Теперь телевизоры, коротковолновые приемники, холодильники, серванты, а то и автомашина во дворе под навесом: всё теперь люди знают, а путник, стучающийся перед ночью в окно или в дверь, не удивит теперь никого и никого не обрадует — грязь в избу, неудобства, стесненность, да и много их теперь, туристов этих, шляется по Руси.

Туристом не хочется прийти к людям! Вот и некуда бежать стало. Есть, конечно, исключения, да и рублик на дороге просто так не валяется. Но когда за рублик пускают, ты не гость для хозяев, а дачник. Совсем другое к тебе отношение, без любви и любопытства, и не живет тебе у таких людей, тянет опять домой, на свой высокий этаж, в свое тепло, на свой скрипучий диван.

Но и тоже надо сказать: когда это было, чтоб горожанин какой-нибудь взял да и пустил в квартиру свою незнакомого человека, который проездом оказался, допустим, в Москве без крыши над головой? Никогда этого не было! И я далек от мысли упрекать кого-нибудь из людей, не пустивших меня в свой деревянный дом.

Палатка теперь мой дом, парусиновая нора с тусклым окошечком, или гостиничный номер, а уж в лучшем случае раскладушка в избе какого-нибудь егеря вроде Александра Сергеевича Бугоркова.

Он все-таки заставил внука лечь. Но раскладушка, на которую улегся Коля, попискивала пружинами, и ему не спалось.

К вечеру неожиданно подул ветер, набежали облака, плотные и сырые, и заря оранжевой щелью светилась на закате, не предвещая погоды. А к ночи и совсем стало плохо: пошел редкий, рваный дождичек, постукивая в темноте по стеклам. С шипением набрасывался на кровлю, тормозил старый дом, но вдруг утихал, и тогда Коля с надеждой вслушивался в эту короткую и мучительно желанную тишину. Но ветер опять проносился за окнами, опять постукивали дождевые капли, и опять пищали пружины раскладушки, на которой ворочался без сна, вздыхал и маялся Коля Бугорков.

Фонариком он изредка освещал часы на руке и с тоскою убеждался всякий раз, что время идет с такой медлительностью, от

которой можно просто взбеситься. Иной раз он пытался представить себе огромный шар Земли и ту его часть, которая теперь во тьме, и это ему удавалось: он словно бы слышал, с какой бешеной скоростью крутится громадный шар, а ветер за окном усиливал это впечатление, будто бы ветер оттого и шумел, что шар крутился. Так от скорого поезда, когда едешь зимой по заснеженным степям, поднимается метелица и все вокруг словно бы курится от ветра, мимо окон несутся снежинки, и покачиваются придорожные кусты, хотя светит солнце, а степь лежит под снегом в зимнем морозном покое.

Ему было странно подумать так о Земле и о ветре, который уже не порывами дул, а ровно и упруго, уже не игрался котенком, а вырос, заматерел и стал скучной, невеселой кошкой с презрительными глазами.

Он очень боялся этого ветра! Мысли его улетали в мрачный лес, в его монотонное елово-березовое гуденье, он внутренним своим взором видел угрюмых глухарей, сидевших на качающихся ветвях, и молил их не обращать внимания на ветер и дождик. «Ну пожалуйста,— твердил он как заклинание,— сделайте милость! Я вас очень прошу, запойте утром. Милые глухарики, ну что вам этот ветер? Вы ведь старые, испытанные бойцы, у вас мохнатые лапы и черные бороды, вам ли бояться какого-то дождика и ветерка! Спойте, пожалуйста. Для меня. Я никогда еще не слышал вашей песни. Неужели вы не споете?! Глухарики, милые!»

Около часа ночи он не выдержал и поднялся. Дед спал на печке. Коля тихо оделся. В носках прошел на кухню, фонариком осветил керосиновую лампу, ибо электричества не было уже четвертый день, вынул стекло, пальцем снял с фитиля керосинно-горелый, едко пахнувший нагар и, чиркнув спичкой, которая с каким-то, казалось, реактивным шумом зажглась в тишине спящего дома, поджег фитиль. Стекло выбелило пламя, разъярило его, а Коля в его свете достал с печи болотные сапоги, резина которых размякла от тепла, и обулся.

— Не спал? — бодро спросил дед, и Коля услышал улыбку в его голосе.— Мне тоже чего-то... Ну давай вставать... Времени-то сколько?

— Час уже,— шепотом ответил Коля, весь сжимаясь от радости. Ах, как он любил деда в эти минуты!

— Рановато... Ну да пока чай разогреем... пока что...

И дед словно бы стек с печи, бесшумно и по-молодому ловко опустился на лавку, а с лавки на остывший пол. На ночь он не раздевался, лег в мятых своих перемятых брюках, которые уже даже и не казались мятыми, и в вечной своей рубашке в клетку, в ковбойке, как почему-то называются такие рубашки.

— А зачем чай-то? — спросил Коля с сомнением.— Потом поьем... Дед, а ветер-то! всю ночь шумит. Как думаешь, ничего?

Александр Сергеевич не смог, конечно, огорчить внука, сказав ему, что это не только «ничего», а вовсе даже очень плохо для охоты, глухари вообще могут не петь в такую погоду. Прикинулся бодрячком и, зевая, сказал:

— А чего им ветер! Запоют! А без чая, Коленька, нельзя, милый. Ночью придем на ток и там часок еще просидим, пока рассветнет... Ночи холодные.

И дед, вытащив из печи теплый чайник, стал разжигать керосинку, от которой тоже резко запахло жженым фитилем и копотью.

Босые ступни ног у деда были белые-белые, а стопа была легкая и жилисто-упругая, с длинными и тоже упругими пальцами, с белыми и чистыми ногтями.

Коля даже улыбнулся, разглядывая дедовские ноги, и сказал с восхищением:

— Во, дед, интересно! У меня точь-в-точь такие же ноги, как у тебя. У отца, я помню, толстые были, а у нас с тобой, дед, узкие... Почему это?

— Потому что отец твой в мать пошел, в покойницу, в твою бабушку, а ты в меня! Это, Коль, тоже, я думаю, барская кровь в нас с тобой. Отчего я охоту так люблю и ты любишь, а отец твой не любил... Хорошо хоть, что ружье купил. Видишь, дело-то какое! Все к одному сходится, к самсоновской крови... А ты видишь как верно подметил! Молодец. Я и не думал об этом никогда, а ведь у отца твоего, верно, нога была, как кормовая свекла с пальцами. Ну ничего, ничего, Коленька, милый... Мы еще побегаем на своих-то ножках, человеку ноги легкие нужны, не топтать землю, а ходить по ней... Вот мы и ходим с тобой. Бегаем на охоту. А глухари, не бойся, запоют! Куда им деваться?! Весна, так что ж тут поделаешь — надо петь. Я и то весной веселей делаюсь, хоть и спеты мои песенки все до одной.

— Э-эй, песельники,— в полудреме сказала из комнаты Клавдия Васильевна.— Супу бы поели... Куда вас несет, господи. Ночь на дворе, а они... та-та-та, та-та-та... Скоро вы уйдете-то?

— Скоро, скоро... Спи давай. Нечего!

Чайник долго зудел на тусклой керосинке с прокопченной слюдой, долго из носика курился парок, а вода никак не закипала.

— А чего его ждать-то! — нетерпеливо восклицал шепотком Коля.— Давай так пить, вода-то ведь кипяченая.

— Успеем, Коленька, все успеем. И чайку попить и на ток прийти вовремя. А как же! Сейчас он закипит, мы чайку бросим в заварку. Без горячего чаю плохо. Э-э, брат, а чего я тебя спросить-то все время хочу, да забываю. Дробь-то у тебя какая в патронах? Нолёвка-то есть? А?

— Нету, дед...

— Вот те и собра-ались!

— Да не бойся ты, де! У меня ружье бьет так, что и двойка будет в самый раз.

— Мелковата, мелковата... Ай-яй-яй! Как же это я вчера-то сплывал? Мелковата дробь, а у меня калибр-то двенадцатый... Давай-ка сейчас быстренько перезарядим, а? Ну-кась подойдешь, ударишь, а он улетит, а? И ляжет костями где-нибудь... Жалко.

— Не бойся, говорю. Не ляжет... Он у меня тут же ляжет. Мне бы только услышать его, мне бы... Убить, конечно бы, но и услышать, подойти к нему... А убить-то... Убить — это... вообще, счастье... Не верю я в это. Не буду я перезаряжать! Не буду, дед! Говорю тебе, у меня ружье гениальное. Я же знаю!

— Ну смотри, Коленька, дело хозяйское. А может, и правда супу съешь?

Опять в тишину вкрался сонный голос Клавдии Васильевны:

— Ты не спрашивал бы, налил парню, он бы и похлебал.

Но Коля Бугорков ото всего отказался. Выпил только чашку крепкого сладкого чая и съел плавленый сырок без хлеба.

Без десяти два они, уже не таясь в тишине, не осторожничая, глухо протопали в своих резинах к двери, шумно растворили ее и плотно захлопнули за собой. Коля Бугорков снял со стены в сенях холодное и приятно тяжелое, ласковое своими линиями, своей ореховой плотностью и полировкой ружье и вслед за дедом вышел в темень весенней ночи.

— Фу, черт,— сказал он,— какой ветер сильный, а?

— Это он здесь сильный,— откликнулся Александр Сергеевич.— В лесу-то потише будет.

И они, примолкнув, пошли через луг. Дед шел впереди. Жидень-

кий свет его фонарика мазал желтым цветом кочкастое травяное бездорожье, выхватывая из тьмы то золотые пушинки какого-то куста, то рябщую под ветром лужу. Короткие голенища литых сапог пошлепывали по тощим его икрам, и слышно было, как что-то словно бы хрюкало в них внутри. Коля Бугорков тоже светил перед собой, то и дело поглядывая на небо, надеясь увидеть в его темноте хоть одну какую-нибудь звездочку.

— Ладно, хоть дождя нет,— громко сказал он.

— Да,— неохотно отозвался Александр Сергеевич, и Коля понял, что надо помолчать: дед не любил разговаривать на ходу.

Когда они подходили к лесу, с какой-то лужи поднялась с шумом пара кряковых уток. Утка хрипло закричала от испуга, и Коля успел лучиком света мазнуть по ней летящей: увидел изогнутую шею, напряженно машущие косые крылья, блеснувшую бусинку глаза... Но утка тут же растворилась во тьме, а ветер отнес ее крик и посвистывание крыльев.

— Дед, утки! — сказал он в восторге.

Но дед промолчал. Он еще с вечера все подробно объяснил внуку, постарался как можно точнее передать песню глухаря, его щелканье, точенье и даже заставил его под это свое точенье пройти по комнате, смотрел, как внук ногу ставит, и недовольно морщился, ругался, когда тот не успевал вовремя остановиться. «Ну все,— говорил он ворчливо,— можешь идти домой. Глухарь слетел. Кто ж так ходит! Ты ходи так.— И он показывал, как надо подходить, как ногу ставить, чтоб успеть вовремя замереть на месте.— Сначала ставь пятку, а потом всю стопу, как на колесах иди, и в коленках пружинь. Вот так... Да не так, господи! Ты тут не чечетку отбивай, а говорят тебе, как на колесах, мягко, перекатываясь с ноги на ногу... Во-от! Ну еще давай... Так... А ружье как держишь? Руки где? Ружье стволами вверх и чтоб казенник на уровне подбородка был, чтоб это не палка какая, а оружие твое, рука твоя, понял? Весь, как рысь, во! Как кошка. Не крадись, не крадись!.. Ты иди и поспешай, чего ждаться-то! Тут только успевай: раз-два — и стоп! Стоп! Вот...» Женщины смеялись, как дед внука своего обучал, Коля тоже не мог без улыбки исполнять все эти движения посреди избы, а дед был серьезен и строг, как и подобает быть учителю.

Теперь же, войдя в лес, он молчал. Лес во тьме был неузнаваемо глух и суров. Свет фонариков усиливал это впечатление: поваленная елка на пути, растопырившая сухие свои сучья, которые пепельными щупальцами перекрывали все освещаемое пространство впереди, казалась непроходимой преградой. Но дед лез в эти сучья, в серую их, колючую паутину и каким-то чудом оказывался уже по ту сторону елки. А следом проходил и Коля, хотя и царапали ему лицо ломкие и цепкие, как проволока, ветви. Стволы засахарившихся старых елей казались такими огромными, каких никогда еще и не видел в своей жизни Бугорков, хотя и ходил по этому лесу множество раз. Утопающие в мокрых мхах ноги не находили опоры; чудилось, будто они с дедом зашли в болото, в несусветную какую-то глухомань, в чертовы кулижки.

Хотя и пяти минут не прошло с тех пор, как они углубились в лес, Коля Бугорков уже не мог понять, в какой лес они зашли, в каком направлении идут и где теперь деревня Лужки, где дорога и где река Тополта. Он удивлялся все больше и больше на деда, который, ни разу не замешкавшись, шел и шел по этому страшному бурелому, которого отродясь не видел Коля в здешних чистых лесах, ломился, как лось, сквозь болота, шваркал селезнем на пластах жесткого и рассыпчатого, как белый речной песок, снега, уводя его в неведомую

глушь, в мрачное ведьмино царство... И странное дело, он впервые в жизни почувствовал свою вторичность рядом с дедом, свою беспомощность и подспудный свой, потенциальный страх, который тут же схватил бы его за грудки, если бы вдруг старый его дед взял бы да и исчез, не дай бог, оставив его одного в этой новоявленной тайге, в этом жутковатом, глухо шумящем невидимыми вершинами, черном, буерачном лесу, среди бесконечных, громадных серых паутин мертвых деревьев, упавших в мокрые мхи и поросших непроходимым кустарником, который все время мельтешил в желтом свете электрического фонарика, хлестал по лицу, по рукам, по одежде. Как до сих пор он еще не свалился, не выколол глаза, Бугорков уже и не понимал. Он потерял всякое ощущение времени и места. Ему казалось, что они в который уж раз переходят одну и ту же упавшую ель, продираясь сквозь ее сучья, возвращаются и опять лезут через нее или под ней, чтобы снова вернуться и проделать то же самое, хотя, конечно, он понимал с каким-то испуганным восхищением, что они идут все дальше и дальше в лес.

«Как же дед один-то тут ходит по ночам! Ай да дед! — думал он, запыхавшись от скорого хода. — Не боится и дорогу не теряет! Вот это дедуля! Ай да он! Ну дед — не знал я тебя, оказывается. Как же я люблю-то тебя, дед!»

С восторгом и удивлением поспешал он за дедом, стараясь не отставать, но и не идти слишком близко, чтоб не хлестались ветви, и были минуты, когда ему чудилось невероятное: словно бы они с дедом не в ночном лесу, а в мрачной пещере со всякими там сталактитами и сталагмитами, и нет конца и края этой подземной дыре, освещаемой хилыми лучиками карманных фонарей, бегающими, шныряющими, дрожащими крыльями света.

А дед вдруг остановился и, когда Коля поравнялся с ним, сказал бешеным каким-то шепотом:

— Теперь потише иди. Недалеко теперь. Ветками-то не трещи.

— Да как же тут... не потрещишь-то? — тоже шепотом спросил внук, но тут же пообещал: — Ладно, постараюсь.

— Теперь почище лес пойдет. Березы, а среди берез елки. Вот... какой ток у меня. Не ток, а театр. Хочешь курить, кури сейчас, там нельзя. — И дед качнул головой во тьму в том направлении, где находился глухаринный ток.

В глотке все пересохло у Бугоркова, он с непривычки запарился, но близость тока так ошеломила его, а запрет на курение, который, как приказ, прозвучал в дедовском бурном шепоте, так напряг все его мышцы, нервы, жилы, так вдруг обострил слух, зрение и даже обоняние, что все это вместе словно бы пригвоздило Бугоркова к земле и он, ликуя душою, поверил вдруг в удачу.

— Дед! — сказал он с восхищением. — Дедушка, неужели услышу?

— Запоем, так услышишь, — охладил его дед. — Ну, отдышался? Закуривай тогда, угощай меня, покурим тут и потихонечку с богом.

И они закурили. Дым сигареты показался Бугоркову вкусным и очень полезным, как если бы он в жуткой жажде принял губами к холодному роднику, тупея от небывалого счастья — счастья обладания неиссякаемой водой, радости проникновения этой живой воды в сознание, в душу, а потом уже в жадный живот. Так и сигарета — последняя перед великой охотой — была для него родниковой водой, счастливым и блаженным отупением.

Что-то похожее на священный страх испытывал Коля Бугорков в эти летящие минуты передышки, словно бы все, что связывало его с прежней жизнью, осталось за темным порогом лесной опушки, а теперь начиналась новая, потусторонняя какая-то жизнь, словно бы в

том направлении, куда кивком показал Александр Сергеевич, лес волшебным образом расступился и на озаренной солнечным светом поляне, на зеленых ветвях сидели райские птицы невиданной красоты, одну из которых он очень хотел убить.

В общем-то, так оно и было на самом деле. Он пришел сюда с заряженным ружьем, чтобы вмешаться в таинственную жизнь леса, нарушить извечный ход этой жизни, убить большого и сильного самца, отсечь какую-то сложную и долго длившуюся во времени, запланированную, так сказать, природой живую ветвь птичьей родословной. Убить, чтобы никогда потом не узнать последствий этого насилия, никогда даже не задуматься об этом и не вздрогнуть от ужаса содеянного.

Но в эти минуты Коля Бугорков был так далек от подобных мыслей, так его волновала близость тока, этого древнего рыцарского ристалища, что, если бы даже ему в эти минуты пришло в голову нечто подобное, он наверняка бы усмехнулся над своей неожиданной блажью и ни одна жилка не дрогнула бы в нем при мысли о каком-то насилии над жизнью. Он чувствовал себя в эти минуты так, точно вся его прежняя жизнь была лишь подготовкой к этому приобщению к клану великих охотников, познавших удачу на глухаринном току.

Теперь он хорошо слышал шум ветра в вершинах леса и слышал еще торопливое гулъканье и бормотанье бегущей где-то поблизости талой воды, которая, казалось, бурлила где-то землей или в каком-то глубоком овраге. А сам он как бы повис во тьме между этими звуками, земным и небесным, между тяжестью мутной воды и легкостью ветра. У него даже голова кружилась от острого ощущения своей невесомости.

Но весь этот трепет, расслабленно-приподнятое состояние души — все это прошло, как только Александр Сергеевич, придавив ногой окурок, тихо сказал:

— Ну, пошли..

Он сказал это так, будто бы после тяжелых раздумий нашел наконец-то единственно возможное решение.

А лес вскоре поредел, исчезли мхи под ногами и бурелом, и засветилась вокруг фосфоресцирующая во тьме березовая кора. Дед погасил свой фонарик. То же сделал и Коля, с удивлением и радостью увидев, а вернее, почувствовав, ощутив неприметные признаки пасмурного рассвета в лесу — во тьме стали не то чтобы видны, но уже как бы ощутимы все препятствия на пути, словно бы в сознании включилась какая-то сверхчувствительная система, какой-то неведомый локатор, который посылал вперед свои импульсы, а импульсы эти отражались от круглых предметов — стволов старых берез и черных пятен огромных елей, хотя тонкие ветви кустов еще прятались от этих импульсов, не отражали их, не прощупывались ими.

Тьма еще была непроглядная в лесу. Но идти уже стало легче.

И когда дед, ни слова не говоря, остановился вдруг возле сросшихся берез и быстро присел, привалился к ним спиной, жестом приглашая внука сделать то же самое, Коля Бугорков, напрягая зрение, с невольным испугом огляделся вокруг и так же быстро привалился боком к шершавому комельку этих лесных сиамских сестер.

— Поспи полчаса, пока рассветёт,— прошептал дед и сам как бы вполз по уши в свою перешитую из солдатской шинели, подбитую ватой, топорщащуюся куртку.

— Не-е-е, что ты, де! — шепотом отозвался Коля, с трудом различая контуры березовых стволов, которые уже были чуть светлее редющей тьмы и елового мрака, черных этих провалов во тьме, которые были елями.



Дед, уйдя подбородком в нутряное, духовитое тепло куртки, засопел сонно, а потом и задышал ровно и спокойно — уснул, словно бы ушел от внука, оставив его одного в лесу.

А Коля Бугорков даже дышать боялся полной грудью, как будто глухари сидели у него над головой. Но, пообвыкнув, привалился к деду, ощутив пустоту вздыбившегося суконного плеча куртки, ощутил землю под собой, холодную прошлогоднюю траву, брусничные листья. Все это было хоть и влажным, но не мокрым и пахло приятно: смешивались запахи сладкой и терпкой коры, холодной земли и травяной прели.

Скучно шумел лес, рождая в душе тоскливые сомнения, и Коле Бугоркову стало казаться, что в такую погоду глухари вообще никогда не поют, а потому дед так легко и просто уснул, зная наперед о неудаче. И он старался утешить себя, что весь этот ночной переход уже и есть охота, а то, что они теперь сидят с дедом в ожидании рассвета — это тоже охота, тоже надежда на удачу, та надежда, из которой, в общем-то, и состоит вся охота, вся эта древняя страсть. «А убью или нет,— думал он,— это уже не важно. Ну не убью, что от этого изменится?»

Он думал, что ничего от этого не изменится, совершенно забыв о том, что в случае его неудачи останется в живых редкая, реликтовая птица, а уж она-то не будет лишней на нашем задымленном шарике.

Он это сбрасывал со счетов, думая в эти минуты только о своей удаче или неудаче. Он знал из рассказов деда, что здесь — именно здесь! — пели с весны четыре глухаря, а теперь их осталось три. Но в эти минуты он с отчаянием думал, что у него нет никаких шансов убить одного из них.

Еще одного!

Всего лишь одного!

Еще одного, который бы запел на рассвете где-то тут, поблизости, может быть, за этими черными пирамидами старых елей. Лишь бы услышать, как он поет!

Вряд ли кто-нибудь, кроме охотников, назвал бы звуки, издаваемые токующим глухарем, песней. Смесь какого-то вибрирующего шипения, шелестяще-шуршащего змеиного скольжения, восторженного захлеба и вдруг настороженного, почти без перехода токанья, четких ударов по басовым, ксилофонным пластинам, короткий и такой же восторженный пробег по этим клавишам, слитный и возносящийся к небесам перезвон, выливающийся в новый и непередаваемо краткий, захлебывающийся от восхищения и восторга, стремительно шелестящий звук, который опять отсекается слитным и сочным токаньем.

Я уверен, что далеко не все охотники, прочитав эти строки, вполне согласятся со мной. У каждого из них своя глухариня песня, услышанная по-своему, и так же непередаваема она, как и та, которую слышал когда-то я.

Так и Коля Бугорков, которого от возбуждения бил уже озноб, ждал на рассвете свою песню, о которой он тоже никому не сможет рассказать, чтобы слушающий его человек вполне мог бы, ни разу не слышав глухаря, представить себе, что это такое. О ней можно напомнить человеку! Только тогда она снова зазвучит в душе.

Пискнула лесная мышь, зашуршала в траве, в листьях и снова сдавленно пропищала. Было холодно, и хотелось курить. Стали отчетливо уже видны стволы берез и плоскость земли.

Бугорков чутко ловил каждый звук леса. Иногда доносились сверху тихие и глухие постукивания качающихся веток. Дед оказался прав: в лесу было значительно тише, чем на открытом месте, ветер

гулял только в вершинах, а внизу, как под какой-то шумовой крышей, таилась в каждой травинке, листике, веточке настороженная тишина — слышно было шуршанье мыши, дыхание деда.

Хрустнула ветка за темными елями: лось или кабан, а может быть, белячок вышел на свадебные свои игрища.

И вдруг... Нет, это опять стукнулись ветки, раскачиваемые ветром. Далеко... И опять застучали, словно бы кто-то их нарочно потряс... А может быть, это не ветки?

Коля Бугорков весь напрягся, затаил дыхание, вытянулся в том направлении, где опять и опять раздались далекие и странные звуки, очень похожие на постукивание веток. Но ведь это было так далеко! Какие же ветки должны были там стучать, чтобы он мог отчетливо слышать их стук?

«Нет, это, конечно, не глухарь... Не-ет... Неужели кто-то идет, кто-то ломает ветки? Зачем? Человек? Непохоже... Кто же тогда?»

— Дед! — шепотом сказал Коля, толкнув его в бок. — Кто-то там? Слышишь?! Вон в том направлении. Слышишь, хрустит... Идет, что ли, кто-то?

Александр Сергеевич хлопнул носом, вылез из своей куртки и, раскрыв рот, подняв брови, прислушался на мгновение и тут же с каким-то несонным, привычным азартом стал подниматься, ухватив внука за плечо, опираясь на него, и прошептал вдруг совершенно невозможное, совершенно несоответствующее всем тем представлениям, которые уже сложились в сознании Коли о глухариней песне:

— О-он!

Это круглое, долгое и восторженное «о» подбросило Колю Бугоркова, он сжал в руках ружье, передвинул предохранитель, услышав звонкий, металлический щелчок, а дед, который тоже уже был на ногах, ухватил его за рукав.

— Ты куда?! Тихо! — сказал с такой строгостью и страстью, что Коля сразу подчинился ему. — Пусть распоеется, а потом пойдём...

— Дед! — взмолился Коля. — А ты не ходи! Я один пойду...

— Тихо ты, дурак! Чего орешь? — злобно прошептал дед. — Он ведь недалеко, шагов триста, может... А ты орешь — один, один!.. Один ты не подойдешь.

В нем вдруг проснулся охотник. Он забыл о нежных, родственных чувствах, которые питал к внуку, он увидел в нем соперника, человека, который хотел отнять у него последнюю радость в жизни, хотел, пользуясь молодостью своей и глупой силой, оттолкнуть его, не дать насладиться, почувствовать себя счастливым, сильным и ловким мужчиной, точно не птица, а женщина стала между ними.

— Тихо! — снова сиплым шепотом приказал Александр Сергеевич, отстраняя внука, надавливая ему на грудь растопыренными пальцами. — Стой... Темно еще.

Коля в ужасе огляделся. Увидел вершины берез и елок на светлеющем грязно-сизом небе.

— Какой темно! — прошептал он со злостью. — Я уже вижу все! Это ты не видишь, а я вижу. Я пойду... Не держи меня, дед! И не ходи! Сиди тут...

Он уже отчетливо слышал теперь за шумом ветра щелканье глухаря, а вернее, какой-то чередующийся, то отдаляющийся, то вновь приближающийся перестук, никогда еще в жизни не слышанный и ни на что не похожий... Но все-таки что-то сухое и деревянное слышалось в этом стуке, как будто кто-то перебирал в пальцах гигантские коклюшки, выточенные из можжевельника, просохшие и отполированные до блеска.

А Александр Сергеевич словно бы очнулся от своей страсти, от

минутного помрачения и, обмякнув душою, стал шепотом просить внука:

— Дурачок. Мне ведь не жалко. У тебя, конечно, глаза позорче моих, но ведь он недалеко! Подойдешь, а увидеть не увидишь. Будешь стоять, дурачок! Подожди минуток пять — пойдешь. Ладно. Обещал, так пойдешь. А сейчас тихо! Стой, Колька... Наш будет... Ишь как распелся... Раз уж так поет — будет петь... Не бросит.

Как услышал Коля, что глухарь и бросить, оказывается, может песню, так опять в нем все напряглось, и его помимо воли опять потянуло туда, где пел глухарь, туда, к вершинам леса, словно бы между ним и глухарем протянулась вдруг невидимая и непрочная веревка от его ног и вверх по восходящей линии, к тем смутно и мрачно качающимся вершинам деревьев, которые уже были видны на фоне хмурого рассветного неба.

И он пошел. Дед с ним ничего уже не мог поделать и остался за его спиной. Коля опять услышал, теперь уже с недоумением и страхом, почти не понимая деда:

— Ах дурак! Не так ведь идешь!..

Но для него уже все пропало: дед, его страстный и отчаянный, злобный шепот. Он слышал только странный звук и внутренним взором видел ту самую веревку, по которой якобы шел, оступаясь, теряя равновесие и снова обретая его, — шел туда, к рассветному небу, в котором бился этот звук.

Он все время помнил о том, что надо идти под песню, под «точень», как говорил дед, но он не слышал песни и шел в паузах между щелканьем, пока вдруг не расслышал какое-то скоропалительное чертыханье птицы, которое, не успев начаться, тут же исчезло, будто птица ругалась шепотом. Когда он услышал этот звук, он остановился, задохнувшись от возбуждения, и, отдышавшись, попытался успокоиться, не торопиться и подладиться под эту песню, которая теперь уже напоминала ему не чертыханье, а очень быстрое туда и обратно точение ножа на бруске. А токанье было уже так хорошо слышно, что казалось, будто глухарь пел совсем рядом.

Он снова пошел, как учил его дед: раз-два, с пятки на стопу, с пятки на стопу — стоп! И получилось вдруг так, что это «с пятки на стопу, с пятки на стопу — стоп!» стало песней, именно так она теперь и зазвучала в его сознании, если попробовать передать ее словами. Когда ему это так послышалось и удалось почувствовать песню в себе, он уже с необыкновенной легкостью и даже ловкостью стал приближаться к птице, мысленно твердя это открывшееся ему словесное звучание песни: «с пятки на стопу, с пятки на стопу — стоп!»

И когда он произносил мысленно короткий приказ: «Стоп!» — он замирал, и тут же прекращалась песня, переходя опять в громкое и теперь уже не сухое, а сочное, колокольчо-звонное, объемное биение, которое переполняло «обою молчаливый рассветный лес и с такой силой ударяло по барабанным перепонкам, что Коле и вправду почувдилось, что сверху на него обрушивался никогда не слышанный им, бесподобный, чем-то даже напоминающий соловьиное щелканье, но и не щелканье в то же время, колокольный не звон, а какой-то бой, какие-то лопающиеся, округлые, боевые звуки.

Коля Бугорков весь превратился в слух, точно от пальцев напряженных, пружинистых ног до мокрой горячей макушки был живым звукоуловителем, огромным ухом, настроенным на близкие уже теперь вершины берез и елок, на которых был как будто установлен громкоговоритель, издающий допотопные звуки.

Именно так услышал он первую глухариную песню, которая, чем ближе он подходил к птице, все больше и больше наполняла его бе-

совской своей зачарованностью, оглушая и каким-то странным образом превращая его в обезличенное, чуткое, страстное и, по сути, жестокое существо, подходившее к птице, которая во время короткого точенья перестает слышать, с одной лишь мыслью — убить.

Как это всегда бывает на рассвете — его кажущаяся медлительность обманывает, и ты неожиданно начинаешь различать цвет окружающих тебя предметов, хотя только что был в такой мутной серости, что разогнать ее, казалось, не было у природы никакой возможности или, во всяком случае, быстро это сделать нельзя было никак.

Коля Бугорков стал уже отчетливо все видеть вокруг, хорошо видел светлеющее небо и шевелящиеся макушки голых, сквозящих берез, их коричневый оттенок на фоне сталисто-серого неба, где теперь тоже были хорошо различимы темные сгущения облаков и более светлые, белесые пространства.

Чем ближе Коля подходил к птице, тем выше задирал голову, глядя в вершины, с панической суетливостью боясь не разглядеть, не заметить поющего глухаря. Он настолько приблизился к нему, что чудилось, будто бы он не в лесу был, а в каком-то гулком, сводчатом храме с идеальной акустикой; так громко и пугающе прекрасен был голос одинокого певца... И вдруг ноги его, уже привычно делающие упругие шаги под звучащее в нем «с пятки на стопу, с пятки на стопу — стоп!», в момент, когда надо было останавливаться, почувствовали хлесткие и пружинистые ветви незамеченного, еще растворенного в земных потемках куста. Он успел остановиться, но понял, что теряет равновесие и вот-вот упадет — все в нем напряглось, и он почти падал, когда глухарь опять перешел на спасительное для Коли Бугоркова точенье. Он шумно, с треском ветвей шагнул в сторону и замер с болезненно искаженным от перепуга лицом, со сбитым, сиплым дыханием, которое не в силах был затаять. Но птица не слышала его и продолжала петь. И песня ее доносилась с ближайших елей, которые росли сразу же за большой старой березой.

Колю Бугоркова отделяла теперь от этих елей плоско светлеющая полянка, куда он вышел, перед которой стоял, пропустив песню и соображая, как ему лучше обойти это открытое пространство. Он еще не вышел на поляну, и перед ним были две тоже старые березы и голый куст, который он хорошо видел перед собой.

Глухарь пел в елях, они словно бы проявили свой цвет, хотя были темны еще и монолитны, как стена, просто глаз улавливал темную зелень в черноте этой стены, до которой оставалось шагов пятьдесят, не больше.

Коля двинулся вправо, шагнув аккуратно и осторожно. И оказавшись открытым, не защищенным березами и кустом, впился глазами в ели, где, по его расчетам, бил в свои коклюшки глухарь. А когда он опять зашипел, зашелестел, когда заструилось змеиное его шипение, брызжущее восторгом и страстью, Коля успел укрыться за березой.

Он сделал второй шаг и замер в очень неудобном положении, рассчитывая уже по привычке вскоре выйти из этого положения и продолжить свой путь. Но в тот почти неуловимый, скользкий момент, когда оборвалась песня глухаря, нога его попала на какую-то крохотную веточку, которая, как он сразу почувствовал, сначала прогнулась под ногой, вдавленная его тяжестью в мягкую мокрую землю, а потом чуть слышно, глухо, под земно треснула.

Сам Коля Бугорков почти не слышал этого сырого хруста, он лишь ногой почувствовал его, но тут же понял весь ужас происшедшего.

Он вдруг услышал опять, как шумят вершины леса.

Оглушенный глухарьиной песней, он ждал ее продолжения, успев привыкнуть к ней, к ее зазывной непрерывности. Но слышал только

шум ветра и видел на той стороне узенькой поляны качающуюся березу, которая четко выделялась на фоне темной еловой стены. Кланяющаяся и скучно шумящая вершина мутно растекалась в мрачном небе.

Коля не мог поверить в эту ветреную, печальную тишину. Умолкли восторженно-ликующие барабаны небывалого торжества, и наступили привычные будни. Растаяли надежды. Неужели праздник прошел?

И когда он осознал все случившееся, поверил в страшную свою неудачу, внутри его раздался невыразимо тоскливый, протяжный стон, который Коля с трудом сдерживал, чтобы он не вырвался наружу.

Он настолько уверовал в своего глухаря, так прост и доступен казался ему путь к удаче, что затянувшееся молчание птицы, монотонный шум ветра — все это такой жалостью отдалось в его сердце, что он чуть ли не плакал от досады, стоя в неудобной, неловкой позе, выдержав которую долго он просто был не в силах, и если птица не запоет вскоре, он все равно спугнет ее.

А птица молчала, как будто ее и не было никогда тут, как будто песня ее просто послышалась Коле Бугоркову.

Он стал молить птицу, чтобы она сжалилась над ним. То есть он хотел, чтобы она никуда не улетела, начала бы опять петь и, в конечном счете, позволила себя убить.

Это трудно себе представить, но это было именно так: он просил, умолял со всей искренностью и святостью, на какую был только способен, чтобы живая и красивая, большая, редчайшая птица пожертвовала своей жизнью ради того, чтобы он, Коля Бугорков, ушел из этого леса счастливым.

Он придумывал самые ласковые имена птице, называл ее милой и прекрасной, самой лучшей, самой красивой на свете и, называя ее так, чуть ли не шепча вслух свои мольбы, просил ее не молчать.

«Ты так прекрасно поешь,—жалобно умолял он птицу.—Неужели ты больше не будешь петь? Нет! Нельзя... Нужно петь... Пожалуйста, запой! Я тебя очень прошу. Ты не обращай внимания на меня, меня — нет, пой... Не бойся — пой. Прощу тебя. Ты же видишь, как я несчастен. Тебе нельзя молчать... Иначе я просто заплачу от горя...»

Он вкладывал столько почти любовной страсти в свои безумные и кощунственные мольбы, так страдал и так хотел донести до умолкнувшей птицы свои душевные страдания, что сам начал верить, что сумеет уговорить птицу.

А между тем стоять он уже больше не мог, не мог держать в вытянутых руках потяжелевшее, невыносимо тяжелое ружье, которое с такой силой давило на мышцы, что они стали болеть и с болью этой расслабляться.

Его спасла старая береза, если можно говорить о каком-то спасении охотника, жаждущего убить птицу. Это укрытие дало ему возможность незаметно и тихо опустить руки с ружьем, не сводя при этом глаз с очень подозрительного темного пятна, похожего на ведьмину метлу, которое раскачивалось вместе с вершиной березы, стоящей на той стороне полянки.

Трудно было сказать, сколько прошло времени с тех пор, как умолкла птица. Но пятно это он стал различать только теперь и уже не терял его из виду. То ему чудилось, что пятно меняет свои формы, вытягивается, и тогда у него начинало гулко биться сердце в надежде, что перед ним сидит глухарь, то вдруг сомнения брали верх над счастливыми догадками и он понимал, что это всего-навсего перепле-

тение сквозящих ветвей, похожее на рыхлое воронье гнездо и называемое ведьминой метлой.

Уже как будто достаточно рассвело, чтобы понять наконец-то, что ж это такое — птица или клубок веток. Но глаза никак не могли разглядеть в полурассвете, в полночи, в мутном сумраке это пятно на березе. И конечно же, его очень смущало и то, что пятно было на березе, в то время как ему было известно и по рассказам и по охотничьей литературе, что глухари токуют на хвойных деревьях.

Он так измучился, так отчаялся в своем изнурительном ожидании, так трудно было ему держаться на полусогнутых в коленях, немеющих от боли, дрожащих ногах, что были мгновения, когда ему хотелось вскинуть ружье и выстрелить в это мерно покачивающееся пятно, которое то уходило в темноту елей, то опять появлялось на фоне текущего неба.

То оно казалось ему огромным, это пятно, то совсем маленьким, чуть ли не с голубя величиной. И он не решался стрелять и, напрягая последние силы, ждал.

Где-то далеко за лесом раздался ужасающий треск тракторного пускатча. «Ну теперь-то все кончено,— подумал Коля Бугорков, проклиная этот механический треск, который, правда, вскоре умолк.— Но все равно! Черт бы его побрал!»

И вдруг над ним, оттуда, где было темное пятно на березе, раздался очень осторожный, одиночный щелк: кто-то огромными щипцами расколол упругий, сухой, звонкий орех.

«Ну молодец! Ну какая же ты умница! Боже мой, ну еще! — опять взмолился Коля Бугорков, не веря в свое счастье.— Ну! Еще...»

И птица вяла его мольбе, послушалась, щелкнув опять и опять. Она еще не очень доверяла тишине и как бы щелчками своими спрашивала, все ли в порядке. «Все в порядке, не бойся,— говорил ей Коля Бугорков.— Все хорошо...»

Птица словно бы услышала и поверила ему. Раздалось опять щелканье, перешедшее в ксилофонный разбег, в бешеную игру боевых, щелкающих звуков, которые вылились опять, как и раньше, в страстное, стремительное шелестение, под которое Коля Бугорков успел вскинуть ружье и, смутно различив планку, посадил на нее черное пятно. Он знал, что если даже это вовсе не птица, то, выстрелив в это пятно под песню, он все равно не спугнет глухаря, который не услышит выстрела.

Но это был глухарь.

Когда под вторую песню, в самом начале ее, Коля нажал на спуск, он не заметил, не расслышал выстрела, но сразу же понял, что песня оборвалась, и увидел, немея от радости, как что-то огромное сорвалось с вершины березы и, задевая за ветви и все увеличиваясь в размерах, понеслось вниз и тяжело, раскатисто, как ружейный выстрел, ударилось о мокрую землю.

Не помня себя он побежал к этой чернеющей на земле груди и, увидев под ногами убитого наповал глухаря, закричал что есть мочи на весь лес:

— Ура-а! Убил! Дед! Глухаря убил! Де-ед!

Он схватил его за шею и, ощущая в руке теплую тяжесть птицы, поднял ее, башкастую, белоклювую, хвостатую, увидев и почувствовав в руках последний вздрог умершего глухаря: птица в недоумении или в досадливом каком-то вздохе пожала крыльями, как плечами, приподняв их в судороге, и навеки затихла.

— Дед! — кричал Коля.— Убил! Де-ед! Вот он...

Дед сердито откликнулся из соседних берез:

— Чего ты орешь на току! Не ори... Знаю, слышал...

Он тоже не сидел на месте и тоже подходил к глухарю следом за внуком. А когда птица замолкла, решил, что внук подшумел глухаря и он уже не запоет. В душе его шевельнулась радость, как если бы не глухарю, а ему самому удалось спастись. Но вопреки всему петух запел и был убит. Вроде бы все сложилось хорошо, и Александр Сергеевич был доволен, что внуку удалось убить глухаря — первого в своей жизни. Но не мог избавиться при этом от какой-то тоскливой жалости к птице, которую он предал, приведя на ток еще одного человека — своего внука. На ток, о котором пока никто из людей, кроме него, не знал. Это были его глухари. Слишком дорогие подарки дарил он людям, которые сами не нашли в своей жизни еще ни одного тока. Теперь в нем боролись эти два чувства: радость за внука, которому он подарил своего глухаря, и сожаление. Но победила радость пополам с завистью, когда он подошел и, взяв из рук внука тяжелого старого петуха, взвесил его в своей руке.

— Ого! — сказал он поощрительно. — Хороший петух! Молодец... А я думал, уже не запоет... Запел, дурак! Смотри, какой здоровый — килограммов пять будет.

А Коля, захлебываясь, все говорил, рассказывая, как он стоял, как болели у него руки и ноги, и как он сомневался, и как потом падал убитый под песню, смертельно ужаленный дробью лесной певец.

— Ты слышал, дед, как он об землю шарахнулся?! Ба-бах! Я даже не ожидал! — говорил он в непрерывном радостном смехе, в молодом своем счастье, не позволяя деду убирать птицу в мешок. — Не-ет! — говорил он. — Я его на руках понесу, а то он сомнется в мешке. Такой красавец! Что ты, дед! Я его на руках донесу.

А дед сумрачно улыбался и, как казалось внуку, очень завидовал, разглядывая теплую еще, с окровавленной перебитой шеей птицу.

Выстрел был смертельным: ружье и в самом деле отличалось очень резким боем. Как говорят оружейники, дробь обладала силой рвать мышечные ткани и ломать кости, то есть делать то, что и полагалось ей делать, чтобы не оставлять подранков. А как известно, глухарь — птица крепкая на рану. Этот же даже и не понял, наверное, что с ним произошло. Он не услышал выстрела, потому что пел и был глух. Просто оборвалась жизнь, и его не стало. А песня переселилась навсегда в Колю Бугоркова: он был, как и дед, очень чувствительным человеком.

Так, во всяком случае, думал он сам о себе и об этой охоте, когда они с дедом торопливо шли домой.

Шли не оглядываясь, будто совершили набег на мирное селение и теперь с добычей возвращались домой, опасаясь погони.

Коля, как ребенка, нес глухаря, не замечая капле крови, которые падали из клюва птицы, пачкая штормовку и брюки.

Уже совсем рассвело, и лес, который ночью казался непроходимым, расступался перед беглецами, стелил им под ноги чистые полянки с прошлогодней озимой травой, которая робко и неуверенно еще зеленела в путанице полегших мертвых стеблей. Идти было легко. Но радость уже улеглась и как бы ушла в глубину души, притихла до поры до времени. Только иногда улыбка на Колином лице выдавала ее.

Глухарь своей тяжестью оттянул ему руки, а болтающаяся в такт шагам голова на длинной, с распущенными перьями мощной шее стучалась о штормовку, но кровь уже не капала, застыв алым пятном на желтом клюве. Прижатая к груди птица остыла, но отлетевшее ее тепло с неприятной липкостью грело еще Колину грудь в том месте,

где была прижата птица, притаившись там какой-то теплой опрелостью. Хотелось скорее донести глухаря до дома, подвесить в теплом чулане за лапы, разглядеть его и налюбоваться всласть.

В полутемном доме все еще спали, когда они вернулись, и это показалось таким противостественным Коле Бугоркову, так обидно было видеть серое убожество кухни, крошки хлеба на грязной клеенке, смятую фольгу из-под плавленого сырка, старые чашки с присохшими на донышках чайниками — остатки торопливого полуночного завтрака, — что в нем сразу будто бы обрушилась какая-то красивая, хрупкая башенка радости, а на ее месте, заполняя всего его без остатка, вспухло тяжелое, сонное равнодушие. Захотелось очутиться дома, удивить маму и соседей своей добычей, услышать их радость.

Глухаря он подвесил за мохнатые холодные лапы, перевязав их веревкой. Попробовал, крепок ли гвоздь, вбитый в бревенчатую стену. И прежде чем лечь спать, зашел еще раз в чуланчик, как бы желая убедиться, что глухарь на месте. А когда проснулся после долгого, но некрепкого сна, сквозь который он порой слышал женские голоса, душа его возликовала опять, и он сразу же почувствовал себя так, будто вчера еще был маленьким несмышленьшим, а сегодня проснулся мужчиной. Он подумал с невольным удивлением и радостью, что если бы Верочка Воркуева согласилась стать его женой и стала бы, он, наверное, с таким же ликованием проснулся бы, увидев ее рядышком с собой. Но тут же отогнал эти мысли, вычеркнул их из памяти и босиком побежал умываться, бриться и собираться в дорогу.

Погода была чудесная! От серых туч не осталось и следа — по небу текли по-весеннему растрепанные перистые облачка, так чисто и ясно обрамленные лучами солнца, что казались золотисто-соломенными и очень легкими, словно это не пар, не влага текла по голубому небу, а легкий пух.

Из скворечника выныривали скворцы, мчались в поле и вскоре возвращались. Беспреданно кричали петухи, пели жаворонки над лугом, блеяли козы. Лесные и луговые птицы: зяблики, овсянки, зеленушки, трясогузки — вертелись на изгороди, бегали по двору, вспархивали с пугливым попискиванием и опять слетали на землю, отыскивая возле жилья какие-то крохи, ловя в воздухе оживших мух, подкармливаясь возле человека, пока в лесу и в лугах было голодно. Прилетали и осторожные сороки — птицы, по красоте своей не уступающие тропическим сородичам, — блестя на солнце переливчатым шелком иззелена-черных хвостов, сверкали снеговой белобокостью на серой крыше сарая, на войлочной-блеклой, раскрывшейся, голой еще земле и сторожко улетали, без шума и без крика, видимо весна и солнце вселили в них такую жадность к жизни, что они голосом боялись выдать себя, опасаясь всякого стука и шороха. Опытные, старые сороки, познавшие коварство и хитрость человека — не то что шумный и любопытный молодец, выводить который опять наступила для них пора.

Кошка жмурилась на солнце, поглядывая на птичек выцветшими глазами. И когда Коля Бугорков понес к поленнице очоженвшегося глухаря, из клюва которого опять стала капать холодная сукровица, кошка побежала за ним, путаясь между ногами, видимо зная, что и ей сейчас достанется лакомый кусочек.

Среди шумного, живого, прыгающего, порхающего мира красавец глухарь, безжизненно лежащий на ольховых поленьях, являл собой зрелище печальное и скорбное. И когда Коля стал по-охотничьи потрошить его, доставая кишки деревянным крючком, выструганным из еловой ветки, когда он порвал душно пахнущие кишки, из птичьей



утробы понесло зловонной, отвратительной гнилью. Коля, стараясь не дышать, вытягивал толстые, набитые переваренной пищей, зеленовато-бурые кишки и чертыхался, продолжая делать это грязное и необходимое дело.

А глухарь, подрагивая, лежал, раскинув окостеневшие крылья, полуприкрыв мертвые глаза белесой пленкой, закатив их под красные брови. Голова его с круто, по-орлиному загнутым светло-желтым клювом выражала холодное, застывшее презрение и гордое равнодушие ко всему на свете. Скрюченные мохнатые лапы, перевязанные льняной растрепанной веревкой, делали убитого глухаря похожим на какого-то несчастного узника, которого и после смерти продолжали мучить и телу которого предстоит претерпеть еще многие унижения. Это никак не совпадало с его горделивым, торжественным выражением, с его совершенно невозможной, нереальной красотой и величием. Зловонные кишки, а потом ошипанные перья, куски жареного мяса, обглоданные кости — все это было несовместимо с огромной, сказочной игрушкой природы, с древним жителем леса, предки которого видели Землю еще в те времена, когда человека не было и в помине.

И вся неприглядность, нелепость смерти старой яркой ляльки леса была так очевидна в этот шумный и живой день, что даже Коля Бугорков спешил закончить неприятное занятие и поскорее спрятать с глаз долой убитого глухаря, который всем своим видом выражал, однако, полное равнодушие к человеку, словно был выше всех этих запоздалых угрызений совести, дрожащих рук и брезгливого чертыхания.

Глухарь совсем не собирался умирать на рассвете этого чудесного дня, он готов был подраться с любым соперником, который осмелился бы приблизиться к нему, он был самым крупным, сильным и здоровым самцом из всех обитавших в лесу, он был уверен в бесконечности своей жизни, в силе брачных своих песен, не первую весну покорявших пестро-рыжих глухарок, был с ночи еще полон боевого задора, страсти и один из всех вылетел на ток и запел в это ветреное и пасмурное утро. Не его вина, что живой мир слышит теперь, как отвратительно пахнут порванные его кишки. Он никому не хотел причинять никакой неприятности, об этом распорядилась по-своему смерть, которой он никогда не знал, хоть всю свою жизнь ощущал ее присутствие, и, умирая, так и не увидел в глаза, потому что она пришла, когда он пел.

## 6

Так окончилась охота на глухаря, которая оставила в сердце Коли Бугоркова в конечном счете печаль и чувство непонятной и горькой вины.

Но странное дело! Если бы ему предложили снова на следующий день отправиться на глухариный ток, он не раздумывая пошел бы и опять испытывал бы все те же страсти, которые познал в первую свою охоту, опять бы умолял птицу запеть, случись заминка в ее песне, и с такой же радостью, с таким же ликованием подбежал бы к убитому глухарю, а потом опять почувствовал бы печаль и вину свою перед убитой птицей. Ладно еще, если бы почувствовал! А то, может быть, во второй-то раз уже и стерлись бы эти ощущения, может быть, он и не смотрел бы на убитого глухаря с такой душевной зачарованностью и восторгом, а проснулась бы в нем уверенность в праве своем на птичью смерть, в праве на момент истины, как называют момент убийства быка на корриде, праве на красивую жизнь и прекрас-

ную смерть — не свою, конечно, а чужую. Могло бы случиться с ним и такое превращение, хотя он и был очень чувствительным человеком.

Но как бы то ни было, в первую свою охоту он испытал такие чувства, какие вряд ли знакомы человеку, никогда не убивавшему ничего живого, кроме комаров, мух, клещей, мышей (в мышеловках), кур, гусей, уток, овец, свиней, коров и быков (все это чужими руками!), человека, который считает, что убить корову, обреченную им же самим на смерть, нравственно, а дикого оленя, у которого есть много шансов спастись и не попасть под выстрел, безнравственно.

И все-таки почему-то иной раз такой тоской зайдет сердце, когда увидишь убитого дикого зверя, а то и просто снятые шкурки белок, куниц, соболей с большими и грустными сухими дырочками, из которых когда-то глядели на мир, пугливо озираясь или счастливо щурясь, живые бусины глаз! Лучше уж не думать об этом, скажешь себе, заглушая совестливые мысли. И легко пересташешь думать об этом, потому что жив во всех нас далекий наш, дикий пращур, который бог знает каким образом сумел совместить в нашей душе несовместимое. Ему-то, пращуру, было просто — убил, чтобы не умереть с голоду. А некоторым его потомкам приходится изворачиваться и невольно лгать самим себе, совмещая в душе своей боль убитой овцы и желание съесть эту овцу. Особенно достается чувствительным людям, к которым, как я не раз говорил, относился и Коля Бугорков.

Он точно прожил целую жизнь на этой охоте: любил, обманывал и снова любил, мучился от этой любви и принес смерть тому, кого любил, и опять мучился в раскаянии, оборвав чужую песню, запомнив ее и впитав в себя, как он запомнил и впитал в себя нежность и слезы Верочки Воркуевой, которую не то чтобы стал забывать, но как бы пережил в своих страданиях; сотворил из нее нечто неземное, навеки запомнив, запечатлев не ее носик, глаза, или губы, или ноги, а уловив самую суть Верочки, ее душу, какую-то внутреннюю еестихию и, вспоминая о ней, сразу как бы попадал в тот воздух, тот запах, то сияние, которое и было теперь для него Верочкой Воркуевой. Горечь недоумения и тоски повергала его в уныние, стоило ему только вспомнить о ней, войти в ее сияние. И если ему нравилась теперь какая-нибудь девушка, он сразу же невольно сравнивал ее с Верочкой Воркуевой, не находя ни в одной из новых своих знакомых многих Верочкиных достоинств. Даже чужой запах отпугивал его и глушил в нем все чувства, не говоря уж о форме руки, которую он пожимал, о ее величине, жесткости и силе. Все эти мелочи с такой силой напоминали ему о Верочке Воркуевой, что ему уже стало казаться порой, что он никогда никого больше не полюбит и никогда ни на ком не женится.

Александр Сергеевич Бугорков провожал внука до автобусной остановки, захватив с собой по привычке ружье и надев вместо кепки жесткую егерскую фуражку.

Глухаря Коля набил еловыми веточками, подвернул шею под крыло и, стараясь не помять оперения, спрятал в рюкзак.

В лесу пели зяблики и синицы, пахло талой, снеговой водой. Старая дорога, по которой они шли к шоссе, зеленела холодной перезимовавшей травой и была еще мягкая, непрочная и ранимая: каждый шаг оставлял на ней рваный след, заметную вмятину.

— А ты чего, Коленька, невеселый такой? Говорил тебе, оставайся, ничего с твоим глухарем не сделалось бы, положили бы в ледник и хоть неделю пролежал бы. Всякой дичи надо, чтоб она дозрела, а особенно глухарю. Ты его, как приедешь, сразу положи в холодильник,

и, как я тебе говорил, до Первого мая он у тебя хорошо пролежит. На Первое мая с матерью и поджарите, угостите кого надо. Ты не торопись, он полежит-то — вкуснее будет. А мать-то небось обрадуется?

Коля ничего не ответил деду, кивнул в ответ с вялой улыбкой, а сам подумал, что никто бы так не обрадовался, конечно, глухарю и ничья бы радость так не обрадовала его самого, как радость Верочки Воркуевой, к ногам которой бросил бы он своего глухаря. А теперь вроде бы и некому было нести этого красавца. Мать, конечно, обрадуется, но что же ему от этой радости! Мать и без того обрадуется, что он вернулся домой целым и невредимым. Разве ее удивишь глухарем? Ей же глухарь, а он сам нужен. А Верочка, конечно, очень удивилась бы и не поверила, что это он добыл такую большую и красивую птицу, и Анастасия Сергеевна и Олег Петрович — все бы они с удивлением рассматривали птицу, поздравляя его, Колю Бугоркова, с удачей.

Очень ему грустно было подумать сейчас, что нельзя, увы, прямо с вокзала прийти в дом номер шесть, подняться на пятый этаж, позвонить и... Ах, как это обидно!

Воображение, как только он подумал о пороге ее квартиры, о запахе прихожей, который был составлен из запахов самой Верочки Воркуевой, ее пальто или плаща, ее шляпки, ее душистого шарфика, — воображение привело его опять в сияющее ликование, в сплошную радость, которая светилась улыбками, неуловимой изменчивостью взглядов, колыханием переливающихся волос.

Когда наступали такие воспоминательные минуты, когда всего его забирала вдруг тоска, он ничего не видел вокруг.

Он шел рядом с дедом, то опережая его, то отставая, не видя, не слыша и не чувствуя его. В нем как бы включался автопилот, который вел его по лесной дороге, заставляя пригибаться под нависшими ветвями елей, обходить брчажины, наполненные отстоявшейся, прозрачной и глубокой лесной водой цвета заваренного чая, сквозь которую светилась загадочно-золотистой, металлической упругостью поблекшая за зиму трава.

Всего этого хотя и не видел Коля Бугорков, но, как это ни странно, все эти подробности дороги фиксировались памятью, он неосознанно, третьим каким-то глазом видел все вокруг: видел цветущие на солнечной стороне фиалки, кротко и нежно голубеющие среди черных листьев и прошлогодней травы, видел пролетающих бабочек, дроздов, зябликов, синиц, слышал их бесконечное пение, щебетание, пересвист — все это видел и слышал, но был так далек от этого всего, что словно бы и не видел и не слышал ничего.

Дед, как всегда в дороге, молчал, но это его молчание стало наконец казаться Коле вынужденным. Может быть, после того как он сам ничего не ответил деду, дед осерчал и обиделся на него?

— Ты не обращай, дед, на меня внимания, — сказал он ему с улыбкой. — Я, дед, знаю, ты не любишь в дороге разговаривать... Я тоже. Но ты помнишь, я говорил тебе о девушке... Ты еще спрашивал: любишь ты ее или так просто?.. Так вот, я-то люблю, а она нет.

— Что же за дура такая?

— Что ты, дед! Это я дурак.

— Конечно, дурак... Плюнь на нее и забудь. В твои-то годы, знаешь, сколько их было у меня, девушек-то этих?!

— Они ж тебя не гнали от себя? А у нас с ней, дед, все было, а потом она меня прогнала и не хочет больше знать. Я чего-то, дед, никак не пойму ничего. Понимаешь — все было! А она прогнала... потом. Я

к ней и так и сяк, а она еще хуже злится. Почему это так, дед? Кажется бы, все должно наоборот, она уж вроде совсем моя, а получается, что совсем наоборот — не моя. Что делать-то, дед?

Александр Сергеевич хмуро глянул из-под бровей на внука, услышав его признание, усмехнулся, дивясь неожиданному признанию, на которое сам он никогда в жизни не бывал способен и скорее язык бы себе откусил, чем сказал бы о таком своему отцу или деду, и, не узнавая себя во внуке, не понимая его, с какой-то неожиданной отчужденностью сказал сквозь эту усмешливую хмурость, сказал смущенно и сердито:

— Что делать! Что делать! А ничего... Раз ты, можно сказать, мужчина, то считай, что у мужчины не бывает, чтоб так... чтоб не было женщин. Чего делать! А чего я тебе могу сказать? Была, и ладно... Будет еще. Не сошлись с этой, сойдешься с другой... Ты меня чего спрашиваешь-то, дурачок?! Разве об этом спрашивают? Я даже не знаю, что сказать.— И он опять с хмурой насмешливостью взглянул на внука, который шел рядом с ним и словно бы не слышал его...— Ах, Коля, Коля, говорил я тебе...

— Что говорил-то?

— А то и говорил, что плохо это, когда так-то вот...

— Плохо, дед, плохо. Правильно все.

— А ты не переживай.

— Не могу, дед.

— Отрежь и не переживай. А если не можешь — добивайся. Она другого небось нашла, так, что ли?

— Никого у нее нет... Ты на меня не обращай внимания, дед. Я сам не знаю, зачем это я все... Давно уже кончено все, скоро полгода, как я не видел ее, а вот чего-то вдруг такая ерунда... Не обращай внимания.

— Ничего, Коленька! Вот поверь мне, много их у тебя будет в жизни. Ты такой же, как я, а у меня, сам знаешь... не тебе говорить. Ты, может, осуждаешь меня, а сам, вот помянешь меня, такой же будешь. А про эту! Эта и в памяти не останется. Вот помянешь меня через год-другой.

— Ладно, дед. Ничего ты не понимаешь! И ничего я тебе не говорил — забудь все это.

— Не переживай.

— Чего не переживай?

— Не переживай, Коля.

— Сам-то не переживал никогда? — с угрозой в голосе спросил Коля, окинув деда презрительным взглядом.

— Потому и говорю, что...— ответил дед и поспешил перевести разговор на другое: — Ты летом-то приедешь ко мне?

— Я на практике буду.

— Ну а после-то?

— Не знаю, может быть...

Лесной этот разговор прекратился так же неожиданно, как и начался. Ничего после этого разговора не прояснилось, а только оставил он на душе и у того и у другого чувство неудовлетворенности: дед молчал, думая о том, что внук, наверное, обидится теперь на него, а внук думал, что дед обидится на него, поставленный этим признанием в глупое положение. Оба они, шагая по лесной дороге, испытывали желание как-то исправить неловкое положение, и Коля, не найдя ничего лучшего, сказал:

— Ты, дед, на меня не обижайся.

— Что ты, Колюша! Я не обижаюсь. Ты на меня, на старого, тоже не сердись, тоже не обижайся.

Был этот разговор или не было его вовсе? Был ли лес, похожий на мрачную пещеру, освещенную лучиками фонарей, или не было его? Неужели это тот же лес, по которому они теперь шли и который теперь, согретый солнцем, был душист и свеж, звонок и тих от тающих в весеннем воздухе, ликующих птичьих голосов, неужели это он с нежной улыбкой показывал путникам голубые лепестки склоненных до земли подснежников, розовые, сиреневые и синие цветы медуницы, глянцево-зеленые тугие листья брусничников? Неужели это он отражался в спокойных и чистейших талых водах, ставших бочагами посреди дороги? И небо над ними голубое с соломенными начесами высоких облачков? Неужели именно в этом лесу жил глухарь, звучала его дикая, древняя песня, оборванная свинцом?

Все это: и возникший вдруг разговор о Верочке Воркуевой, и поющий на рассвете глухарь — все теперь казалось неправдоподобным, нереальным, а тяжелая птица в рюкзаке, оттягивающем плечи, словно бы тоже не имела ничего общего с тем пещерным, буерачным, жутким лесом, в котором на рассвете билась песня. Все это было и не было.

Была ли Верочка, был ли глухарь?

За лесом теперь уже слышался шум пронесшихся по шоссе машин, а вскоре показалось и само шоссе, просохшая его асфальтовая гладкость. Перед выходом на шоссе была черная грязь, по которой пришлось пройти, измазав отлакированные чистой водой, поблескивающие сапоги. На асфальте, на его каменной плоскости, идти по которой было непривычно легко, зачернели были следы, но вскоре иссякли, и когда дед с внуком подошли к остановке автобуса, к бетонной обшарпанной будке на обочине дороги, грязь на сапогах успела уже просохнуть и посветлела.

Тот же лес зелеными прозрачно-сквозящими крыльями возносился по сторонам дороги, так же перелетали это широкое открытое пространство всякие капельные, торопливые птицы, так же пели они при дороге. Но уже другие звуки, другая стихия властвовала здесь. Из-за крутого поворота со стороны Воздвиженского должен был вскоре прийти автобус, и Коля смотрел в ту сторону, с надеждой вслушиваясь в каждый шум, возникающий за лесом.

Легко и нездешне проносились мимо открытой будки сверкающие хромом и лаком легковые автомашины. Долго слышно было в лесной тишине удаляющееся шуршание, резиновое песнопение быстрых колес, струнный вибрирующий звук, тающий в дали туманной асфальтированной стремнины, в уходящей к небу, расплывающейся у горизонта прямой просеки. А когда показался наконец-то автобус, Коля обнял деда, поцеловал в жесткую щеку и сказал торопливо и радостно:

— Дед! Ты у меня волшебник! Ты меня куда ночью-то водил? Я даже поверить не могу, что мы где-то в этом лесу с тобой охотились... Я, дед, никогда не забуду этого! Спасибо тебе огромное! Дед, ну когда ты в гости-то сам приедешь? Приезжай, дед!

— Мать целуй, — говорил между тем Александр Сергеевич. — Спасибо ей за рубашку и передай, что я ее помню и что она летом приезжала, когда земляника поспевает. Передай, не забудь...

А автобус уже подъехал, грузно свернул на обочину, закрипел пневматическими дверцами, распахнув битком набитое людьми нутро. Коля Бугорков втиснулся, помахал деду на прощанье, виновато и жалко улыбнулся, увидев напоследок слезящуюся улыбку на хмуром лице. Двери закрылись, и перегруженный автобус с каким-то живым кряхтением и всхлипыванием тронулся в путь.

Все теперь кончилось для Коли Бугоркова, а с того момента, когда он, достав деньги, протянул их кондуктору со словами: «Один до стан-

ции...» — началась, или, вернее, продолжилась, обычная его жизнь среди людей, хотя еще долго душу печалил образ улыбающегося деда, понуро стоящего внизу — теперь уже внизу! — возле бетонной будки, исцарапанной, изрисованной, исписанной случайными людьми. «Здесь были 19.8.69 г. Евстигнеев и Башкирова» — единственная цензурная надпись среди клинописи, иероглифов и прочей трудно понимаемой глупости, на которую способна болезненная фантазия.

## 7

Коля Бугорков не мог и не умел держать язык за зубами даже в тех случаях, когда дело касалось интимных обстоятельств его личной жизни. Такая святая для него тайна, как связь с Верочкой Воркуевой, увы, не была исключением. Напротив, тайны он из этого не делал, а готов был всем рассказывать о чувственных своих наслаждениях, не подозревая даже, что это не только умаляет его достоинства, но и подло по отношению к Верочке. Ни тени сомнения не испытывал он в подобных случаях, чувствуя себя даже в некотором роде счастливым человеком, которому люди могут только завидовать или, во всяком случае, искренне переживать вместе с ним минуты его недавнего любовного восторга. И, как это ни странно, чем дороже были эти минуты, тем откровеннее был и Коля Бугорков. Вокруг него всегда были люди, которые охотно слушали его и которых Коля считал своими лучшими друзьями. Он терпеливо переносил даже некоторые сальности, отпускаемые по ходу его рассказа, нарочито не замечал усмешек или излишней откровенности мужских пересудов по поводу Верочки, дружеских советов не церемониться, не тянуть резину, а действовать, как подобает мужчине,— все это он пропускал мимо ушей, втайне жалея своих друзей, которые не в силах были понять его чувств.

Он слыл добрым парнем среди друзей, и его любили, хотя никто, казалось, не принимал его всерьез, потому что он был слишком ясен для всех, и никто никогда не отвечал откровенностью на его откровенность. Все понимали, что доверять Бугоркову нельзя, потому что Коля был до такой степени искренним человеком, что мог в любой момент без всякого злого умысла проболтаться и поставить в неловкое положение своего друга, а потом с той же искренностью просить у него прощения и уверять, что он не желал ему зла. И это было истинной правдой. Впрочем, никаких серьезных тайн и не водилось у его приятелей, так что и доверять-то было нечего. Но все-таки даже в мелочах Колю Бугоркова старались обойти стороной, опасаясь при нем рассказывать острый анекдот или же резко высказать свое суждение по поводу какого-нибудь события.

Ничего этого сам Коля Бугорков, к счастью, не замечал, довольствуясь добрыми улыбками насмешливых своих друзей, однокашников по Лесотехническому институту.

«Все, что искренне сказано, то и правда,— любил повторять Коля Бугорков.— А все остальное ложь. А я хочу жить по правде».

Когда-то это дедовское изречение раскрыло ему глаза на мир человеческих отношений, все сразу осветило, объяснило в жизни, словно бы он раньше жил вслепую, не зная со всей определенностью, где правда, а где ложь, и мог легко ошибиться в человеке, а теперь вдруг узнал и будет знать до конца своих дней. Он был настолько уверен в своем праве судить человека по этому принципу, что даже ни разу не задумывался об истинности его. «Правда — в искренности». А уж какая это правда, согласен он с ней или нет — это вопрос чисто человеческий, зависящий от тех или иных обстоятельств жизни людей.

Он с каким-то фанатизмом воспринял раз и навсегда эту истину и старался с коленопреклоненным «верую!» следовать ей в жизни. Он был предельно искренним с людьми, дышал этим как воздухом, не замечая своего дыхания, раскрывая перед человеком душу, мог, например, без всякого стеснения сказать малознакомому человеку о бурчании и болях в животе после неудачного обеда в столовой, не видя в этом признании ничего дурного, будто иначе не до конца исполнил бы свой долг перед людьми.

Если хорошенько разобраться во всем, то это изречение словно бы явилось к нему для того, чтобы он мог всегда укрыться, спрятаться за эту мудрость, выгодно объяснить самому себе: «Я сказал это искренне, значит, правда на моей стороне, а если моя искренность неприятна людям, значит, люди эти лживы». Так примерно думал он всякий раз, если вдруг попадал в какое-то неловкое положение и был по своему прав, потому что и в самом деле не хотел никого обманывать, причинять зло или обижать. Он никому никогда не завидовал, а, наоборот, очень искренне радовался, если видел удачливого человека, любил удачников, тянулся душою к ним, при этом считая и себя очень удачливым и счастливым человеком. Но зато подозрительно относился к молчаливым людям, которые если говорили о чем-либо, то только о делах, но никогда о себе, о своей личной жизни. По простоте душевной Коля Бугорков таких людей относил к категории хитрых лжецов, от которых можно ждать любой подлости и которые только и ловят удобный момент, чтобы эту подлость сделать.

Сам же он охотно рассказывал друзьям и о первом своем поцелуе с Верочкой Воркуевой, и о первых попытках погладить ее грудь, говоря о своих временных неудачах с такой обезоруживающей откровенностью, что человек, слушающий его, испытывал в эти минуты смешанное чувство удивления и растерянности. Но только на первых порах, пока никто еще толком не знал Колю Бугоркова. Со временем повивались и насмешки, которых Бугорков не замечал, и двусмысленные советы, которым он никогда не следовал, и относил за счет душевной черствости людей, не оскорбляясь никогда за Верочку Воркуеву.

В нем каким-то непонятным образом уживались противоположные, взаимоисключающие друг друга качества: чистейшая и нежнейшая любовь к Верочке и смакование на людях своих же собственных чисто и нежно сказанных слов любви, восторженный, но и подлый в то же время рассказ об их отношениях.

«Ты знаешь,— говорил он с тихой восхищенностью в голосе,— у нее под одеждой, черт побери... Она меня вчера пустила к себе под кофточку, мы с ней на лестнице стояли, она на подоконнике сидела, а я стоял. Потом она встала, а я сел и прижал ее. А на улице-то мороз! А у нее там такое тепло, такая горячая кожа, и вся она насквозь горячая и нежная. Она в шубке, а я эту шубку расстегнул, она ко мне прижалась... Шарфик у нее душистый, и вся-то она такая душистая, господи! А под одеждой такая горячая, кожа у нее теплая, и тепло это такое глубинное, черт побери, просто обжигает, как у птицы живой под перьями или у подранка. Ты держал когда-нибудь голубя или вообще птицу в руках? Так вот — это она. То же самое ощущение. Она только моих рук холодных боялась, говорила, дескать, руки у тебя как ледышки, ты их погрей, подыши на них, а уж потом... Господи! Я ее ужасно люблю!»

Чудовищная болтливость Коли Бугоркова смущала даже крепких ребят, обсеивавшая их и вынуждая быть терпеливыми и снисходительными к своему приятелю, который и в самом деле был безумно влюблен в эту девушку по имени Верочка.

А Верочка Воркуева и представить не могла, до какой низости доходил Коля Бугорков. Она бы застонала от стыда и ужаса, узнай хоть десятую долю того, что он говорил о ней своим друзьям, которые почему-то слушали его, а не плевали ему в лицо.

Правда, он сам неоднократно намекал, что о ней знают все его друзья, которым он все всегда рассказывает. Ей приятно было сознавать это. Но чтобы до такой степени он был откровенен, она, конечно, никак не могла предположить.

Коля же Бугорков так привык рассказывать о своей Верочке, что стал даже повторяться, вспоминая новые подробности, новые слова — свои и ее, новые, упущенные в прошлые разы ощущения от осязания ее тела. А друзья порой спрашивали у него с некоторым удивлением:

«Что-то ты давно не рассказывал о Верочке. Поссорились, что ли?»

«Не-ет! Все в порядке. А я тебе рассказывал, как она меня тут недавно сама поцеловала? Я чуть с ума не сошел! Она целуется так, словно несколько лет училась в какой-то специальной школе целования! Честное слово! У нее губы такие, с такой какой-то внутренней дрожью, которая сводит с ума. И ты сразу становишься идиотом».

«Ну тогда, Коля, поздравляю, — с усмешкой говорил ему любопытный приятель. — Дела у тебя, как видно, движутся к развязке?»

«К какой развязке, дурачок! — восклицал тупеющий от восторга Коля. — Наоборот! Если это случится когда-нибудь, если она будет моей, то это только началом будет, а не развязкой! Это на всю жизнь! Что ты!»

Приятелю ничего не оставалось делать, как кольнуть обезумевшего Бугоркова, привести его в чувство: «Ты, Коля, страшный наивняк. Эта красотка, как я посмотрю, та еще штучка! У меня были такие».

«У тебя таких не было, — с улыбкой отвечал Коля. — Мне жалко тебя, но это правда. Не было у тебя таких».

Впрочем, сам он в глубине души никогда не верил в свою удачу, и, по всей вероятности, именно эта неуверенность в себе заставляла его таким недозволенным, запрещенным приемом утверждаться в собственных глазах и, конечно же, в глазах своих приятелей.

А эта исповедальность, как снежный ком, росла от случая к случаю, ком этот катился под горку, и Коля Бугорков, живя среди людей, которые знали все подробности его отношений с Верочкой Воркуевой, не мог бы уже остановить распухающий и тяжелый ком.

Иногда он сам пугливо поеживался от одной лишь мысли, что может наступить в его жизни время, когда уже не о чем будет рассказывать людям, когда снежный ком остановится, раскиснет и растает, словно его и не было вовсе.

Когда же это и в самом деле произошло, он был раздавлен, расплюсчен и до такой степени чувствовал себя униженным перед друзьями, так замкнулся, что никто не мог узнать в нем прежнего Колю Бугоркова.

Но никто при этом не пожалел его, никто не выразил ему сочувствия, а, напротив, каждый, узнав о затянувшейся ссоре, считал долгом сказать Коле, что, дескать, не я ли оказался прав, не я ли предупредил тебя, что это та еще девочка, не я ли, мол, предостерегал тебя от излишней откровенности, которая потом отольется тебе мукой, а ты, дескать, и слушать ничего не хотел, теперь же сам все это расхлебывай, это тебе наука.

Коля Бугорков терпеливо сносил все эти насмешки, но однажды не удержался и очень удивил и даже разозлил своих бывших друзей,



когда, защищая Верочку Воркуеву, честь ее, в которой усомнился один из них, с ненавистью ударил его кулаком в челюсть, сделав это с такой неожиданной решительностью, что человек этот, получив по скуле, не смог ответить ударом, а как-то весь сник, посерел лицом и, покачивая головой, сказал с завидным самообладанием: «Какая точная реакция. Поздравляю. Но не поздно ли?»

Еще большей неожиданностью это было для самого Коли Бугоркова. Он с пересохшим от волнения горлом хрипло сказал:

«Ну что ж ты? Ударь и ты! Твой черед... Я жду... Чего ж ты, гад?»

«А ничего, — ответил ему тот. — Не хочу. Мне очень понравилась твоя реакция. Прости, я поступил подло. Прости».

Коля Бугорков растерялся и, не зная, что ему теперь надо делать, кого прощать и за что, не нашел ничего лучшего — тоже попросить в свою очередь прощения.

«Нет, это ты меня, — сказал он с удивлением, — я не хотел, просто очень сейчас я, понимаешь... Ты меня прости, пожалуйста».

«За что же? За то, что я подлец? Так, что ли?»

«Нет, но ведь я ударил, я, в общем-то... Ладно. Все понял! Но ты ошибаешься... — вдруг опять обозленно заговорил он. — Ты ошибаешься! Плевать я на тебя хотел! Думаешь, раньше тьюфяком был, а теперь человеком стал, да? Так думаешь? Ошибаешься! Я всегда человеком был и человека искал всегда и верил, что человеку говорю, человеку искренне раскрываюсь — весь, до нутра... А то, что вы там трепались о ней, то, что вы говорили — все это ложь была страшная, когда вы о ней гадости всякие говорили. Не бить же мне собак за то, что им господь бог гавкать на роду записал! А вы на нее гавкали, как собаки, не зная ее, и даже... Вы хуже собак были, а я с вами как с людьми говорил. Все вы неискренни и лживы, как не знаю кто! А ты как был подлецом, так им и остался. И куда тебе от самого себя не деться. Ты даже сейчас неискренен! Ты потому не ответил ударом, что драться испугался, ты понял, гад, что я драться до последнего буду, и испугался. Не правда, что ль? Знаю я тебя как облупленного. Ты ведь слушал меня тогда, усмехался, смотрел свысока, как на трепача последнего, а сам же подлости о ней всякие мне подсовывал, зная тогда, что я над всей этой грязью твоей в облаках витаю и не вижу, не слышу и знать не хочу о грязи этой ничего. Не правда, что ли? — говорил Коля Бугорков захлебывающимся криком. — А то, что ты обо мне думаешь, для меня дерьмо собачье. Я плевал на тебя, я вообще тебя в упор не вижу!»

Коля Бугорков, изойдя в крике, не отводил между тем взгляда от бешено-спокойных светло-серых глаз своего неожиданного врага, которого он обливал теперь такой грязью, какую смыть можно только ударом, и ждал этого удара, слабея от ярости.

Но не дождался. Противник его был, конечно, взбешен и готов был убить Бугоркова, но момент для удара безнадежно упустил, а другого момента так и не нашел в себе. Ему оставалось с честью уйти, хотя сделать это тоже было почти невозможно — надо было драться. Но все-таки, собравшись с силами, с трудом выталкивая застревающие в гортани, каменеющие какие-то слова, сказал Бугоркову:

«Ты, ласточка, принадлежишь к тем мастодонтам, ты... к ним, которые утром после первой ночи показывают гостям окровавленную простыню. Мне с тобой не о чем вообще говорить. Я тоже не бью собак, которые на меня лают издалека. Я вообще их не слышу! — И, отвернувшись, обратился как ни в чем не бывало к притихшим наблюдателям: — Слушайте, а ведь сегодня играет «Спартак», надо торопиться».

«Торопись, торопись, пока я тебя горбатым не сделал!» — пригрозил ему Коля Бугорков, но уже без особой злости, потому что с облегчением понял вдруг, что драке не бывать.

Коля да и все свидетели этой брани понимали, что победа осталась за ним, хотя бывшие приятели и не были на его стороне. Наоборот, они осуждали его, а двое даже предлагали обсудить это дело на комсомольском собрании, разобраться всерьез, о какой такой правде и лжи говорит этот Бугорков, спросить у него со всей строгостью, кто ему дал право обвинять всех во лжи и в чем он, собственно, усматривает эту ложь. Но этих двоих отговорили поднимать шум, потому что, дескать, Колька Бугорков хороший, в общем-то, парень, а в данном случае просто сорвался, с кем не бывает. Тем более что налицо и смягчающие вину обстоятельства — ссора с Верочкой Воркуевой, которую все, казалось бы, очень хорошо знали лично и как будто бы одобряли ее решение избавиться от Коли Бугоркова.

Во всяком случае, почти целый месяц с Бугорковым никто не разговаривал: каждый считал себя в какой-то степени тоже оскорбленным, хотя и не совсем ясно понимал суть происшедшей ссоры, зная только, что Бугорков распустил руки и обвинил всех во лжи. Последнего ему никто не хотел прощать, зато с пострадавшим все в группе были подчеркнута дружны, приветливы и, как в плохом кино, очень часто смеялись, разговаривая с ним, особенно если поблизости был Бугорков. А одна девушка, которой Коля Бугорков нравился, сказала ему однажды срывающимся от возмущения голосочком: «Ты презираешь нас, а на самом деле презираешь самого себя. А это ужасно! Это так гадко, что даже не знаю!» На это Коля Бугорков не нашелся что ответить, он не понял разволновавшуюся девушку, которая ему тоже была приятна.

Но все эти ссоры и разногласия в конце концов улеглись и заглоделись, а к весне, когда Коля Бугорков ездил к деду в Лужки, и вовсе все неприятности забылись. Староста группы даже обещал Коле не отмечать его в журнале как отсутствующего и слово свое сдержал: никто в институте не заметил его кратковременного исчезновения.

### 3

Мне однажды пришло на память это бугорковское изречение о правде и лжи. Было это в той же зимней Ялте, когда заканчивались круизы, но в ялтинский порт заходили еще огромные теплоходы, медленно и тяжело швартовались с помощью упрямого толкача, борта которого и нос были завешены гирляндой из старых автопокрышек. Желтый катерок этот, украшенный черными рюшечками, покачивался под черным бортом «Ивана Франко», как нырок рядом с австралийским лебедем, вспенивая воду у себя за кормой, и по-козлиному бодал великана, пока тот не становился вплотную к пристани, тесня ораву рыбаков.

Я стоял в толпе зевак, с каким-то обмиранием и детскостью вслушиваясь в команды старпома, в его уверенный и картинно-строгий голос: «Хорошо, корма! Хорошо...» — усиленный во сто крат динамиком.

Толстые канаты, или, вернее, концы, как называют их моряки, казались тонкими паутинками, которыми маленькие люди притянули намертво к берегу громадное судно, стальную эту многопалубную красотищу, заполнившую собою чуть ли не всю белую и по-зимнему пустынную Ялту, точно к нам, живущим тут тихой и скромной жизнью,

заглянул на часок столичный щеголь, повергнув наши провинциальные души в восторг и зависть.

Впечатление это усилилось, когда матросы навесили на канаты черные щитки, о назначении которых я тут же узнал от своего соседа по толпе, пришедшего на набережную посмотреть на «Ивана Франко».

— А ты знаешь, для чего эти щитки? — спросил он у меня, обращаясь сразу на ты.

— Для чего? — спросил я.

— Чтоб крысы на борт не забежали.

— Не знал, — сказал я, оглядывая соседа. — Моряк?

— Рыбак с Азова.

Смуглый и толстогубый, как африканец, с грустными и приятными глазами, он, не мешкая ни минуты, спросил у меня со вздохом:

— Пойдем пиво пить, что ли? — И тут же достал из кармана пальто две вяленые рыбешки. — Таранка есть, — добавил он с такой хорошей и располагающей улыбкой, что отказаться от пива я, конечно, не смог.

Второй день жил он в Ялте, но пивной бар за рынком успел узнать до такой степени, что с ним здоровалась официантка, девушка довольно хмурая на вид и неприветливая, встретившая моего нового знакомого, которого звали Сергеем, с улыбкой.

Мы заказали пиво, хлебнули по глотку, обменялись мнением насчет вкуса, который оставлял желать много лучшего, хотя Сергей уверенно сказал, что пиво отличное, я же ему заметил, что в баре этом плохо моют кружки, сохраняющие на стеклянных кромках необоримый запах рыбы, на что мне Сергей резонно ответил, что мы тоже не с конфетами будем пить, так что нам этот запах не помеха.

Он принялся колотить свою таранку о край деревянного стола с такой яростью, что от рыбешки, как брызги, полетели чешуйки, я же робко помял свою брюхатенькую, икряную таранку в руках. Потом мы молча очистили рыбу, оголили янтарные спинки, ободрали белесые волокнца сухого рыбьего мяса, и я с забытым уже удовольствием ощутил во рту вкус вяленой воблы, или таранки, как называл ее Сергей, предвкушая еще большее удовольствие от тугих оранжевых комочков сухой икры, от вязкой ее солености и аромата.

Серенький денек заглядывал к нам в полупустой, к моему удивлению, бар через высоко прорубленные подслеповатые оконца, создающие впечатление, что мы сидим в классическом пивном подвальчике с грубыми деревянными столами, тяжелыми массивными лавками, будто бы мы сами только что сошли с белых палуб океанского лайнера и, устав от штормов и ураганов, обрели наконец-то душевный покой в этом тихом деревянном раю.

— Хорошо, — сказал Сергей, обмочив толстые губы в пивной пене.

— Хорошо, — легко согласился я с ним.

Застольный наш сосед, покосившись на таранку, с завистью проговорил:

— Везет же людям, где-то таранку достали.

Сергей молча, не глядя на него, отодрал от спинки длинное волокнище и протянул через плечо соседу, так и не взглянув на него, а тот поблагодарил и всосался в лакомый кусочек.

Мне так понравился жест моего случайного приятеля, столько достоинства и простоты было в этом жесте, неоскорбительной, доброй щедрости, но в то же время и подчеркнутой отчужденности, что я уже ничуть не сомневался, что передо мной хороший человек, которому можно во всем доверять как другу, хотя я знаком был с ним

меньше часа. Думаю, что любой на моем месте ощутил бы то же самое, случись он рядом с Сергеем.

Живут же среди нас такие люди, которые обладают природным даром говорить незнакомцу на улице «ты», сохраняя при этом уважительный тон и такт, угощать от души дефицитной таранкой, заказывать пиво, не требуя ничего взамен, но и не отказываться от твоего ответного угощения, если ты сам способен на это, если у тебя хватает, как говорится, кислорода. Человек такой не оттого на тебя может обидеться, что ты не угостил его, а оттого, что отказался от его угощения, словно бы ты не от кружки пива отмахнулся, а от него самого. Он-то выбрал тебя из толпы не для того, чтоб пивом с таранкой угостить, а чтоб заверить тебя в своей любви и доброте. Чувствуешь себя рядом с таким человеком счастливым избранником, будто бы он разглядел в тебе вдруг такое добро, о каком ты и сам не догадывался никогда.

Вот и я рядом с Сергеем чувствовал себя в эти минуты отмеченным его доверчивым вниманием, его простотой и человечностью. И сидел я напротив него так, как если бы мы не первый раз пили с ним пиво и жевали тарань, соря на столе обсосанными плавниками и косточками: спокойно у меня было на душе и как-то беззаботно, будто бы какая-то пружина во мне расслабилась и вернулся я волшебным образом в далекое то время, когда и вправду не тяготили меня никакие заботы, а каждый день был так велик и так многообразен, что его одного вполне хватало, чтобы свалить меня поздно вечером, обессиленного, в холодную постель. И теперь ощутил я в себе медлительность времени, бесконечность его, будто вышел из клетки времени, которая от и до, на волю...

Сергей был явно моложе меня, но почему-то именно я чувствовал себя младшим рядом с ним, и мне было хорошо от этого. У человека с Азова, да еще к тому же рыбака по профессии, спросить об азовской знаменитой рыбе — это все равно что спросить у больного о здоровье, но любопытство взяло верх и я спросил, как маленький:

— А что, Сережа, с рыбкой-то как у вас на Азове дела? Есть еще кое-что? Таранкой можно все-таки разжиться?

— Какой там! — ответил он, махнув рукой. — Достал два десятка, повялил сам... думаю, надо достать, а то пиво не с чем будет пить. Вот и достал... Плохи у нас дела! Люся! — обратился он к официантке, — принеси-ка нам с товарищем еще по кружечке. Я думаю, не будет лишнее... Не знаю, как ты, — сказал он мне, когда Люся поставила кружки на мокрый стол, — а я обожаю пиво. Очень прекрасная штука! У нас за ним очереди, а тут просто рай земной. Зимний отдых куда как лучше летнего. Летом отпуск не дают, так я и не очень переживаю. Ты вот спрашиваешь, как дела... А какие могут быть дела, если весь Азов медуза захватила. Растет — просто ужас! Как этот стол, а то и больше. Таких медуз в Черном море ни одной нет. Вода в Азове теплая, теплее, чем в Черном, а планктона навалом... Тепло, сытно — вот она и растет, зараза. Раньше никогда не было медузы в Азове, а теперь просто беда... Почему? Потому что, — продолжал Сергей, — Кубань-то перегородили, а речка горная, быстрая, она своей струей перегородивала воду Черного и Азова, а теперь что ж! Струи нет, вода Черного пошла в Азов, а в Азове теперь соленость воды поднялась. Кубань как стена была, а теперь Азов засолонился, медуза и пошла в него. Идешь на катере — смотреть противно, прешь сквозь эту медузу, но ведь катер-то железный, а рыба? Она как попадет в стадо этой медузы, обожжет жабры... Что ты! Особенно этот, судачок. Его теперь отдыхающие около берега рука-

ми ловят. Граммов по двести хвосты. Майку завяжут и на уху да на жареху наловят мелюзги этой. Они плыть-то уже не могут, качаются еле живые, к берегу жмутся. Жалко... А вся другая рыба, конечно, не дура, бежит от медузы. Медузы этой так развелось, что завод Азовсталь... воду-то он из Азова берет, а сетку фильтровальную забило медузами так, что вода перестала поступать, хоть завод останавливай. Видал, какая штука! Это тебе не просто медуза! Природа, мать честная. А с ней как ты будешь бороться? Где соленая вода, там и медуза, а Азов-то для нее рай земной, она там размножается страшенно... Чего делать, чего делать! Делают, конечно,— говорил Сергей, торопливо отхлебывая пиво.— Теперь, говорят, надо строить плотину, перегородить, говорят, надо Керченский пролив. Ну ладно, перегородят, оставят перемычку, и, мол, это... засоление Азова остановится, все, как было, будет... Не знаю. Но уж тогда прощай керченская селедочка, она в это гирло, которое ей оставят, в Азов не пойдет. Это уж точно! Не знаю... чего там будет. А теперь плохо. Не учли чего-то.

Обманчива и случайна беззаботная моя детскость! Вот уже и следа от нее не осталось, стоило только даже мысленно, даже в воображении выйти из деревянного барчика, перенестись на Азов, подумать об этом странном, неожиданном нашествии полупрозрачных, студенистых, мертвенно-бледных существ, которым люди создали идеальные условия для размножения, такие идеальные, каких сама матерь природа не смогла придумать.

Когда мы вышли из бара, море и небо слились уже в мрачнейшей сизости, на набережной зажглись огни, большой, неправдоподобной игрушкой празднично засветился гирляндными огнями «Иван Франко», украшая собою набережную, став ее центром, средоточием всеобщего внимания.

— Ну, Егор, давай пять,— сказал мне Сергей как закадычному другу, и я пожал ему руку на прощанье.

Ни о каких новых встречах у нас с ним не было уговору, а это мне тоже нравилось в Сергее, подтвердило мои мысли о его бескорыстии и доброте. Встретились, выпили пивка и разошлись. Та же самая ситуация, которой когда-то позавидовал Олег Петрович Воркуев.

Надо сказать, что за пиво заплатил все-таки я, с трудом уговорив Сергея уступить мне это право. Но это был сущий пустяк по сравнению с той добротой и искренностью, которой он одарил меня в этот день.

У меня немножко кружилась голова, когда я поднимался в свой дом по темной дорожке, круто уходящей в гору, а за ужином, за общим столиком, за которым разместились нас шестеро, я рассказал о встрече с Сергеем и, конечно же, чуть ли не дословно передал его рассказ о медузах.

За столиком мы еще не успели познакомиться как следует, еще была между нами какая-то стесняющая нас неестественность, угнетающая и очень невкусная, неуместная немота.

А тут вдруг оказалось, что один из моих соседей из Азова и работает в плановом отделе на Азовстали.

Он поднял глаза от тарелки и с внутренней какой-то борьбой, которая отразилась на его порозовевшем лице, дослушав меня до конца, с неожиданной раздражительностью и резкостью переспросил меня:

— Это кто? Рыбак вам рассказывал? Так вот скажите своему рыбаку, чтоб он заткнулся насчет Кубани! При чем тут Кубань? Тут не Кубань, не струя ее виновата, а сами рыбаки. Насчет медузы он все верно сказал. Да, есть медуза, и дело это очень серьезное. Но при чем тут Кубань? Разгильдяйство во всем виновато.

Сказал все это он с такой убежденностью и с такой неподкупной искренностью, что я, грешный, почувствовал себя так, будто бы оскорбил его в лучших чувствах.

— А может, вы оба правы? — спросил я примирительно. — Медуза-то завелась, море-то засолонилось...

— А что медуза! Вы так, наверное, представляете себе по его рассказу, что весь Азов в кашу превратился. Медуза-то только здесь, с нашего берега, где ее подкармливают рыбой, а все море, все зеркало чистое. И осетровые сейчас восстанавливаются. Ох, терпеть не могу я этих хорьков! Все море процедали сквозь сетки, все выловили, всю хамсу, а теперь — медуза виновата. Струи, видишь ли, им не хватает. Обыкновенная бесхозяйственность. Да что мне вам объяснять, вы и сами должны все понимать.

Откровенно говоря, ушел я из столовой в полном недоумении и растерянности. И уж не знаю почему, но мне было жалко Сергея и обидно за него, хотя я и не в силах был защитить его перед грубым, как мне казалось, и чересчур уж обозленным человеком, слишком пристрасно судившим о рыбаках. При чем тут рыбаки! Давно известно, что отрицание факта не есть отсутствие факта... В Азове повисилась соленость воды и развелась медуза: против этого не возразишь.

Я смотрел с балкона на светящийся внизу за черными кипарисами теплотход и не хотел ни о чем думать. И только перед сном вспомнил я опять о Коле Бугоркове, в роли которого чуть было не очутился сам, поверив безоглядно сразу двоим — Сергею и соседу по столику, их вопиющим, взаимоисключающим правдам, забыв при этом о той единой, объективной и необходимой правде, которая царила над всеми нами: реку перекрыли для того, чтобы создать условия для выращивания риса, а плотину построят для того, чтобы остановить засоленность воды в Азове и сохранить ценнейшие породы рыб...

А керченская селедка?..

Мне хотелось верить, что в природе этого теплого уголка нашей земли наступит гармония, нарушенная теперь человеком для счастья будущего человека. Очень хотелось верить в разум людей...

Но я не мог не поверить и Сергею! Он преподнес мне истину в образе. Я видел мысленным взором колышущуюся массу прозрачно-бледных медуз, и мне становилось страшно.

Трудно, конечно, человеку зримую правду соотносить с той необходимостью, а стало быть, и с истиной, которая скрыта еще от его взора, от его чувств и доступна только разуму. Но не оскудел еще наш народ терпением и мечтой: не увидим мы — увидят наши внуки...

Что же касается бугорковского: «Все, что искренне сказано, то и правда...» — видимо, тут победили чувства, затуманив и отключив разум, потому что примеров искреннего заблуждения можно было бы привести множество, и это не составило бы труда, хотя и очень заманчива доверительная искренность человека и трудно согласиться с мыслью, что искренне сказанная полуправда есть уже ложь. Медуза-то развелась, вода-то засолонилась...

9

В проходном дворе дома номер шесть, в его пространстве, ограниченном кирпичной голый задней стеной дома с ржавыми торчащими балками и ржавой пожарной лестницей и старыми домишками с собственными проходными двориками, помойками, брандмауэрами, чердаками и крылечками, построенными без общего плана и каких-либо архитектурных претензий, в мае расцветала сирень.

Кусты сирени росли в жирной, черной земле. С первых же теплых апрельских дней, когда раскрывалась замусоренная за долгую зиму, мокрая, резко пахнувшая милая земля, встреча с которой всегда была праздником для людей, на ветвях сирени сразу же начинали набухать почки. А когда солнце подсушивало землю, а березовая мягкая метла чисто выметала весь мусор с нее, почки начинали светиться на дымчато-серых ветвях, упруго раздвинув клейкие скорлупки и высунув из-под них острые язычки листьев.

Все эти дни с рассвета и до темна в празднично прибранном дворе со следами метлы на прохладной приглаженной земле ликовали шумные и суматошные воробьи: самцы с черными нагрудничками и бурыми спинками воинственно чирикали и, распутив жиденькие крылышки, прыгали друг перед другом в брачных боях среди оживших кустов сирени, мешая невыспавшимся кошкам принимать где-нибудь на скамейке или на коленях у хозяйки солнечные ванны, заставляя их в дремотной лени хищно и зло поглядывать на эти пляски и драки.

Клены еще стояли голыми, тополя еще только сбрасывали на землю горько-душистые и липкие чешуйки почек, а сирень уже мощно зеленела грубыми и жадными до жизни кустистыми листьями, похожими на колонии каких-то жирных кактусят, усевшихся на толстых тупых веточках, ветках и на высоких гибких ветвях.

Происходило всякий раз чудо: темно-зеленые сочные кусты выбрасывали лилово-красные факелы, наполняя вечерние сумерки прохладным ароматом, равный которому было трудно сыскать во всей Москве.

Под мрачноватой стеной не оштукатуренного до конца и словно бы брошенного, незавершенного дома сирень казалась особенно яркой и душистой. Влажные гроздья были так упруги, так насыщены цветом, что даже когда лиловые соцветия расправляли тугие кулачки бутонов, то и тогда, нежно светящиеся свечками в потемках вечера или красующиеся в своей лилово-розовой роскоши под солнцем, они были исполнены все той же влажности и упругости, жизненной неистощимости, пока не наступала пора увядания, до которой, впрочем, дело не доходило, потому что жильцы домов, ухаживающие за сиренью, срезали цветущие ветки и уносили их вянуть в свои комнаты: считалось, что сирень обязательно надо подрезать, чтобы на будущий год не иссякла ее сила.

Но это бывало только весной. Летом же, в жару, когда весь двор сухо белел от тополиного пуха, а сами деревья с какой-то отчаянной расточительностью сыпали и сыпали на ветер миллиарды пушистых семян, являя собою жалкий и печальный, обтрепанный вид, не было никаких сил справиться с этим удушливым летающим пухом и не верилось тогда, что только вчера здесь цвела сирень.

В летнюю жару вытоптаный двор бывает похож на куриный закуток, в котором только что перерезали и ощипали всех кур. Пусто в детской песочнице под жестяным мухомором, жарко среди каменных стен, а тусклые от пыли листья сирени порванной сетью сквозят в знойном воздухе. Лишь старые клены царственно зеленеют над этой выжженной пустошью, до глубокой осени радуя людей то густой тенью, то сочными пластинами зелени на раскидистых сучьях, то вертящимися в воздухе семенами, оснащенными прозрачными крылышками для недолгого полета, а то и предзимним солнечным цветом листьев, которым освещен бывает двор в пасмурные дни холодной серой осени.

Опять чернеет мокрая земля, а березовая метла, широко шаркая по утрам, сметает опавшие листья в золотисто-бурые копенки, при ви-

де которых редко у кого не екает сердце, всколыхнувшись от давно уже позабытых, вытравленных городом и годами печально-туманных видений.

Шевельнется вдруг в тебе какая-то тайная, сокрытая от всех и самому себе уже непонятная тоска...

## 10

В середине мая, в то милое время, когда цвела сирень, а вдоль улицы распускались липы, светясь розовыми прилистниками, прикрывавшими туго уложенные нежные листья, похожие на зеленые цветы, Коля Бугорков решил наконец-то еще раз попытать свое счастье.

После печальных событий прошло уже много времени. Много писем отправил он Верочке Воркуевой за это время, хотя ни одного не получил в ответ. Но он надеялся, что Верочка все-таки читала письма, прежде чем их разорвать, и эта надежда тихо радовала его, потому что если она их читала, то никак не могла остаться равнодушной. Он писал такие чувствительные письма, с таким самоуничижением клялся ей и просил простить его, с такой нежностью и постоянством признавался в любви, так расслабленно-чутко бывал в эти тайные минуты воображаемого общения с ней, что, казалось, никакое сердце не может не растаять, не ответить взаимностью при чтении этих душевных излияний и уверений в вечной любви.

Себя он рисовал в письмах несчастным и потерянным человеком, которого даже удачные охоты не радовали, хотя, как он писал, «именно в эту весну я оборвал жизнь красавцу глухарю, а показалось мне, что я сам себя убил, и что-то оборвалось во мне, когда я понял, что ты, милая моя Верочка, и есть моя весенняя песня, без которой я не представляю себе свою жизнь. Я собирал подснежники,— сочинял он далее,— и думал о тебе, о том, что ты всегда любила эти чудесные цветы...».

Когда он писал, слезы порой проступали у него на глазах — так волновали и печалили самого его написанные им строчки. Иногда он подумывал, не заняться ли ему литературой, до такой степени пронзительными казались ему собственные монологи, эти, так сказать, прозаические сонеты, отсылаемые по почте к отвергнувшей его, молчаливой, безответной Лауре.

«Почему же ты не хочешь хотя бы одним словом откликнуться на мои письма, в которых я только и нахожу теперь отдых от постоянной и мучительной тоски? Неужели я совершил такое страшное преступление, за которое надо казнить меня? — спрашивал Коля Бугорков, с печалью любясь своим слогом.— Если так, то знай, милая Верочка, что я уже наказан тобою, пора бы и простить меня, сменить гнев на милость. Я знаю, у тебя доброе сердце, и я живу надеждой, что ты еще улыбнешься мне как прежде, мой холодный подснежник, моя любимая... Мне стыдно признаться, но я иногда плачу, когда вспоминаю тебя...»

Бедный Бугорков даже в страшном сне не мог бы вообразить, с каким жестоким цинизмом обращалась Верочка Воркуева с его письмами! Он не ошибался, она их действительно читала, но читала вслух, притворно изображая вдохновенный голос пишущего, а потом рвала на мелкие кусочки и, обнимая нового своего избранника, которому читала письма, говорила с искренним раскаянием в голосе, замечая его неудовольствие: «Я, конечно, гадко поступаю... Но что я могу поделать! Мне смешно! Нет, Тюттин, я понимаю, нехорошо так смеяться, но ты сам-то видишь теперь, как это глупо с его стороны — эти цветочки, подснежники, какие-то весенние песни... Боже мой, и он мне



когда-то казался интересным человеком!» На что ей Тюхтин, за которого она собиралась замуж, хотя он был на восемь лет старше ее и имел когда-то жену, отвечал довольно резко и грубо: «А если понимаешь, зачем смеешься? И вообще, на твоём месте я написал бы ему все как есть, чтобы он не мучился... Не нравятся мне эти твои чтения! Человек любит... Ну раскис, ну глупости пишет, но ты ведь понимаешь, девочка, это он от любви к тебе... Зачем же тогда? — говорил он, но, примирительно целуя ее, добавлял: — Ты ему напиши, что один человек тебя любит сильнее, чем он... Не поверит, конечно. А вообще-то он хороший, наверное, малый, если не фарисей».

Он говорил это с такой самоуверенностью, с такой покровительственной интонацией в голосе, что Верочка Воркуева никогда не обижалась на его грубость, в глубине души сознавая себя очень и очень виноватой перед ним, слабая при одной лишь мысли, что он может вдруг узнать о ее вине.

Она гладила жесткие волосы этого двадцатисемилетнего мужчины и говорила с замиранием в сердце: «Да, конечно, я ужасная дрянь, а он прелестный мальчик, но ты, конечно, лучше всех на свете, великодушный и... Я даже удивляюсь! Тебе кого больше жалко: Бугоркова или меня? Почему бы тебе не разозлиться на этого нахала? Этот дурак до того мне надоел, что я готова убить его! Ты, Тюхтин, наверное, не любишь меня...»

И, говоря это, Верочка и в самом деле, к ужасу своему, понимала, что ей ничуть не жалко было бы Колю Бугоркова, если бы он вдруг взял бы да помер ни с того ни с сего. Она не то чтобы хотела его погибели, но какой-то кроманьонец, оживающий вдруг в ее душе, шептал ей иногда на ушко, что было бы совсем неплохо, если бы Коля Бугоркова не стало на свете: она тогда грустно и нежно помнила бы о нем, жалела бы его и не боялась, как боится теперь, когда она нашла наконец-то человека, в которого была безумно влюблена и уже стала его женой, хотя свадьбу они решили сыграть сразу же после сессии.

Верочка Воркуева глупейшим образом обманула его. Она говорила ему со страхом и ужасом: «Толя, подожди! Я должна тебе все сказать... У меня был парень. Я была девчонкой и ничего не понимала, я не любила его никогда... Это всего лишь один раз... И я должна была тебе это сказать! Ты должен все знать...»

Тюхтин хмуро спросил: «Бугорков?»

Верочка почему-то очень испугалась и в страхе ответила: «Нет, конечно! Что ты! — ужасаясь своей нелепой лжи. — Он вообще уехал, в Ленинград, кажется... Не знаю».

«Глупая девочка, — сказал Тюхтин. — Я тебя безумно люблю за это. Я тоже к тебе пришел не ангелом. Разве это имеет какое-нибудь значение?»

Теперь же, бессмысленно усугубляя нечаянную ложь, Верочка читала Тюхтину письма, как бы подчеркивая тем самым непричастность этого Бугоркова к ее прошлому и с каждым новым письмом все больше и больше запутываясь во лжи, ненавидя за это Колю Бугоркова, который был во всем виноват и к тому же продолжал писать дурацкие письма, не читая которых она, к сожалению, не могла: это было бы выше ее сил.

Родители Верочки Воркуевой быстро смирились с новым увлечением дочери и, пожалев Колю Бугоркова, о котором они часто вспоминали, дали свое согласие на ее замужество, решив, видимо, что теперь ей нужен именно такой человек: старше ее и опытнее в житейских делах. А то обстоятельство, что он работал сварщиком на стройках, их вовсе не смущало, тем более что Тюхтин учился на третьем

курсе заочного строительного института и уже теперь предлагали ему должность мастера, от которой он почему-то отказывался. Зарабатывал он больше, чем младший научный сотрудник Воркуев, и это тоже они приняли во внимание, подумав о том, что Верочка с мужем не сядут им на шею, как было бы, если бы дочь вышла замуж за Бугоркова. А то, что у Тюхтина была жена, с которой он развелся, тоже незаметно превратилось из отрицательного в положительный фактор, ибо, как они думали, человек, обжегшийся однажды, хорошенько подумает, прежде чем женится второй раз. То есть и Анастасия Сергеевна и Олег Петрович, пока еще не чувствуя душевной привязанности к Тюхтину, которого невольно сравнивали с обаятельным Бугорковым, старались между тем рассудочно оправдать его, словно бы он в чем-то виноват был перед ними и дочь.

«Мне только не нравятся его глаза,— говорила Анастасия Сергеевна мужу.— Какие-то они злые у него, недобрые. Смотрит, как вепрь из камышей... И весь он какой-то очень грубый, колючий какой-то... Не знаю, чего Верка в нем нашла!»

Олег Петрович терпеть не мог бабьего, как он выражался, нытья и, раздражаясь, говорил: «Мужика она нашла! Здорового, сильного и неглупого мужика, за спиной которого всегда можно спрятаться, который защитит твою дочь сумеет... Ты видела его мускулы? Он любому шею может свернуть. А это не последнее дело в наш век. Да-да! Ты, я смотрю, вроде бы не о муже для дочери, а скорей о зятке, о сыночке, так сказать, думаешь. А я тебе скажу: Тюхтин знает, что ему надо в жизни. А то, что он колючий, это тоже неплохо. В общем, хватит об этом! В конце концов, не нам с тобой решать, с кем жить Верочке...»

«Да кто ж говорит об этом! — возразила ему Анастасия Сергеевна. — Человек он, конечно, самостоятельный... Привыкнем, конечно... Был бы он с дочкою ласковым...»

«Ага! Так всю жизнь и проласкаться! Тю-тю-тю... Чья это мордочка? А это чья мордочка? Так, что ли? Ласковый теленок двух маток сосет? Да? Мне как раз эта неласковость его по душе. А Верочке, будь спокойна, тоже полезно поучиться жесткости в жизни. Ей тоже не повредит это качество. Я что хочу сказать-то? Я хочу сказать, поверь моему чутью, Тюхтин как раз тот человек, который нужен Верочке, и она с ним будет счастлива».

«Дай бог, конечно»,— говорила Анастасия Сергеевна, вспоминая, как с той же убежденностью говорил не так давно Олег Петрович и о Коле Бугоркове, когда они задумывались о будущем дочери.

Надо сказать, что Олег Петрович отличался удивительным свойством: он всегда и везде приветствовал все новое, будь то в политической, экономической или быденной жизни. В институте остряки за глаза называли его «дежурным оптимистом», о чем Олег Петрович не знал. Хотя и был уверен, что в полной мере наделен природой, как он сам выражался, чувством нового, и был убежден, что любые перемены всегда означают торжество нового над отжившим свой век, одряхлевшим старым.

Так и Колю Бугоркова он легко отнес к категории отжившего старого, а Тюхтина причислил к новому, убеждая себя и всех живущих рядом с ним, что новое всегда лучше старого, стало быть, и Тюхтин лучше Бугоркова.

Ничего этого Коля Бугорков, конечно, не знал, хотя и сам бывал когда-то свидетелем некоторой вульгарности в рассуждениях Олега Петровича, не подозревая, что это невинное заблуждение может когда-нибудь обернуться против него самого.

Но в этот день все сомнения, которые мучили его недавно, казались ему навсегда канувшими в Лету. Он полагал, что прошло уже достаточно времени, чтобы Верочка Воркуева забыла все те неприятности, которые он причинил ей когда-то, и что, может быть, она и сама обо всем теперь думает иначе. «В конце-то концов, Верочка знает, что я ее люблю и готов хоть завтра жениться на ней... Это вообще какой-то дикий случай! Другая бы на ее месте... Все было бы наоборот! Так оно в основном и бывает в жизни! Какого дьявола! Надо быть решительней. Приду и скажу, что дальше так продолжаться не может, и, будь что будет, скажу Анастасии Сергеевне и Олегу Петровичу, что я... Но сначала, конечно, надо поговорить с Верочкой. Не станет же она теперь валять дурака! Нет! Все, конечно, улеглось в ее душе... Сгоряча злилась, а теперь, может быть, даже обрадуется, что пришел... Не подаст, конечно, виду, я знаю ее,— думал Коля Бугорков не в силах сдерживать улыбки,— но будет рада... Она и не могла написать мне, я знаю про ее самолюбие! Если бы даже хотела — не могла! Как это я об этом раньше не подумал? Ждал, дурачок! Этого просто не могло быть. Как же я не понимал этого?! Вот чудак!»

Весь день он настраивал себя на подвиг, а когда наступил вечер, выпросил у матери десять рублей до стипендии и, хорошо умывшись, причесавшись перед зеркалом, припудрив красный прыщик на лбу, несколько раз изобразив стальной холод в глазах, остался доволен собой и, предупредив, что поздно вернется, вышел из дому.

Солнце еще светило, хотя был уже восьмой час вечера. Громко чирикали воробьи, рассевшись на карнизах. Из открытых окон выносился на улицу голос футбольного комментатора, шумы далекого отсюда стадиона, на зеленом поле которого проходила в эти минуты игра и над которым или, во всяком случае, в направлении которого вполнеба темнела грозивая туча, уже ощутимая и здесь своей влажной прохладой и легкими пока, игривыми порывами ветра, поднимавшего пыль на тротуарах.

Вдруг среди сухих, запыленных к вечеру, жарко поблескивающих автомашин, проезжавших мимо автобусной остановки, проехала черная «Волга» с прозрачно-белыми дрожащими каплями на стеклах и крыше. Бугорков кожей ощутил молниевый удар в мрачнейшей с каждой минутой туче за посветлевшими и словно бы полинявшими домами. Но грома не услышал: из окон вырвался водопадный рев стадиона, на котором, видимо, кто-то кому-то забил гол.

Резко рванул холодный ветер и вместе с пылью понес сорванную с чьей-то головы летнюю шляпу, которая, однако, не была раздавлена под колесами, а, как живая, метнулась из-под автобуса и, подлетывая, покатила по мостовой, удирая от хозяина.

Возле метро во мраке уже бушевал вихревой ветер, поднимая в воздух пыль и песчинки, клочья бумаги и черных голубей. Женщины прижимали к ногам подола платьев, приседая и отворачиваясь от колючей мути смерчеподобного ветра. Сверкали уже близкие молнии, и слышен был гром. Люди, успевшие вбежать в вестибюль станции до дождя, улыбались, и у всех было на лицах какое-то веселое и глупое удивление: «Вот так ветерок!»

В Москве в эту весну уже гремели грозы, но не такие обложные, как эта. Сильный проливной дождь был очень нужен городу, с улиц которого еще не смыта зимняя, слоями копившаяся в заснеженных дворах и скверах вредоносная пыль.

Чем ближе подъезжал Коля Бугорков к местам, которые были чудесным образом отмечены в его сознании магнетическими какими-то свойствами, притягательной и радостно-пугающей силой, тем отчет-

ливее чувствовал робость, которую надо было преодолеть, тем все меньше решительности оставалось в нем. Сила близкого Верочкиного присутствия так расслабляла его, а возможность встречи с ней так пугала, что даже глубоко под землей, в прорытом людьми туннеле, в котором мчал его сверкающий поезд, ему казалось, будто бы он уже попал на чужую территорию, нарушив границы чужих владений, куда ему давно был заказан путь.

А когда он поднялся на поверхность земли, увидел толпу у входа, пестрые зонтики и шумный ливень с молниями, он решил было вернуться домой, окончательно усомнившись в своих силах. Но толпа подвинула его к выходу, и он, протиснувшись, вышел за двери, под навес станции, в мокрую свежесть, остановившись рядом с падающим и разбивающимся у ног в белые брызги дождем — один на один с опустевшей площадью, в простор которой из-за мрачно-серой пелены вливалась и улица, отмеченная в его сознании как улица Верочки Воркуевой.

Бугоркову казалось, что каждую секунду его могут окликнуть сама ли Верочка, Олег ли Петрович или Анастасия Сергеевна, очутившиеся рядом в толпе. И он боялся оглянуться. Из-за тяжелых, упругих дверей выходили под навес новые люди, которые, как ему казалось, с какой-то скрытой враждебностью косились на него.

Он и не предполагал, что эта поездка может обернуться таким паническим состоянием. Это состояние, видимо, усугублялось грозой, которая действовала на психику Коли Бугоркова как сознательная сила, запрещающая ему приблизиться к святой святых, к Верочкиному дому, стоявшему совсем близко, за площадью, за ревушим серым дождем.

Туча, а вместе с ней дождь, молнии и громы — все это отодвинулось, сползло с небес, а мутный, волочащийся за тучей шлейф тускло осветился изнутри зловещим желтым светом, который отразился в мокрых мостовых и словно бы окрасил воздух, пропитанный свежестью и запахом отгремевшей грозы. Но заря погасла, так и не расчистившись от мутных облаков, из которых тихо моросил легкий дождик.

Под этой моросью он подошел к дому и, пересилив страх, как во сне поднялся в лифте на пятый этаж и в полном отчаянии позвонил, не веря, что именно сейчас, сию минуту опять может увидеть рядом с собой Верочку, которая может открыть ему дверь...

Но дверь открыл ему сосед Воркуевых, немолодой, но еще и не старый Андрей Иванович в спортивном синем костюме, который, увы, не молодил его.

— А-а-а! — воскликнул он, узнав Бугоркова. — Здорово! Ну что, матрос, будешь проходить или останешься на лестнице? Позвать, что ль, кого-нибудь? Ну сейчас, ладно... — И он, постучав в дверь воркуевских комнат, опять спросил: — Где пропал-то? Чего ж ты! Тут без тебя такие дела! А ты пропал... эх, матрос, матрос...

Но как раз в этот момент и начался настоящий сон, о котором потом Бугорков почти ничего не мог вспомнить.

Вышла Анастасия Сергеевна и очень смутилась, увидев Бугоркова за порогом перед открытой дверью. Вероятно, от смущения, как подумал Коля, и растерянности забыла пригласить его войти.

— Ах, это вы?! — сказала она. — Но... Верочки нет дома...

Потом прошла вечность и наступила тьма, в которую, не слыша себя, Коля Бугорков выдавил слова:

— А скоро придет?

— Как бы это вам сказать, — услышал он из тьмы... — Она в одиннадцать хотела, но не в этом дело. Лучше потом придете... Или луч-

ше... В общем, Коля, ее нет сейчас дома. Я не знаю, может быть, вам нужно повидаться с ней, а может, и не нужно... Извините, я не могу пригласить вас в комнату... у нас беспорядок, Олег Петрович очень устал на работе и прилег... Извините.

И она как в каком-то страшном, неправдоподобном сне закрыла перед ним дверь.

«Ах, дурак,— думал Коля.— Ах, как это ужасно! Зачем же я пришел? Ах, какая мерзость, боже мой! Дурак я, дурак, скотина безмозглая. Так мне и надо, идиоту! Ужас какой!..»

И думая так, или, вернее, бездумно восклицая все это, оглушенный, раздавленный, сбитый неожиданным ударом, он, оставаясь внешне спокойным, в легкую эдакую припрыжечку спустился по лестнице, о чем, кстати, тоже потом не помнил, не помнил даже, как он очутился во дворе, за мокрым столиком под кленом, на сырой скамейке, врытой в землю, уронив голову на холодные доски стола, который пустовал в этот дождливый и холодный вечер, не занятый доминошниками.

Когда Бугорков немножко обвыкся в этом чужом и враждебно-мокром, холодном дворе, тускло освещенном окнами обступивших его домов, он привычно нашел в вышине кирпичной стены окна воркуевских комнат, одно из которых слабо розовело. Ярко светилось лишь голое окно общей кухни с кастрюльками на подоконнике. Он знал, что темно было в Верочкиной комнате, а розовый свет исходил из комнаты родителей, в которой, как сказала Анастасия Сергеевна, «прилег» Олег Петрович. Он понял, что его не обманули и Верочки действительно не было дома.

Теперь он в безумном упрямстве решил дожждаться ее и во что бы то ни стало хотя бы издалека увидеть ее. Если не ее самою, то хоть тень в окне, движения этой тени.

Он выходил через гулкую арку, через эти пугающие его ворота, на улицу и, промокнувший, прохаживался вдоль фасада дома, стараясь унять озноб. Давно уже стемнело, и совсем прекратился дождик.

Бугорков вглядывался в дальних прохожих, надеясь в каждой женской фигурке опознать Верочку, и однажды ему показалось, что он узнал ее, и с какой-то жалкой улыбкой он зашепшил ей навстречу, радуясь и не веря, что она одна идет в такую позднь по пустой улице... Но тут же понял, что ошибся, и, как бы поглядев на себя со стороны, опять, на этот раз виновато, улыбнулся и, успокаивая зашедшее в бое сердце, услышал сам себя: «Вот дурачок! Это ж не она... Ладно, ничего, ничего... Все в порядке...» Тот, другой Бугорков очень был нужен ему сейчас, спокойный и насмешливый, который, к счастью, вернулся к нему и хоть как-то контролировал, как-то наблюдал за этим, измучившимся в ожидании, расслабленным, отчаявшимся и продрогшим Бугорковым, снова вернувшимся во двор на насиженное место под кленом, с которого падали то и дело крупные капли, шлепаясь о землю и стучаясь о доски стола.

Во дворе было очень тихо и пахло сиренью, которую растрепал и побил сильный дождь, но которая уже оправилась после этих милых побоев и, хотя еще не в силах была поднять намокшие, тяжелые гроздь, уже все-таки источала свой неяркий, прохладный запах. Всюду во дворе капало с кустов и деревьев, как будто бы все еще падал с неба редкий крупный дождь.

Когда кто-то торопливо шел по проходному двору к себе домой, и под аркой раздавались шаги, Бугорков с нервной зевотой хохлился, всячески стараясь показать прохожим, что он-де и сам хорошо понимает нелепость своего сидения под мокрым кленом, за мокрым столом, но что вынужден поступать именно так. Лишь однажды какой-то

мужчина приостановился, взглядываясь в него, спросил, не узнавая: «Вась, ты, что ль?» На что ему Бугорков как можно ласковее ответил: «Нет, вы ошиблись...» — боясь заронить недобрые мысли.

Если бы кто-нибудь внимательно понаблюдал за ним в течение всего времени, которое он находился здесь, то и в самом деле могло бы проснуться подозрение, потому что молодой этот человек вел себя странно: то уходил, то снова возвращался, поглядывая на окна, прислушивался и с настороженностью следил за кабиной лифта, движение которой видно было со двора через окна лестничной клетки. Что у него на уме? Кого выслеживает? Зачем?

Собственно, такие же мысли приходили и Коле Бугоркову, когда он поглядывал на себя со стороны, тогда он поднимался, будто за ним кто-то наблюдал, и шел, добродушно и глухо насвистывая в такт неторопливым шагам, выходил на улицу, оглядывал ее пустынную перспективу, прохаживался под липами, выгоняя из себя озноб, но, как на кукан посаженный, опять возвращался во двор.

У него не было часов, но он точно определил время, когда в перелуке вдруг померк свет: ровно одиннадцать. Были будние дни, и люди ложились рано. Бугорков подсчитал, что по всей стене дома свет горел только в одиннадцати окошках. В одном окне под крышей мерцала жиденькая голубизна забытого телевизора. Вертикали окон лестничных проемов, сонно тлеющие неяркими, спрятанными за сеткой лампами, однообразие пустынных маршей, темных площадок возле окон, вздыбленных перил. И темная, безжизненно повисшая в зарешеченной шахте кабина лифта на тросах.

В притихшем погасшем доме по-кошачьи вкрадчиво и неясно заплакал грудной ребенок, вспыхнул вдруг оранжевый свет в окне. Опять все стихло: ребенок поймал губами сладкий сосок груди. Иногда Бугорков как будто бы забывал, зачем и почему он здесь, или, вернее, иногда отвлекался и разглядывал лужицу, которая видна стала лишь потому, что в ней отразилось светящееся окно, за которым плакал грудной ребенок. А потом эта лужица бесследно исчезла, когда окно погасло. Он как бы отдыхал от нервного напряжения, берег силы, отвлекаясь. Но всякий раз вздрагивал, услышав глухой звук электромотора, увидев ожившую кабину лифта, которая все реже и реже поднимала людей на этаж.

Порой ему даже казалось, что он уже не сможет встать, обрести себя, свою волю и уйти, что он уже не в силах выбраться из этой влажной и душистой утробы спящего каменного существа, которое навсегда поглотило его, безвольного и расслабленного, втянуло в себя хищно разинутой беззубой пастью арки. И теперь он никто. Теперь он ни о чем уже не способен думать, что-то понимать. Он может только слышать, видеть и ощущать свое бессилие что-либо сделать.

Впрочем, он понимал, что это ожидание, эта привязанность к дому, неспособность заставить себя встать и уйти не что иное, как дикая блажь, ослиное упрямство, похожее на тихую затянувшуюся истерику, на приступ умопомрачения, так как он уже знал, что Верочка, конечно, вернется домой не одна, что ее кто-то проводит до дому, и, конечно же, появляться в этот момент перед ней по меньшей мере смешно. А то, что ему оставалось — вспышка света в окне, тень или, может быть, темный ее силуэт на фоне света, — все это было так ничтожно мало по сравнению с тем, чем он обладал, что вряд ли это смогло бы хоть как-то утешить его. Скорее наоборот, это бы вызвало в нем еще большее отчаяние. Но, увы, все это хорошо понимал не он, безумец, сидящий на мокрой скамейке, а тот, другой Бугорков, который тоже устал и, махнув рукой на одуревшего, продрогшего своего

двойника, только изредка посмеивался над ним, бестолковым, не в силах понять и объяснить, зачем все это нужно.

Но наступила минута, когда Коля Бугорков очнулся... Нет, он ничего не увидел, ничего как будто бы не услышал, но, как верная собака, чувствующая хозяина, когда тот только еще подходит к дому, возвращаясь с работы, так и он в эту минуту почувствовал Верочку Воркуеву. Скорее даже не почувствовал, нет, а как бы уловил какими-то нервными волосками, каким-то чувствительным органом, что темный и холодный дом вдруг наполнился ею. У него забилося сердце, и ему, только что стучавшему от холода зубами, стало тепло от прихлынувшей к голове крови, он привстал со скамейки и с испугом впился взглядом в темную и мрачную кабину лифта, которая бесшумно стронулась с места и плавно, как в воду, погрузилась на дно глубокой шахты. Стальные нити тросов с той же плавной медлительностью вытянули тяжелый бетонный противовес наверх, под самую крышу, и он замер там. А внизу раздался чуть слышный шлепок металлической двери. Бетонная плита противовеса неслышно заскользила вниз, вниз, вниз, как тяжкий гильотинный нож по направляющим рельсам.

Голова Бугоркова, запрокинутая вверх, пылала жаром. Ему трудно было дышать, и было страшно предчувствовать что-то ужасное, и хотелось убежать, но не было сил убежать, и он опять с дрожью в теле смотрел во все глаза, как легко и радостно летит ввысь сквозь этажи освещенная теперь, весело клацающая на этажах кабина, бережно вознося самое дорогое на свете существо... Ритмично мелькавший желтый огонек кабины вдруг замер на площадке пятого этажа. Бугорков словно бы в ожидании очень унижительного удара страдальчески сморщился и хотел отвернуться сию же минуту, но не смог. А огонек кабины погорел немножко и погас. И тут же раздался приглушенный щелчок осторожно прикрытой двери. Расстояние от столика до лифта было довольно большим, и звук чуточку опаздывал.

...В смутном его детстве протекала речка Тополта с каменистым доньшком... Серебристо-белые ельцы, которых он ловил на муху, ярко блестя чешуей, трепыхались на пружинистой леске. А напротив темнел высокий песчаный обрыв с черной крышей кузницы наверху.

В то время он еще ни разу не бывал на той стороне реки, боялся ходить по шатким лавам. А из кузницы выходил на край обрыва маленький черный человечек и будто специально для Коли, городского мальчика, стучал тяжелым молотком по наковальне, стоявшей под открытым небом. Молоток его как резиновый беззвучно бил по наковальне и, пружиня, подпрыгивал над ней. А когда кузнец опять поднимал молоток над холодной поковкой, долетал до Коли звонкий и чистый звук удара. Это было похоже на какое-то волшебство!

Серебристые, как ельцы, облака текли в голубом небе. Холодные рыбки бились в руке, выдернутые из прозрачных струй. Сказочный человечек поднимал молоток, и тут же проскакивала в воздухе электрическая искра, рождая упругий, звонкий и округлый звук. А резиновый молот опять беззвучно бил по наковальне. Коля Бугорков, забыв про удочку, в крайнем изумлении смотрел на это чудо из чудес, впервые в жизни неосознанно почувствовав глубину и упругость воздуха, ощутив далекость того берега. Он стоял на низком плоском берегу, на хрустящих под ногами, промытых камушках, и ему казалось, что камни эти маленький человечек набросал сюда с того берега. Они долго летели через реку и падали с резким и колким звоном к его ногам...

Бугорков не ошибся — это была Верочка Воркуева. И больше того, он не ошибался, когда думал, что Верочку обязательно кто-то проведет до дому.

Теперь Бугорков, как тот елец, пойманный на муху и выдернутый из своей стихии, отчаянно и бессильно сопротивлялся, болтаясь на крючке.

Верочка и ее провожатый вместе поднялись в лифте, а теперь, усевшись на широком теплом подоконнике лестничной площадки, стали целоваться.

Невидимая проклятая леска была так крепка, а крючок так глубоко и больно застрял, что не было никаких сил ни оборвать леску, ни сорваться с крючка. Он немой, как рыба, кричал и бился в ужасе и наконец сорвался и побежал к арке, гулко топая в ее каменной пасти, а рот его беззвучно выталкивал жалкий, отчаянный стон, будто у него лопнуло сердце.

Но леска, оказывается, была так крепка, а рыбак так искусен, что опять с бесовской жестокостью он подтянул свою жертву к мокрому столику под кленом. Коля не выдержал этой боли и заплакал.

«Господи, что же это? — спрашивал он, сквозь слезы глядя на Верочку, которая сидела к нему спиной, обняв целующего, возвышающегося над ней мужчину, который тоже обнимал ее. — Что же это? Да что же это такое! Верочка! Что ж ты... Как же ты?»

Бугорков зажмурился и как сумасшедший рванулся прочь, но что-то снова его остановило, и он с искаженным от ужаса и злости лицом заорал что было мочи:

— Собаки!! А-а-а-а!

И, напуганный своим криком, своим внезапным помешательством, пьяно и тяжело побежал со двора и, не слыша, не видя никого, бежал чуть ли не до самой площади, пока силы не оставили его.

Он задышался. У него, как в детстве, резко заболело что-то в груди, пугая его продолжительностью этой ножевой, острой боли, которая не позволяла глубоко вздохнуть.

Шатаясь от слабости и дурноты, доплелся он до липы, прислонился к шершавому стволу, расстегнул рубашку и, прижавшись лбом к холодной и мокрой коре, закрыв глаза, старался дыханием унять боль в груди... Но каждый вздох упирался вдруг в эту тревожащую и ставшую поперек груди боль, которая, впрочем, постепенно отступала, как бы оставляя все больше и больше места для дыхания. В конце концов она прошла бесследно.

Бугорков отдышался, привел себя в порядок, вытер глаза платком, причесался и, с какой-то сторонней усмешкой подумав о себе как о пьяном, которому отшибло память, невнятно и насмешливо пробормотал:

— Ну что это такое... безобразие, так распуститься... баба ничтожная... тряпка...

Он и в самом деле был похож на сильно опьяневшего человека. Его пошатывало, он странно улыбался и что-то бормотал.

А дома с ним случилась настоящая истерика: он хохотал, скрипел зубами, плакал, пугая несчастную мать, которая так растерялась, что утратила дар речи. К счастью, в соседней квартире жил старый врач, который довольно быстро справился с Бугорковым: он встряхнул его, развернул к себе лицом и несколько раз наотмашь с треском ударил по щекам и тут же дал понюхать нашатыря бледному и еле живому парню, который, впрочем, сразу же утих, погасил свой бесовский взгляд, стал покорным и очень послушным и быстро лег под одеяло.

Встревоженная мать села с ним рядом и, поглаживая его потную



горячую голову, чрезмерно спокойным и дрожаще-ласковым голосом стала баюкать сына:

— Маленький мой, Коленька... Ну разве так можно волноваться? Тебе надо отдохнуть. Вот я поглажу твою головку, успокойся, маленький мой... Все хорошо. Все замечательно. Вот сдашь экзамены, съездишь к бабушке, позагораешь, покупаешься. Может, и я с тобой тоже соберусь... Все хорошо у нас с тобой будет. У тебя еще вся жизнь впереди... Пойдем с тобой опять в лес землянику собирать, варенья опять наварим...

## 11

Верочка Воркуева, нацеловавшись с Тюхтиным, приведя в порядок свои одежды, застегнувшись и наскоро причесавшись, проводила его тихонечко до лифта, еще раз поцеловала на прощанье, шепотом сказала: «Смотри осторожней!» — имея в виду завтрашний день и его работу на высоте, а после громко дребезжащего железного хлопка, уверенно цокая каблучками, подошла к своей двери и достала ключи. Никто бы не мог заподозрить ее в каком-либо легкомыслии, хотя и не было у нее нужды скрываться, потому что она целовалась и допускала некоторые другие вольности не с первым попавшимся, а с мужем.

Пора безумного целования, когда они с Тюхтиным, казалось, готовы были съесть друг друга, когда губы немели от продолжительных поцелуев, каждый из которых был похож на бульдожьё смертельную хватку, — эта сумасшедшая пора в их жизни была уже позади. Или, точнее, уже перестала быть безумной, то есть Тюхтин уже не бежал голову на последний поезд метро, а уходил всегда с запасом времени. Да и поцелуи их стали более спокойными и как бы осмысленными, не потеряв при этом всей своей сладости. Они теперь несли свои губы друг другу как драгоценные, хрупкие сосуды, словно боялись их нечаянно разбить резким движением, а когда прикасались с полуприкрытыми глазами друг к другу, то каждому из них чудилось, будто это был первый их поцелуй в жизни — так много чувства вкладывали они, так много оттенков этого чувства ощущали теперь, когда научились целоваться. Роль учителя исполнял Тюхтин, у которого была уже школа: все-таки жена, а потом и женщины, а главное, он был из тех мужчин, которые любят целоваться. Во всяком случае, ему не раз говорили о его таланте, который не только некоторым мужчинам, но и некоторым женщинам не дан природой. А Верочка Воркуева оказалась очень способной ученицей. Да и грешно было бы ей, имея такие сочные, для поцелуев созданные губы, не любить целоваться и не преуспеть в этих приятных занятиях. Коля Бугорков стал свидетелем как раз одного из этих вдумчивых, неторопливых и изощренных поцелуев, в которых Верочка достигла уже такого совершенства, о каком бедный Бугорков не смел и мечтать, целуясь когда-то с ней.

Разумеется, ни о каком Бугоркове в этот вечер Верочка и не думала, а когда до них донесся истошный чей-то крик, оба они усмехнулись: Верочка с некоторым испугом, а Тюхтин с мужественным презрением, сказав брезгливо: «Шпана пьяная... Людей напугать могут». И они опять стали целоваться, замедленно, как в рапидной съемке, демонстрируя высший класс, пребывая в сладострастнейшем, тайном экстазе, растворяясь друг в друге.

Верочка Воркуева узнала о Бугоркове несколько позже, когда, счастливая и насладившаяся поцелуями, голодная пришла на кухню и стала жадно есть прямо из кастрюли половником холодную лапшу с сушеными грибами, тоже испытывая от этого наслаждение. Она вообще любила есть холодные супы именно таким вот непотребным, воровским способом и когда-то, застигнутая врасплох, получала под-

затыльники от матери, но не отучилась от дурной привычки. А в этот поздний час ей просто некогда было разогреть, греметь тарелками, ложками, а потом мыть грязную тарелку и ложку и опять убирать их в шкаф и обязательно греметь при этом.

Ей удалось проскользнуть в свою комнату и переодеться, не разбудив родителей, у которых, впрочем, всегда был хороший сон, как и у самой Верочки, и теперь, одна на кухне, она чувствовала себя полной хозяйкой, с жадностью глотая холодную лапшу, прожевывая духовитые, упругие кусочки грибов, и если бы это было можно, урчала бы от удовольствия, как кошка над сырым мясом.

Она уже скребла половником по доньшку кастрюли, добирая остатки лапши, объевшись до тяжести в животе, когда на кухню пришел, шлепая тапочками, сосед, которого Верочка по детской привычке называла дядей Андреем.

— Рубай, не стесняйся,— сказал он.— Дорубывай. Я тут чайничек вскипячу... Не спится чего-то.

Верочка, застигнутая врасплох, покраснела и поперхнулась лапшой от смеха, но так и не отняла половник ото рта, запрокидывая его и пачкая подбородок мутным бульоном: дядя Андрей был свой человек.

Он работал на заводе, который, как он говорил, выпускает кастрюли. Верочка чуть ли не с детства знала, что дядя Андрей делает кастрюли, и очень любила своего доброго соседа. Она и до сих пор считала, что он мастер по кастрюлям, и когда совсем недавно пропали в продаже эмалированные кастрюли, Верочка при матери с укором и удивлением спросила у соседа: «Что же вы, дядя Андрей, плохо работаете? Нигде невозможно купить кастрюлю». Анастасия Сергеевна с еще большим укором и удивлением спросила у дочери: «Какие кастрюли? И при чем тут он?» «Как при чем?» — сказала Верочка.— Он ведь делает кастрюли!» Сосед рассмеялся, а Анастасия Сергеевна покраснела за взрослую дочь, собравшуюся замуж. «Нельзя же быть такой наивной, Верочка! Он ведь шутил. Какие же там кастрюли, что с тобой?» — сказала она тоном осуждения и безнадежно покачала головой. А сосед смеялся и говорил: «Правильно! Кастрюли и делаю! Правильно, Верочка... Клепаем кастрюли будь здоров, а то, что в магазинах их не продают, так это неплохо. Честное слово!»

Теперь, поглядывая на соседа, загородившись от него пустой кастрюлей в одной руке и половником в другой, она наконец-то доела все.

— О-ох! — сказала Верочка, изображая на лице сытость, облизывая губы, и поставила кастрюлю на подоконник, бросив в нее грязный половник. — Я бы тоже от чая не отказалась... Жалко только конфетки нету. У вас нет, дядя Андрей?

— Халва есть подсолнечная, любишь? — с усмешкой ответил сосед.

— Подсолнечная? Наверное, люблю.

— Ну тогда порядок.

Он сидел на табуретке и, положив ногу на ногу, хитро щурился от табачного дыма, поглядывая на Верочку, исподтишка любуясь ею.

— А ты знаешь, кто приходил сегодня? — сказал он.— Бугорков твой разлюбезный. Я ему говорю, чего стоишь, проходи, а он нет... Не жалко парня-то? Мне чего-то сегодня жалко его стало. Стоит ни жив ни мертв.

— Ну и что же? — холодно спросила Верочка.

— А ничего... Вышла Настасья Сергеевна, сказала, что тебя нет дома... И привет.

«Этого еще не хватало»,— подумала Верочка, хмуря невзрачные бровки, и сказала:

— Пока чайник закипит, я тут кое-что поглажу, но только вы, дядя Андрей, не смотрите. Вы вообще лучше ступайте в комнату, а я, как закипит, позову вас. Кстати, халву захватите.

— Халву! Гонит, а потом ей подавай. А мне тут охота посидеть. Чего ты гладить-то собираешься? Лифчик, что ли, какой-нибудь? Подумаешь — дело! Гладь не стесняйся. Я и смотреть-то не буду. Что я, лифчиков, что ль, не видел?! Трусики твоих ваших... Тоже мне принцесса! В ванной сохнут — смотри пожалуйста, а как гладить, так нельзя.

— Я не гоню, как хотите,— согласилась с ним Верочка, давно привыкнув к нему как к родственнику и не видя в нем мужчину. Он все равно остался для нее добрым мастером, который делает кастрюли.— А насчет Бугоркова,— сказала она,— если он еще раз заявится, вы ему, дядя Андрей, скажите, что я вышла замуж. И что муж у меня занимается боксом.

— Боксом?

— Ну, сейчас он не занимается, конечно, а раньше занимался.

— Хорошо, так и скажу.

Верочка не заметила усмешки на лице соседа, была серьезна и все время хмурила бровки, пока стелила серое старое байковое одеяло с коричневым следом от утюга, а потом осторожно и быстренько трогала утюг: быстренько слюнявила палец о язык, а потом по горячему, а вскоре и по раскаленному до шипения электрическому утюгу, словно бы заигрывала с разозлившейся, фыркающей и шипящей кошечкой, которой не нравилось, что ее скользящими пальцами бьют по носу, и словно бы кошечка эта и саму Верочку тоже начинала злить.

А сосед не по-стариковски любовался этой осерчавшей девкой, как он называл ее про себя, не то чтобы завидуя, но как бы представляя себе те счастливые минуты, те жаркие ночи, которые ждут в недалеком будущем ее мужа.

Верочка была в застиранном, полинявшем ситцевом халатике и в тапочках на босу ногу. С точки зрения Андрея Ивановича, все в девке было «при ней», отвечало, так сказать, всем представлениям Андрея Ивановича об истинной женской красоте.

В молодости он даже приблизиться боялся к таким красулям. Как-то однажды он насмешил своих соседей, рассказав им вроде бы в шутку, но горько усмехаясь при этом: «Иду сейчас, а у нас во дворе на скамейке двое целуются. И так он ее целует и эдак, а она к нему и так прижмется и иначе... Стал вспоминать, целовался ли я со своей женой когда-нибудь таким макарком, чтоб забыть обо всем... Вспоминал, вспоминал и не вспомнил... И так обидно стало! Она ведь мне, дура, ничего не позволяла, думала, что иначе я не женюсь на ней. А женился, ей и вовсе ничего этого не надо. Чего, говорит, блажишь-то! Мне, говорит, завтра на работу чуть свет, а вечером стирка — не приставай. Вот и вся моя любовь».

В тот вечер он рассмешил Воркуевых, которые не заметили, не уловили в его словах тоски и скрытого отчаяния. Пошутил человек...

Воркуевы не знали его жены: он с ней развелся и переехал в свою теперешнюю комнату уже холостяком, разменявшись с бывшими соседями Воркуевых, которых они недолюбливали. С Андреем же Ивановичем, который и по возрасту и по характеру и аккуратности своей сразу же показался им подходящим человеком, они легко ужились и были дружны всегда. А в дни Победы он бывал первым их гостем, потому что Андрей Иванович с первых дней войны служил механи-

ком на Северном флоте и, хотя не ходил в походы, работая в доке, испытал много лиха от воздушных налетов.

Он тоже сразу полюбил своих соседей, будучи человеком очень общительным, и ему доставляло тайное удовольствие каждое утро встречать на кухне милую Анастасию Сергеевну, слышать ее голос, видеть заспанные, припухшие после сна глаза, непричесанные волосы. А поздно вечером желать ей спокойной ночи и засыпать с легким и счастливым видением, без всяких, казалось бы, причин пролетавшим перед его мечтательным взором в образе очень приятной соседки. Измученный и на всю жизнь напуганный семейной жизнью, он и подумать боялся о новой женитьбе, но, живя теперь бок о бок со счастливой семьей, стал сомневаться. Но никогда не единым словом, жестом или каким-либо намеком не оскорбил он ничего не подозревающую соседку.

Для него было истинной радостью, какой он никогда не испытывал раньше, приходиться с работы домой и видеть соседей, которых он в минуты веселья называл матросами, особенно если приходил навеселе и приносил бутылочку. «Ну, матросы, что будем с бутылкой-то делать?» — спрашивал он, веселя Воркуевых хитрыми и добродушными глазками, которые, словно бы оседлав и пришпорив большущий, расплывшийся по лицу нос, казались очень маленькими, придавая морщинистому и неказистому лицу какую-то забавную детскость. Серая челка наплывала на очень подвижную кожу низкого и угрюмого лба, а брови Андрея Ивановича каким-то удивительным образом могли вдруг подпрыгнуть в веселом смехе до этой жесткой челки. Из щедрого носа его высовывались толстые и упругие, как китовый ус, сияющие при выдохе и вдохе седые волосы, которые, видимо, все время щекотались, потому что Андрей Иванович частенько морщил свой нос и постукивал по его мясистому кончику пальцем, как это делает кошка, почесывая ухо задней лапой.

Ему бы, конечно, жениться. Он и сам в последнее время стал подумывать об этом, но — странное дело! — ему уже казалось, что привести сюда, в эту квартиру, чужую женщину никак нельзя. Он со стыда сгорел бы перед своей соседкой!

Вот такие чувства испытывал сутулый, узкоплечий и носатый человек, похожий на сказочного, веселого, старого осетра, надевая по вечерам обтягивающий его пузырящийся на тощих коленках спортивный костюм.

Анастасия Сергеевна даже как-то мужу сказала: «Хоть бы ты матросу нашему намекнул, что его уродует этот костюм. Смотреть страшно! Ходит, как Квазимодо».

Но Олег Петрович только посмеялся в ответ.

Теперь этот Квазимодо сидел возле раковины на табуретке и, читая газету, ждал, когда закипит чайник. А Верочка гладила свой бело-розовый интим, к которому она с некоторых пор относилась с особенной заботой и вниманием.

Андрей Иванович выписывал великое множество утренних и вечерних газет, успевая за день каждую из них прочесть. У него со временем выработалась привычка очень аккуратно складывать газеты для чтения. Он выбирал интересующую его статью, и, расправив газету, так складывал листы, так точно подводил уголок к уголку, что перед глазами у него в конечном счете оставалось лишь то, что он хотел прочесть. Тонкие и громко шуршащие в его грубых, казалось бы, пальцах листы газеты, когда он их с легкостью и привычной уверенностью быстро складывал многократно, никогда не бывали порванными или помятыми. Эта виртуозность всегда удивляла Воркуевых. Сам же

Андрей Иванович свое умение объяснял довольно просто: военная привычка — приходилось беречь бумагу для махорки. И складывать тоже надо было уметь, чтобы сразу, как из книжечки, вырвался нужный по размеру, привычный уже к закрутке и к щепоти махорки листок.

...Верочка то низко склонялась над столом, и тогда волосы закрывали ее лицо, а за отвисшим воротом видны были упругие и чистые груди, словно бы набухшие в преддверии материнства, то распрямлялась, ставя утюг и откидывая волосы с лица, и тогда груди ее таранили сосками застиранный ситец халата.

Недавно она проколола уши, и в мочках еще торчали капроновые нитки.

Андрей Иванович, отвлекаясь от чтения, бездумно смотрел, как Верочка гладила свои малюсенькие прозрачные платочки, и ему было приятно это бессмысленное созерцание ловкой женской работы, приятно было вдыхать пар, пропахший свежим глажением, и слышать, как поблескивающий утюг, шипя, выжимает жаром этот душистый и какой-то очень домашний, уютный пар из увлажненной ткани. «На свадьбу, — подумал он с нежностью, — надо ей подарить сережки. Серебряные, с камушками. Рублей за двадцать. А жениху портсигар с червончиком вместо сигарет. И отмочить чего-нибудь про голубые фиорды и тоску матросов, чтоб пооригинальней...»

Как это ни странно, он легко и безоговорочно принял Тюхтина, хотя Коля Бугорков когда-то очень не понравился ему: то ли в нем говорил беспротиворечия, то ли какая-то тайная ревность, ибо парень нравился Анастасии Сергеевне, но вероятнее всего, в этом сыграла главную роль первая их встреча.

Похоронив друга и возвращаясь пьяным с поминок, он вышел проходным двором к дому и увидел в темноте двора, в осенней его оголенности и заброшенности тихую и отрешенную от мира парочку на скамейке. У девушки туманно светились колени, а парень навалился темной своей силой на нее, прикрыв как будто от посторонних взглядов и от холода ее лицо, грудь и руки.

В печально-чувственном опьянении, томясь в одиночестве, Андрей Иванович, как человек очень общительный и простодушный, тут же подошел к скамейке, совершенно уверенный, что молодые люди поймут его порыв, посочувствуют ему и откликнутся на его горе. Сам-то он хорошо понимал их в эти минуты и обязательно должен был сказать о своей любви к ним.

Парень отпрянул, а девушка торопливо поправила пальтишко, склонила голову, пряча лицо, и что-то тихо сказала насторожившемуся парню.

Но он уже узнал в ней соседскую дочку и, понимая, как она смущена, и тоже смутившись на мгновение, с еще большей нежностью и пьяной любовью сказал ей удивленно:

— Да не прячься ты, чудачка! Не бойся меня! Я вам, ребятки мои дорогие, только самого хорошего хочу. Любите друг друга... А я сегодня выпил маленько... Похоронил Борьку Серегина, моего друга старого, и вот... выпил... Но это ничего! Матросы! А если я вам, между прочим, помешал, вы так и скажите: иди, мол, отсюда, дурак пьяный. Я не обижусь.

Парень усмехнулся и сказал:

— Ну что вы, что вы! Мы как раз сидим тут и ждем, кто бы с нами о жизни поговорил. Скучно сидим, одни. Что вы, адмирал!

Андрей Иванович нетвердым, повисшим взглядом посмотрел с улыбкой на парня, понял все и, почувствовав себя очень старым и скуп-

ным человеком, подумал с обидой: «Нет чтобы прямо сказать, уходи, мол, и не мешай, а то подковырки какие-то...»

Достал пачку «Беломора», протянул парню.

— Не пьем,— ответил тот, отстраняясь.

Это презрительное «не пьем» отдалось в душе такой обидой, таким несчастным он себя вдруг почувствовал, что даже пачку смял в руке, сжавшейся с конвульсивной какой-то бешеной силой, и, ни слова не говоря, медленно пошел прочь. Он слышал, как Верочка что-то говорила парню торопливым шепотом, и, зная, что оба они, оставшись на скамейке, смотрят ему вслед, остановился под крутой аркой и, обернувшись, помахал им рукой.

— Вам-то еще это... не скоро,— сказал он дрогнувшим голосом, усиленным гулкой аркой,— хоронить друзей. Дай бог, подольше, матросики...

— Дядя Андрей! — откликнулась Верочка. — На цепочку не запирайте, я скоро приду.

Может быть, это первое знакомство с Бугорковым и предопределило отношение к нему. Во всяком случае, Андрей Иванович всегда был невысокого мнения о нем. Когда же заходила при нем речь о Бугоркове, он с такой силой зажмуривал правый глаз, что вся правая сторона лица сплющивалась. И с перекошенным, выражающим явное снисхождение лицом скептически поглядывал на Анастасию Сергеевну левым глазом, как бы говоря ей: «Позвольте, Настасья Сергеевна, не согласиться с вами. Уважьте старого человека». Он даже позлорадствовал в душе, когда Бугорков получил отставку у Верочки. Зато к Тютину сразу же проникся уважением.

Сам же Бугорков об Андрее Ивановиче никогда не думал всерьез, не подозревая в нем врага. Когда с ним рядом бывала Верочка Воркуева, он всегда вел себя так же недружелюбно и зло, как и в тот вечер на скамейке. Он словно бы сразу выпускал ядовитую какую-то жидкость, отпугивая мнимых соперников, и никогда ни с кем не желал всерьез и на равных разговаривать, если вдруг на Верочку, как ему чудилось, покушались другие существа одного с ним пола, которых он как будто бы и не принимал за людей.

Вообще же такая явная антипатия Андрея Ивановича к Бугоркову казалась довольно странной, потому что после той неприятной встречи во дворе у него было время получше узнать Колю Бугоркова и переменить к нему свое отношение. Тем более что Коля был даже в чем-то сродни Андрею Ивановичу — так же простодушен и искренен и так же влюблен, как Андрей Иванович, в семейство Воркуевых. Но что-то тут не срабатывало, какой-то тонкий механизм отказал, и Андрей Иванович ничего этого не разглядел в Бугоркове. Впрочем, может быть, похожесть, которую, вполне вероятно, почувствовал Андрей Иванович, как раз и оттолкнула его от этого парня?

Как бы там ни было, а теперь он, получив от Верочки наказ и зная, что сказать Бугоркову, если тот опять появится, готов был все в точности исполнить, как велела Верочка, да к тому же добавить кое-что и от себя.

Увы, произошло это очень не скоро, хотя совсем и не так, как представлял себе Андрей Иванович, к тому времени забывший даже думать о Бугоркове. О том Бугоркове, которого Верочка, прежде чем привести в свой дом, долго водила по Москве, придумывая себе родственников, живущих в старинных особняках с лепными портиками и колоннадами. Она весело обманывала Бугоркова, который верил буквально каждому ее слову и всегда искренне восхищался домами, на которые кивала Верочка.

На Арбате у нее жила родная тетя с мужем, у которых был единственный в Москве чистопородный сенбернар с крестом на спине, а в одном из переулков, примыкающих к улице Воровского, в роскошном особняке с высокой, чугунного литья орнаментированной решеткой жил на втором этаже за огромными, тихо тлеющими за шелковыми шторами окнами дядя, у которого было четыре или даже шесть, кажется, охотничьих ружей, она не помнила точно каких. Бугорков восхищенно спрашивал, не бельгийских ли. На что она тут же отвечала, что именно шесть бельгийских ружей с тончайшей гравировкой и, кажется, одно французское, и что развешаны они на стене в его кабинете, на большом зеленом ковре, под клыкастой кабаньей мордой, которую она в детстве ужасно боялась. А бабушка ее жила в высотном доме на площади Восстания, на одиннадцатом этаже. У бабушки громадная квартира, в которой можно кататься на велосипеде, и даже есть орден за большие заслуги. «Только ты никому не говори,— просила Верочка Воркуева.— Я только тебе могу по секрету сказать, что бабушка моя по происхождению вообще-то графиня. Вернее, она сама-то была простая дворянка, а дед, который женился на ней, был графом... А потом они оба ушли... вернее, дед умер, а бабушка ушла в революцию, была в гражданскую войну комиссаром».

Бедный Бугорков немел от восторга, слушая Верочкино вранье, на языке у него вертелся, приплясывая, распутный мелкопоместный дворянин Самсонов, разорившийся сразу же после отмены крепостного права, но он не смел и рта раскрыть, чтобы не опозориться перед голубыми кровями своей возлюбленной, в которой сразу, при первом же взгляде на нее увидел неистребимые признаки породы.

Верочка же Воркуева, гуляя с ним по Москве, останавливалась вдруг перед каким-нибудь хорошеньким домиком с проходным двором и неожиданно заявляла, когда ей наскучивал молчаливый и восторженный парень: «Ну вот, я и пришла... Здесь живет моя двоюродная сестра, моя тетка. Мне надо к ней зайти. До свидания». Бугорков даже опомниться не успевал, как Верочка исчезала, оставляя его посреди улицы.

Сомнения — да и то очень смутные! — закрались в душу Бугоркова, когда он, проходя однажды мимо особняка, в котором жил дядя с бельгийскими ружьями, к удивлению своему, увидел постового милиционера возле чугунных ворот особняка, а на стене медную пластинку с непонятными иностранными словами, разобраться в которых Бугорков не решился, потому что сразу понял, что этот особняк принадлежал какому-то посольству. Он одеревенел от удивления и растерянности, обратив на себя внимание милиционера, но удивился он вовсе не тому, что особняк принадлежал иностранной державе, а тому лишь, что дядя у Верочки Воркуевой иностранец.

Его очень смутило это неожиданное открытие, и Бугорков, холодея душою, подумал, грешным делом, не запутался ли он в искусно расставленных сетях иностранной разведки. Но, слава богу, тут же отмахнулся от кощунственной этой дурости, решив с облегчением, что, видимо, дядя переехал на другую квартиру, особняк совсем недавно продали какому-нибудь новому, только что образовавшемуся африканскому государству.

«Да-а, — подумал он о дяде с сожалением, — такого особнячка он, конечно, теперь никогда не найдет. У него небось коврище был во всю стену, высотой метра четыре, а такого высокого потолка не будет, конечно. Куда же он теперь кабанью морду-то денет? А ружья? Вот бы такого дядю иметь!»

При первой же встрече с Верочкой, лопааясь от нетерпения, он рассказал ей об этом. В ответ она с какой-то странной недоверчивос-

тью во взгляде посмотрела на него, склонив голову набок, и, тихонько фыркнув, пожала плечами.

«Ну точно! — говорил ей Бугорков. — Я собственными глазами видел милиционера и эту вывеску на стене. Точно, там теперь посольство какое-то! Знаешь, как сейчас в колониальных странах! Ой-ей-ей! Новые государства, как грибы после дождика».

Вполне вероятно, что именно в тот день Верочка Воркуева инстинктивно почувствовала, что красивый этот парень не тот человек, который ей нужен будет в жизни. Во всяком случае, с тех пор она перестала ему рассказывать о своих родственниках, которые, кстати, по очереди умерли вскоре после этого, о чем Верочка всякий раз с печалью сообщала Бугоркову. А он очень расстраивался при этом, молча поглаживая ее руку, и вспоминал дедовскую поговорку: «Не по лесу, а по людям беда ходит... Прямо какое-то напастье... Ох-ох-ох! Я тебя хорошо понимаю, у меня у самого отец умер, я знаю, что это такое». «Да, — соглашалась с ним Верочка. — Хотя и не такие уж близкие люди, но все-таки ужасно жалко, особенно бабушку». А поскольку настоящую бабушку, которая и в самом деле сравнительно недавно умерла, Верочка очень любила, то и слова у нее получались искренними и жалостливыми.

«Только ты при папе с мамой, — просила она его, — не вздумай чего-нибудь сказать, а то они и так переживают. А если ты им напомнишь, они опять разрыдаются, особенно мама. Обещаешь мне? А иначе мы с тобой больше никогда не увидимся...»

Бугорков обещал, клятвенно глядя ей в глаза. Столько неподдельной скорби было в его глазах, так он страдал в эти минуты за Верочку, что ей порой страшно становилось.

Но все-таки главным и, пожалуй, определяющим стимулом в ее отношении к Бугоркову было непроходящее и все более разжигающее любопытство.

Она никак не могла поверить, что взрослый уже парень с утомленно-умными глазами способен принимать за чистую монету все — буквально все! — что она ему говорила. И ей как будто бы с каждым днем было все интереснее узнавать бездонность и беспросветную тьму этой доверчивости. Но было в ее отношении к Бугоркову и нечто такое, что еще больше притягивало ее, чем просто его беспредельная доверчивость. Иногда ей начинало казаться, что Коля Бугорков не так уж и прост, как она о нем думает. Он казался ей хитрым насмешником, который подыгрывает ей во всем, делая все гораздо искуснее, чем она сама. Самолюбие ее тогда бунтовало, и она спешила испытать Бугоркова еще раз.

«Слушай, — сказала она ему однажды, — помнишь ту тетю, у которой был сенбернар? Так вот, у меня к тебе огромная просьба. Обещай, что ты выполнишь ее».

«Обещаю», — сказал Коля Бугорков.

«Сенбернар, который теперь один остался, ужасно заболел, а дядька хочет его умертвить, муж моей тети. Понимаешь? Этого нельзя допустить. Понимаешь?»

«Понимаю».

«Ты должен взять эту собаку, у нее, к сожалению, страшная болезнь, стригущий лишай. Должен вылечить ее и держать у себя. Она тебе понравится, это чудесная собака...»

Бугорков поблел, представив на миг лицо матери, но, готовый на все ради Верочки, решительно спросил:

«Куда ехать за собакой?»

«Ты ее возьмешь? — недоверчиво спросила Верочка. — Нет, чест-



но! Ты не боишься ее взять? Ведь стригущий лишай — очень заразная болезнь».

«Я понимаю... Я, конечно, покажу ее врачу... А может, ее надо в больнице полечить?»

«Зачем же я стала бы тебя тогда просить? Из больницы он живым не выйдет, там его уморят обязательно. Он еще какую-нибудь болезнь там подцепит. Понимаешь?»

«Понимаю, конечно. Надо сегодня ехать?»

«Нет, завтра. Ты приезжай ко мне, захвати какую-нибудь тряпку, чтобы собаку в такси везти, купи ошейник покрепче и поводок... Ну и все. И приезжай сразу на такси ко мне, а от меня тогда... Хотя нет, приезжай просто так, без машины, а там мы возьмем и поедем вместе. Понимаешь?»

«Да, конечно», — сказал Коля, лихорадочно соображая, сколько же ему потребуется денег.

«А ты не раздумаешь? — спрашивала Верочка, внимательно вглядываясь в его озабоченные и не очень-то веселые глаза. — Приедешь?»

«Ну что ты! Конечно...» — ответил он, стараясь взбодрить себя и не выказать уныния, которое охватило его душу.

Деньги Коля Бугорков достал в тот же день, хотя и нечестным путем. У них в доме была очень хорошая библиотека, оставшаяся от отца. Он украл, или, вернее, тайком взял с полки, чудесную книгу братьев Grimm, о которой, как ему казалось, мать давно забыла, прихватил еще «Путешествия Гулливера» Свифта и, пока матери не было дома, успел продать их в букинистическом магазине, получив неожиданно большую — баснословно большую! — сумму денег. Потом он купил брезентовый ошейник невероятной толщины и прочности, как и велела Верочка, и такой же брезентовый поводок в охотничьем магазине на Неглинке. Хуже обстояло дело с подстилкой, но и тут он вышел из положения, отыскав в грязном белье старую свою ковбойку с протершимся воротом.

Вечером он не смел смотреть матери в глаза, был задумчив и печален, беспокоя своим поведением мать, которая щупала его лоб и спрашивала, что с ним сегодня случилось. «Да ничего, мам, так просто», — отвечал он, чувствуя себя смертельно больным и несчастным человеком, которому впервые в жизни приходилось обманывать мать, скрывая от нее кражу, и при этом знать, что только завтра наступит самое страшное испытание для него, когда он привезет в дом огромную, облезлую, заразную собаку... Его всю ночь мучили сомнения и кошмары, были минуты, когда он готов был отказаться от собаки, сославшись на запрет матери. Она, конечно бы, сказала: «Или я или собака». Он вынужден был бы уступить. Верочка, конечно, поймет и не осудит его... Но слабость эта проходила, и он снова обдумывал, как лечить собаку — дома или в больнице, понимая, что если мать и согласится после жуткой ругани на собаку, то уж на лечение лишая в домашних условиях никогда ни за что не пойдет.

Измученный и посеревший, он приехал в назначенный час к Верочке с клетчатым узелком в руке, а та встретила его с небывалым удивлением и даже покраснела так густо, что лицо ее вдруг вспухло от красноты.

«Нет, ты удивительный человек! — сказала она, оправившись от смущения. — Ты мне скажи, Коля, ты только прости меня и скажи честно... Неужели ты поверил, что я могла бы больную собаку?.. Нет, я ничего не понимаю! Ты бы взял собаку с лишаем? Со стригущим лишаем?»

Когда Коля наконец-то понял, что Верочка Воркуева испытывала его таким жестоким способом, он вовсе не обиделся на нее, а даже

обрадовался, что это было всего лишь испытание, которое он сумел с честью выдержать. Он оживился и все время радостно смеялся, рассказывая все еще ошеломленной Верочке, как он доставал вчера деньги, как боялся сказать обо всем матери, которой придется во всем признаться теперь, и какую страшную ночь он пережил.

«Мама, конечно, расстроится из-за этих книжек,— говорил он с виноватой улыбкой. — Но если бы ты знала мою маму! Она у меня чудесная! Она все поймет. Все абсолютно! И, конечно, простит меня, ты не расстраивайся. Я смотрю, ты очень переживаешь... А чего особенного-то! Раз обещал, надо же делать. Как же иначе?! Тебя не касалось, как это я все устрою... Это уж мое дело, если я слово тебе дал. Не расстраивайся, пожалуйста. Я знаешь сколько денег получил за книжки? А истратил всего чепуху какую-то. Я маме все деньги отдам, и все будет в порядке. Она, может, даже обрадуется», — возбужденно говорил он, и ему казалось, что и вправду мать очень обрадуется, узнав, что он хотел взять домой большую собаку, но не взял, а вместо собаки принес деньги за проданные книжки, которые он когда-нибудь обязательно купит и поставит на место, где они стояли.

Все, конечно, оказалось гораздо печальнее, чем он предполагал: мать плакала и сам он тоже расплакался, когда она швырнула эти деньги ему в лицо. И вообще был ужасный вечер, а потом наступили ужасные дни, когда она не разговаривала с ним. Только через неделю она простила его, сказав, что делает это потому, что он во всем ей признался, во-первых, а во-вторых, потому, что он сделал это ради слова, которое дал и должен был сдержать. «Но все равно, Коля, ты поступил омерзительно, и вот почему,— сказала она под конец. — Ты не посоветовался со мной и хотел меня обмануть ради своей девушки. Это мне обиднее всего сознавать. Ну ладно, я уже простила тебя, ладно! Но только учти на будущее: никогда не продавай хорошие книги. Это всегда папа говорил. Он даже говорил, что деньги, вырученные за хорошую книгу, полученные взамен ее, это вообще подлые деньги, которые человека не обогатят, как он рассчитывает, а наоборот — делают нищим. Это правильно, потому что человек обменивает частицу души на деньги. И нищает духовно. Вот какой умный был у тебя папа! Дай-ка я тебя поцелую, дурака...»

А Верочка Воркуева с той поры думала о Коле Бугоркове со смешанными чувствами: то она возносила его на пьедестал, раскаиваясь в глупом своем вранье, то, казалось ей, он слишком многого требовал от нее, как бы приказывая все время быть не такой, какой она хотела и могла быть. Хотя, конечно, ничего и никогда Бугорков не требовал от нее и ничего не приказывал: он и помыслить об этом не смел.

То есть, оставаясь для Верочки героем, он стал со временем не тем героем, который был бы приятен ей и доступен для понимания. Все его достоинства, в очевидности которых она не сомневалась: предельно выраженная искренность, доверчивость, честность и верность — все эти качества стали ей очень неудобны, словно бы он заставлял ее ходить в тесных одеждах, из которых она выросла и которые причиняли ей одни только муки.

Со временем ее стала раздражать его непосредственность. Было стыдно за него, когда, слушая, например, «Травиату», он в самом неподходящем месте, тихонечко посмеиваясь, говорил ей с неподдельным удивлением: «Умирает от чахотки, а сама при этом поет. Разве так бывает?»

После спектакля, сдерживая раздражение, она объясняла ему, как ребенку, что опера по сути своей очень условный жанр искусства и нельзя от нее требовать жизненного правдоподобия. А Коля ис-

кренне огорчался, чувствуя себя виноватым, и просил у нее прощения за испорченный вечер, еще больше раздражая ее раскаянием. Были даже минуты, когда ей хотелось сделать ему больно, взбесить его и разозлить до того, чтобы он набросился на нее с кулаками.

И все-таки было в Бугоркове что-то такое, чего Верочка никак не могла постигнуть. Она не могла, например, понять странной и тягостной зависимости от него. Он был так прост и ясен, что в нем и понимать-то как будто было нечего: весь как на ладони,— говорят о таких людях. Но именно это обстоятельство и не устраивало Верочку Воркуеву. Рядом с Бугорковым она переставала понимать самую себя. Вероятно, именно этот душевный дискомфорт больше всего и беспокоил ее, а вовсе не Коля Бугорков, как ей казалось. То есть она была привязана к Бугоркову не потому, что любила его или он ей очень нравился, а потому только, что сама себе не нравилась, когда рядом с ней был Коля Бугорков. Она не могла просто так расстаться с ним, не доказав самой себе, что она великодушнее и во много раз лучше этого парня; она любой ценой должна была убедиться в превосходстве над ним и, дав понять Бугоркову, что он вовсе не герой, что он такой же, как все, оттолкнуть его от себя.

Впрочем, сама она об этом не задумывалась, как не задумывается ребенок, ломая любимую игрушку, чтобы увидеть обыкновенную пружину, приводящую ее в движение.

Женщине вообще свойственно неосознанное стремление сделать мужчину похожим на себя. Если же это удастся, он перестает интересовать ее.

Но то, что случилось с Верочкой Воркуевой на даче, было для нее полной неожиданностью! Каким-то катастрофическим провалом всех ее представлений о себе. Она вовсе не хотела заходить так далеко. Все произошло слишком уж просто и грубо, не принеся ей ровным счетом ничего, кроме отчаяния и какой-то вдруг взорвавшейся озлобленности на Бугоркова.

Она, казалось, сразу же, до самого доньшка поняла этого туповатого парня, одним махом опростила его, низвела до похотливого самца, впервые подумав о нем однозначно, без той замысловатости, которая в последнее время не давала ей покоя. Он ей стал противен с этой минуты, она с брезгливостью думала о нем как о ничтожестве, как о негодяе, который своей ненормальностью и односторонностью довел ее тоже до сумасшествия. Она даже выдумала для собственного успокоения способность Бугоркова якобы внушать легкий сон, похожий на опьянение. Он усыпил ее, расслабил волю, внушил ей дикое любопытство, а может быть, чем-то подпоил незаметно, каким-нибудь возбуждающим средством, потому что она никогда впоследствии не могла понять и объяснить, почему и как это случилось.

Теперь она уже с трудом в это верила, с удивлением спрашивая себя: да было ли это в самом-то деле?

Она стала забывать о своих душеспасительных размышлениях, но Бугорков опять напомнил ей обо всем, напугав и встревожив неожиданным появлением.

«Хоть бы уехать куда-нибудь насовсем,— думала она теперь, убирая со стола свою глазку.— Уехать, чтоб он никогда не узнал моего адреса. А если случайная встреча: «Первый раз вижу... Я вас не знаю, молодой человек. Вы ошиблись». С ним только так».

Между тем Андрей Иванович, поджидая за чтением, пока закипит чайник, обнаружил вдруг, что он забыл включить и поджечь газ. Лицо его от удивления смялось, он, прижмурившись, уставился на Верочку

Воркуеву левым недоумевающе-круглым глазом и сказал, покачивая головой, как японец:

— У матроса склероса...

Но это не развеселило ее.

— Не вижу ничего смешного,— сказала Верочка таким тоном, словно сосед издевался над ней.

## 12

Удивительной наивностью и нелепостью поражают иные народные приметы! Ну как не улыбнуться, услышав, например, от какой-нибудь прародительницы утверждение, что зима будет обязательно морозной, потому что рябина хорошо уродилась в этом году, а осень была мокрая?

Какая тут связь: рябина, дожди, морозы?

Но, увы, морозы наступили, а к середине зимы так надоели, что и без того всегда взволнованная милая женщина из Института прогноза погоды, выступая в программе «Время» по телевидению, казалось, стала чувствовать свою личную вину перед людьми, обещая им глубокие, тридцатиградусные морозы при ясном небе и безветрии. Она водила указкой по метеокарте, робко объясняя людям причины этих бесконечных минусов, а я с каким-то неуютным холодком в груди вспоминал народную примету, которая совершенно непонятным образом сбылась на моих, так сказать, глазах.

Рябина и в самом деле уродилась богатейшая. Даже дрозды не откочевали к югу, оставшись зимовать в белых мелколесьях, рдеющих сказочными зимними цветами, присыпанными снегом.

А перед тем как лечь снегу, чуть ли не весь октябрь и начало ноября лили дожди. Я помню огромное поле, засаженное капустой, туманную голубизну тугих листьев, в которых, как в малахитовых чашах, вкусно и сочно белели мощные холодные кочаны; помню раскисшую, разбитую, ухабистую дорогу вдоль поля, по которой, натужно гудя моторами, еле шли груженые капустой грузовики; помню, как скатился сверху и упал на ухабе в грязь тяжеленный и крепкий кочан и как идущая следом машина с хрустом раздавила его: вся дорога была устлана давленной капустой, а то и целыми кочанами, когда убрали поле.

В сером сите дождя убирали и картошку, мокрую и осклизлую, сохранить которую так, наверно, и не удалось, хотя и хороший был урожай.

А потом нагрянули морозы. Ладно хоть выпал снег, хорошо укутав мокрую землю.

В Москве перед рассветом, в гудящей тишине заиндевелого утра раздавался в потемках резкий и визгливо-взлаивающий звук торопливых шагов по стеклянню-морозным тротуарам. Машины скользили на обледенелых мостовых, раскатав лед до черного блеска на перекрестках: всемогущая соль не справлялась с морозом.

В вечерних сумерках, в ультрамариновом небе над заводской трубой недвижимо стоял лиловый, оцепеневший в холодном воздухе дым. Легковые машины, делая поворот на бульвар, мигали сигналами, высвечивая клубящийся пар из выхлопной трубы, мгновенно окрашивая его в оранжевый цвет, словно бы это не пар, а огонь с дымом вырывался из жерла стреляющей пушки.

А в высоком небе в прозрачной бездне сиял маленький месяц и виден был легкий, затененный шар всей луны, словно бы заснеженный бок Земли подсвечивал его своим белым холодом, тщетно споря с солнцем.

Не знаю, как перенесли морозы оставшиеся зимовать дрозды, спасла ли их рябина, или они все-таки откочевали на юг. Но боюсь, многие из них погибли, потому что весной подозрительно мало было дроздов в лесу, не слышно было на вечерних зорях их веселой трескотни, высвистов, шумного и драчливого щелбета, за которым трудно бывает расслышать свистки раннего вальдшнепа.

Кстати, от Александра Сергеевича Бугоркова я услышал в ту весну еще одну удивительную и исполненную поэзии приметку.

Он меня уверял, что Тополта вскрывается ото льда только ночью и только тогда, когда на небе нет луны — в полной темноте, чтоб никто не видел. Он даже говорил, что не только Тополта, но и все реки ломают лед в безлунные ночи. То есть луна, конечно, может быть на небе в эту ночь, но ее обязательно должны закрывать облака или тучи, только тогда река вскроется.

Он это так говорил, будто речь шла не о реке, покрытой льдом, а о застенчивой невесте в брачном наряде и о женихе в образе сказочного месяца, от которого, стыдясь наготы, прячется до поры до времени юная жена. Придет время, они обвыкнутся друг с другом. Ночи напролет будет ласкать молодой месяц ее журчащие струи, а она в неутолимой нежности будет перебирать, серебряные его кудри, раскиданные по ее груди, или тихо лелеять на безмолвных усталых плесах зыбкий его сон, внемля задумчивому соловью, чтобы потом опять, изогнувшись дугой, переплести в страстной неге гибкие свои струи с его льнущим и плещущимся блеском, пока не придет пора прощания... Под холодным ветром помрачнеют холодные струи, спрячется за тучами месяц, пролив свои слезы на умирающую возлюбленную, очи которой скоро подернутся серой мутью шершавого льда. Но он, далекий и холодный, долго будет ждать ее, прячась за хмурыми тучами, и наступит время, когда, сбросив во тьме свои покровы, она опять разольется под ним, переполненная шумными ручьями. В возрожденной страсти прячась от красавца месяца в затопленных кустах, оврагах, низинах, стыдясь своей нескладной наготы, она дождет соловьиной ночи, и свет месяца снова переплетет ее струи...

Получалась какая-то уж очень красивая сказка о реке, месяце и коварном морозе, разлучающем возлюбленных.

Я было усомнился в истинности приметы, но Бугорков бранчливо накричал на меня, не расположенный в этот день спорить или что-либо доказывать мне. Сказал только:

«Целый океан дышит, приливы всякие, а тут речка. Тут все зависимо».

«Ну а если небо чистое, а реке пора вскрываться? Что тогда?»

«Все равно придут...»

«Кто?»

«Облака! Кто-кто... тучи всякие... Отстань ты от меня, ради бога, видишь, я больной совсем... Привез еще кобеля, а что я тут буду с ним делать? Видишь, какое горе у меня, а ты как не понимаешь ничего. Видишь, грязь какая у меня тут в избе? Один теперь живу! Оди-и-ин! А ты тут мне еще грязи в избу волочишь своими сапожищами... Сымай ты их в сених! Ох, господи, воля твоя... Помираю я тоже, видать...»

С тех пор как скончалась его четвертая жена, которую Бугорков очень любил, так и стал он пить. Когда я приехал к нему, он только-только выходил из запоя, был страшен до неузнаваемости, зол на celý свет, а дом его, да и сам он был в таком запустении, в такой грязи и разрухе, что загрязнить его еще больше было просто невозможно.

Я было собрался тут же уехать домой, и без того намыкавшись в

дороге с полуторамесячным щенком английского сеттера, которого я, как и уговорился с Бугорковым, привез ему в подарок, но подумал, что оставлять старика одного негоже, хотя он и гнал меня в три шеи, взрываясь вдруг ни с того ни с сего дикой злобой. Видимо, никто не мог ужиться с ним в эти дни, всех он гнал, а теперь чувствовал себя очень плохо. И я остался, терпеливо перенося брань и жалея его. Я никогда еще не видел его таким.

Но он не только меня ругал, а ругал больше всех свою жену, которую он когда-то бросил, Клавдию Васильевну, жившую все эти годы в Воздвиженском. Стыдил ее в полубредовом состоянии за то, что она не пришла к нему и не наладила в его доме жизнь. Видимо, оставшись в одиночестве, он звал ее, а она отказалась вернуться. Вот он и не мог по сей день простить ей этого. Он то умолял ее прийти, корчась и стеноя на жаркой печке, то начинал проклинать, то жаловался ей на свою судьбу, то себя жалел вслух.

Спать он мне, конечно, не дал. Только затихнет, только сон прихватит меня, как опять застонет, запричитает жалобно:

«Ох, умираю... Господи, воля твоя... Таблетку надо... Умираю совсем... А какую таблетку-то, хрен ее знает! Не знаю, какую таблетку-то надо... Что ж ты, ведьма, не пришла-то ко мне? Как же я теперь... буду?! В грязи тут подохну, а ты, ведьма, брюхо свое толстое растрясти побоялась...»

«Александр Сергеевич, где у тебя таблетки? — спросил я и в злобе и в жалости. — Что у тебя болит?»

Он затих, а потом ответил со стоном:

«Все болит. Таблетки, таблетки! Я ведь не знаю, какую надо-то... Жена-покойница лечилась, так осталось чего-то, не знаю... Где радио стоит, там в блюдецке таблетки лежат, дай-ка ты мне, посмотри, чего там, а то совсем плохо... Ты когда приехал-то? Вчера, что ль?»

«Вчера».

«Завтра к утру я поправлюсь, дай бог, а сейчас ты уж не ругайся на меня, — попросил он, видимо сообразив наконец, что у него гость. — Значит, вчера приехал? Ну это хорошо».

«Щенка привез, а ты тут... это самое, — сказал я, зажигая свет. — Договорились, весной приеду и привезу щенка. Вот купил, а чего теперь с ним делать? У него родословная, как у лорда, четыре чемпиона и мать с отцом в элите, его спать укладывать на пуховой перине надо, а у тебя в доме черт ногу сломит, — ворчливо говорил и говорил я, чувствуя, что инициатива постепенно переходит в мои руки. — Придется обратно везти, не оставлять же мне его у тебя на погибель. Жалко! Да и денег стоит. — А сам между тем нашел серое блюдецко, в котором лежали полупустые бумажные обертки с неизвестными мне названиями. Лишь в одной из них, как я догадался, был известный и безобидный аспириң. — Ну вот! Нашел таблетку, — сказал я. — Как раз та, Александр Сергеевич, которая тебе нужна, она тебе поможет, я знаю».

«Это хорошо, — отозвался он с жалобной покорностью. — А где щенок-то?»

«Тут он. Попищал-попищал, а теперь спит, как лорд».

«Неужели привез? Не могу поверить...» — сказал Александр Сергеевич и полез было с печки, но я его остановил, дал ему воды, велел выпить таблетку, укрыться потеплее и спать до утра.

И он меня послушался, как угомонившийся ребенок.

«Ох-хо-хо, — вздыхал он, укрываясь кислым полушубком. — Это хорошо! Поверить не могу даже... Не обманываешь старика? Смотри не обмани! Я к завтраму поправлюсь, теперь весна, я ее... нет... теперь все! Уж коли ты его привез, так не увози. Ему тут хорошо».

будет на воле, чего его в Москве-то мучить и самому с ним мучиться... Привез так... То-то я слышу, кто-то пищит, кто-то плачет... Кто ж, думаю, такой! Это хорошо... Ты мне какую таблетку-то дал?»

«Какую надо»,— отвечал я ему уже сквозь сон.

И сквозь сон же услышал:

«Хорошо. Полегчает... А я-то думаю, надо таблетку выпить, а какую — не знаю. Выпил бы, да не ту, еще хуже стало бы... А это, видать, та... Это хорошо. Спасибо тебе... хороший ты человек, остался, помог старику, да еще вон как обрадовал... сеттера привез. Не могу поверить, ей-богу. Ведь я ж из него чемпиона породы сделаю... Он у нас с тобой... Надо поглядеть, конечно, но уж коли хорошая, говоришь, родословная, тут уж, конечно, только руки хорошие надо да и опыт...»

«Спи ты, Александр Сергеевич,— сказал я ему.— Утром поговорим».

«Спи, спи, спи... Я тебе не буду... Это правильно... Это хорошо...»

Летом я заехал в Лужки и, застав Александра Сергеевича в добром здравии, поселился на несколько дней в чистом летнем чуланчике. Пахло в нем воском, паклей, было сухо и прохладно. На бревенчатых стенах, на покатосях бревен скопилась легкая пыльца, невесомые пылинки плавали в луче солнца, который коротко и почти отвесно упирался в пол, падая из маленького окошка. К вечеру этот луч постепенно переключивал с пола на стену, а перед закатом солнца оранжево лепился на дощатой двери, высвечивая буром-ржавую кованую скобу и прозрачный смолистый сучок, который тускло горел в этот час тигриным глазом, если смотреть на затворенную дверь из темных сеней. В просторные эти сени из щелей тоже сквозили тонкие, повисшие в убогих потемках, словно шелка, полотнища вечернего света, упираясь в глухую наружную дверь избы.

Жить в этом чуланчике было одно удовольствие!

А щенка, которого мы с Александром Сергеевичем назвали Лелем в честь знаменитого его предка, я не узнал. Четырехмесячный, лоснящийся на солнышке, серебристо-кряпчатый крепыш с розовым влажным языком так волновался, так прыгал и ластился ко мне, что чудилось, будто бы он вспомнил меня, учуял запах моей пазухи, за которой я вез его весной, хотя я, конечно, понимал, что это лишь доброта его и любопытство проявлялись с такой щедростью и энергией, на какую способны, пожалуй, только охотничьи собаки, преисполненные врожденной доверчивости к людям и ласковости.

Он не стоял на месте, был резв и прыгуч, как жеребенок, ему все время хотелось играть, носиться по траве, набрасываться, хватать меня за ноги, за руки щербатым своим ртом, в розовых деснах которого только еще прорезались коренные резцы, а молочные, шилисто-острые, слабенькие зубы или уже выпали, или качались, готовые выпасть. Он был упруг и напористо-силен в своих игривых набрасываниях и, казалось, весь был сделан из какого-то хрящевидного, дружинистого вещества. Его рубашка была шелковиста и нежна на ощупь, а пахло от него, как от сосунка, приятной щенячьей псинкой.

В чуланчике, отказавшись от раскладушки, я спал на полу, и, видимо, это обстоятельство очень привлекало Леля, словно бы он разглядел во мне третьим своим глазом большую и добродушную собаку. Он ни на шаг не отходил от меня.

После ночной рыбалки я выпивал ковш холодного березового кваса, которым запался впрок Александр Сергеевич, ведрами таская из леса березовый сок, и шел спать в чулан. Лель, от которого я тайком уходил на реку, наскучавшись без меня, вовсе не давал мне

проходу, вязался ко мне, лизал мои руки, у него от возбуждения розовели глаза, а масляные уши, и без того низко посаженные, волнисто струясь по щекам, опускались еще ниже. Он выказывал мне такое внимание и любовь, что Бугорков стал даже ревновать, говоря мне с хмурой улыбкой, чтоб я не баловал собаку и не ласкал ее без толку, а сам тем временем отвлекал Леля и под каким-нибудь предлогом уводил от меня. «Испортить собаку ума не надо», — говорил он мне в назидание.

В первый день, вернувшись с реки, я пустил Леля в чулан, принес старую телогрейку, на которой он спал, и, бросив в угол, приказал мне идти на место.

Но какое там! Когда он увидел меня лежащим на ватном матрасе на полу, он тут же кинулся ко мне, и у нас началась борьба, победителем из которой вышел, конечно, Лель, хотя я и умучил его до такой степени, что он, пошатываясь, отошел от меня к окну, что-то в нем мгновенно расслабилось, и он грохнулся на пол, мягко и глухо стукнувшись костями, вытянул, отбросив на сторону, все свои четыре ноги, и, растянув розовое брюшко, моментально уснул.

Я смотрел на это маленькое чудо, лежащее на полу на уровне моих глаз, и улыбался, когда он вдруг начинал подергивать во сне ногами и пощеньчи гнусаво попискивать, поскуливать, а потом, успокоившись ненадолго, опять волновался во сне, чмокал языком, подрагивал черными губами, словно бы сосал молоко, уткнувшись в материнское тепло, о котором он наверняка уже не помнил наяву.

Я тоже, глядя на него, незаметно и сладко засыпал, но тут же через какую-то, казалось, минуту в ужасе просыпался, потому что отдохнувший Лель с новой силой набрасывался на меня, норовя укусить за нос. А надо сказать, что кусался он очень больно, еще не понимая силы своих укусов. «Иди отсюда!» — кричал я на него спронежь и отпихивал упругого шелкового драчуна, который, как все юные, младенчески беззащитные существа на земле, был так пленительно хорош, такое вызывал к себе доброе чувство своим видом, душно-важно-душистым щенячьим запахом розовой своей пасти, что просто нельзя было разозлиться на него всерьез.

Природа словно бы наложила священное табу на своих молочных детей, снабдив их очаровывающей душу прелестью, уповая на которую суждено им защищаться от злого глаза и коварного умысла старших их братьев, коим и считал я себя по отношению к Лелю, присвоив себе это право.

Он исключявил мне подбородок, оцарапал до крови щеку острым коготком верхнего, пятого пальца, исхлестал мое лицо жестким и еще голым, как прут, хвостом с завихряющейся кисточкой на конце. И пришлось вытурить его за дверь... Очутившись у меня в руках, высоко над полом, он робко притих, свесив свои толстые лапы и поджав хвост, но стоило ему очутиться в сенях, как живая пружина тут же подбросила его, и он сразу же вцепился зубами в мою босую ногу... Я еле спрятался от него за дверь. А он постонал, поскулил, потявкал плаксиво и наконец убежал во двор. Я же, укрывшись простыней, тут же уснул.

У каждого в жизни случаются дни, когда делать бывает буквально нечего, но когда, однако, кажется, будто бы это именно те золотые дни, отпущенные тебе жизнью, которые наполнены такой деятельной силой, о какой ты и не мечтаешь никогда в рабочие будни.

Дни эти излучают солнечный какой-то свет и приходят к тебе обычно после тяжелой, отчаянно мучительной, но удачной работы, завершив которую начинает казаться, что вот ты и сумел чего-то



достигнуть в жизни, взял какой-то рубеж, который был вроде бы неприступным, и честно заработал право на отдых. И не дядя разрешил тебе приказом отдохнуть, а именно ты сам себе, по собственной своей потребности разрешил, не дяде, а самому себе сказав: имею право,— придя в это милое ничегонеделание с душою, полной надежд на будущее, или, как говорит всегда Александр Сергеевич, на «будущее».

«Будущее покажет»,— ответил он мне, когда я спросил у него, а получится ли толк из собаки.

Эти счастливые дни быстротечны и легки, как вздох. Не успел ты оглянуться, их уже и след простыл, хотя и казались они тебе поначалу вечностью. В эти дни, словно после долгой и изнуряющей, губительной привычки к сигаретам, ты успел уже отвыкнуть от никотинной отравы, все твои чувства словно бы оживают и обостряются, ты начинаешь улавливать тончайшие запахи жизни, все ее звуки, краски, переливы сумерек, света и тьмы. Ты осматриваешься вокруг себя с удивлением, словно бы хочешь внимательно приглядеться ко всему живому, что тебя окружает, и, запомнив все это, понять наконец-то, ради чего ты живешь и стараешься в муках объять необъятное...

*(Окончание следует)*



---

---

ВЕНИАМИН БОГАТЫРЕВ

★

## ПЕРЕД РАССВЕТОМ

1.

Замолкли в заволжских раинах  
веселые треди пичуг,  
и солнышка луч паутинный  
сквозь тучи  
пробьется не вдруг.  
Все реже погожие полдни,  
вот-вот заметет-запуржит,  
на маковке храма господня  
всполошенно галка кричит.  
Нахохлились мокрые клены,  
а где-то  
за тысячи верст  
на низменный брег Альбиона  
бросается грудью норд-ост...  
Шаланды пристанища ищут,  
бьет в медные склянки Биг Бен...  
Ночь...  
Энгельс уходит с кладбища,  
песок отряхая с колен,  
...Год сорок восьмой...  
К баррикадам  
патроны несут под огнем.  
Товарищи падают рядом,  
прострелена куртка на нем.  
Но страх его сердце не тронет,  
в укрытие он не уйдет...  
Когда не хватает патронов:  
— В штыки!  
Коммунары, вперед!..

...Шесть раз отцвели остролисты  
с тех пор,  
когда ранней весной  
отца своего  
коммунисты  
в Хайгейте укрыли землей.  
...Шесть раз бушевали потоки  
разбуженной солнцем воды,  
и Волга о берег высокий  
дробила постылые льды...

Туманились зорями пашни,  
 хлеба колосились в свой срок,  
 осенние пенились брашны,  
 и снова дымился снежок...  
 Все было обычным как будто:  
 и солнце,  
     и слезы,  
             и смех;  
 и печь остывала под утро,  
 и голуби вились у стрех.  
 Все так же нужда вдоль окошек  
 брела от села до села:  
 — Подайте  
     убоному  
         грошик!..

Гремели колокола,  
 рыдали в трактирах шарманки,  
 всходила и меркла звезда,  
 скрипели возы спозаранку —  
 все было таким, как всегда...  
 Но где-то  
 с коптушкой,  
 с лучиной,  
 в подвалах,  
 в лачугах,  
 в углах —  
 сходились,  
 на память учили,  
 читали на всех языках:  
 «ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ,  
 ПРИЗРАК КОММУНИЗМА»...

## 2.

Казань.  
 Минареты мечетей.  
 Старинных церквей купола.  
 По улицам шастает ветер.  
 Куржавится к вечеру мгла.  
 Плывут над кремлем перезвоны,  
 вдоль черных чугунных оград  
 с исхлестанных осенью кленов  
 пожухлые листья летят...  
 В пальто,  
 в тупоносых ботинках,  
 совсем не по форме одет,  
 окраинной  
 скользкой тропинкой  
 шагает опальный студент.  
 ...Еще не родились ребята,  
 которым придется потом  
 в Разливе  
 челнок его прятать,  
 в шалаш пробираться тайком  
 с корчажкой,  
 с горшком черепаным,

в котором, еще не остыв,  
 горох или каша овсяная  
 приправлены маслом простым...  
 И в Шушенском,  
 в доме, где будут —  
 со всех поселений земли —  
 входить в его комнату люди,  
 еще и стола не внесли!..

### ИЗ СТИХОВ О КАРСАКПАЕ

Джезказган,  
 Байконур,  
 Академгородок —  
 и за каждым названием  
 горы труда!  
 Но возьмешь перевал,  
 обуздаешь поток —  
 ан опять  
 подымается дела гряда!  
 От Ямала до БАМа  
 пылают костры,  
 вертолеты  
 на просеки сходят, ворча,  
 и в тяжелые шпалы  
 почетный костыль  
 загоняет  
 усталый парнишка сплеча!  
 Обживая тайгу,  
 тепловозы режут,  
 поднимаются стены  
 жилых корпусов...  
 — Прощевай, Карсакпай,  
 нас в дорогу зовут  
 негасимые звезды  
 походных костров!..  
 Спозаранок  
 монтажник поет на лесах,  
 и подруга  
 спешит на этаж с мастерком.  
 Стали делом обычным  
 у нас чудеса,  
 мы с тобой  
 в удивительном мире живем:  
 захотел на Луну —  
 и свершилась мечта,  
 вздумал песню сложить —  
 и пожалуйста, пой!  
 И глубины морей  
 и небес высота —  
 все богатства земли  
 у тебя под рукой!..

Хвалынский.



---

С. СЛАВИЧ

★

## ЛУКЪЯНЫЧ

*Рассказ*

**У**же несколько дней как заметил, что спать на левом боку тяжело — сразу напоминало о себе сердце. Раньше ничего такого не замечал. И чаще стали сниться сны, большей частью тревожные. В полусне-полубодрствовании вдруг рождалась какая-нибудь неожиданная мысль, от которой он потом чаще всего отмахивался. На этот раз пришло внезапное решение: «Все. Никуда не пойду. Не могу. Не хочу. И пропади она, эта работа. Хватит».

Было это, по-видимому, под утро — трамваев на улице еще не было слышно. Потом снова заснул, и во сне вспомнилась Тоня. Не просто приснилась, привиделась, как это бывает, зыбко и неопределенно, а именно вспомнилась — худенькая, маленькая, понимающая больше, чем ему иногда хотелось. И тут же вернулись боль, неудобство, стеснение в груди...

Он уже опять проснулся, мог ощущать себя и все окружающее: пустоту квартиры (все разошлись по делам), визг трамваев на повороте, смятую простыню (видно, ворочался во сне), сбившуюся подушку, но все еще помнил Тонин взгляд, в котором были и любовь и спокойная, незлая усмешка. Тоня смотрела так, будто ему, Павлу, не двадцать два, а какие-нибудь пять лет, будто она мать этого пятилетнего дитяти, заранее знающая все, что оно может захотеть и попросить.

И впервые за последние годы он почувствовал себя на какой-то миг не угрюмоватым и уже старым Павлом Лукьяновичем, который говорит мало и отрывисто, все делает, как бы заставляя себя, а тем немислимо заводным Пашкой, который кинулся как подброшенный на богатыря Колю Макарова — без ножа, без пистолета, потому что нельзя было с оружием кидаться на своего. Макаров, говоря, как всегда, на досуге о бабах, зацепил и Тоню: ни того, мол, у нее нет, ни другого, и вообще, дескать, непонятно, для чего таких женщин создает господь бог.

Он кинулся на него с безудержной и, казалось бы, безотчетной яростью. Она была неотвратима, как припадок падучей, но в то же время Пашка понимал, что делает. Это было как прыжок: прыгнул-то сам, а по собственной воле уже не остановишься.

А с Тоней у него тогда ничего еще и не было. Всего дня за три до этого они вообще впервые перекинулись несколькими словами.

Павел зашел в комнату, где допрашивали языка — гауптмана, которого он же недавно и приволок из Николаевки. Собственно, брали его втроем, но главную роль сыграл он, Павел. Сейчас его вызвали, чтобы уточнить кое-что о расположении береговых батарей — видно,

у оперативников появились какие-то сомнения. Тоня была переводчицей.

Немец, малость опомнившись, почувствовав, что война для него кончилась и ничего страшного больше не будет, осознав, что самое невероятное событие или приключение его жизни уже позади, освоился, к нему даже вернулась некоторая вальяжность. Во всяком случае, в ней, Тоне, он определенно замечал не только переводчика, но и женщину, а это значит: поверил, что будет жив.

(Она усмехалась, думая об этом. Наблюдать было необыкновенно интересно.)

Гауптман довольно свободно сидел у накрытого картой стола и вел себя чуть ли не как коллега допрашивавших его офицеров, но, увидев Павла, сразу слинял, даже выронил папиросу (она была ему непривычна после сигарет), засуетился, поднимая с пола, в выражении у него появился если не испуг, то затравленность, которая в насильственной улыбке, во взгляде мучительно переплавлялась в искаренность. Впрочем, Павел всех этих тонкостей, кажется, не заметил. Он был просто зол оттого, что пришлось по жаре идти через весь поселок.

— Вы что — оглушили его? — тихо спросила Тоня.

Павел только мельком глянул на нее, ничего не понимая.

— Почему же он тогда боится вас? — не отставала она.

— Вот у него и спрашивай, — огрызнулся Павел.

Это и был их первый разговор. Тоня посмотрела удивленно и словно бы отстранилась, показывая, что не желает иметь ничего общего с таким типом. А Павлу тогда и подавно было на все наплевать. В тот раз Тоня прошла перед ним, как тень облака над дальним лесом, от которой никакого проку. Он почти и не заметил ее. А Тоня, как всегда, замечала многое, но об этом он узнал только потом.

...Нет, гауптман не темнил, все рассказывал точно. Павел подтвердил это. А немец чуть ли не извивался, заглядывая ему в лицо, следя за пальцем с грубым желтым ногтем, которым он тыкал в карту. Офицеры не вызывали у него такого подобострастия, хотя сейчас его судьба зависела от них, и он не мог не понимать этого — гауптман был не дурак.

Гауптман определенно был не дурак. Тоня знала об этом немце многое. Во всяком случае, могла спрашивать его обо всем и требовать ответа — такое не часто случается. Иногда ей казалось, что его мысли плавают, как «копейки» на поверхности куриного бульона, и она видит их все, но порою угадывала в его глазах судорожное биение чего-то потаенного, невысказанного.

...Как много эти русские знают о дислокации части, о системе постов и охранений, о расположении и калибрах орудий!.. Да, да, для него война закончилась (он, наверное, настойчиво повторяет себе это, но как повторяет: с облегчением — что-то не верится! — или с отчаянием и страхом перед фюрером?), ему сейчас должно быть все безразлично, однако не может, не может быть безразлично! Конечно, после его исчезновения (а оно должно выглядеть почти загадочно) кое-что изменят, но изменить можно лишь кое-что, к тому же он теперь понимал, что русские тотчас узнают и об этих переменах, поэтому что у них здесь глаза повсюду...

Только попав в плен, гауптман увидел свой, коменданта сектора береговой обороны, собственный жестокий просчет. Русские высаживались на берег и проникали в тыл там, где он это считал совершенно невозможным, в месте неприступном, негодном для высадки. И вообще особенность русской тактики, как он понял здесь, заклю-

чается в том, что командование ставит перед солдатами совершенно невыполнимые задачи, а те все-таки ухитряются как-то выполнять их...

Последнюю сентенцию (он рискнул ее высказать) Тоня не стала переводить как не относящуюся к делу. Гауптман даже улыбнулся, говоря это, но, боже мой, как он ненавидел весь мир, и себя прежде всего! Нужно быть идиотом — попасть в плен сейчас, когда конец войны виден! Он никак не решался спросить, было ли его похищение заранее запланировано или все получилось случайно. Неужели он подвернулся им случайно? Господи, ведь ему оставалось до отпуска, до поездки домой всего две недели!..

Невольно думая об этом, он боялся своих мыслей, потому что если не сами они, то рожденное ими душевное состояние становилось, как он опасался, в чем-то понятным этой стерве, женщине-переводчице.

О чем она спрашивала матроса? Немец заметил короткий и резкий обмен репликами.

Матрос же еще с той первой ночи вызывал у него страх своей спокойной и деловитой безжалостностью. Было ясно, что с того мгновения, когда он убил у крыльца часового, этот часовой попросту перестал его интересовать, словно камень, отброшенный ударом ноги с тропинки, чтобы не мешал идущему следом...

Зато следующий разговор с Тоней Павлу хорошо запомнился. Она сама подошла к нему, когда Павел стоял на посту в тени под шелковицей. Разговаривать с часовым вообще-то не положено, но разведчики уставным тонкостям не придавали особенного значения, и отшить ее Павел собирался совсем по другой причине: Тоня вызвала у него непонятное раздражение. Не успел отшить. Она подошла и спросила:

— Вы на меня не сердитесь?

— За что? — удивился он искренне.

Можно подумать, что она заранее знала, чем обезоружить его: незащищенностью.

— Я вела себя тогда не наилучшим образом.

Прошло уже несколько дней, и Павел ничего особенного не смог припомнить. Он смотрел на нее по-прежнему вопросительно, и Тоня подумала, что все получается невероятно глупо.

— Знаете что, — решила она, — сегодня у нас будут показывать фильм — «Петер». Приходите, не пожалеете.

Вот это Пашка понял. Это что-то обещало, хотя и не ахти как радовало. Ему больше нравились не такие женщины. Он любил дебелих, или, как говаривал тот же Колька Макаров, «чтоб кругом было шестнадцать». Но на худой конец и эта сойдет...

Они стояли в тени шелковицы на виду у всех. На них смотрели окнами штаб, офицерская столовая, и Тоня вдруг почувствовала себя ужасно. Ведь она, по существу, навязывается. Зачем? Он даже это приглашение в кино воспринял по-своему, хотя она действительно просто хотела, чтоб он посмотрел прелестный и милый фильм, как хотела бы, чтобы его увидел всякий...

Но подошла она к нему потому все-таки, что прослышала о стычке с Макаровым. Разговор об этом зашел во время обеда:

— Вы, Тонечка, стали угрозой нашему боевому братству. Из-за вас сцепились два лучших разведчика...

Она не поверила. Из-за нее подрались мужики? Такого никогда не было и не могло быть. Это же вульгарно и отвратительно!.. При чем здесь она? Ее-то как это могло коснуться?

Должно быть, все это достаточно отчетливо отразилось у нее на лице, потому что лейтенант Гриша Белькович, обедавший с ней, расхохотался:

— Павлик Малыш, говорят, так напал на Макарова, что тот убежал. Представляете?

Представить Макарова убегающим было и на самом деле трудно. Пожалуй, только он один здесь и мог без ущерба для репутации позволить себе это — удрать, чтобы не ввязываться в драку.

К тому времени, когда Павел чинно и благородно, следуя параллельным курсом, провожал ее после кино домой, Тоня уже кое-что знала и все же спросила:

— А что у вас с Макаровым произошло?

— Давайте не будем об этом,— хмуро сказал Пашка.

И в те юные годы на него находила иногда прочно утвердившаяся потом в характере хмурость. Тоня восприняла это как проявление тонкости и такта, а ему и вправду нечего было говорить. Что, собственно, он мог сказать?

Да если разобраться, то совсем и не из-за нее полез он в драку. Разговор о бабах был только последней каплей. А злил и раздражал его Макаров давно.

Вот есть люди, рядом с которыми всегда тесно. Когда такой садится, места ему нужно как на двоих. А рядом, глядишь, еще положить чемодан или «сидор». Остальная публика устраивайся как можешь, а этот — будто пуп земли.

Такой и не подумает, к примеру, спросить, а можно ли закурить. Ему хочется — разве этого не достаточно? И так во всем. И всегда почти — шумливость, беспардонность. Наверное, из-за этого в драку лезть не стоило, но добавилось еще что-то — и не сдержался..

Объяснять все это Павел не хотел, да, может, и не сумел бы объяснить, потому и сказал: «Давайте не будем об этом».

Как трудно им было в тот первый вечер! В остальные тоже ненадолго легче, но в тот особенно. Наверное, поэтому она и тормозила, дергала его вопросами:

— А почему вы не подошли ко мне в кино? Я место специально держала... Вам не нравится Франческа Гааль? (Он и слова не сказал об этом.) Оттого, видно, что похожа на мальчишку...— Тоня усмехнулась.— Не в а ш идеал... А вы помните Полетт Годдар, партнершу Чаплина по «Новым временам»?..

Он шел рядом, угрюмо молчал, злился на себя за то, что позволил втянуть себя в непонятную, похожую на игру историю, и на нее за это сороочье стрекотанье.

Должна бы понимать, что ему и не следовало подходить к ней там. Не следовало!

А на месте рядом с ней тут же расположился, между прочим, лейтенант Гриша Белькович...

Павел не нашел ничего особенного в этой девчонке из «Петера», а кто такая Полетт Годдар, понятия не имел.

Он твердо решил проводить эту сороку домой и навсегда от нее отшиться.

— Хотите выпить водки? — спросила Тоня возле дома.

— Хочу,— ответил он и внутренне восторженно: это было уже что-то.

Они на цыпочках прокрались в комнату, занавесили окна и зажгли коптилку. Смешно, но, ей-же-богу, крался Павел с не меньшей осторожностью, чем даже у немцев в тылу. Он сказал об этом, как бы приглашая посмеяться, а Тоня вдруг спросила:



— Почему все-таки этот гауптман так боится вас, именно вас? Павел пожал плечами — он и в самом деле не знал, — а она посмотрела на него пристально:

— Что-то в вас есть такое...

Что именно, Тоня не стала уточнять. Она сразу присмирела, оказавшись в доме.

— А второй?.. — спросил Павел.

— Я не люблю водки.

— А я не пью один.

Она поставила второй стакан.

— Только совсем немного, пожалуйста.

Он налил ей почти столько же, сколько себе, и смотрел, как страдальчески она морщится, заставляя себя пить водку.

Ему так хотелось ощутить себя легким и веселым! Не получалось. Кольку бы Макарова сюда или того же Гришу Бельковича. Те бы не растерялись. А он молчал. И Тоня замолкла. Это становилось не тягостным даже, а просто невозможным. И тут он накрыл своей ладонью ее беспомощно лежавшую на столе руку. Рука вздрогнула и испуганно замерла, будто съежилась.

— Господи, как глупо все... — еле слышно прошептала Тоня.

Павел стиснул челюсти, а она тут же торопливо добавила:

— Вы не обижайтесь — это я о себе...

Он осторожно, как берут птицу, сжал ее руку.

— Какая большая рука у вас и, должно быть, сильная, — сказала Тоня. — А прозвище — Малыш. И имя — Павел. Вы знаете, что Павел значит «маленький»?..

Не отпуская руки, он поднялся и подошел к Тоне сзади. Волосы на затылке у нее разметались, открывая тонкую, слабую шею. Павел провел по ней другой рукой, и Тоня оглянулась.

— Вы думаете, я за этим вас позвала?

Неожиданно для себя Павел улыбнулся. Да она же сейчас совсем как цыпленок. Как взъерошенный, отбившийся цыпленок. Кажется, прав был Колька: и зачем только господь бог таких женщин создает?

Никогда раньше Павел так не делал, а сейчас наклонился и поцеловал ее в затылок.

— А черт с ним, — как-то мучительно сказала Тоня. — Оставайтесь.

И сама задула коптилку.

И тогда и сейчас он понимал, что никакая его Тоня не раскрасавица. На этот счет заблуждений не было. Он всегда смутно подозревал и то, что его самого она в чем-то для себя выдумала. Чем-то он, видно, поразил ее. Но чем? В чем-то она тут же разочаровалась. В чем?

— С ума сойти, — сказала после того, первого вечера. — Зачем мне это нужно было?..

Он разозлился, а она заплакала. Разозлился, когда глянул на себя как бы со стороны. Кто он? То игрушка, предмет бабьей прихоти, а то чуть ли не самозванец...

Наутро казалось, что все это случайность, что этим все и закончится. Назавтра ушел в задание, и слава богу — с глаз долой, из сердца вон. Вернулся через неделю. Но вот тут-то и началось...

Предвидеть, чем обернется задание, никогда невозможно. В тот раз оно вроде было простым — без захватов, нападений и диверсий. Высадившись в районе Пастушьей башни, нужно было подняться в горы, дожидаться в условленном месте нужных людей и с одним из них

вернуться на берег, куда подойдет катер. На всю операцию дается трое суток.

Павлу не нравились такие на первый взгляд простые задания. Ведь неожиданности все равно будут, а ты связан не только действиями противника, но и тем, как поведут себя предполагаемые партнеры. Появляется еще один не зависящий от тебя фактор. Задумано так: приди, возьми, принеси. Рассуждать вроде бы не о чем. А в действительности всегда получалось иначе.

Сложности пошли с того, что люди, с которыми ожидалась встреча, на сутки опоздали, а когда пришли, притащили за собой хвост. Иначе они, видимо, не могли, винить их не приходилось, но от этого было не легче. Продукты у этих людей кончились, боеприпасы кончались, и один из них был ранен — пуля пробила плечо.

И хотя в группе Павла с ним самим было всего трое, он решил захватить с собой, кроме того человека, еще и раненого. Позже ему с жестокой откровенностью дали понять: нельзя было связывать себе руки, надо было строго выполнять задачу; но Павел не мог иначе — раненый нуждался в срочной операции.

Нужно отдать должное новым знакомым (их-то и знакомыми называть нельзя — только и успели обменяться паролями) — они всё поняли и оценили.

Павел оставил им консервов, сухарей и несколько гранат. Они же обещали придержать немцев и по возможности оттащить их на себя. Они брали на себя так много, что Павлу в какой-то момент даже захотелось обнять на прощанье каждого. А парни вели себя чуть ли не виновато: вот-де притащили за собой хвост, вот перекадываем на ваши плечи раненого товарища... Но что, мол, поделаешь, братцы!.. Они чувствовали себя будто рядовые, необученные перед лицом высокого начальства. И то — разведчики в сравнении с ними, конечно, выигрывали...

Но раненый был плох, одному из разведчиков все время приходилось помогать ему. Местность скверная — поросшие можжевельником и туей скалы. Каждый почти шаг — преодоление препятствий.

Ближе к морю пошли шиферные склоны, покрытые колючками грабниника и держидерева. Мощно светила полная луна. Идти стало легче. Однако Павел держался настороженно. Это в него въелось, наверное, навечно. Кровью, потом, а то и слезами выстраданный опыт говорил, что расслабляться нельзя ни на секунду — себе обойдется дороже.

Успел присмотреться к человеку, ради вывоза которого затевалась операция. Расспрашивать не положено, но приглядеться даже не мешает. Фигура. Привык командовать. Скорее всего срочно возвращается из вражеского тыла, а другого способа вырвать оттуда не нашли, положились на Пашкину везучесть.

В немалой степени ради него, чтобы обеспечить его безопасность, остались там, среди корявых, перекрученных можжевельников и серых скал, ребята. И он понимал это. Павел видел: понимал и принимал как должное. А это не каждому дано. И не сразу дается. Не у каждого получается достойно.

Называть себя ему было незачем, это не требовалось, но он сказал: «Зови меня дядей. По-семейному...» Не сказать чтобы Павел удивился — кличка как кличка... С этим желанием установить с ним свойские отношения он сталкивался в таких случаях и раньше. Промолчал.

Уходя к морю, на первых порах прислушивались: не вспыхнет ли сзади перестрелка. Нет, все оставалось тихо. Авось и тем ребятам повезет...

Но нужно было думать о себе. Везение, оно никому не лишне. Тем более что предстояло пересечь дорогу, на которой виден каждый булыжник под этой не ко времени расщедрившейся светом лунной. Перемахнули дорогу благополучно.

...Хуже всего — выбиться из колеи. Тогда все начинает идти наперекосяк. А Павел выбился из нее опозданием на сутки.

Пытаясь обмануть чертовку судьбу, которая исподтишка подглядывает за всем происходящим на земле, а может, обманывая и самого себя, Павел держался спокойно, будто ничего пока не случилось. Однако, опаздывая на сутки, он понимал, что катер уже приходил — впустую — прошлой ночью и вполне мог быть замечен, а в такую ясную ночь, как сегодняшняя, он будет обнаружен почти наверняка...

Короче — уйти на катере нужно непременно сегодня. Конечно, сегодня, а кто говорит, что нет?.. Никто ничего не говорит.

А все-таки — уйти нужно обязательно сегодня. Завтра это может стать невозможным.

Не говоря и даже стараясь не думать об этом, Павел боялся опоздать. Опоздание уже возникло как фактор, и его следовало опасаться. Но они пришли вовремя. Услышали шум мотора, а потом увидели черный силуэт, который пересек лунную дорожку. Кто-то даже воскликнул радостно:

— Катер!

Павел, как всегда, сам подал, а потом и повторил фонариком сигнал: точка, два тире, точка. Приказал вести к урезу воды раненого; до этого они прятались в скалах обрывистого мыса, на вершине которого были древние развалины — их называли Пастушьей башней. Раненый был плох, и Павел опасался, что спуск его к шлюпке отнимет время. В том, что шлюпка уже отвалила от катера, он не сомневался. Он даже знал, кто в ней на веслах.

На всякий случай помигал фонариком в сторону катера еще раз — точка, два тире, точка — и после короткой паузы опять: точка, два тире, точка...

К берегу спустились все, кроме него. Сам Павел остался наверху, чтобы раньше других увидеть шлюпку. А ее все не было. Странно. Чего они медлят на виду берега да при такой луне?..

Он смутно различал молчаливый, лежащий в дрейфе катер. Но где же шлюпка? Помигал фонариком еще и еще. И вдруг заметил, что катер уходит. В первый момент ничего не понял, не поверил себе, готов был кричать и стрелять. Что за шутки? Они зачем пришли сюда — дурака валять?

Засигналил фонариком непрерывно — никакого результата. Катер так и ушел. Неторопливо, спокойно, будто нехотя он еще раз прошел вдоль берега, плавно изменил курс и наконец потянул за собой пенистый бурун на юго-восток, к своим берегам...

Позже, пораскинув умом, пришли к выводу, что катерники не заметили световых сигналов из-за ярких лунных бликов, тогда же, в первый момент, были просто близки к отчаянию. Надо все переигрывать, круто все ломать, а готовы к этому не были, настроились совсем на другое...

С берега опять начали подниматься в скалы. Раненый все время просил пить...

Сразу встало множество проблем: еда, питье, боеприпасы, медикаменты, укрытие. Предстояло отсиживаться целый день в голых прибрежных скалах. Надо замереть там и не шелохнуться...

В своих ребятах Павел был уверен, на того, ради которого пришли сюда, тоже, кажется, можно положиться, но раненый...

— Попить бы...

Ему на глазах делалось хуже.

«Дядя» ни во что не вмешивался, ничего почти не говорил. Он знал свое положение, знал, что разведчики, если понадобится, костью лягут, чтобы сберечь его, переправить на ту сторону, и это словно проводило между ними некую грань. Их готовность, как это ни странно, требовала от него не подчинения даже, а полного повиновения. Морской закон: пассажир может быть сколь угодно высокой персоной, и все же на судне, особенно в минуту опасности, всем распоряжается капитан. Но сейчас Павел ловил время от времени на себе взгляд этого человека и понимал, в чем дело.

— Водички бы... — тоскливо, виновато и несмело говорил раненый.

Павел видел, что, будь он на равных, «дядя» давно сказал бы: «Давай я схожу...» Слушать раненого было невыносимо. Но что делать и куда идти, решал Павел. А самому Павлу оставлять группу никак не следовало.

Ручей был метрах в трехстах от этих скал. Не ручей — живая серебристая жилочка, блеснувшая на миг под луной. Торопясь к берегу, они почти не обратили на него внимания. У Павла еще оставался НЗ — налитая под самую пробку (чтоб не булькала) и засунутая в вещмешок фляга. С легким сердцем он отдал флягу, когда увидел катер. Теперь и это обернулось просчетом. Одно к одному...

С Лукой они понимали друг друга с первого взгляда. Двенадцать совместных высадок, двенадцать операций...

Лука была его фамилия, но сходила за имя. Стоило Павлу оглянуться в нужную минуту — и он встречал глаза уже знающего, что надо делать, молчаливого, всегда обросшего черной щетиной (ему бы бриться дважды на день) молдаванина. Так было и теперь. Лука собрал все фляги.

Он вроде бы не торопился, хотя надо было спешить — до рассвета оставалось совсем немного. Павел не стал его подгонять, потому что успел привыкнуть к этой неторопливости и оценить ее.

...В отряде переживали, что катер вернулся ни с чем. И потом, когда еще некоторое время вспоминали эту историю, говорили о том же. Сигнала с берега катерники, кстати, не заметили и в третий раз, в следующую ночь. Это был казус, который следовало иметь в виду на будущее, потому о нем и говорили. Для Павла же это как-то скоро отошло на второй план. Думая о той операции, он вспоминал Луку.

Лука скользнул между скал и будто сгинул. Теперь оставалось только одно — ждать.

Он должен был вернуться примерно через час. Это если брать с запасом. Может, чуть раньше. Но не позже. Впритык к рассвету.

Минут через двадцать послышался одиночный выстрел. Павел подумал: «Хоть бы он был случайным!» Бывают же случайные выстрелы! Ничего ему так не хотелось, как этого. Он готов был отказаться от всех будущих радостей и благ, ему не нужны были ни бабы, ни водка, он готов был молиться, если бы это помогло и выстрел оказался бы действительно случайным. Но уже в тот, первый, момент Павел понял: фортуна опять повернулась к ним задом.

Так всегда в этих — будь они прокляты! — простеньких с виду операциях. «Приди, возьми, принеси...» Черта с два!

Лука в румынской форме ходил по тылам, разведывал аэродромы, взрывал мосты, брал языков. Что может быть опаснее и труднее?! Уцелел. А тут просто пошел по воду...

Хотя бы этот выстрел был случайным! Но послышались еще два винтовочных выстрела. Промежуток между ними был так мал, что каждый бы понял: стреляли двое. В ответ скупыми очередями уда-

рил автомат. Павел узнал ППШ. Как говорится: места для сомнений не оставалось. Луку обнаружили, и он отстреливался.

Притих, услышав выстрелы, раненый, «дядя» придвинул ближе и без того лежавший рядом автомат. Но, тревожась происходящим, каждый из них все-таки думал прежде всего о себе. Понимая это, Павел никого не осуждал. Какой спрос с раненого! Он даже идти сейчас не сможет. О ком же еще ему тревожиться! А беспокойство этого «дяди» — это беспокойство о деле. Ведь он уже который день или которую неделю не принадлежит, по существу, себе. Он живет заданием. Он, видно, и ощущал себя временами неким вместилищем фактов, данных, чьих-то просьб и предложений, которым нельзя дать уйти в песок вместе с живой человеческой кровью.

И потом, они не знали Луку. А Павел его знал. И любил в этот момент и терзался за него как ни за кого раньше. Страдая оттого, что не может быть с ним рядом.

В какой-то миг Павел вздрогнул: ему почудилась морзянка в коротких автоматных очередях. Невозможно, никак невозможно! Луке наверняка было не до этого, но вот почудились точки-тире флотского сигнала, который можно было понять и так: «Прощайте!» Оба они — Лука и Павел — служили сигнальщиками на кораблях, может, потому и мелькнула мысль о морзянке?..

А выстрелы отдалялись, звучали глуше. Стало ясно: Лука уводит немцев от места, где прятались товарищи. Уводит, чтобы в конце концов, вскрикнув и скорчившись от последней боли, найти смерть на этой зачерствевшей под беспощадным солнцем серой земле. При мысли об одиночестве Луки, о безмерной тоске, которая придет, если уже не пришла, к нему, Павлу тоже стало и одиноко и тоскливо.

Когда это было? Летом сорок третьего. Сколько прошло с тех пор? Тридцать лет. Но и сейчас Павла хватало за сердце тоска и одиночество.

Стоило вспомнить о Луке — и даже мысли о Тоне отодвигались куда-то в сторону. Не хотелось (да и нужно ли?) сравнивать, кем был для него Лука, кем была Тоня. Каждому свое. Тоня — это умоляюще сжатые у груди кулачки: «Береги себя!»; а Лука — тот ничего не говорил, просто пошел и спас.

В те ставшие такими долгими дни Павел отрешился от всего, что не было связано с делом. О Тоне не вспомнил ни разу. И когда потом она говорила о своих страхах и терзаниях, это оставляло его равнодушным. Только сейчас, тридцать лет спустя, он вдруг почувствовал и понял, что ее страдания были, видимо, ничуть не легче того, что испытывал он сам, думая о погибающем Луке.

Ожидая катер первый раз, Тоня еще пускалась на хитрости, чтобы выведать время его возвращения. (Гриша Белькович ухмыльнулся и подмигнул: любовь, мол, не картошка. Ее передернуло от этой ухмылки, но промолчала: Гриша, в сущности, неплохой человек.) Тогда она не решилась прийти на причал, жалась неподалеку, возле рыбацких балаганов. Однако в обед впервые постаралась подгадать так, чтобы сесть за один стол с Гришей и расспросить обо всем.

Она дождалась, когда в следующую ночь опять ушел без огней и скрылся в темноте катер. Она говорила себе: «Что с тобой происходит? Иди и ложись спать!» Но знала, что не сможет лечь и не будет спать. Искать объяснение этому было бесполезно, да это и не нуждалось в объяснениях. Не помогала даже обычно спасительная самоирония. «Сентиментальная дура, — говорила она себе, — что ты в нем нашла?..» Но неистребимый бабий инстинкт заставлял метаться, будто в то время, пока она начеку, смерть не посмеет подступить.

Тоня уходила от причала и опять возвращалась, боясь прозевать возвращение катера, хотя знала, что он вернется только под утро. Всякий раз она прикидывала, где катер находится в этот момент. А ведь в радицентре давно уже все знали! Но нельзя было прийти и спросить, оставалось одно — ждать.

Это была странная ночь. Может быть, впервые в жизни Тоня не боялась темноты, пустынности дороги и берега, не пугалась случайного шороха в кустах. Дома, в комнате, было страшнее.

На ее глазах сломался ветер — дневной бриз сменился ночным, — пала роса на пыльную дорогу, занялся рассвет. Рассвет показался долгим, мучительным и зловещим.

Она вдруг заторопилась к причалу, решив, что уже пора, пора, и стучали в голову, отдаваясь в висках, строки — из тех, что она всю ночь перебирала, словно четки:

И утро длилось, длилось, длилось...  
И праздный тяготил вопрос;  
И ничего не разрешилось  
Весенним ливнем бурных слез...

А до этого были другие строчки:

С тобою смотрел я на эту зарю —  
С тобой в эту черную бездну смотрю.  
И двойственно нам приказанье судьбы:  
Мы вольные души! Мы злые рабы!  
Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!  
Огонь или тьма — впереди?

Эти строчки хорошо укладывались в ритм шагов.

Катер возник черной точкой, которая тащила за собой светлый пенистый шлейф.

Тоня побежала к берегу, и вопрос, что тяготил ее, был совсем не праздный. Ответ пришел неожиданно и сразу, будто озарение: на причале никого не было, катер не встречали. Значит, не за чем и ей спешить...

Их сняли в следующую ночь. Последние сутки были особенно тяжелы вынужденным бездействием. Надо было просто ждать. Это понимали все, даже раненый в те минуты, когда приходил в себя. Но на что не жаловавшийся, тихо постанывавший раненый и делал ожидание невыносимым. Невозможно было спокойно смотреть, как расплывается гангрена, невозможно было сознать, что единственное, чем ты мог бы помочь товарищу, это дать ему напиток, но нет воды и нужно оставаться на месте. Новая попытка пробраться к ручью исключалась: уже рассвело и немцы после случившегося на верняка настороже.

Успел выбросить или спрятать фляги Лука? Найди немцы пустые фляги, это заставит их искать всю группу. Однако пока тихо. Эх, Лука, Лука!..

День, как и положено летнему дню, тянулся нескончаемо. Еще хуже стало вечером — терпение иссякло, и ведь неизвестно было, не впустую ли они ждут.

«Дядя» достал из вещмешка котелок. Это был не намек, а откровенный призыв: ну, давай, мол, матрос, ты здесь начальник, решайся... А на что решаться? Разве что самому пойти. Положиться Павел мог только на себя. Уйти же не мог, как не может отлучиться с поста солдат, что бы там ни происходило. Не говорить же, не объяснять, что он готов был пойти на дно вместе с этим человеком, готов сам погибнуть, спасая его. Но, спасая, Павел должен был быть уверен,

что человек этот не попадет к врагам. Это помнил твердо. Война заставила запомнить. Был уже такой случай.

Прошлой зимой сопровождали совсем еще мальчишечку. Бойкий был парень, пока не подстрелили. Быстрый, смелый и понимал свое значение. И хотя держал это понимание при себе, оно иногда прорывалось: мы, дескать, и не в таких переплетах бывали. А потом пришлось километров шесть тащить его, раненного в живот, на себе. Двое ребят погибли, отстреливаясь от наседавших немцев, и остальных ждало то же, потому что далеко ли уйдешь, когда нужно нести беспомощного человека. Но настал момент, когда парнишка взмолился: «Оставьте меня...— Кое-что он знал и потому добавил, глядя в глаза Павлу: — Живым я не дамся». Будто выторговывал что-то.

Страдал он невыносимо, умирал на глазах, и Павел решил — оставил, завалив хворостом. Оставил, чтобы не мучить, чтобы развязать себе руки для маневра и обязательно вернуться. Ночью вернулся. Но в метели, которая поднялась, не нашел ни поляны, ни приметной скалы, напоролся на немецкое боевое охранение и сам едва ушел.

Это был тот случай, когда следовало радоваться, что в конце концов тоже ранен. Однако и после госпиталя Павлу напомнили: потерял. Умри этот мальчишка (но только так, чтобы достоверно знать: умер), никто бы не напомнил, не стали пенять, а тут попрекнули. В разведке ничего не забывают.

Нет, обстоятельства складывались достаточно коряво, чтобы усложнить их еще больше. Слишком велик риск поставить группу под удар — тогда вода никому не понадобится. Как ни тяжело, придется подождать — через несколько часов должен прибыть катер.

А раненый постанывал уже почти неслышно, его губы запеклись и потрескались, глаза ввалились и закисло в уголках, нос заострился...

«Дядя» уронил котелок, и он загремел на камнях. За такое бить надо, и Павел охотно врезал бы этому мужику по скуле, не глядя на то, что где-то, среди своих, он, может быть, и большой начальник. Но сейчас было не до этого. Павел даже не посмотрел на него, виновато съжившегося. словно косой-литовкой по загонке, прошелся взглядом по еще светлеющему береговому обрыву — к счастью, ничего подозрительного не нашел. Наверное, шум от котелка просто показался ему слишком громким. Бывает. Но это сразу погасило все, вернуло каждого к действительности, заставило вспомнить хотя бы о Луке, который тоже всего лишь пошел по воду и не вернулся.

...Да, с катера их не заметили и в третью ночь, хотя Павел отчаянно сигнализировал. Однако на этот раз к берегу пошла шлюпка. В короткий миг, когда шлюпка пересекала лунную дорожку (не такую, правда, яркую, как вчера, — луна пошла на убыль), Павел увидел: двое на веслах, один на румпеле и один на носу за ручным пулеметом. И тут он понял, что случайности кончились. За пулеметом прилег сам командир отряда — каплей Володя, этот, если нужно, поднимет на ноги весь флот. Правда, странной в тот момент показалась осторожность, с какой приближалась шлюпка. Против кого это они выставили пулемет? Но в том, что за пулеметом сам капитан-лейтенант, Павел не сомневался, хотя разглядеть ничего было нельзя. Володя. Конечно, он. Двинулся выручать ребят.

С капитан-лейтенантом у Павла отношения были сложные. Знал, что на Володю можно положиться во всем — в большом и малом, — а не любил его. Видимых причин для этого не было, Павел понимал. Дай бог каждому такого командира. И все же не любил. Капитан-лейтенант это чувствовал, временами поглядывал то удивленно, то восторженно. Спокойный мужик, рассудительный. Да что мужик! Та-

кой же парень. На год старше всего. Но выучился, женился. В войну это редкость была: в двадцать три года женат и сын есть. Не мечется, не дергается. Почти не пьет. А умеет, может пить. Раз полстакана спирта при Пашке выпил, когда опрокинуло их зимой в шлюпке. Выпил — и хоть бы что. И в компании, случалось, пропускал рюмку вторую, но чтобы в свободную минуту просто так сообразить и выпить — не любил.

Зануда? Тоже вроде бы нет. Такое впечатление было, будто он всегда и наперед знает, чего хочет. А Павел не знал. То есть, конечно, всегда хотел вернуться с задания и ребят привести. Но дальше этого не заглядывал и по-настоящему хотел, только чтобы эта война поскорей кончилась. Но этого хотели все. А что потом? У Володи же небось были планы и на то, как жить дальше.

И сейчас, наверное, неспроста прилег за пулеметом. Чего это он? Потом выяснилось: действительно не было видно сигналов, не знали, кого встретят на берегу. А тогда Павел спрашивал себя: чего это он?

Пароль услышали, когда шлюпка только еще подходила к берегу:

— Одесса! Одесса! — звал Володя негромко.

— Севастополь! — уже не скрываясь, ответил Павел.

И тут от Пастушьей башни ударила немецкая пушка. Теперь следовало ждать залпа: на мысу стояла батарея.

Катер взревел моторами и ринулся под прикрытые берега. В тот момент было не до этого, но позже Павел сполна оценил мгновенное и безошибочное, оказавшееся спасительным решение командира катера. И даже сказал (уже на переходе, когда вырвались из-под огня и ушли в море):

— Спасибо, товарищ старший лейтенант.

— Чего это ты? — не понял (честно — не понял) катерник.

А Павел, удивляясь самому себе, непривычно расчувствовался, раскис, готов был расцеловать и катерника и Володю. Куда-то ушли невзгоды последних дней, забылась злость («Вот лопухи — свет от фонарика не могли разглядеть!..»), прошло раздражение на этого деятеля, ради которого проводили операцию (он показал себя молодцом при отходе), было такое состояние, будто бесконечно долго тащил на горбу пятипудовый чувал — бросить никак нельзя, а сил нет, скулы свело, во рту кисло, ноги дрожат, руки онемели — и наконец свалил его куда нужно. Выдержал!

Стало необычно легко, и уже одно это воспринималось как счастье.

Странную его умиленность заметил капитан-лейтенант и, будто отрезвляя, спросил:

— Что с Лукой получилось?

Как палкой по голове.

Меньше всего Павлу хотелось сейчас вспоминать об этом.

Чувства вины не было, хотя и Лука погиб и раненый помирал... Не хотелось вспоминать, говорить, потому что в этом сейчас смысла не было. Видно, Володя все понял и вслед затем сказал:

— Ладно. Вернемся — доложишь.

А может, и не понял ничего, а просто пожалел парня, просто подумал, что надо бы дать ему отдохнуть: это же невыносимо — из одной операции в другую. Да, но какой может быть отдых, когда, судя по всему, на носу наступление и разведчиков со всех сторон теребят: нужны все новые и новые данные.

Ведь и о Луке пожалел не без корысти, не без запоздалого сожаления: его в этот раз можно было не посылать, заменить кем-нибудь, а для глубокой разведки в румынской форме (такая операция



уже запланирована) подобрать человека теперь будет не так-то просто. Имели в виду именно Луку...

«Дядя» спал — как выяснилось, он не смыкал глаз уже несколько суток. На катере его встретили почтительно, уложили в командирской каюте.

Командир катера недоверчиво повертел, включая-выключая, Пашкин фонарик (для него самым неприятным было то, что дважды не заметили световых сигналов — хорошо, что в последнем случае был свидетель, сам командир разведотряда) и пошел в радиорубку предупредить берег о возвращении и уведомить о раненом — пусть пришлют на причал медиков с носилками.

Катер ровно гудел моторами и время от времени подрагивал, принимая на вздыбленную грудь волну.

О Тоне Павел в те дни не вспомнил ни разу — будто и не знал такой. И уж, конечно, не ожидал встречи на причале. Да такого у них и не случалось никогда. Обычно все было просто, строго, тихо. Первыми сводили на берег раненых, если они могли ходить, а если не могли, то, пока швартовался катер, принимали с пирса носилки, вслед за которыми прыгал на палубу доктор...

На Тоню вначале никто не обратил внимания. Она держалась чуть поодаль, возле санитарной машины, которая заехала прямо на причал. Стояла у дверцы, прижав кулачки к груди, помертвевшая, уверенная, что ранен именно Павел.

Как она бросилась к нему, когда увидела живым и невредимым! Но и в этом, вспоминал теперь Павел, было что-то свое. Видно было: хотела бы удержаться, да в первый момент не смогла. Не повисла по-бабьи на шее, не стала говорить что-нибудь или плакать, а сделала несколько быстрых шагов и будто споткнулась. Однако в самой неожиданности ее появления, в этом мгновенном рывке, после которого она застыла, было что-то от взрыва, от ослепительной вспышки, оставляющей после себя лишь щепотку пепла.

Тоня смотрела на него потрясенно и неотрывно, словно только что на ее глазах свершилось величайшее из чудес: воскресение. Печать опустошенности, смерти еще лежала на человеке, он еще пах землей и тленом, был еще там, но уже сделал первые неуверенные шаги, переступил какую-то черту, поймал взглядом какую-то приметку жизни, безмерно удивился и наконец понял. Этой приметой возвращающейся жизни стала она сама, Тоня.

А плакала она потом, когда Павел уснул рядом с ней на узкой железной койке. Она неслышно плакала, бережно прикасалась кончиками пальцев к его волосам, к царапинам от бритвы на лице, и ей казалось, что эти легкие прикосновения снимают маску ожесточенности, смягчают милое, простое, чуть хмуроватое лицо. Она будто лепила, воссоздавала его на свой манер и ничуть не удивилась, когда на рассвете Павел, открыв глаза и увидев ее, улыбнулся.

И в тот раз и на следующий вечер он пришел к ней, уже не таясь. Сказал Володе:

— Я пошел.

— Куда?

Павел промолчал.

— Ладно. Иди.

Но остался недоволен. И, как понял Павел, не тем, что он ушел на всю ночь из казармы (уходили и раньше), а тем, куда пошел.

Тоня, узнав об этом, рассмеялась:

— Домостроевец он у вас.

— Кто-кто?

Тоня смеющимися глазами посмотрела на Павла, но в этом взгляде было и нечто новое, она словно открыла что-то в нем для себя.

— Книга есть старинная — «Домострой». Это не о том, как строить дома, а как жить и вести себя. Володя ваш мною недоволен. Девушка не должна себя ронять и тем более не должна бросать вызов обществу. Смешно? Если бы мы прятались, все было бы в порядке.

— Так, может, я зря так открыто?..

— Дурачок. Я люблю тебя.

Она сказала это совсем просто, словно между прочим. Нет-нет... она сказала это так, как говорят что-то решенное, само собой разумеющееся, о чем и говорить-то, собственно, незачем — все и без того ясно.

Это было тридцать лет назад.

Она сказала буднично, негромко, будто показывая, что не ждет ничего в ответ. Но и тогда и сейчас он понимал, что должен был чем-то ответить.

Она проговорила это легко и быстро, как несмышленому дитяти, с которым мать говорит, разговаривая, по существу, сама с собой. Она не утверждала, не доказывала, просто дыхание стало слышным и сложилось в слова: «Дурачок. Я люблю тебя». И тут же совсем другим тоном:

— Молока хочешь?

— Холодное? Налей грамм двести.

Вот что он ей ответил. А ведь мог бы, даже ничего не говоря, обнять, взять за руку, погладить по голове... Нет, соблазнился возможностью вильнуть в сторону, пропустить мимо ушей, уклониться, благо сама же Тоня и дала эту возможность.

Дурак, а не дурачок — вот кем он был. Кто еще и когда говорил ему такие слова? И есть ли что-нибудь дороже этих слов? Конечно, можно и без них. Может, они вообще роскошь. Но, вспомнив об этом сейчас, Павел Лукьянович замотал головой, страдальчески замычал и повернулся на правый бок, лицом к стенке...

— Отец, ты что — рехнулся? — услышал он голос жены. — Времени-то уже девятый час.

Обычно он был в это время давно уже в гараже, а то и на линии, если рейс предстоял дальний.

— Все. Больше не пойду, — сказал Павел Лукьянович. — А там пусть хоть комиссуют, хоть переводят в подметальщики или мойщики...

— Чего это ты? — удивилась жена.

— Не пойду на работу.

— Вчера был как стеклышко... — продолжала удивляться жена. — В рот вроде ничего не брал...

Она пошла на кухню разгружать принесенные с рынка сумки. Павел Лукьянович крикнул вслед:

— Боржом в холодильнике есть?

Его что-то мутило.

С женой Павлу Лукьяновичу повезло, это он давно понял. Работящая, хозяйка, не сварлива и собой ничего даже сейчас, когда уже недалеко до пенсии. Могла бы не работать, стажа пенсионного больше чем нужно, но крутится и крутится до сих пор.

Хотя разговора об этом никогда не было, сначала она, как понимал Павел Лукьянович, не бросала службу не то из чувства долга, не то ради самоутверждения и независимости, не то потому, что все-таки сомневалась в Павле: дело в том, что старший сын был не его, не Павла. Но вот выросли все трое детей, и младший на втором курсе,

можно бы и отдохнуть. Нет, теперь, видно, тянет ее инерция, да и деньги никогда не бывают лишними.

Что говорить — хороший человек жена. Другие мужики жаловались, приходилось слышать, на благоверных: доходит до того, что по карманам шарят, вытряхивая последнюю трешку. У Павла Лукьяновича ничего подобного не бывало. Отдав ей однажды получку (полностью, за исключением одной красненькой, ныне уже забытой старой тридцатки, которую при ней же отложил себе на папиросы и пиво), он никогда не менял этого порядка. Но и она ни в чем не жалась для него — ни в одежде, ни в мелочах. «Чего это ты перешел на «Прибой»? На «Беломор», что ли, не хватает?»

В доме было и выпить и закусить: закатанные в банки помидоры, перец, компоты, маринады, варенья, нашпигованное чесноком сало, буженина, вишневая наливка и в каком-то хитром заглазнике пара бутылочек первача, настоянного одна на зверобое, а другая на лимонных корочках. Все это — заботами жены.

Раньше и бутылки стояли открыто, но был такой период, когда Павел Лукьянович что-то часто стал в них заглядывать. Задурил. Тогда у него и деваха появилась на стороне — заправщица с бензопомытки. Жена и тут вела себя точно: ушами не хлопала, но и палку не перегнула. Беду пронесло, выводы были сделаны, бутылки с глаз исчезли, ничем не ограниченная демократия, как говаривал Павел Лукьянович, кончилась, однако, когда неожиданно объявлялись гости (как-то нагрянул вдруг Гриша Белькович, был здесь в командировке), суетиться, хватать сумку и бежать в продмаг не было нужды.

Кстати, о приезде Гриши. Глядя на него, Павел Лукьянович впервые подумал о собственной близкой старости. Гриша был с плешью, брюшком, мешками под глазами. На пиджаке как главный орден висел значок «Разведчику-ветерану». Павел Лукьянович такого еще не видел. Спросил:

— Сами награждать себя стали?

Жена почуяла в голосе недоброе:

— И выдумашь ты, отец!.. Вы лучше закусывайте, закусывайте — я сейчас жаркое подам.

— Сами,— сказал Гриша.— Заказали на фабрике сувениров. Я и эскиз рисовал. Ничего получилось, да? А тебе разве не прислали?

— У меня и без этого хватит,— пробурчал Павел.

— Ну! У тебя три Знамени?

— Два.

— Все равно. Дважды краснознаменец! Он у нас лучший разведчик был, — сказал, обращаясь к жене. — Ас. Где труднее всего, его или Кольку Макарова шлют. Колька, тот, правда, еще и подать умел себя. У него кличка была — Грозный. Сам придумал. А у Лукьяныча — Малыш. Это ему полковник прилепил. Сказал как-то: «Передайте, говорит, этому малышу, что вся надежда на него». Помнишь?

Павел Лукьянович не знал этого случая, но такое вполне могло быть.

— Так и пошло — Малыш и Малыш... И радиogramмы оттуда, с тыла, у Лукьяныча всего по несколько слов. Без всяких там эмоций, как трудно или тяжело. А Макаров и тут умел драматизм создать. Я знаю, сам расшифровывал, а то и принимал. Я на этом сидел, связь поддерживал,— объяснил он жене.

— Чего прибудняешься? — перебил Павел.— И в тыл ходил.

— А ты помнишь? — обрадовался Гриша.— Ходил. Не столько, как ты, конечно...

— Столько, как я,— сказал Павел Лукьянович,— у нас никто че-

рез фронт не ходил. Это мне сам полковник написал к пятидесятилетию.

— Поздравил?

— У меня день рождения на Восьмое марта. Всегда подначивали. Макаров раз цветочки подарил. Всем женщинам и мне. Полковник и запомнил.

— А Колька, он и сейчас такой. Золотой человек, но показуху любит. Приезжаю я как-то в Киев. Звоню. «Привет!» — «Привет!» Вечером встретились, посидели. Увидел этот значок. «Дай», говорит. «Бери», говорю. «Нет, говорит, мы это соответственно обставим. Завтра у нас торжественное заседание, переходящее знамя вручать тресту будут. Ты приходи, говорит, я познакомлю тебя с секретарем парткома. Когда вручат знамя и скажут все что нужно, выступишь ты и вручишь мне этот почетный знак — ты понял? — по поручению секции флотских разведчиков-ветеранов». Представляешь? Жох пачень.

— Он что там — управляющим? — усмехнулся Павел Лукьянович.

— Заместитель по кадрам. Но зато вечером на банкете он знаешь за кого тост предложил?

— За тебя, что ли? — опять усмехнулся Павел Лукьянович, и это определенно встревожило его жену, она даже глянула: сколько зелья в бутылке осталось?

— Нет, Паша, это ты зря, — сказал Белькович. — Тут товарищ Макаров был на высоте. Встал во весь свой богатырский рост, поднял рюмку и сказал: «Прошу выпить за человека, благодаря которому я остался жив и теперь нахожусь среди вас, который утащил меня с перебитой ногой от противника, — за Павла Лукьяновича Штанько». Понял?

Павел улыбнулся с неожиданной мягкостью:

— Помнит, значит, заместитель управляющего?

— Ах, Паша, разве такое можно забыть, — как бы укоризненно сказала жена, поднимаясь. — Вы курите пока, а я кофейку приготовлю...

На этот раз Павел Лукьянович хмыкнул. Весь вечер в нем бродил какой-то бес противоречия и недовольства собой. Приход Гриши Бельковича, человека, в прежние времена для него неинтересного, стал чуть ли не праздником! Чего это? Друзей-приятелей нет, что ли? Есть. Или так дорогá стала память о прошлом, которую Гриша вдруг расшевелил?

Гостеприимство жены Павел Лукьянович одобрял. Но что это она раскисла и засуетилась? Будто осчастливил их Гриша своим приходом и тем, что похвалил хозяйку и квартиру (между прочим, у черта на куличках квартира, на окраине города — могли бы и получше дать). Раздражало Павла Лукьяновича, что жена словно бы не понимала, кто из них есть кто, принимала Гришу чуть ли не как благодетеля. Конечно, приятно услышать хорошие слова, но что еще он мог сказать? Ведь если разобратся, положение старшины первой статьи Штанько было в разведслужбе куда выше положения лейтенанта Бельковича. Факт. Старшина делал погоду, а лейтенант ее только записывал. И с высоким начальством старшина, между прочим, позволял себе куда больше самостоятельности, да и встречался с ним чаще.

Сложная бухгалтерия, которую ведет жизнь, Павла всегда раздражала. А может, не сама бухгалтерия, а то, что другие в этой жизни скачут, как чертик на веревочке, вверх-вниз (тот же Колька или

вот Гриша), тогда как сам он, Павел, врос в землю словно пень. Не то чтобы завидовал или страдал от тщеславия. Нет. А раздражался.

Кое-что просто не нравилось. К примеру, это слово — ветеран. Прежнее «фронтовик» было лучше и определеннее. А то глянешь — все теперь ветераны.

Или вот говорят о рабочем классе. Лучше, мол, и важнее рабочего класса никого нет. Но Павла это, как говорится, не колышет. Он сам рабочий класс был и есть. И на войне и теперь. А тот же Колька говорит и похваливает, но собственной персоной остаться в рабочем классе не очень стремится. Сейчас речи небось произносит о рабочей чести и гордости. Ему это и по должности положено — зам по кадрам. Однако не кузнец и не шофер, а зам управляющего трестом.

После второго ранения Павла тоже хотели послать на курсы младших лейтенантов. Отвертелся, не захотел. Не хотелось опять чувствовать себя маленьким, маршировать «ать-два», изучать — в который раз! — из скольких частей состоит затвор, и ползать по-пластунски на учениях. Но у Кольки с тех курсов началась карьера. Пересилил себя, заставил учиться и пошел, пошел...

Ну да шут с ним. Павел Лукьянович и сейчас ни о чем не жалел, да и не думал почти ни о чем таком, только иногда раздражался, натыкаясь на фанфарона, который пробился наверх, потому что вовремя смекнул, что для этого нужно. Ладно, пусть бы и пробился, да молчал...

И вместе с тем, что ни говори, приятно было услышать о себе хорошее. Хотя и тут невольно думалось, как удивительно все получается: один говорит, другой слушает — и оба умиляются; жена пошла на кухню, смахнула слезу: вот-де какой человек ее Паша; а речь-то идет о самой тяжелой операции, когда потеряли половину группы, когда погиб Володя. Но сегодня вспоминается приятное, остальное будто зарубцевалось и лишь щемит, покалывает. Подумать только — Володиному пацану, который родился в сорок третьем, уже тридцать лет! Интересно, похож он на отца?..

А этого Кольку Макарова Павел тогда вытащил. Сейчас даже не представить, как пер на себе тушу в девяносто килограммов.

Ползли рядом, замирая при каждой вспышке ракеты. От пулеметного огня ушли, спустились в балочку, куда пули не залетали. Но тут немцы начали садить из минометов. Били, считай, наугад, а одна мина легла рядом. Разрыв — и Колькин крик: «Паша!» Все-таки Пашу позвал, хотя были там и другие.

Павел служил в отряде и до прихода Володи, знал других командиров. Гибель каждого из них оказывалась жестоким потрясением, в памяти они остались людьми почти легендарными. Володя в сравнении с ними был проще, обыденней. От него не ждали чего-нибудь невероятного. И действительно все стало больше похоже на работу, хотя и смертельно опасную. Дела шли, в общем, нормально, сведения поступали регулярно, потери уменьшились. Наверное, дело тут было не только в Володе, однако и от него немало зависело. И все-таки, сравнивая тогда своего командира с прежними, Павел (и не он один) думал: куда ему!..

Черт его знает как это получается, но люди, они такие. Им скучно, что ли, делается, когда все идет ровно и спокойно.

Володя и погиб как-то нечаянно — подорвался на mine. Не в бою, не в прорыве и не при высадке. Просто шел впереди, выбирал место для дневного укрытия группы. А дело было под утро, уже начали пробовать голоса ранние птицы. Спешили. И вдруг негромкий взрыв. Противопехотная мина. Кто поставил здесь минное поле? Может, и наши в сорок первом году...

Когда Павел подбежал к нему, Володя еще жил, но только и успел сказать:

— В обход, в обход — лесом...

И тут не забыл о деле.

В лесу его и похоронили, завалив камнями в яме от корней вывернутого ураганом старого бука.

Володей он приказал называть себя сам. На задании в тылу противника так было удобней. А может, не одно лишь удобство имел в виду этот простоватый на вид парень, который всегда все планировал наперед и четко разделял, что хорошо, что плохо...

— Он идеалист, ваш Володя,— сказала как-то Тоня.

Павел насторожился: накануне у него был неслужебный разговор с капитан-лейтенантом. Уж не вел ли тот душеспасительные беседы и с Тоней? Тоня эту настороженность уловила, как замечала всегда малейшее изменение в его состоянии, и Павел понял, что она ее уловила, уверился, что душеспасительная беседа действительно была, хотя Тоня и говорила сейчас о другом.

— Взрослый мальчик. Мне кажется, он и отряд ваш представляет эдаким рыцарским братством, где он первый среди равных...

Это, конечно, было не так. Сама Тоня понимала, что это не совсем так,— война не оставляла времени и сил для игр, но, вспоминая потом ее слова, Павел соглашался: какое-то зерно в них было, хотя это и ломало его устоявшиеся представления о Володе.

Макаров своим фанфаронством однажды подвел капитан-лейтенанта. Шли в увольнение и встретили полковника. Старик (подумать только: ему было тогда под сорок, а им казался стариком!), который любил своих разведчиков, был им, в общем, неплохим командиром, а любил показать себя еще и командиром-отцом, спросил:

— Куда, ребятки?

Колька ответил:

— Володя отпустил.

Они никогда не называли его в глаза Володей. То, что он сам велел однажды в самом начале, было молчаливо отвергнуто — слишком сильной была закваска кадровой флотской службы. Осталась только кличка: «А где Володя?», «Володя приказал», «Полундра, идет Володя...»

Как узнали потом, капля «вызывали на ковер»: «Распустил матросов так, что они его Володей называют!..»

«Идеалист», «взрослый мальчик»... Как знать. О чем он, однако, говорил с Тоней? Не совал бы свой нос, хоть и из самых лучших побуждений, в чужие дела.

А больше ему и не пришлось совать. Вот так. И сознавать это даже сейчас, через тридцать лет, было грустно.

В то время Павел больше всего хотел, чтобы никто его ни о чем не расспрашивал и оставил в покое. Объяснять, отвечать было нечего, потому что он и сам не понимал, что с ним происходит. И потом, это было не в его характере. А теперь ловил себя на том, что ждет, когда Гриша Белькович заговорит о Тоне. И провожать его пошел отчасти потому, что подумал: может, тот молчит, не решаясь вспомнить о ней при жене?

Вообще-то при жене и в самом деле говорить не стоило, хотя она эту давнюю историю знала. Встретившись в госпитале со своей будущей женой, а потом начав захакивать к ней в окраинный, похожий на деревенский домишко, он столкнулся с неожиданным вопросом:

— Где это ты так научился?

Удивление? Ревность? Любопытство? А ему на все покамест было наплевать.

— Да была одна,— ответил.— Переводчицей у нас в штабе служила.

С такой удивительной легкостью он перешагнул тогда через это. А о чем еще говорить? О том, как трудно было все те короткие (или только теперь ставшие казаться короткими) недели? Об этом он не любил вспоминать. А трудно было, как, случалось, в одинокой шлюпке под слепящим лучом прожектора. И не вспоминать же под этой крышей из давно потемневшей щепы, осыпанной по утрам черемуховым цветом, ночные разговоры, которые шли под другой крышей, в саманной мазанке. Да и не мог он их вспомнить, потому что в большинстве пропускал мимо ушей. Иногда ему казалось, что Тоня и не нуждалась в собеседнике, а разговаривала как бы сама с собой.

— ...Это удивительно — что высекает любовь из человеческого сердца. Мужчина полюбил женщину, может быть, самую обычную, но любовь сделала ее в глазах поэта необыкновенной. И написались стихи. Давно уже нет мужчины, нет женщины, а стихи живут. Вот послушай:

И я опять затих у ног —  
У ног давно и тайно милой,  
Заносит вьюга на порог  
Пожар метели белокрылой...  
Но имя тонкое твое  
Твердить мне дивно, больно, сладко...

Сегодня кажется, что это и о нас тоже, что это о любви вообще. Да так оно и есть. Но сначала были он и она, мы ведь знаем их имена... Эта любовь — как зернышко, из которого выросло дерево, дающее тень для всех. По-моему, поэзия и есть такое дерево...

Необыкновенность этого Павлу нравилась и льстила.

— Как ты говоришь? «Тонкое имя твое...»

Он уловил близость звучания, и Тоню это умилило.

— «Имя тонкое твое,— повторила она с ласковой насмешливостью,— твердить мне дивно, больно, сладко...»

Но чаще ему становилось скучно, хотелось спать, и, не решаясь сказать об этом, Павел злился.

Об этом жена не знала. Ей и не нужно было знать. Думая так, Павел Лукьянович и в мыслях не держал ничего обидного: просто считал, что все свое она и так получила сполна. Да и Тоня получила, наверное, то, что ей нужно было тогда. Нет, упаси бог, он и здесь не думал ничего дурного.

Но что получил он сам?

В последние годы ему нередко казалось, что судьба обделила его и жизнь пошла под уклон (а она, конечно же, шла уже под уклон), вроде бы юзом. А может, не в судьбе, а в нем самом причина? А может, все так и должно было быть? А может, на что-то не хватило смелости?

Нет, не в смелости дело. Если Павел Лукьянович что-либо точно знал о себе, так это то, что он смелый человек. Но что, если тут нужна была другая смелость? Это ведь только в молодости кажется, что смелость, она одна — когда идешь под пули или с голыми руками на того, кто с ножом...

Откуда же пришли эти тоска, тупая боль и сожаления?..

«Дурачок. Я люблю тебя» — все-таки однажды он это услышал.

С женой было проще.

— Раз так, давай сойдемся,— сам сказал, когда узнал, что беременна.

Жениться он вовсе не рвался, но долги надо платить. Он знал о ней к тому времени все, тут действительно секретов не было.

— А как же... — начала было она, и Павел знал, что ее гложет: как же с первым ее ребенком? Не станет ли он потом каяться и злобиться, что вот-де загубили его молодую жизнь?

Сомнения у Павла были. Проще всего усыновить — и пусть живет на белом свете Александром Павловичем. В двухлетнем возрасте такое для пацанов проходит бесследно. Но тут Павел мысленно ставил себя на место погибшего под Ростовом сержанта-минометчика, отца этого пацана. Хотел ли бы он для своего сына, чтобы память о нем, об отце, так вот сошла на нет? Судя по письмам, сержант был хорошим парнем...

Жена (тогда еще будущая жена) расплакалась, услышав об этих простодушных сомнениях. Они решили для нее все на долгие годы вперед. Отныне лучше Паши для нее никого не только не было — не могло быть.

Их семья была главным образом ее семьей. И любимцами в ней стали двое: самый старший — Павел Лукьянович, и самый младший — последыш Юрка. Хотя не сказать, чтоб она обделяла вниманием остальных мужиков. Но к первому своему сыну Сашке проявляла внимание строгое и требовательное, будто подстегивала все время. Не мирилась с тройками в школе, мечтала, чтоб выучился на врача. Так и получилось. В то же время легко и просто приняла то, что второй сын, Лёнчик, стал после армии экспедитором в хлеботорге. Павла Лукьяновича это уязвляло, она же на Лёнчика не давила, была снисходительна, мягка и, зная, видимо, что ему нужно, уже не раз говаривала: «Жениться тебе пора», хотя старший сын еще не был женат. Того она и не торопила.

Младший, Юрка, пропадал на стадионе, вымахал здоровее всех и оказался на физкультурном факультете. Это она тоже приняла легко, хотя Павел Лукьянович и тут уязвлялся: черт знает что с сыновьями: один — в торговле, другой — метатель молота... Он для них хотел не такого. Особенно для Юрки. Молотом надо работать, а не швыряться. А потом оказалось, что это и не молот, а какая-то хреновина на тресике.

— Перестань, отец, — говорила жена. — Так можно что угодно переиначить. А чем плохая специальность учить детишек физкультуре? Или тренером быть? Или по лечебной гимнастике?..

И все-то она знает... Павел Лукьянович и на этот раз спорить не стал, однако горечь осталась. Чего уж там переиначивать, когда выходит, что ни он, ни его сыновья не способны на что-либо стоящее. Только теперь подумал, что все эти годы жена, может быть, даже бессознательно, но оценивала и его и детей, прикидывала, кто из них что может.

А нужно ли было так во всем полагаться на жену? Ведь она и его никогда не подталкивала, не подзуживала, что вот-де сидишь за баранкой, как и четверть века назад, а другие давно в механиках, в завгарах ходят. Когда-то это нравилось, хвастал перед товарищами: «Моя не в свои дела не суется», а выходит, она просто давным-давно решила: каждому свое.

Ладно, пусть с ним это так и есть, но верно ли за ребят решила? Может, их еще не поздно как-то расшевелить? Должна же быть дружина в каждом человеке. Была ли она в нем самом? В капитан-лейтенанте Володе, как теперь понимал, была. И Тоня это сразу угадала. Интересно, каким вырос Володин сын? Хотелось сравнить его со своими сыновьями...

В последнее время Павел Лукьянович много думал о жизни. Не что-нибудь конкретное, а вообще. В конкретной, повседневной жизни все было нормально: сыты, одеты, обуты, на здоровье никто в семье



не жаловался, квартира, хоть и на окраине, хорошая, удобная, третий этаж, с окнами и балконом на парк; машину получил недавно новую, легкую в управлении, послушную. Павел Лукьянович с сочувствием думал о сыновьях, которым предстояло еще так много разного, и, может быть, такого, что нам даже не снилось. Думал с сочувствием и виной: чего-то они от него не получили, чего-то им не досталось. Вроде бы он в их годы был потверже и рисковее. А может, не в этом суть? Хорошими солдатами и они будут, если понадобятся, а вот могла ли бы полюбить кого-нибудь из них такая женщина, как Тоня? Дело, конечно, прошлое, все давно перегорело, но все же: нашла бы она в ком-нибудь из них то, что находила в нем?

Однажды возвращались с женой после встречи Нового года. Пока дети не повзрослели, все праздники проводили дома, а теперь каждый из сыновей бежит в свою компанию, не сидеть же родителям вдвоем... Так вот, возвращались домой умиротворенные, сытые, добрые. Жена возьми и спроси:

— А ты хотел бы, отец, чтобы вернулась молодость?

Павел Лукьянович, как всегда, с ответом не спешил, а жена сказала:

— Я бы не хотела.

Ее можно было понять. Что для нее молодость? Гибель первого мужа (небось вспоминает о нем иногда, хотя разговора никогда не было), рождение Сашки, неустроенность, вечные нехватки. Потом стало полегче, но тоже было нелегко. Уверенность, достаток, хоть какой-то душевный покой пришли совсем недавно. Так на кой же бес ей та несчастная молодость, когда и сейчас не поймешь, откуда взялись силы, чтобы пережить пережитое!

Это Павел Лукьянович хорошо понимал, но что касается себя самого, думал по-другому. Что бы там ни было, а военная молодость оставалась для него самой прекрасной порой жизни. Понимал, что многое видит и вспоминает сейчас не таким, как оно было в действительности, но что из этого? Он был тогда молодым, легким на подъем, полным надежд и ожиданий (так, во всяком случае, казалось теперь), готовым положить свою судьбу, как монету, на ладонь, посмотреть на нее прищурясь, а потом, сжав в кулаке, швырнуть на каменистую дорогу и будь что будет — орел или решка. Почти никогда потом он ничего подобного не испытывал, вечно был всем должен и обязан. Прежняя раскованность приходила ненадолго только в хмелю.

Хотел ли бы он, чтоб вернулась та молодость? Да! Хотел ли быть молодым сейчас? Ей-богу, нет. Наверное, это правильно: каждому свое.

Тоня, та наверняка попыталась бы тащить его куда-то, но еще неизвестно, чем бы это кончилось...

Гриша и в самом деле заговорил о ней, когда вышли. Из-за этого простоял еще полчаса на трамвайной остановке.

Гриша был у нее в Ленинграде («Все время по командировкам мотаюсь, вот и навеещаю друзей...»). Живет в новом районе («Там намыли берег и поставили шестнадцатизэтажки...»). Две девчонки, но видел младшую — копия мамы. Даже манера эта: когда волнуется, кулачки к груди («Помнишь?..»). Дома с дочкой разговаривает только по-французски («Обрадовалась девчонка, когда я пришел: хоть отдохну, говорит, от французского...»).

— Зачем это ей? — спросил Павел Лукьянович.

— Не говори,— возразил Гриша.— Без языков теперь шагу не ступишь.

— Мы-то ходим — и ничего.

Однако Гриша спорить не стал.

— ...Выглядит неплохо — все-таки тоже полсотни лет... Перекрасилась, стала блондинкой, я ее сперва даже не узнал.

— А это зачем?

— Смеется. Блондинки, говорит, всегда кажутся моложе...

Павел Лукьянович вставлял свои фразы сдержанно, стараясь не показать, как интересна и волнующа для него каждая такая подробность. А сам невольно думал: кого бы они родили с Тоней? Какой бы она была с ним?

Хотелось спросить о ее муже. Интересно, кого она себе выбрала или нашла? Не спросил. Не позволил себе поинтересоваться и тем, спрашивала ли она о нем. Как спрашивала? Не может быть, чтобы не спросила... Но Гриша ничего не сказал. То ли из деликатности (что вряд ли), то ли потому, что хотел раззадорить Лукьяныча и вызвать на расспросы. Шут его знает, чужая душа — темный лес. А может, и впрямь ничего не спрашивала. Такое тоже можно понять, если вспомнить, что тридцать лет назад (или около того), попав в госпиталь, он ни словом не дал знать о себе.

Винovat ли? Найти себе оправдание нетрудно. Тогда он ничего ни о ком не хотел знать и слышать, думал об одном: хоть бы сдохнуть. Мир перестал существовать, были боль, неподвижность и удушье. Жить значило мучиться. Его резали несколько раз. Удаляли куски раздробленных ребер, ушивали легкое и плевру. Лежал в отдельной палате, вонял лекарствами и гноем...

Не чаял выпутаться, да и не хотел уже выпутываться. А потом — словно выплыл из-под льда. Еще усилие, еще — и берег.

Жаждал одного — покоя. Никчемным и мелким казалось все, что было в жизни до сих пор.

Письма догнали не сразу. А когда догнали, то оказались не нужны. Вот так просто: не нужны. Почувствовал, что нет ни сил, ни желания отвечать. Думал: «Опять?..» Это было словно ожидание непосильной тяжести. А все же виноват: не написал об этом. Как ни крути, выходит — смелости не хватило. Отмолчался. Хотя себе самому говорил: а что, дескать, писать? как писать?

И еще одно: боялся, что письмо выйдет корявым и у Тони вызовет усмешку, а быть смешным всегда казалось ему хуже всего.

Всему можно найти оправдание, да нужно ли?.. Что вообще ему сегодня нужно? Уж не эти ли беспокойство, тревожность и поздние сожаления?

Жена принесла бутылку и стакан, но Павел Лукьянович напился прямо из горлышка. Газа в воде почти не осталось, и от этого она была неприятной.

Жена смотрела сочувственно и по-прежнему недоумевающе.

— Завтракать будешь?

Павел Лукьянович неопределенно махнул рукой. Надо было вставать.

В прихожей послышался звонок. Кого это нелегкая несет? Жена пошла открывать.

Павел Лукьянович сидел свесив ноги и бездумно разглядывал старый шрам на правом бедре, когда в комнату зашел Меченый, личный шофер начальника парка, щеголеватый парень с родимым пятном на подбородке. Увидев его, Павел Лукьянович поморщился: первый раз за всю жизнь не вышел на работу, решил плюнуть на все — не дают!

— Привет! Хозяин приказал доставить живым или мертвым.

— Что там еще? — спросил Павел Лукьянович с досадой.

— Михеич сказал, что у тебя отгул, а хозяин говорит: «Тем лучше, тащи его сюда».

С мимолетной благодарностью Павел Лукьянович подумал о механике гаража, который, даже не зная, что случилось, на всякий случай подстраховал, сказал об отгуле. Так чего же вызывают?

— Может, позавтракаете вместе? — предложила жена.

— За рулем!.. — с сожалением развел руками Меченый.

«Привык, сукин сын, на дурыку похмеляться и думает, что так положено», — подумал Павел Лукьянович, а вслух сказал отчужденно:

— Наливать никто не собирается.

— Тогда тем более! — хохотнул Меченый.

Спускаясь вниз, Павел Лукьянович почувствовал было себя совсем худо и переждал в подъезде, пока отпустит непонятная тупая боль в груди. К машине пошел не спеша, осторожно, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя. Меченый уже ждал за рулем черной «Волги». Правая передняя дверца была пригласающе открыта, но Павел Лукьянович захлопнул ее и сел сзади.

Так зачем он понадобился начальству? Это не то чтобы тревожило, но занимало. Однако еще раз спрашивать не стал: слишком много чести.

А начальника на месте не оказалось.

— Велел подождать, — сказала секретарша Машенька. — Пошел с каким-то военным по хозяйству. — И тут же затарахтела: — Дядя Паша, миленький, побудьте здесь, у телефонов, а я мигом слетаю на угол, там цыпляют по рублю шестьдесят выбросили. Ладно?

Павел Лукьянович пожал плечами. Все равно ждать. Беги. Усмехнулся. Быстро же они меняются, выскочив замуж! Попроси ее мать постоять в очереди за этими цыплятами — нашлось бы десять отговорок. А теперь сама бежит. И на колечко нет-нет, а глянет: блестит, как начищенное... Как-то дальше жизнь сложится?

Окна приемной выходили в сад, разбитый между глухой задней стеной гаража и бетонным забором. В траве сосредоточенно, серьезно и безмолвно играли два щенка. Припадали на передние лапы, металась из стороны в сторону, сшибались. Так же сосредоточенно и безмолвно «обносили» сливы, удобно устроившись меж ветвей, двое пацанов. Сейчас, в начале лета, сливы должны быть невыносимо кислыми. Первым движением Павла Лукьяновича было пугнуть чертенят, это, конечно же, было бы правильно. Но удержался. Представил, какое это приключение для пацанов, и не стал трогать. Просто стоял у окна, смотрел на щенков, на мальчишек, на траву, на пыльную и шумную окраинную улицу по ту сторону забора, на подкопченное заводским дымом небо и думал, сколь немногому научился за свою жизнь. Чему, собственно? Да почти ничему. Разве тому, что, пожалуй, надо быть хоть немного мягче и добрее. Но и это пришло как первое смутное осознание чего-то.

Он стоял не шевелясь, и все-таки его заметили. Замер, глянув на окно, один из мальчишек, что-то крикнул (должно быть, все то же извечное: «Атас!») другому, и они мгновенно оказались внизу, бросились к забору. Не так уж они и боялись, но улепетывали быстро, отчаянно, отрывистыми криками подгоняя друг друга — это тоже входило в приключение. Будто спохватившись и вспомнив о своем долге, затаивали щенки... Потеха!

Уже сидя верхом на заборе, один из мальчишек задержался на миг, чтобы помахать на прощанье рукой: вот, мол, я какой! Павел Лукьянович рассмеялся.

Зазвонил телефон.

— Да,— отозвался Павел Лукьянович.

Спросили начальника.

— Нет его,— ответил, все еще продолжая улыбаться.

На том конце спросили, где он и когда будет.

— Ей-богу, не знаю. Скоро, должно быть.

— Ну и ну,— сказал человек на том конце.— Порядочки у вас...

А вы кто же такой — секретарь?

— Нет,— ответил Павел Лукьянович,— секретарша.

И положил трубку.

— А-а-а, вот и наш герой! — воскликнул, заходя в приемную, начальник. Следом за ним шел подполковник.

Начальник был человек молодой и шустрый. А может, правильнее сказать — стремительный. Обычно, очутившись за своим столом в кабинете, тут же хватался за телефон или селектор, словно боялся, что без его руководства что-нибудь сделают обязательно не так. Однако на этот раз он и не глянул на телефоны: объект его руководства был рядом.

— Значит, так. Коллектив соберем на летней площадке в перемену, в шестнадцать часов. Вам, Пал Лукьяныч, за это время побывать в парикмахерской, переодеться и в пятнадцать тридцать быть при полном параде, со всеми регалиями здесь.— Начальник хлопнул ладонью по столу.— Речь для вас парторг уже составляет. Корреспондентов беру на себя. За начальством вашей машину посылать или своя есть? — спросил подполковника.

Павел Лукьянович ничего не понимал и начал злиться. Зачем он здесь? Чего от него хотят? При чем тут подполковник? Это было замечено. Начальник вдруг засмеялся, постучал себя пальцем по лбу и воскликнул (он вообще не умел говорить тихо):

— Ба! Да он же ничего не знает! С вас причитается!..

За что? Павла Лукьяновича снова стало мутить (и ведь не ел же ничего такого!), он почувствовал, как неловкость, тяжесть в груди перерастают в пока еще не сильную, но острую, будто примеряющуюся боль.

— ...Подполковник, скажите ему!

Павел Лукьянович поморщился то ли от боли, то ли от фамильярности этого обращения. Какой подполковник ни есть, но подполковник — кадровый, служака, а ты-то, начальничек, в лучшем случае всего лишь старший лейтенант, и то не служивший, а сделанный про запас. Сашка, старший сын, тоже лейтенантом медслужбы из института выскочил. Знаем мы это. К старшему по званию тебе следовало бы обращаться — «товарищ подполковник»... Сам подполковник, однако, ничего такого не заметил, ни на что не обиделся.

— Штанько Павел Лукьянович? — сказал он и, не дожидаясь ответа, потому что тут и ждать было нечего, продолжал: — Год рождения тысяча девятьсот двадцатый. Рабочий. Старшина первой статьи. Член ВЛКСМ...

— Что? — переспросил, смеясь, начальник.— Комсомолец, значит, двадцатого года?.. Ну, ты даешь, Пал Лукьяныч!..

— Член ВЛКСМ,— продолжал, переждав его, подполковник.— Холост...— И здесь его голос зазвучал торжественно: — Двадцать девятого марта тысяча девятьсот сорок четвертого года вы награждены орденом Отечественной войны первой степени. По данным наградного отдела, орден не был вручен вследствие убийства из части в госпиталь после ранения...

«Промолчать? — подумал Павел Лукьянович.— Или сказать?» Видел, что они от души радуются своему сюрпризу — ради одного этого

стоило промолчать. В другое время, может, и промолчал бы, но сейчас не было сил поддерживать чью-то игру.

— Я знаю,— сказал он,— у меня справка об этом ордене есть.

— Какая справка? — удивился подполковник.

— Из части.

— Почему же не получили орден?

— А у меня такой же есть, из самых первых.

— Ну и что? — не понял подполковник.

— Ничего,— ответил Павел Лукьянович.

Подполковник был моложе его — года двадцать седьмого. Но кусочек войны захватил: среди ленточек на его кителе была черно-желтая от медали «За победу над Германией».

Объясняться Павел Лукьянович не хотел, хотя эти двое вполне могли счесть его если не туповатым упрямым, то чудачком. Поменять справку на орден было проще простого. Только он хотел сохранить эту справку. Как память о части, о своем полковнике, о том времени...

— Раз награждены и знаете, надо было получить. Это же правительственная награда,— внушительно сказал подполковник.

Павел Лукьянович по-прежнему прислушивался к себе, но боль, словно бы слегка пощупав его, отпустила.

— Так вот,— подвел итог начальник,— справка тут ни при чем — нас она не касается. А мероприятие провести надо. Пусть молодежь видит: Родина-мать помнит всех своих скромных героев. Сейчас идите, Пал Лукьяныч, а в пятнадцать тридцать жду вас здесь.

— Чего вареный такой? — спросил Михеич.— Хоть предупредил бы... Автомат у вас же в подъезде. А то я как дурак: придет, не придет?..

Михеич был свой мужик: когда-то шоферили вместе и по рублику скидывались не раз — на него, старого, не следовало обижаться, и все же Павел Лукьянович хотел было досадливо отмахнуться (далось им это!), но рука замерла в движении, тело покрылось холодным потом, а в груди возникла настоящая, никогда прежде не испытанная боль. С удивлением и страхом чувствуя, что сейчас потеряет сознание, Павел Лукьянович нашел все-таки силы сделать шаг к скамье за железным столом, на котором слесаря в обеспокоенный перерыв забивали «козла». Не сел, а рухнул. И на пол упал бы, не подхвати его старый — откуда и прыть у того взялась!

— Что с тобой? — забормотал Михеич сердито и взволнованно, одновременно и принюхиваясь и поглядывая на дверь: не зашел бы кто.

Однако же не пахло. А в лице Павла Лукьяновича проступила поистине смертельная серость. Тут только Михеич испугался и стал кричать:

— Эй! Кто-нибудь! Сюда!..

В цехе его никто не слышал — за дверью гудел сварочный агрегат.

Привода приятеля в чувство, Михеич похлопал его по щекам, потряс за плечи, потом прислонил, обмякшего, к столу и выбежал из бытовки.

— Эй! Кто там? — Он растерялся до того, что не сразу вспомнил имя сварщика, и только когда тот поднял щиток, узнал его: — Борис! Бегом к телефону! «Скорую помощь»!

— Что? — не понял сварщик.

— Бегом! «Скорую помощь»! Сюда!

— Да что случилось? — рассердился сварщик.

— Бегом, мать-перемать! — неожиданно трубно рявкнул Михеич,

и этот внезапный переход с обыкновенного голоса на яростный командирский рык объяснил, видимо, сварщику все — он бросился из цеха.

Вопреки опасениям белая «Волга» неотложки появилась быстро.

— Где больной? — спросила женщина-врач.

Павла Лукьяновича уложили к тому времени на лавке, побрызгали в лицо водой и теперь совали под нос смоченную нашатырным спиртом ватку.

— Всем выйти, — приказала врач.

Ее помощница открывала чемоданчик, в котором блестели стеклом и сталью ампулы, пузырьки и шприцы.

Михеичу врача показалась молодой, и это вызвало сомнения, он и у себя на работе не очень доверял молодым слесарям: вместо того чтобы сразу определить неисправность (а для этого нужны чутье и опыт), те начинали всё по очереди вертеть и ковырять. Однако пришлось подчиниться, когда она повторила со строгостью:

— Немедленно выйти всем.

В цехе к тому времени стихло и оттого стало как бы пустынно. Из-за неплотно прикрытой двери бытовки доносилось позвякивание да слышались отрывистые, большей частью непонятные слова.

Что она делает там, эта молодая и такая решительная? Будет ли из этого толк? Хотелось закурить. Михеич потянулся было за своей «Примой», но вдруг решил: не ко времени.

Выглянула сестра:

— Носилки!

Носилки с Павлом Лукьяновичем несли бережно, задвигали в машину с осторожностью, а дверца хлопнула неожиданно громко.

— Ну что? — спросил Михеич.

Врач пожала плечами.

У ворот, как всегда, толпились машины. Чтобы расчистить себе путь, шофер неотложки с места включил сирену. Встревоженные незнакомым звуком, замерли на миг щенки в траве между деревьями, но тут же успокоились, продолжили свою безмолвную сосредоточенную игру.

Михеич закурил наконец, постоял немного отрешенно и молча, затем глянул по сторонам. Ближе всех был обруганный по нечаянности сварщик Борис. К нему и обратился:

— Много еще осталось?

Тот не сразу сообразил, в чем дело, а потом сказал, что до конца смены все сделает — кронштейны наварит. Остальные тоже поняли что к чему и стали медленно расходиться по работам. Через минуту в цехе опять гудел сварочный агрегат и летели искры.



---

ПАВЕЛ БОЦУ

★

## ОБРАЗ

*С молдавского*

Штрихи, оттенки, черточки, намеки,  
Там светотень, там яркий блик, они  
Соединялись в линии и строки —  
Так я тебя творил за днями дни.

И сотворился образ. Как живая  
Уже во мне существовала ты.  
Но люди шли, тебя не узнавая  
В потоке вечной мелкой суеты.

Да и тобой твой образ был не признан  
В глазах толпы, в устах ее молвы.  
Ты стала сходства требовать капризно,  
Дешевенькой похожести, увы,

Ты требовала. Точности, природы...  
И вот померкло духа торжество.  
И снова камнем сделалась скульптура,  
И снова глиной стало божество.

### ПРОНЗИ МЕНЯ...

Пронзи меня, чистое чувство печали,  
При виде отцовского старого дома,  
Печали, что окна его источали,  
Что всем уходившим из дому знакома.

Пронзи меня, дух беспокойства и странствий,  
При виде летящей над пашнями птицы,  
Тот дух беспокойства тревожный и странный,  
Что нас с очагом заставляет проститься.

Прости меня, светлая горечь грустинки  
При воспоминанье о милом пороге,  
О деревце каждом, о каждой тропинке,  
О каждой травинке... а сам я в дороге.

Пронзи меня, гордое чувство отчизны  
Отцовского, древнего, доброго края,  
От плача до песни, от свадьбы до тризны,  
От детства до бедствий, от ада до рая!

## ПАМЯТЬ

У памяти моей свои законы,  
Я рвусь вперед, стремителен маршрут,  
Ее обозы сзади многотонны,  
Скрипят возы и медленно ползут.

Но в час любой, в мгновение любое  
Как бы звонок иль зажигают свет.  
Ей все равно: хорошее, плохое,  
Цветок, плевков — ни в чем разбору нет.

Где плевелы, пшеница — нет ей дела,  
Хватает все подряд и наугад.  
Что отцвело, отпело, отболело,  
Волной прилива катится назад.

Тут не базар, где можно выбрать это  
Или вон то по вкусу и нужде.  
Дожди, метели, полночи, рассветы  
Летят ко мне в безумной чехарде.

Ей все равно, как ветру, что, тревожен,  
Проносится над нами в тихий день  
И всколыхнуть одновременно может  
Бурьян, жасмин, крапиву и сирень.

## ГОЛОС

За горем горе, словно злые птицы,  
А за напастью — новая напасть...  
Что было делать, чтобы защититься?  
За что держаться, чтобы не упасть?

Все неудачи, беды, невезенья  
Со всех сторон валились на меня.  
Когда летят тяжелые каменя,  
Слаба моя сердечная броня.

И я, закрывши голову руками,  
Уже смирился с тем, что сокрушен  
И упаду, и самый главный камень  
Уже летел. Последним будет он.

Вдруг голос твой средь грохота и треска —  
Струна, волна, росинка и кристалл...  
Я встрепенулся, выпрямился резко,  
И страшный камень мимо просвистал.

## ОРЕХОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

О, широки орехов наших кроны,  
Стволы крепки, как кованый металл.  
Тропинки к ним, как к храмам, проторены,  
Чтобы в прохладе путник отдыхал.



Поэты воспевали вас стихами,  
Вам скрипки отдавали свой напев.  
В вершинах ваших ветры затихали,  
Издали сердито прилетев.

За веком век — упорство и терпенье,  
И вверх тянись и вширь и почву рой.  
Скрыто в кольцах летоисчисленье,  
А шрамы все затянуты корой.

Вокруг деревья в бурю стонут, гнутся,  
Трепещут, трепещут, ужаса полны,  
Но видя вас, стоят и не сдаются,  
Как если б клятвой с вами скреплсны.

### СЛОВО

Я в слове мог бы воздвигнуть дом  
Подобный дворцу или просто избе,  
Но оставаясь под снегом и под дождем,  
Я отдаю это слово тебе.

Я в слове мог бы найти покой,  
Душевный мир я обрел бы в нем.  
Но тебе своей отдаю рукой,  
Лишь бы ты не тревожилась ни о чем.

Я в слове расплавил бы декабри,  
Весенние вырастил бы цветы.  
Но тебе уступаю его, бери,  
Бесцветным буду, цвела бы ты...

Я в слове согрелся бы, как при огне,  
Я им озарился бы как звездой,  
Когда б ты его возвратила мне...  
Но ты уносишь его с собой.

### СКАЗКА

Красивая сказка дошла до меня,  
Мне сплел ее старец-калека.  
Решило всеильное царство огня  
Войну объявить человеку.

Казалось бы, люди огню не страшны,  
Какой бы ни хвастались сметкой.  
Но все ж по законам веденья войны  
Сначала послали разведку.

Внедриться, втереться во вражеский круг,  
Пробраться тихонько в жилища,  
Чтоб, выбрав минуту, обрушиться вдруг  
И все превратить в пепелища.

Вполне безобидным прикинуться смог  
Коварный и злостный разведчик.  
И вот появился ручной огонек,  
Бескрылый пока еще птенчик.

В камнях очага как в гнезде ночевал,  
Старался казаться полезным:  
Готовил еду, освещал, согревал,  
Пылал, размягчая железо.

В лампадах мерцал и проник в алтари,  
Куриться в кадьницах начал,  
Костром на охоте горел до зари  
И руки лизал по-собачьи.

Слуга и работник — везде успевал,  
А помощь — к доверию средство.  
Над гробом хозяев свечой оплывал  
И детям служил по наследству.

И люди, веками соседствуя, с ним  
Сдружиться, конечно, успели.  
Он лишь притворялся сначала ручным,  
Ан, глядь, приручился на деле!

Забыл он о первых задачах своих,  
Уделом — домашняя пища.  
И светится в окнах — в глазах голубых —  
Душа очага и жилища.

*Перевел В. СОЛОУХИН.*



---

ЛЕВ СЛАВИН

★

## АРДЕННСКИЕ СТРАСТИ

Роман

*Страницы из дневника первого лейтенанта  
Лайонела Осборна*

*Записи от 5—10 декабря 1944 года*

**В**торой день я мотаюсь в этой курортной, наполовину разбомбленной дыре Спа и все не могу найти попутной машины в часть. И вообще сдается, что войны вовсе и нет.

А ее и вправду нет в Арденнах.

Это, положим, не мои слова. Это сказал мне за обедом саперный капитан, похожий на постаревшего кролика.

Когда он ест, его оттопыренные уши (точь-в-точь две улитки!) шевелятся в такт жеванью. Честное слово, я насобачился по частоте этого ритма судить о вкусовых качествах жратвы в этой интендантской объедаловке, забравшейся в роскошные залы ванного заведения «Петр Великий». Крыша стеклянная. Окна под потолком.

Поинтересовался:

— Что это еще за «Петр Великий»?

Капитан меня просветил:

— Русский император. Лечился здесь. Имейте в виду, эту знаменитую воду не вывозят. Пользоваться можно только здесь. Ходить недалеко: источник «Петр Великий» тут же, в подвале. Волшебная водичка! Хочешь — пей, хочешь — купайся. Курорт! И не только здесь, в Спа. Весь наш фронт от самого Ахена и до Трира — сплошной курорт. Последний выстрел я слышал, когда у Сен-Вита обивал окопы досками. И то, по-моему, из охотничьего ружья.

Ну, я ему на это сказал, что не мешало хотя бы поштукатурить облупленные стены «Петра Великого». А он начал вздыхать и качать головой. Что, мол, делать! У немцев здесь было офицерское казино. И они разрисовали все стены в своем анально-фекальном стиле. Пришлось сбивать эту порно, чтобы наши ребятки не воспалялись излишне. Я, правда, полюбопытствовал:

— А что ж это за такой стиль?

— А вот полюбуйтесь.

И он вынул из кармана статуэтку. Маленькая бородатая собачка. Я взял ее, осмотрел. Ничего особенного. Собачка как собачка.

А он так хитренько улыбнулся, говорит:

— Это же машинка для чинки карандашей. Вся штука в том, куда вставляется карандаш. Под хвост! Весело, да? Или вот еще.

Опять он полез в карман и вытащил фарфоровую пепельницу.

Посреди нее была выложена фарфоровая же и очень натурально сделанная кучка кала.

Спрашиваю:

— Вы что, собираете эти прелести?

Он сказал:

— Забавно же...

И принялся за суп.

Смотрю: уши замолотили как сумасшедшие. А очень просто: овсяный суп с опостылевшей свиной тушенкой был премерзким и, значит, капитан спешил разделаться с ним побыстрее. Но это не мешало ему работать языком. Так и сыпал именами. Пришлось мне оставаться чуть ли не на каждом слове.

Говорит:

— Старик Троп Миддлтон, конечно, вне себя...

— Стоп! Это кто?

А он недоверчиво:

— А вы не знаете?

— Я же не вашего фронта.

— Это наш командующий корпусом. Да и вся эта штабная бражка Восьмого корпуса ворчит: нет боев, нет наград. Весь Спа нафарширован штабами. Здесь вы можете увидеть Ходжеса...

— Стоп!

— Все забываю, что вы не наш. Командующий Первой армией. Да и сам Брэдли изредка наезжает. Омар Брэдли, командующий Двенадцатой группой армий.

— Это-то я знаю.

— И вообще генералов тут у нас, в Спа, хватает. Как-то прикатил старик Уильям Симпсон из Девятой, из Маастрихта, принял парочку углекислых «петров великих». А однажды удостоил нас визитом сам Монти.

Говорю:

— А не заливаете, капитан? Фельдмаршал Монтгомери?

Я подумал, что ослышался.

Но он:

— Во-во! Собственной персоной. Хотя лайми там, под Антверпеном, не очень-то потеют.

Так я узнал, что англичан наши ребята называют «лайми». Это, я сказал бы, не чересчур почетное прозвище.

А он сыплет дальше:

— Слушайте, Симпсон, часом, не индейского происхождения? С его носом, изогнутым, как клюв коршуна, он сильно смахивает на какого-нибудь ирокезушку. Как же он все-таки докарабкался до генерал-лейтенанта, а?

Подали бараньи котлетки, и тут уши капитана замолотили в темпе модерато. Действительно, не совру, котлетки прямо таяли во рту, нежные, в пикантных сухарях, отлично прожаренные.

А капитан бубнит:

— Да и воевать тут, собственно, некому. И не с кем. На весь фронт в сто двадцать километров у нас тут четыре дивизии Ходжеса неполного состава. И резерва никакого. А зачем он здесь? А у мофов и того нет.

Так я узнал, что немцев тут называют «мофы», словечко голландское и довольно крепкое.

— Глушь. (Это все он говорит.) Леса. Ни тебе дотов. Ни тебе минных полей. Да и ни к чему они здесь. Горы. Непроходимые горы. Дорог нет. Вот и шлют нам с других участков потрепанные части для отдыха и поправки. Да еще новобранцев обучать. Я вижу, вы хромае-

те? Из госпиталя? Ничего. У нас вы быстро поправитесь. Витамины тут, в Арденнах, в воздухе, прямо трещат на зубах. Вот придет весна — в горных речках форель, в лесу кабаны. Как вы насчет охоты, не любитель?

Он, наверно, обомлел, когда я встал и не простившись вышел из столовой. Как подумаешь, что в Тихом океане, и в Бирме, и у Окинавы, и в Италии, и в России ребята сторают, тонут, разлетаются в куски! А эта старая ухвертка забаррикадировалась Арденнами и наворачивает бараньи котлетки!

Хотя, в сущности, чем он виноват!

В конце концов, сказать по правде, мне тоже не мешает после ранения отдохнуть, вернуть форму. Эх, как я вспомню свой старый уютный контрабас, на котором я работал в нашей кафушке «Магические брызги»... Нет, нет! К черту! Не буду расслабляться. Я уже заметил: чуть я начинаю что-нибудь такое, рана кровотоцит.

Значит, так. Медленно я плелся по улицам Спа. Все-таки он не очень разбомблен. Отели первоклассные. Ванные заведения прямо как дворцы. А кругом горы. Как будто их здесь поставили специально для обстановки люкс. Лес на них темно-зеленый, из него так и тянет кондишн-воздухом.

Прошел через маленькую площадь. Смотрю: памятник какому-то усатому типу. Оказывается, это маршал Жоффри — прямо морж на коне. А все-таки немцы его не снесли! Хотя им доставалось от него в ту войну. Может, просто руки не дошли.

Горка снежная. Издали показалось: дети катаются с нее. Подхожу: солдаты! Хохочут. И съезжают на детских салазках. Вояки! Отвратительно. На меня никакого внимания.

Хорошо, но все-таки мне надо где-нибудь переночевать! Я решил опять завернуть к коменданту. А вдруг? И что же — действительно повезло. Только я вошел в комендантское управление, как дежурный сержант орет:

— Первый лейтенант Осборн! Хорошо, что вы пришли! Есть машина. Правда, не военная. Ну да тут у нас тихо. Мистер Ли согласился подхватить вас.

Через полчаса мы выезжали из города вверх по узкой аллее, обсаженной елями.

Мистер Ли сказал:

— Забавный городишко, а?

Он сам сидел за баранкой своего старого «бьюика», джентльмен средних лет, в куртке с кенгуровым воротником. Машину ведет неплохо.

А сосед мой — мы его прихватили в комендантском, молоденький парнишка в берете и камуфлированном комбинезоне десантника-командоса, или, как англичане говорят, «рейнджерс», — так он говорит брезгливо:

— Помойная яма...

Спа, значит.

Дорога паршивая, извилистая, с крутыми поворотами. С гор туман. Мистер Ли выжимал не менее ста и при этом беспрерывно болтал, иногда даже жестикулировал. Я подумывал: а не отнять ли у него баранку? Голос у него скучный, и он бубнил:

— Нет, городишко любопытный. Знаете ли вы, ребята, что в первую мировую войну в Спа была ставка германского императора Вильгельма Второго?

Я подмигнул десантнику, а он поджал губы: мне, мол, наплевать. На императора, конечно.

А я спросил из чистой вежливости, все-таки машина его, то есть

мистера Ли, он же мог и не взять нас с собой, это надо ценить. Так я спросил:

— Это тот, который с усами, закрученными кверху?

Я имел в виду императора.

В это время из-за поворота вылетел «додж» три четверти<sup>1</sup>. Я закрыл лицо руками. Но сквозь пальцы смотрел. Мистер Ли отчаянно выкрутил баранку сначала вправо, оба правых ската завертелись в воздухе над пропастью, потом влево. «Додж» пронесся с дьявольским грохотом. И вот мы снова всеми четырьмя лапками на земле и мирно катим дальше.

— That's some driving!<sup>2</sup> — крикнул десантник.

«Р» у него было раскатистое, славянское.

Спрашиваю:

— Русский?

— Поляк.

Ну, я назвал себя. И он назвал себя:

— Сержант Феликс Маньковский.

Мистер Ли опять завел свою говорильную машину:

— Бьюсь об заклад, вы не знаете, что было в Спа летом тысяча девятьсот двадцатого года!

Я посмотрел на поляка. Он пожал плечами и сказал:

— Вы не могли бы рассказывать быстрее, а ездить медленнее?

А мистер Ли заявляет:

— Летом двадцатого года здесь, в Спа, состоялась конференция держав-победительниц. Они определили размер репараций с Германии и запретили ей на веки вечные вооружаться. И вот мы опять с ней воюем.

Я, конечно, дал тут же отпор:

— Ну, теперь мы наступим ей на пах так, что она не пикнет.

Маньковский покосился на меня. Вообще этот мальчишка в камуфляже начал раздражать меня своим вызывающим молчанием. Командос, подумаешь! Будто они значат что-нибудь на войне!

— Чем пахнет нагретый от стрельбы затвор карабина, знаешь? — спрашиваю.

А он угрюмо:

— Я из-под Арнема.

Молчу. Арнем — другое дело.

Мы то спускались в долины, то снова карабкались на горы. Внизу стояли склады. Всякие — боеприпасов, провиантские, амбары с горючим. Добра чертова уйма под защитой непроходимых гор. Потом мы опять подымались и кружили по тесным горным спиральям.

В одном месте стоп: шлагбаум. К машине подошли ребята из Эм-Пи<sup>3</sup> в своих белых шлемах. Я вынул документы. Но они даже не посмотрели на них. Их интересовало другое. Они потребовали открыть бензиновый бак.

Мистер Ли, конечно, отказался. С негодованием! Тогда один из солдат сам открыл бак, вставил в него резиновую трубку, потянул ртом, и бензин полился на землю. Они полезли также в багажник, проверили горючее в канистрах. Потом откозыряли нам и открыли шлагбаум.

Когда мы отъехали, я спросил: в чем дело? Мистер Ли проворчал:

— Я ж им говорил, что у нас бензин белый.

<sup>1</sup> Осборн имеет в виду полугрузовичок вместимостью в три четверти тонны.

<sup>2</sup> Вот это ездal (Англ.)

<sup>3</sup> Military police — военная полиция (англ.).

Не скажу, чтоб я что-нибудь уразумел из этого ответа. Маньковский меня просветил:

— Военный бензин розовый.

— Почему?

— Чтоб не крали. Тут же воровство на полном ходу. Воруют сигареты, консервы, ну, и бензин. Вот его стали подкрашивать.

Н-да... Местечко эти Арденны..

— Тыл... — сказал Маньковский.

Здесь к нам подсел совсем молоденький лейтенантик. Таких молочных поросят сейчас пачками штампуют в Штатах. Все на нем до неприличия блестящее и скрипучее. Почтительно поглядывая на мою линялую куртку и комбинезон Маньковского, он представился:

— Джон Вулворт.

— Не из фирмы ли «Эдна Вулворт, магазины стандартных цен „Пять и десять центов“»?

— Да... Собственно, это моя тетья...

— Что ж она не пристроила вас при каком-нибудь сенаторе?

Мальчик так покраснел, что мне стало жалко его. Потом он робко спросил:

— А почему у нас шофер штатский?

Я посмотрел на Маньковского.

— Черт побери, а ведь действительно, кто он?

Поляк пожал плечами.

— Гробовщик, — тихо сказал он.

— Как? Гробовщик?

Маньковский улыбнулся.

— Он владелец фирмы, которая взяла подряд на перевозку и захоронение трупов американских солдат.

— То-то у него такой похоронный вид.

— Да, это профессиональное. Только, кажется, в Арденнах, он прогорит.

— Да, ему бы к вам под Арнем. Там бы он поживился.

Так мы болтали шепотком, крутясь по извилистым горным дорогам, переваливая через арочные мосты, осторожно соскальзывая с крутизны, тормозя мотором. А этот сосунок Вулворт с обожанием смотрел на меня и поляка и восхищался солдатской грубостью нашего разговора. Сам он молчал, не смея вмешаться своим писком. Ей-богу, мне даже стало жаль его, и я спросил:

— А тебе куда?

Он поспешно отбарабанил:

— В Шестую бронетанковую дивизию Восьмого корпуса Первой армии Двенадцатой группы армий. — Он помолчал. Потом спросил нерешительно: — Не знаете, там какие машины? Я ведь танкист. — И добавил: — Как и Эйзенхауэр.

Он смутился: не звучит ли это по-ребячески хвастливо.

Неожиданно, не поворачивая голову от баранки, мистер Ли крикнул:

— Ну, он, положим, больше дипломат, чем военный!

Это выпад, конечно. Но не хотелось ссориться с водителем. Наступило неловкое молчание. К счастью, поляк сказал:

— В дивизии танки типа «генерал Шерман».

Мальчик обрадовался:

— «М-четыре — А-два»? Вот здорово! С семидесятишестимиллиметровой пушкой? Это ж мой танк. Классная машина!

Поляк сказал:

— Много я их видел, вдрызг покалеченных, в Пятом корпусе.

Вулворт даже просиял:

— Там жарко, да?

— В Пятом? На реке Роер? Баня! Идут бои за эти проклятые дамбы. Там есть одно подразделение из твоей Шестой дивизии. Только тебе-то что? Ты же в Восьмой корпус. На курорт.

Лейтенантик всполошился, полез в свой бумажник за документами. Мы заглянули в его предписание. Мальчик чуть не плакал.

— Я уверен,— хныкал он,— что это все тетя Эдна подстроила... Чертова баба!

Он нудил и ругался школьными ругательствами, пока я не заткнул ему рот:

— Слушай, старик, ты утри сопли и не искушай судьбу. На фронте ничего нельзя менять, понял? Какие карты тебе сданы, такими и играй. Без передергивания. Судьба! Уразумел?

Поляк кивнул головой, подтверждая святую правду моих слов.

— Вот и он так говорит. Слушай старых солдат. А он из-под Арнема. Он был в аду и вернулся живым. Маньковский, расскажите нам про эту заваруху под Арнемом. Ребенку полезно. Да и мне интересно.

Поляк молчал. Потом сказал:

— Не хочется.

Лицо его помрачнело.

Я не настаивал. Дело хозяйское...

### *Искусствовед*

Дом стоял в буковом лесу, совсем небольшой, просто сторожка, покинутая лесником, каменная халупа, сложенная из неровных глыб, с конической грифельной крышей. Ветви, запорошенные снегом, льнули к окошку.

Не сходя с койки, Вулворт видел могучие отроги Эйфеля, плавно переходившие в долины, а иногда вдруг обрывающиеся так круто и отвесно, словно их охватили вселенским топором. Кое-где ветром смело снег, обнажились каменные бугры материнских пород.

На другой койке полулежал маленький пухлый первый лейтенант в очках. Часа два назад в штабе он приветливо встретил Вулворта. Никакого отношения к 6-й дивизии он не имел, а просто, увидев растерянность Вулворта, пожалел его.

Снег повизгивал под их ногами, когда они шли сюда, в эту каменную конуру. Первый лейтенант прикрывал рот рукой. Он буркнул:

— Берегу дыхание.

И всю дорогу молчал.

Вулворт машинально шел с ним в ногу. Потом спохватился, что это выглядит как-то по-школьному, и нарочно сбился с ноги. На морозе первый лейтенант казался молодым, а в комнате Вулворт увидел, что ему, вероятно, что-нибудь за сорок.

На стене висело изображение богоматери. Все квакерское существо Вулворта инстинктивно напряглось при виде «идола». Возможно, первый лейтенант заметил это, потому что сказал, что в мирной жизни он был искусствоведом и богоматерь эта — «Сикстинская мадонна» Рафаэля.

— Как раз перед войной я выпустил исследование. Может быть, вам попадалось? Томас Конвей, «Ранние византийские иконы». Нет? Я подарю вам. А чемодан у вас легонький. Набит, видно, надеждами и мужеством. Вы не против, если я лягу? У меня, видите ли, строгий режим. С утра лыжи. После обеда часок поспать. Вечером можно позволить себе стаканчик, но не больше. Ревматизм, ничего не поделаешь. Перед сном прогулка.



— Значит, здесь боевых столкновений совсем нет?

— С кем? — удивился Конвей.— Кто полезет в эти горы, да еще зимой? Я очень рад вам, народу у нас тут мало.

— Мало? Все-таки корпус.

— А! — Конвей пренебрежительно махнул рукой.— Чтобы перечислить по пальцам наши подразделения, можете сапог не снимать. Что у нас тут? Три пехотные дивизии да эта ваша бронетанковая. Ну еще небольшая бронекавалерийская разведывательная группа.

— Все-таки целых три пехотных.

— А что проку? Сто девяносто шестая только что из Штатов, пороку еще не нюхала. А Четвертая и Двадцать восьмая так были потрепаны в ноябре, нет, не здесь, а на реке Роер, что от них остались одни огрызки. Их отвели сюда к нам на отдых и пополнение. Да, кстати, ваша Шестая бронетанковая тоже только по названию дивизия.

— Почему?

— Потому что несколько батальонов увели на север в Пятый корпус. Наши дрались за эти проклятые дамбы на Роере и, видно, там и погибли.

Глаза Вулворта горели от возбуждения. Он восхищался небрежным и даже слегка скучающим тоном, каким первый лейтенант упоминал о сражениях. Вулворт и завидовал этому тону и негодовал. Проглотив слюну, он сказал:

— Так что здесь...

— Здесь? Тысяч я думаю восемьдесят на сто двадцать километров фронта. Представляете? По тридцать — сорок километров на одну дивизию. Все мы растянуты в один эшелон. Усвоили? Но вы не волнуйтесь.

— Нет, я ничего. Наоборот...

— Ладно, ладно, я когда-то тоже был таким петушком. А теперь знаете что? Да, кстати, выпить хотите?

Вулворт засуетился:

— Я сейчас...

Он полез в чемодан и вынул бутылку виски «Длинный Джон». Они выпили. Бывший искусствовед растянулся на койке.

Вулворт ожидал, что сейчас пойдет разговор о женщинах, постарался внутренне перестроиться и приготовился выпалить несколько залихватских историй, вынесенных еще из колледжа. Конвей, мечтательно устремив глаза в потолок, говорил:

— Вы понимаете, Вулворт, с моим ревматизмом я мог бы без труда получить увольнение из армии. И я это сделал бы, если бы не Спа. Я езжу туда три раза в неделю. Ванны! В мирное время мне это было не по карману даже в Штатах. Вы только подумайте, какие грандиозные усилия пришлось применить из-за меня. Я часто об этом думаю. Понадобилось произвести на свет этого выродка Гитлера. Понадобилось, чтобы он слопал всю Европу. Так? Понадобилось, чтобы этим он не насытился и решил заглотать Россию. Так? Понадобилось, чтобы он подавился Сталинградом. И все это для того, чтобы я мог спокойно, тихо, а главное, бесплатно лечить свои суставы. И где? На одном из самых дорогих аристократических курортов мира. Знаете, Вулворт, так воевать я согласен. Почему вы не пьете?

— Спасибо. Значит, здесь совсем тихо?

— Отпуск. До самой весны. Великие зимние каникулы. Хотите, я вас зачислю в свою группу? Группа небольшая, но, как у всех здесь, штаты не заполнены. А перевод из вашей бронетанковой мы устроим.

— Это какой род войск?

— Разведка.

— Разведка? — Глаза Вулворта заблестели.

Конвей улыбнулся.

— Вы уже чего-то себе навоображали. Работа у нас тихая — по связи с партизанами.

— Значит, надо проникать к ним в горы?

— Ну вот еще! Мы устроились удобнее. Время от времени они сами спускаются с гор и докладывают, как там, у немцев. Давно уже не были, потому что ничего не происходит. Так хотите?

Вулворт замялся.

— Знаете, я ведь танкист,— сказал он смущенно.

— Ну так что? Я сам артиллерист,— сказал Конвей, зевнув, и опустил на подушку.

Вулворт подумал, что Конвей потерял к нему интерес, потому что считает его мальчишкой, маменькиным сынком. Он покраснел от стыда и решил исправить впечатление.

— А как у вас тут насчет баб? — сказал он деланно хамским голосом.— Я слышал, что голландочки слабы на передок.

Он попытался придать своему юному лицу игривое выражение, какое подмечал у взрослых мужчин, когда они вели вольные разговоры о женщинах. И подмигнул при этом своим детски чистым голубым глазом.

Конвей приподнялся на одном локте и внимательно посмотрел на Вулворта. Потом захохотал. Он ничего не говорил, он только смеялся. Вулворт пролепетал что-то невнятное. Наконец Конвей сказал:

— Я отдал бы десять лет жизни, чтобы уметь так очаровательно краснеть, как вы, Вулворт.

Вулворт надулся и спросил:

— А до Бастони тут далеко?

— Да тут все, в общем, близко. А что?

— В штабе у вас сказали: ищите вашу дивизию в районе Бастони. Кроме того, там у меня родственник полковник Чарлз Вулворт.

— Что ж,— сказал Конвей, снова зевнув,— подавайтесь в Бастонь. Завтра туда перебазировается Сто первая воздушно-десантная дивизия. Пристройтесь к ней.

Он опустился на подушку, заложил руки за голову и сказал:

— А мне и здесь хорошо. Так воевать я согласен хоть всю жизнь...

### *Вечер в казино*

Ствол стопятидесятимиллиметровки смахивает на хобот слона, когда он вздымает его, чтобы протрубить боевой клич. «Однако,— подумал капитан Франц Штольберг,— эта пушечка, хватающая на двадцать два километра, выглядит здесь весьма мирно, почти музейно». Сходство со слонем усиливалось благодаря серому чехлу, которым, как перчаткой, был обтянут ствол гаубицы. Но это же окончательно лишало ее воинственности.

Вокруг орудия на дощатом круглом обводе валялись несколько парней, не иначе как орудийная прислуга. Двое, по пояс голые, нежились в лучах горного солнца.

Горячие лучи и крахмально блистающий снег с морозными блесками — этот коктейль восхитил капитана Штольберга. Он только что прибыл с Восточного фронта, из слякоти польских проселков. В шинах его автоколонны был еще варшавский воздух. А кроме того, он любил сшибать противоположности. Это напоминало ему его само-го: седоват, а лицо нестарое.

Он окликнул одного из солдат. Тот вскочил, щелкнул каблуками,

прижал локти к бедрам. Капитан спросил дорогу к коменданту. Потом кивнул в сторону орудия:

— Исправна?

— Кто? Спящая красавица?

Капитан засмеялся:

— Когда ж она проснется?

Солдат махнул рукой:

— Весной, должно быть.

Он взгляделся в погоны капитана: по голубой их оторочке увидел, что невелика птичка — всего-то транспортная служба. Он усмехнулся глупо и дерзко, буркнул: «Sieg heil!»<sup>4</sup> — повернулся налево кругом и пошел по обводу.

Капитан зашагал далее, энергично махая руками, посвистывая, вертя головой по сторонам. Его длинное суставчатое тело трещало на ходу, как ящик с бильярдными шарами. Он с удовольствием озирался. После бесконечных тревожных славянских просторов арденнские вершины, нависавшие над городом, действовали на него успокоительно, как стены дома.

С комендантом он разговорился. Пожилой офицер, слишком старый для своего чина, слушал его хмуро.

— Нет, обер-лейтенант, я не из Берлина,— говорил Штольберг, усевшись без приглашения в потертое, но удобное кожаное кресло, явно извлеченное из какого-то частного дома.— Конечно, я очень хорошо знаю Берлин. Я там учился и подолгу жывал. А сам я из Штраусберга. Не слышали? Небольшой городок. Мы соседи Берлина. Всего тридцать километров. Город страуса. У него и в гербе страус. Красивый городок, старинный, на озере. У нас там был собственный рыбный садок...

Комендант был вынужден перебить его, потому что Штольберг говорил не останавливаясь: намолчался он, что ли, там, в унылых восточных равнинах? А у коменданта дел невпроворот: шутка ли — навалилась из-под Кёльна вся мантейфельская громада, 5-я танковая армия. Обер-лейтенанту удалось мельком увидеть самого генерала Гассо Экарда фон Мантейфеля. Генерал вышел из автомобиля на площади и зашел за стену дома, вероятно по нужде, высокий, тощий, с длинным печальным лицом, похожий на задумавшегося пастора.

Комендант задал только один вопрос Штольбергу, отобраз для этого наиболее отекаемые выражения: верно ли, что внесены некоторые поправки в закон о порядке, или, точнее сказать, норме призыва в армию очередных возрастов, без сомнения вызванные важными государственными соображениями? В ответ капитан Штольберг рявкнул со свойственной ему грубоватой решительностью:

— Еще бы! Если у вас есть внучата-школьники и отец-пенсионер, распрощайтесь с ними, обер-лейтенант. Призывной возраст снижен с семнадцати с половиной до шестнадцати лет и повышен до шестидесяти. Это фольксштурм. Из них сформированы фольксгренадерские дивизии. Наши бабы, как ни тужатся, не успевают народить нам новые армии, так ведь, обер-лейтенант?

Капитан расхохотался и, видимо, собирался что-то еще добавить, но встретив отчужденный взгляд коменданта, ничего не сказал, усмехнулся и, положив в карман ордер на постой, вышел на улицу, где сквозь свисавшие с крыш длинные сосульки хрустально преломлялось солнце, разбрасывая по сахаристому снегу оранжевые и синие полосы. Капитан глянул на небо, радостно голубевшее над домами и горами, и подумал озабоченно: «А погодка-то ведь летная...»

<sup>4</sup> Да здравствует победа! (Нем.) Приветствие в фашистской армии.

С Вилли Цшоке капитан Штольберг встретился вечером в офицерском казино. Тут царствовал все тот же курортный дух. Чересчур много женщин. Не говоря уж об официантках, здесь порхали телефонистки едва ли не со всех участков арденнского фронта, офицерские жены, даже матери из тех, что помоложе, и просто какие-то гости из глубины Германии, быть может из самого Берлина, пробравшиеся под всякими предлогами сюда от бомбежек, от «регламентированного снабжения», от хлеба с примесью древесной коры, попросту от голодного «карточного» существования — сюда, в этот спокойный сытый уголок Западного фронта.

Одна стена казино была заклеена лозунгами, призывами, изречениями фюрера. Тут же плакат, уже порядком намозоливший глаза в оккупированных областях: под словами «Верьте доброму немецкому солдату» был изображен улыбающийся солдат, обнимающий ребенка, который уписывает толстый бутерброд с колбасой.

Майор Цшоке нисколько не изменился. Та же щекастая веснушчатая благодушная рожа, разве только голос стал совсем хриплым. Видно, от неутомимого пьянства у него изрядно набрякли голосовые связки. Облапив официантку, Цшоке кричал:

— Вы, молодые, учитесь, как надо ухаживать за женщиной!

Сидевший за тем же столиком молодой офицер сдержанно улыбнулся. Штольберг глянул на его левую петлицу, туда, где у эсэсовских офицеров были знаки различия — плетеные квадраты, — и увидел, что перед ним гауптштурмфюрер, что соответствовало общепармейскому чину капитана. Со своими тонкими усиками и лиловатыми подглазьями на узком бледном лице эсэсовец был похож на несколько подержанного фата. Что касается Цшоке, то на нем по-прежнему были погоны с розовой окантовкой танковых войск.

Увидев Штольберга, Цшоке перестал тискать официантку и кинулся к нему:

— Как я рад тебя видеть, чертов малыш!

Штольберг не помнил, чтобы он был когда-нибудь с Цшоке на ты. Но в этот момент его поразило другое. Если Цшоке здесь, то не значит ли это, что и 6-ю танковую армию СС пригнали сюда с Востока? Решив выяснить это обстоятельство, Штольберг присел за столик к Цшоке. Эсэсовец привстал и назвал себя:

— Гауптштурмфюрер Биттнер.

Услышав фамилию Штольберг, он посмотрел на капитана несколько более пристально, чем это принято при первом знакомстве. Впрочем, не сказал ничего. Лицо его снова приняло выражение мягкой, почти томной грусти.

Штольберг приступил к делу издалека. Он не очень верил в опьянение Цшоке. Он не понимал, почему Цшоке так дружески прильнул к нему. Ведь отношения между ними всегда были прохладными. Особенно после нашумевшей реплики... Дело в том, что Цшоке умудрился в самом начале войны с Францией попасть в плен. Редчайший случай в те идиллические времена. После капитуляции Франции Цшоке утверждал, что он бежал из плена. Во всяком случае, на его служебной карьере это как будто не отразилось. Однажды — это было в небольшом польском городке — Цшоке, как каждое утро, вышел из дому для совершения гимнастических упражнений. Так он опохмелялся после ночных разгулов. Ставши на крыльце, он плавно воздел руки, сопровождая это глубоким вдохом, потом опустил их — выдох, и так несколько раз: руки вверх — вдох, руки вниз... В этот момент мимо проходил Штольберг. «Не удивляйтесь, — сказал Цшоке, улыбаясь. — Я упражняюсь в правильном дыхании. Для этого я поднимаю руки вверх и...» «Тем более что вы привыкли это делать», — сказал невозму-

тимо Штольберг. Острота эта быстро разошлась среди офицеров гарнизона.

Но сейчас Цшоке был любезен, может быть, даже чрезмерно любезен и подливал Штольбергу коньяк с такой ретивостью, что тот подумал: «Уж не собирается ли он подпоить меня?» Штольберг все хотел повернуть разговор на передвижения 6-й армии, да не мог подыскать подходящего повода. Цшоке засыпал его вопросами: каково сейчас в Берлине, не голодно ли там и много ли жертв от ночных англо-американских бомбежек?

— Но, конечно, присугствие духа высокое, не правда ли, Франц? Я даже слышал, что берлинцы с никогда не покидающим их чувством юмора называют фугасные бомбы «бомбоньерками»? Верно это?

Штольберг вдруг озлился. Ему захотелось проткнуть этот пузырь, раздувшийся от самодовольства.

— О! — сказал он. — Чувство юмора сейчас шагнуло так далеко, что вместо «убивать» говорят «обезвреживать» или «подвергнуть специальной обработке».

Цшоке отмахнулся:

— Так это в концлагерях по отношению к политическим преступникам и расово неполноценным. А я — о нашем здоровом берлинском юморе...

Вмешался Биттнер. Поглаживая черные усики, он сказал:

— Сейчас у берлинцев в ходу, например, такое выражение: «Думайте, о чем вы говорите, иначе вылетите в трубу».

Тон у него был нравоучительный, как у проповедника.

Цшоке захохотал:

— То есть, конечно, в дымовую трубу? В крематорий? Нет, Франц, ты только посмотри на Биттнера, на его невозмутимое лицо. Как все прирожденные юмористы, откалывает он свои словечки с ледяным видом.

Действительно, Биттнер сохранял холодное спокойствие, только чуть помаргивал презрительно. «Штучка, должно быть, этот эсэсовец», — подумал Штольберг. Он досадовал на себя. Время шло, а он еще не выведal того, что его интересовало. Кроме того, он почувствовал, что слегка пьянеет, и испугался. «Еще не хватает, чтоб я надрался, и тогда я вообще забуду, зачем я, собственно, подсел к этим свиньям». И он выпалил первое, что ему пришло в голову:

— Похоже, что я видел старика Зеппа Дитриха, он промелькнул в большом камуфлированном «мерседесе». Неужели его Шестая тоже рванула сюда?

Биттнер отвернулся, словно и не слышал вопроса. А Цшоке бросил пренебрежительно:

— Знаешь, я ведь не интересуюсь этими золотыми фазанами.

Он вызывающе посмотрел на Штольберга. Тот несколько оторопел. За эту дерзость — «золотые фазаны» (так, издеваясь, прозвала улица нацистских заправил) — можно было в два счета попасть в лапы гестапо. Цшоке продолжал насмешливо смотреть на Штольберга, потягивая ликер, и весь его вид говорил: да, я вот какой, я ничего не боюсь, мне море по колено. Он подозвал официантку и попытался посадить ее к себе на колени. Крупная дебелая женщина с хохотом вырвалась и убежала. Цшоке вскочил и погнался за ней.

Штольберг сказал:

— Я вижу, здесь нравы вольные.

Биттнер улыбнулся:

— Осуществляем на практике лозунг доктора Геббельса: «Сила через радость».

Штольберг не понял, говорил он это серьезно или издевался. Пожал плечами и заметил:

— Подходящее занятие для боевого танкиста.

— О,— сказал Биттнер,— майор Цшоке временно откомандирован в распоряжение третьего отдела «Группенабвер».

— Простите мое невежество... — начал Штольберг.

— Третий отдел «Н» — это контрпропагандистская группа, которая ведаёт поддержанием боевого духа и нацистского образа мыслей в рядах вооруженных сил.

Вернулся Цшоке. Он плюхнулся на стул, а впрочем, был совершенно серьезен. Казалось, пьяненькое с него разом слиняло. Он посмотрел на Штольберга внимательным, изучающим взглядом, разлил по бокалам розовое «либфраумильх» и в некоторой задумчивости повертел между пальцами тонкую ножку бокала, еще раз глянул зорко из-под припухших век на Штольберга и молвил, придавая своему хриповатому голосу ласковость:

— Чудак ты был, Франц, и чудак остался. Я и титул придумал тебе.— Он поднял бокал и возгласил: — Твое здоровье, ваше чудачество!

Злобное озорство вдруг охватило Штольберга. Он поднял бокал и сказал с поклоном:

— И твое, ваше стукачество!

Наступило молчание. Потом Цшоке сказал как ни в чем не бывало:

— Слушай, Франц, тут собирается небольшая экспедиция в горы. Ты ведь отличный лыжник. Такие люди нам нужны. Места живописнейшие, старая голландская мельница. Будешь моим заместителем. Решено?.. Что ж мы не пьем? По этому случаю еще по бокальчику...

### *Поединок*

Из казино Штольберг выходил уже в сильном подпитии. Он только успел заметить, что на кузове «вандерера», в котором Цшоке подбросил его домой, зигзагообразные стреловидные молнии — эсэсовская эмблема.

Рано утром его разбудил продолжительный стук в дверь. Он встал с сильной головной болью. Солдат из комендантского управления откозырял и вручил ему два запечатанных конверта. Штольберг расписался, швырнул пакеты на стол и пошел варить кофе. Несколько согрев нутро, он распечатал первый конверт и крепко выругался.

В бумаге с грифом «совершенно секретно» значилось, что капитан технической службы Франц Штольберг назначен заместителем командира эйнзацкоманды для проведения карательной экспедиции против партизан в район мельницы в пункте Сент-Антуан. К этой бумаге были приколоты «Приложения»:

«**П р и л о ж е н и е** I. Накануне выступления Вам надлежит получить на складе 028-БД: рюкзак, лыжи, бинокль, компас, а также из расчета ... дней шоколад, сухари, чай, табак. Оружие легкое стрелковое, гранаты.

**П р и л о ж е н и е** II. Извлечение из наставления «Боевые действия против партизан». Вводится в действие с 1 апреля 1944 года.

Ст. 31. Если предстоит двигаться по неразведанной дороге, надлежит с целью обнаружения мин принимать следующие меры предосторожности:

- а) высылать перед колонной деревянные катки;
- б) гнать впереди колонны скот.

Ст. 70. Допрос пленных является одним из лучших способов по-

лучения сведений. Поэтому захваченных партизан расстреливать сразу не следует.

(Слово «сразу» подчеркнуто красным карандашом.)

Ст. 78. Некоторые способы уничтожения партизанских отрядов:

...б) метод «охота на куропаток»:

«Атакующие силы оттесняют партизан, как куропаток, к оборонительным позициям нашего отряда... Такой метод рекомендуется возле позиций у реки... у лесной полосы.

(Против этих слов на полях замечание красным карандашом: «Как в данном случае».)

...Оттеснение партизан к этим позициям ведет к их уничтожению».

Тут же было «Приложение III» — извлечение из специальной директивы по борьбе против партизан штаба 257-й дивизии:

«Если допрашиваемый сначала притворяется, а позднее сообщает какие-либо сведения, его надо подвергнуть более тщательному допросу, сопровождая примерно двадцатью пятью ударами резиновой дубинкой или плетью. При этом после каждого удара добавлять слово «г о в о р и!».

(На полях красным карандашом: «Обеспечить в отряде наличие переводчика, знающего голландский и французский языки». Ниже добавлено: «...а также русский ввиду наличия среди арденнских партизан значительного числа русских беглецов из шахт и лагерей военнопленных».)

Далее было «Приложение IV» — извлечение из «Памятки об использовании войск против партизан»:

«...8а) Партизан, захваченных в бою, надлежит допросить, а затем расстрелять или повесить;

б) к повешенным следует прикреплять табличку с надписью на местном языке: «Этот партизан не сдался».

Штольберг внимательно прочел «Приложения». Потом снова перечитал бумагу о своем назначении. В конце ее было добавлено, что о дне выступления будет извещено особо и что временное откомандирование капитана Штольберга будет согласовано с его начальством.

Последняя фраза лишала Штольберга всякой возможности отговориться от ужасного задания. Что делать? Сказаться больным? Да, это единственный выход. Но как? Надо подумать. Надо посоветоваться с дивизионным врачом Миллером, он все поймет, он поможет.

Так. Теперь второй пакет. Штольберг нетерпеливо вскрыл его. Час от часу не легче! Это был вызов к имперскому военному следователю. К десяти часам утра. Штольберг посмотрел на часы: половина десятого. Он натянул сапоги, сунул голову под кран и пустил холодную воду. Вытираясь, он подумал, что этот вызов — следствие вчерашней пьяной трепотни в казино. Что-то, помнится, он разливался о «наркозе власти», о том, что «вкус власти сладок», многозначительно восклицал: «Пусть только кончится война!..» Ай-ай-ай, как плохо, а главное, как глупо... Перед кем он гарцевал! Перед старым доносчиком, а теперь, видно, абверовцем Цшоке! Правда, Цшоке тоже был пьян и тоже щеголя вольнодумством. На что Штольберг (даже сейчас, вспоминая это, несмотря на ужас своего положения, он улынулся) ответил: «На словах ты либеральничаешь, а на деле сукин сын. Знаешь, Вилли, на кого ты похож? На того обывателя, который тайно посещает бардак, а уверяет, что в это время был в церкви».

Но тут безжалостная память подбросила Штольбергу еще один его вчерашний ляп, да такой, что его сейчас бросило в дрожь: «Мы преступили заповедь «не сотвори себе кумира». Мы заглушили в себе дух критицизма. Мы героизировали этого человека. Он занимает слиш-

ком большое место в нашей частной жизни...» После операции «Валькирия», как называли заговорщики июльское покушение на Гитлера, даже тень намека на критическое отношение к нему каралась смертью, притом мучительной. «Оперативно сработал Цшоке,— продолжал Штольберг ворочать в голове вчерашний вечер.— Да еще этот тост: «ваше стукачество»...» Штольберг был уверен, что донес на него именно Цшоке, а не Биттнер. «Но в таком случае,— мучительно думал он,— почему Цшоке берет меня своим заместителем в карательный отряд? Может быть, это способ испытать меня, устроить мне проверку на политическую благонадежность? А раз так, любое уклонение от этого задания, даже болезнь, приведет в лапы гестапо».

Чувствуя, что у него в голове от всего полная заверть, Штольберг вышел из дому и побрел к военному следователю, мысленно понося себя последними словами: «Вот что значит выпивать со всякой дрянью! Ну уж тут, в разговоре со следователем, я буду осторожен. Ни одного лишнего слова. Никаких вольностей...»

— Садитесь, пожалуйста, капитан Штольберг,— сказал Биттнер, любезно пожимая ему руку.

— Так это вы следователь? — изумился Штольберг.

— Разумеется,— сказал Биттнер.— Разве это что-нибудь меняет?

«Ну и влип же я! — подумал Штольберг.— Оказывается, я трепался прямо в пасти у гестапо...»

— А знаете, вы мне что-то знакомы,— сказал он развязно, чтобы протянуть время.

— Возможно,— учтиво согласился Биттнер,— что вы меня встречали, когда я служил в учебной роте переводчиков при ОКВ<sup>5</sup>.

«Вот откуда у него этот назидательный тон, который так не вяжет с его физиономией жуира»,— подумал Штольберг. И при этом снова, как вчера, его поразила тяжелая пристальность взгляда Биттнера. Она не вязалась с томной улыбочкой, все еще не покидавшей его губ. В этом сочетании было что-то недоброе, как в желтом цвете неба перед грозой.

— Значит, вы из переводчиков махнули в эсэсовцы? — сказал Штольберг.

Он силился придать разговору стиль легкой приятельской болтовни.

— Видите ли, я до войны работал как специалист по психологии торговли в крупной фирме Титца. А ведь следователь обязан быть опытным психологом, не правда ли?

Снова этот взгляд...

Штольберг по нетерпеливости своей натуры решил идти ва-банк.

— Слушайте, Биттнер,— сказал он,— мы все были вчера изрядно выпивши.

Биттнер перебил его.

— Неужели вы думаете,— сказал он меланхолично,— что я побеспокоил вас по поводу безобидной болтовни за стаканом вина?

Казалось, он тоже включился в этот тон дружеской солдатской беседы у костра.

— В таком случае... — обрадованно и удивленно сказал Штольберг.

Длинной рукой Биттнер доверительно коснулся колена Штольберга.

— Вы заподозрены в действиях, которые носят угрожающий государству характер.

<sup>5</sup> Верховное командование фашистской армии.



Штольберг оторопел, потом рассмеялся — до того это было неожиданно.

Биттнер сел за стол. Не то чтобы он сразу переменялся, нет, по-прежнему на лице его покоилось выражение мягкой грусти. Но уже не было солдатской беседы у костра, над которым висит котелок со вкушной дымящейся тюрей, откуда они по-братски черпают ложками. Теперь между ними залежали ледяные пространства письменного стола, папки, досье, высокий узкий стакан, оцетинившийся остро отточенными карандашами.

Но Штольберг словно и не замечал этой перемены. Он по-прежнему балагурил:

— Слушайте, Биттнер, а она не прогорела, эта фирма, где вы работали психологом по торговле, а? Нет, серьезно, вы, наверно, спутали меня с кем-то другим.

Биттнер задумчиво огладил свои щегольские черные усики и сказал, не повышая голоса:

— Вам известно такое имя — Ядзя-с-косичками?

Вот оно что!

Штольбергу понадобилось собрать все свое самообладание, чтобы не вскрикнуть, не измениться в лице и сказать с хорошо разыгранным недоумением:

— Какое дурацкое имя!

Биттнер посмотрел на Штольберга с нежным укором:

— Скажу вам откровенно, мой дорогой, провести столько времени на Восточном фронте в генерал-губернаторстве и не слышать имени этой знаменитой партизанки — в это трудно поверить.

— Баба-партизанка? Были и такие? — сказал Штольберг.

«Не переигрываю ли я», — подумал он и добавил:

— Напомните-ка мне, может, я и вспомню.

И пока Биттнер мерным скучающим голосом перечислял: участие Ядзи в знаменитой акции 17 октября сорокового года, когда в отмщение за повешенных поляков в одну ночь было уничтожено тридцать четыре фашистских офицера; налет с участием Ядзи на фашистскую кассу, где был захвачен миллион злотых (Штольберг зашелкал языком — ц-ц-ц! — самым естественным тоном); наконец, чтоб не распространяться об остальном, неслыханное по дерзости убийство начальника гестапо у него же в кабинете, куда Ядзя проникла с поддельной кеннкарте<sup>6</sup> на фальшивое имя Эрики Неттельхорст.

Биттнер очень отчетливо произнес это имя. А Штольбергу тем легче было изобразить на лице полное недоумение, что действительно он слышал это имя впервые. Мысленно он усмехнулся: до того нелепым представилось ему, что он спрашивает у Ядзи документ в ту минуту, когда упрятывал ее в ящик из-под македонских сигарет, а кругом топали искавшие ее эсэсовцы.

— Я позволил себе побеспокоить вас, капитан...

Штольберг насторожился. В голосе Биттнера появилось что-то рочущее, словно отдаленный раскат приближающейся грозы.

— ...потому что в этот день вскоре после убийства полковника из этого места, то есть недалеко от Сандомежа, вышла автоколонна, груженная пустой тарой из-под продовольствия. Это были ящики крупной вместимости, куда при желании свободно можно было упрятыть человека небольших габаритов. Известно, что транспортировкой тары ведали вы.

В общем, Биттнер говорил довольно корректно. Вот только последнее слово, это «вы», он внезапно точно отхватил топором.

— Ядзя... Ядзя... — медленно проговорил Штольберг.

<sup>6</sup> Удостоверение личности в оккупированных немцами областях.

Он нахмурился, задумчиво уставился в потолок, всем своим видом показывая, что роется в памяти.

— Так Ядзя, говорите?

— Ядзя-с-косичками,— довольно нетерпеливо сказал Биттнер.

— Помню, зацапали мы такого Андрея из хлопского батальона,— вдумчиво врал Штольберг.— Там мы его, знаете, на месте... Потом — это было где-то недалеко от Барнува,— как же его звали?.. Ага, Стефан! Мы его отправили в Аушвиц<sup>7</sup>. Ну а там, конечно — как это вы вчера здорово сказали! — его пустили в трубу.

— Так это ж все мужчины,— сказал Биттнер уже с некоторой досадой.

— Да... Погодите, еще там были... Дай бог памяти...

— Мужчины?

— Да... Ах, вы ищете бабу? Вот что-то баб нам не попадалось... А имена этих парней я вам сейчас припомню...

— Да нет, не трудитесь. Вы лучше постарайтесь вспомнить Ядзю. Это очень важно для вас же.

— Для меня? Почему?

— Потому что ваша забывчивость может быть принята за притворство.

— Ерунда! На кой черт мне притворяться!

— Прямой расчет,— пояснил Биттнер.

И тоном вполне деловитым, даже каким-то монотонно-канцелярским он начал излагать, почему это выгодно для Штольберга. Первое: свести все это дело о побеге Ядзи к неопределенности, утопить его в тумане невежественности. Второе: придать делу характер незначительности. Третье: окончательно отодвинуть себя от этого дела в такую отдаленность, что не то чтобы участником, но даже свидетелем по нему Штольберг быть не может.

Штольберг мрачно слушал. Он видел, что пес вышел на след. Но его взорвал этот канцелярски-деловитый говорок Биттнера, вот эта бездушная машинообразность поведения. И Штольберг заорал:

— Опомнитесь! Что за чушь вы несете?

Биттнер удовлетворенно улыбнулся. Видимо, это и было его целью — вышибить Штольберга из равновесия и сгоряча заставить его проговориться.

И Штольберг это понял. Но ему было наплевать. В нем заговорила самолюбивая спортивная злость. Неужели этот чопорный кобель переигрывает его? Он уже не думал о том страшном, что ему, быть может, грозит. Он чувствовал одно: волю к победе над ним в этой игре. Он заставил себя улыбнуться.

— Я вижу, старик, вы глубоко разочарованы: не удастся упечь меня в кутузку!

Биттнер покачал головой с некоторой грустью.

— Мера пресечения,— сказал он,— тут другая.

— Какая? — не удержался Штольберг.

Биттнер сказал тихо:

— Эшафот.

— Эшафот?

— Да. Отсечение головы.— Помолчав, он добавил: — И это еще лучший исход.— Он закурил сигарету, искоса глянул на Штольберга и продолжал: — Представьте себе полутемное помещение с голыми стенами на первом этаже берлинской тюрьмы Плетцензее. В потолок ввинчены крюки, на них петли-удавки. Процесс повешения рассчитан

<sup>7</sup> Освенцим.

так, что происходит медленное удушение — минут пять. Конечно, обезглавливание лучше.

Он не спускал глаз со Штольберга.

Тот снова засмеялся и сказал:

— Это очень мило с вашей стороны — предлагать мне такой богатый выбор.— Потом уже серьезно: — Знаете, Биттнер, а наш друг Цшоке совершенно прав: вы действительно, как прирожденный юморист, откальваете свои остроты с ледяным видом. Манера классного остряка! Правда, у вас, я сказал бы, несколько макабрический стиль.

Досада впервые промелькнула на лице Биттнера. То ли ему надоедо, что его считают юмористом и к тому серьезному, что он говорит, относятся как к каким-то клоунским выходкам. То ли он заподозрил, что над ним просто потешаются. Он нырнул в гору папок, извлек оттуда бумагу и протянул ее Штольбергу:

— Читайте.

— Что это?

— Протокол казни.

Штольберг забыл согнать с лица улыбку. Так она, покуда он чигал протокол, и сохранялась на его лице, подобно тому как сброшенная одежда сохраняет форму тела.

В левом углу бумаги штамп: «Народный трибунал». Прочтя эти два слова, Штольберг с трудом сдержал волнение. Так вот чем Биттнер его страшит! Обычный суд, который выносил приговоры тоже под давлением нацистских органов, начал казаться властям слишком медлительным, слишком приверженным к соблюдению юридических норм. Народный трибунал — он был создан для рассмотрения дел о государственных преступлениях — отменил все эти процессуальные тонкости. Здесь было упрощенное судопроизводство. А мера наказания одна: смерть.

#### Народный трибунал

Каторжная тюрьма Плетцензее  
Кенигсдам, 7  
Телефон 356231

#### ПРОТОКОЛ

исполнения смертного приговора  
над Ю л и у с о м Л е б е р о м  
за государственную измену  
в боевой обстановке

Присутствовали:

Главный прокурор нар. трибунала . . . . . Лауст  
Инспектор тюремной канцелярии . . . . . А. Бауэр  
Тюремный врач . . . . . Э. Кнотцер

В 21 ч. 05 м. приговоренный в кандалах был введен конвоирами в смертную камеру. Здесь уже находился палач Реттгер и три его подручных.

Штольберг отер пот со лба.

Было произведено установление идентичности личности приговоренного. После чего были оголены шея и плечи приговоренного.

На шею его была опущена петля.

Совершив повешение, палач доложил о его успешности.

Процедура заняла восемь с половиной минут.

Старший советник военного суда	(подпись)
Инспектор тюремной канцелярии	(подпись)
Тюремный врач	(подпись)
Палач	(подпись)

— Вы улыбаетесь? — Биттнер не скрывал раздражения.

— А я представил себе,— сказал Штольберг,— как эти смертники, выдвинув голову из петли, кроют своих палачей.

Биттнер искоса посмотрел на Штольберга, как бы проверяя, в самом ли деле он так глуп или придуривается из тактических соображений.

— Это предусмотрено,— сказал он холодно.— Чтобы смертники перед казнью молчали, им заливают рот гипсом.

Штольберг напрягся, чтобы сдержать дрожь.

— И вы при этом присутствовали? — спросил он.— Но, по-видимому, не в качестве приговоренного, судя по тому, что ваша голова, если мне не изменяет зрение, у вас на плечах.

Штольберг говорил длинными витиеватыми фразами, чтобы дать себе время опомниться. Он не хотел, чтобы Биттнер увидел, что в него прокрался страх.

— Я там не был,— сухо сказал Биттнер,— мне рассказали.

«Врет. Был,— подумал Штольберг.— Он маленький, подленький человек. И откуда Германия выгребла их в таком количестве? Самое ужасное в том, что всегда находится именно столько палачей, сколько им нужно. А Гёте один, Эйнштейн один...»

— Вот вы упомянули, капитан,— сказал Биттнер, взяв протокол из рук Штольберга и аккуратно укладывая его в папку.— Вот вы упомянули, что ящики обвязывали веревками.

— Я этого не говорил!

Он подумал: «Ловит...» И весь напрягся внутренне, готовясь к отпору.

— Разве не говорили? — сказал Биттнер, несколько не смутившись.— Так все-таки обвязывали?

— Не знаю. Это ведь не на мне лежало. Мое дело транспорт. А упаковка — это дело отправителя.

— Так, так...

Биттнер забарабанил пальцами по столу.

Уже не было ни лирики, ни солдатского братства. А были охотник и дичь. Ну, пока она еще не поймана. Она ускользает. Внезапно Биттнер спросил:

— Вы были членом НСДАП<sup>8</sup>?

— Да.

— И даже штурмовиком?

— Да.

— Но потом сделали шаг влево и вышли из партии?

— Не совсем так.

— То есть?

«Чем короче я говорю, тем лучше»,— подумал Штольберг и сказал:

— Меня исключили.

Биттнер оживился:

— За что?

— За связь с расово неполноценной женщиной.

Биттнер ничего не сказал. Он снова извлек из папки какую-то бумагу и углубился в чтение.

Штольберг в это время думал: «Он все знает. Он ловит меня: совру или нет? Все данные обо мне перед ним. Я должен во что бы то ни стало произвести на него впечатление искреннего малого. Главного-то он все-таки, по-видимому, не знает. А вдруг знает? — Штольберг лихорадочно соображал: — Уж не шофер ли меня выдал? Не может

<sup>8</sup> Национал-социалистская партия.

быть, Ганс — верный парень. Но ведь только он и мог выдать. Может быть, его пытали...» Подняв голову, Штольберг увидел, что Биттнер за ним наблюдает. «Неужели у меня озабоченное лицо?»

— Значит,— медленно сказал Биттнер,— не помните?

Штольберг уже не помнил, чего он не помнит.

— Слушайте, Биттнер,— сказал он устало,— вы представляете себе, сколько ящиков во время войны я перевез?

— Безусловно,— вежливо согласился Биттнер,— но...

Он замолчал, закурил сигарету. По-видимому, эта пауза ему нужна — пусть Штольберг томится в ожидании. От этого слабеют духом.

— Но,— продолжал он, пустив в воздух из округленного рта колечко дыма,— но из всего этого неисчислимого множества ящиков нас интересует только один: тот, в котором сидела Ядзя.— Он вынул из папки бумагу и помахал ею в воздухе: — А об этом документике вы не забыли?

Штольберг сразу узнал этот позорный «документик». Как и другие военнослужащие на Восточном фронте, он был вынужден подписать его:

«Я поставлен командованием в известность, что в случае моего перехода на сторону русских весь мой род — отец, мать, жена, дети и внуки будут расстреляны».

Штольберг пожал плечами, сделав равнодушное лицо.

— То есть вы хотите сказать,— тотчас подхватил Биттнер, не сводя с него тяжелого взгляда,— что Ядзя-с-косичками не русская, а полька? Но ведь это пустая отговорка.

Штольберг молчал. Он устало подумал: «Признаться, что ли?»

Биттнер добавил:

— Или, может быть, это был не единственный случай? Может быть, это был способ освобождения польских партизан?

Штольберг искренне удивился. Мысль о том, что партизаны почем зря разъезжали по стране в бисквитных и табачных ящиках, показалась Штольбергу до того забавной, что он рассмеялся. «Да нет, ничего не знает, ловит... Знал бы, так не тянул бы с вопросом... А может быть, знает, но ему нужно мое собственное признание. Для полного успеха. Это будет его заслугой». Биттнер устало потянулся. «Он тоже устал, как и я,— подумал Штольберг,— а может быть, это иезуитский следовательский приемчик. Будем настороже».

Биттнер протяжно зевнул и сказал, преодолевая зевоту:

— В общем, картина ясна. Да, вот еще вопросик, так сказать, для полноты впечатления: можно ли забраться в ящики так, чтобы вы не заметили?

«Отчего же, можно»,— хотел было сказать Штольберг, потому что этот вопрос был как бы протянутая рука помощи. Допустим, что Ядзя пробралась в ящик где-то в хвосте колонны, она ведь длинная, а Штольберг не заметил — и все! И делу конец. Но тут же мгновенно он сдержал готовое сорваться с языка «отчего же, можно». Ибо это было бы почти равносильно признанию. Да! Это ловушка! Капкан! Пробралась незаметно? Допустим. А вышла как?..

— Что вы! — сказал Штольберг сурово.— Даже мышь не могла бы проскользнуть в мою колонну.

— Ну что же,— сказал Биттнер добродушно,— я думаю, капитан, на сегодня довольно.

— На сегодня? — удивился Штольберг.— Вы что же, думаете продолжать это странное занятие?

— Истина иногда играет в нами в прятки,— сказал Биттнер,— но в конце концов мы ее находим.

Он медленно поднялся.

«Если он меня сейчас ударит,— решил Штольберг,— я не сдержусь, расквашу его благочестивую сутенерскую рожу. А там что будет, то будет».

Биттнер наклонился к Штольбергу и сказал озабоченно и сочувственно:

— Устали?

Штольберг вздохнул облегченно, но не принял этого дара. Он сказал резко:

— А где протокол допроса, ведь я должен его подписать.

Улыбка не сходила с лица Биттнера, по-видимому он заказал ее надолго.

— Помилуйте,— сказал он.— Какой допрос? Мы с вами просто беседуем.

Штольберг вскочил:

— Ах так? В таком случае прошу меня простить. У меня служебные дела, и мне некогда заниматься разговорчиками.

Биттнер развел руками:

— Не смею вас задерживать.

Они пошли к выходу. Уже у самых дверей Биттнер сказал:

— Чуть не забыл!

Лицо его в полутьме коридора было совсем близко. Штольберг сжал кулаки и не спускал глаз с его крупного носа и тоненьких фатовских усов.

— Это был какой-нибудь особенный рейс или обыкновенный, рядовой?

«Самый что ни на есть обыкновенный,— чуть было не ляпнул Штольберг. И тут же спохватился: — Боже мой! Чуть не рухнул. Стоило мне только сказать, какой это был рейс,— и я пропал!» Он выдавил из себя смешок:

— Знаете, Биттнер, в конце концов это становится забавным. Вы расспрашиваете меня о каком-то случае, о котором я ни черта не знаю. Наша беседа похожа на разговор глухих.

Биттнер рассмеялся.

— Ну, я надеюсь,— сказал он, дружески положив руку на плечо капитану,— завтра мы будем разговаривать более определенно.

«Как? И завтра это мучительство?» А вслух Штольберг сказал:

— Думаю, что вам я могу это сказать. Я назначен...

— В карательную экспедицию в партизанский район,— перебил его Биттнер.

«Он и это знает!» — с ужасом подумал Штольберг.

— Но срок выступления,— продолжал Биттнер,— во всяком случае, еще не завтра...

### *Из дневника капитана Франца Штольберга*

«Вчера после допроса я уже считал себя «Totwürdig»<sup>9</sup>, как вдруг сегодня этот подонок Биттнер известил меня, что не надо приходить на второй допрос. Я подумал: это потому, что я умело повел себя на первом допросе. Я был похож вчера на искусного фехтовальщика, с той только разницей, что это было не спортивное состязание, а борьба за жизнь».

Штольберг отложил перо. Ему показалось, что он прихорашивает себя. Он вымарал несколько строк. Мало того: он тут же записал при-

<sup>9</sup> «Достойный смерти» (нем.) — фашистский термин для приговоренных к смертной казни.

знание, что вымарал их потому, что исказил правду. После этого он вернулся к разговору с Биттнером:

«Я не удержался и спросил его, почему он прервал следствие. Он отмахнулся: «Не до того». Он казался взволнованным. Я поспешил к Цшоке с медицинской справкой, которую вырвал у доктора Миллера. Но только я заикнулся о ней, как Цшоке заорал: «Экспедиция отменена!» «Почему?» «Не до того». В течение дня я несколько раз слышал это выражение. Казалось, оно заменило прежнее: «Рванем весной». Если добавить, что получен срочный приказ принять сейчас ежегодную присягу от всех Parteigenosse на верность фюреру, то есть значительно раньше обычного срока, то, очевидно, что-то более значительное вытеснило и отменило все остальное, в том числе и мое «дело» и карательную экспедицию...»

Штольберг снова отложил перо и задумался. А стоит ли записывать все это? Особенно сейчас, когда эти ищейки заинтересовались им? Не благоразумнее ли уничтожить дневник?

Он полистал тетрадь. И вдруг ему стало жаль расставаться с ней. Сюда занесено столько фактов и сведений поистине примечательных для лица эпохи. А ведь забудутся! От кого же узнают люди об этих необыкновенных временах, если не от нас, очевидцев и участников?

Может быть, просто прятать тетрадь более тщательно, чем до сих пор? Но тут же Штольберг посмеялся над самим собой: «Уж если за мной придут, ни одной щелочки не оставят непроверенной».

Нет, нельзя уничтожить дневник. Это так же противоестественно, как убить живое. Тем более кто знает, как повернутся события? Он перечел предыдущие строки, взял перо и продолжал:

«Сопоставив все это с тем, что в Арденны переброшены две армии, я прихожу к убеждению, что, очевидно, ожидается наступление англо-американских войск. Да, очевидно, это так! Вероятно, Эйзенхауэр очнулся от своей зимней спячки и заносит руку над нами. Наверное, он собрал кулак и собирает сурьезно рвануть от Ахена. Вот тебе и «курортный фронт» в Арденнах! Сумеет ли мы сдержать натиск англо-американцев? Поговорить бы... Да с кем?»

А Гитлер сидит где-то в Восточной Пруссии под Растенбургом в своем Вольфшанце<sup>10</sup> в глубине леса. Люди, побывавшие там, говорят, что лес там до того густой, что солнце не проникает к Гитлеру. Там он сидит далеко от нас и решает наши судьбы...»

### ***В ставке Гитлера***

Но Гитлер был гораздо ближе. В сопредельной с Арденнами немецкой земле, у города Цигенберг. Сюда с крайнего востока Германии, из Герлицкого леса, что у города Растенбурга, на крайний запад ее в горное гнездо Таунус он еще 11 декабря неожиданно перенес свою ставку. И назвал ее «Адлерхорст». Сюда от станции Герлиц в специальном поезде «Атлас» через всю империю везли обстановку из Вольфшанце, ибо фюрер изъявил желание, чтобы его новая штаб-квартира ничем не отличалась от старой в его излюбленной Восточной Пруссии, куда сейчас с непостижимой поспешностью прорываются славянские орды. Впрочем, об этом Гитлер предпочитал не думать, так как у него уже был готов план в самый короткий срок снова переманить военное счастье на свою сторону.

И все здесь стало, как в Вольфшанце. Как и там, не вдруг распознаешь обиталище фюрера — невысокий снежный холм, сплошь заросший кустарником. Надо было чуть ли не носом уткнуться в него, чтобы обнаружить небольшую дверь, выкрашенную по зимнему времени

<sup>10</sup> «Волчьё логово» (нем.).

в белый цвет. За дверью начинался длинный каменный коридор, упившийся в другую дверь, массивную, стальную. Она открывалась нажатием кнопки, упрятанной в стене. За дверью кабинет фюрера, огромный, со сводчатым потолком, откуда свисали стилизованные сталактиты,— не то церковный придел, не то пещера: причуда Гитлера, все еще воображавшего себя гениальным архитектором, обреченным отказаться от строительства зданий (так и не приступив к нему), для того чтобы строить новый мир. У задней стены кабинета — просторный стол из черного мореного дуба. Столешница покоится на двух мощных тумбах. На правой тумбе с ее наружной стороны так, чтобы это сразу бросалось в глаза посетителям, сверкала ярко начищенная серебряная табличка с отчеканенной надписью: «*Стол императора французов Наполеона Бонапарта в годы 1804—1810*». Рядом на полу меховой коврик для Blondi, любимой овчарки фюрера.

Снаружи этот белый холм окружен минным полем и шестью заборами из колючей проволоки. Разумеется, там есть проход. Но без провожатого не сунешься: проволока всегда находится под высоким напряжением.

Новой ставке надо было дать кодовое имя — очевидно, в стиле тех высокопарных кличек, которые диктовал Гитлеру его помещанский эстетизм, вроде «Волчьего логова» в Восточной Пруссии, или «Альпийской крепости» в Берхтесгадене, или «Оборотня» в ставке под Винницей. После недолгого раздумья Гитлер окрестил свою новую штаб-квартиру «Адлерхорст» — «Орлиное гнездо».

Вместе с обстановкой в «Орлиное гнездо» переехал двор Гитлера: его камердинер Линге, его шофер Эрих Кемпка, его врач Теодор Морелль, его пилоты Битц и Бауэр, его фотограф Генрих Гоффман и его зять группенфюрер СС Герман Фогелейн, сделавшийся приближенным Гитлера, когда женился на сестре Евы Браун. В этой среде браки заключались только внутри касты, между своими. Семьи высокопоставленных чиновников роднились между собой. Это еще больше сплачивало касту. Чужих не впускали в это сановное сословие, боясь проникновения жадных, завистливых людей с другой психологией, быть может, с другими политическими воззрениями, быть может, объятых социальным гневом. А также потому, что это было просто невыгодно.

Переехал сюда также женский кружок — Ева Браун, Магда Гебельс, Луиза Йодль и та несколько мужеподобная секретарша Бормана, к которой ревновала Ева Браун; в их среде Гитлер любил проводить послеобеденных два часа, превращаясь из всемогущего властителя в галантного юбочника, каким он бывал в те времена, когда таскался по значным местам Берлина.

Переехала также библиотека Гитлера: «Малый лексикон» Кнаура, «Поход в Россию 1812 года» Филиппа де Сегюра, адъютанта Наполеона, речи Бенито Муссолини, военные сочинения Мольтке, Шлиффена, Клаузевица, «Жизнеописание Чингисхана», Мария Блаватская — «Тайны оккультных наук», Юлий Цезарь — «О Гальской войне», несколько романов Казимира Эдшмидта, совершившего головокружительное сальто-мортале из задиристого экспрессионизма в уютное болото национал-социализма, а также изрядное количество экземпляров книги Гитлера «Майн кампф». Как известно, фюрер написал ее, а вернее, продиктовал Маурицу и Гессу еще десятка два лет назад. К тому времени другие ведущие нацисты, например Розенберг или Эккарт, уже были авторами глубокомысленных политических и даже философских бредней. И это просто неприлично, что лидер партии Адольф Гитлер до сих пор не произвел на свет хоть самой завалающей брошюрки. Надо доказать всем этим заносчивым свиньям и вообще народу, что хотя он, ваш фюрер, не нюхал разных там университетов и не до-



пер даже до аттестата зрелости, тем не менее он может швырнуть вам в морду десяток-другой цитат и вообще является глубоким мыслителем, черт побери! Так появилась на свет «Моя борьба» с ее водянистым стилем, напыщенными библеизмами и ницшеизмами, с ее самолюбованием и самовлюбленностью, и немного было людей даже среди членов партии, которые имели терпение дочитать ее до конца.

В утренние и даже дневные часы в ставке Гитлера царил благоговейная тишина. Гитлер превратил день в ночь. Он бодрствовал до четырех часов утра. И все окружающие, и генштабисты, и консультанты, вызванные для справок, и жалобщики, и генералы, явившиеся за распоряжениями, и прожектеры, удостоенные приема, и доносчики, примчавшиеся со свеженькими новостями, не смеют сомкнуть глаз.

Тут же в углу коридора стоит большая, только что срубленная елка. Ее мохнатые лапы охвачены широким полотнищем, верхушка упирается в потолок. Она испускает приятный смолистый запах. Через несколько дней рождество. Но никто не знает, будет ли фюрер праздновать его и если да, то как и с кем. Он ведь не христианин, а придерживается каких-то язычески-оперных обрядов. Все же елку срубили на всякий случай.

Вообще же говоря, эти дни наполнены тревожным предчувствием каких-то чрезвычайных событий. Несмотря на тщательную конспирацию, невозможно было скрыть передвижение с востока крупных воинских сил. Как и капитан Штольберг, многие полагали, что предстоит большое наступление англо-американских сил и принимаются меры для его отражения.

И никто не знал, что еще около двух месяцев назад, а точнее 1 ноября, еще там, в «Волчьем логове», Гитлер вызвал к себе фельдмаршала Вальтера фон Модела, своего фаворита, и фельдмаршала Герда фон Рундштедта, единственного из старых германских генералов, еще не изгнанного им из армии. Гитлер не любил его, но ценил за огромный военный опыт.

Что касается Рундштедта, то поначалу он ничего не имел против Гитлера. Возрождение германской армии, захват Австрии, Чехословакии, победоносные походы на Францию, на Польшу — все это Рундштедтом одобрялось, поддерживалось, даже восхищало его. Нацистская идеология? Что ж, и это, в общем, не противоречило взглядам Рундштедта. В его среде родовитых помещиков издавна считалось, что Германия призвана править Европой, а в дальнейшем и миром, что немецкая чистопородность — величайшее благо, что французы — вырождающаяся нация, славяне — недочеловеки, а евреи вовсе не люди. Но когда военное счастье отшатнулось от Гитлера и одна за другой загрохотали катастрофы под Сталинградом, на Курской дуге, в Сицилии, во Франции, Рундштедт почувствовал презрение к этому неудачнику, этому недоучке-ефрейтору, вскарабкавшемуся на диктаторский трон. Но уже не мог отлепиться от него, так как (так же как и генерал-полковник Гудериан) был перевит с ним кровавой веревочкой.

Другое дело Модел. Безжалостный и сентиментальный, он считал величайшей добродетелью фанатичное повиновение власти. Он делал быструю и блестящую военную карьеру, хотя никаких выдающихся побед за ним не числилось. Но ему покровительствовал Гиммлер, разгадавший в нем родственную натуру. Одно из качеств, необходимых полководцу, у Модела, во всяком случае, было: решительность. Но — в незначительных ситуациях. Он обладал свойством быстро подгрести и подтаскивать резервы, но опять-таки во второстепенных положениях. Его прозвали «скорая помощь» или «аварийная служба», в конце концов за ним утвердилась кличка «пожарный для безнадежных положений».

Оба фельдмаршала стояли потому, что стоял фюрер. Его гигантская тень стлалась по полу и, скользя на заднюю стену, затмила ее. Не задержавшись здесь, она вскарабкалась на потолок, сжалась в шар и стала похожа на большой флакон с маленькой пробкой.

Только взглядевшись, можно было увидеть в углу вторую тень фюрера — рейхслейтера Мартина Бормана, шефа партийной канцелярии, коренастого брюнета с борцовской шеей. Бесшумно отворяя потайную дверь, один за другим входили и застывали министр пропаганды и просвещения доктор философии Иозеф Геббельс, начальник штаба оперативного руководства генерал-полковник Альфред Йодль, бывший венский адвокат, а ныне начальник всех фашистских полиций Эрнст Кальтенбруннер, каланча, увенчанная конской мордой.

Гитлер принимал фельдмаршалов стоя не потому, что хотел подчеркнуть этим холодность приема, а для того, чтобы придать ему торжественность. Он собирался сообщить им нечто чрезвычайное. Правда, была еще одна причина, по которой он предпочитал стоять: в этом состоянии не так заметны были судорожные подергивания его ног.

Пока он молчал — а молчал он тоже для того, чтобы нагнетать торжественность, — оба фельдмаршала испытывали почти непреодолимое желание переглянуться. Но они остерегались сделать это. Это могло быть принято за сговор. За особый тайный язык взглядов. Как есть тайнопись, так есть (возможно?) и тайноглядь. А сговор — это уже почти заговор. Ведь после июльского покушения на фюрера было умерщвлено народным трибуналом и иными еще более скоростными способами не менее пяти тысяч немцев. Уничтожали целыми семьями. Притом по методу, предписанному фюрером: «Вешать как скотину!» И вешали — на мясных крюках. А так как ввиду массовости мероприятий веревок не хватало, пустили в ход для удушения фортепианные струны. Эсэсовские вешатели получали добавочную порцию спирта и колбасы. И именно он, фельдмаршал Герд фон Рундштедт, был назначен председателем военного «суда чести» для расправы над заговорщиками. И не посмел отказаться — уж очень он привязан к своей старой шкуре.

Так зачем же переглядываться? Не стоит, право. Тем более что там же в тени стоит око Гитлера — узколицый человек в пенсне, с фюрерскими усиками под носом, всеми ненавидимый рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Рундштедту и Моделю казалось, что к каждому из них приставлен офицер СС.

А переглянуться фельдмаршалам страсть как хотелось! Потому что уж очень поразили их новые разрушения в облике Гитлера. То, что левая рука его тряслась, а щеки были испещрены красными пятнами, это уже не ново, это появилось после поражения под Сталинградом. Положим, Рундштедт не очень верил в столь патриотическое происхождение этой гитлеровской трясучки. Придворный врач фюрера Теодор Морелль шепнул Рундштедту в минуту приятельской откровенности, что болезнь Гитлера *paralysis agitans*, или в просторечии Паркинсонова болезнь, есть следствие не столько сталинградского разгрома, сколько гриппа или венерической болезни. Впрочем, сейчас левая рука не тряслась. Гитлер плотно прижал ее к боку как по команде «смирно». Сейчас фельдмаршалам показалось, что Гитлер стал ниже ростом и ссохся. А между тем лицо раздулось, особенно правая щека, словно отекала.

Но вот он заговорил. И перед ними — прежний Гитлер. Снова эти не то лающие, не то квакающие звуки, ставшие каноном красноречия для нацистских ораторов. Необычайно широко открывается рот и захлопывается резко, едва ли не с шумом.

Однако фельдмаршалы перестали обращать внимание на внешность Гитлера — так поразило их то, что он им сказал.

— Я решил нанести решающий удар на Западном фронте. Я выбрал для этого Арденны, где англо-американцы не смогут противостоять мне. С вершин Эйфеля мы низринемся к реке Маас. Мы форсируем ее и бросимся на Брюссель и Антверпен. Да, господа! Мы пройдем горы и покатаемся по равнине! Вперед! Только вперед! Не обращая внимания на фланги! Я расколю фронт англо-американских войск! — Слюна пузырилась в уголках его рта и походила на пену. — Севернее Антверпена я загоню британскую группу войск в эту западню между Рейном и Мозелем и там уничтожу ее!

Голос его истончился, временами переходил почти в фальцет. Он выбрасывал слова с необыкновенной энергией и даже яростно, как всегда, когда заговаривал об англичанах.

— Удар будет внезапен. Это будет похоже на убийство спящего, и мы имеем на это право! Я отвечаю за все!

Модель слушал его как замороженный. Он смотрел на фюрера с обожанием. Иссеченное морщинами и все же молоджавое лицо Рундштедта сохраняло вежливое внимание. Он был строен, несмотря на свои преклонные годы, мундир его даже во фронтовой обстановке выглядел щегольски.

— Мы повторим блистательный удар сорокового года на Францию. Рундштедт, вы помните, каким вихрем мы тогда промчались через Арденны?

— Мой фюрер, у нас тогда было сорок пять дивизий. Из них семь танковых. И нам противостояло только семнадцать французских дивизий и ни одной танковой.

Рундштедт говорил, как всегда, лениво и важно, слегка нараспев. Голос его с барственными искорками раздражал Гитлера. Но на этот раз он сдержался.

— А сейчас,— сказал он, хмурясь,— нашим двадцати одной дивизии противостоят только три американских пехотных дивизии — Вторая, Четвертая и Двадцать восьмая, сильно потрепанные, да! Выдохшиеся в боях на реке Роер! Мы сомнем их и перемелем! Это будет поворотный момент в войне. Хваленый англо-американо-русский «единый фронт» развалится с оглушительным грохотом. Западные державы вынуждены будут заключить со мной сепаратный мир. Мы останемся наедине с Россией и обескровим ее. История не простит мне, если я упущу этот момент.

Казалось, магнетическому красноречию Гитлера все равно, изливаться ли на многочисленные толпы на площадях или на нескольких человек в комнате.

Рундштедт тихонько вздохнул и перестал слушать. «Почему эти властители так многоглагольны? — думал он. — Не от уверенности ли, что никто не посмеет их перебить?» Фельдмаршал вспомнил последнего германского императора. Право, Гитлер походит чем-то на Вильгельма II — хотя бы властолюбием, маниакальным самомнением и, уж конечно, велеречивостью. В ту пору, когда Рундштедт был молоденьким фендриком, какой-то солдат спросил его, что означают буквы I. R., неизменно сопровождающие имя императора. Вместо того чтобы объяснить, что это начальные буквы латинских слов «Imperator. Rex»<sup>11</sup>, острый на язык Рундштедт сказал: «Immer Redender»<sup>12</sup>. Это ему стоило недели на гауптвахте.

Повелительным кивком Гитлер подозвал фельдмаршалов. Все трое склонились над оперативной картой, застилавшей огромный наполео-

<sup>11</sup> Император. Царь.

<sup>12</sup> Всегда говорящий (нем.).

новский стол. Из мрака вынырнул адъютант по делам вооруженных сил, он же начальник управления личного состава, генерал пехоты Вильгельм Бургдорф, с лакейской прытью засветил над картой ослепительно яркую лампу. Зазмеились зеленые отроги Арденнских гор. Их пересекали синие стрелы грядущего наступления. Гитлер нацепил на нос очки и взял в руку указку.

— Перейдем к диспозиции. Мы будем прорывать фронт южнее Лютиха, на участке Монжуа—Эстернах—Живэ.

Указка фюрера грациозно порхала среди ущелий, меридианов, изотермических линий и горных потоков.

— На седьмой день операции мы прижмем их к Антверпену и создадим второй Дюнкерк. На этот раз я не пощажу их! Мы уничтожим четыре армии: Первую канадскую, Вторую английскую, Первую и Девятую американские!

Гитлер начал списать номерами частей и соединений немецких 5-й и 6-й танковых армий и даже именами их командиров. «У него недурная память»,— подумал Рундштедт. Он вежливо кивал вслед за пулеметной скороговоркой Гитлера, а сам в это время думал: «Черчилль назвал его «кровавым недоноском»? Дорваться бы до Черчилля — уж он бы его вздернул. И хотя сейчас он надеется на сепаратный мир с Черчиллем, в каком-то отдаленном будущем он видит его в петле». Мысли эти никак не отражались на каменном лице Рундштедта. Когда он обращался к Гитлеру, видны были его старания казаться любезным.

Гитлер чуть повернул голову и крикнул через плечо:

— Йодль!

От темной стены отделился высокий худой генерал. Сдержанный, какой-то отчужденный, с надменно опущенными уголками рта, Альфред Йодль, штабная крыса, маскировал свою придворную льстивость наигранно-грубоватой солдатской прямоотой. Всегда чопорный, сейчас он выглядел нетерпеливым и даже раздраженным. Казалось, от тесного общения с Гитлером он приобрел некоторые его черты.

Рундштедт окинул его презрительным взглядом. Йодль старался не смотреть на него. Шесть лет прошло с того дня, когда Йодль — в ту пору заурядный артиллерийский майор — подбросил Гитлеру свой знаменитый донос на фрондировавших тогда генералов, в том числе на Рундштедта. За эти годы доносчик возвысился до звания генерал-полковника и в качестве начальника оперативного управления отдает приказы ему, фельдмаршалу Карлу-Рудольфу-Герду фон Рундштедту.

Йодль заговорил, тыча пальцем в карту:

— Правый фланг — Шестая танковая армия СС под командованием обергруппенфюрера Зеппа Дитриха. Центр — Пятая танковая армия под командованием генерала Гассо-Эккарда фон Мантейфеля. И, наконец, левый фланг — Седьмая полевая армия под командованием генерала Бранденбергера. Шестая танковая армия СС после прорыва выходит на рубеж Антверпен—Маастрихт... — Тонкий палец Йодля прошелся по изящно изогнутой синей стреле. — Пятая танковая армия после прорыва выходит в район Брюсселя и Антверпена...

Рундштедт снова перестал слушать. Изредка до него доносился монотонный щебет Йодля:

— ...в первом эшелоне два танковых корпуса... для развития операции четыре дивизии... наступлению будет предшествовать операция «Гриф». Ее суть...

Гитлер резко остановил Йодля:

— Это план дезинформации. Он еще только разрабатывается.

«Значит, есть секреты и от нас»,— подумал Рундштедт.

Услышав слово «Гриф», из мрака под стеной выдвинул свою ло-

шадиную морду Эрнст Кальтенбруннер, шеф главного имперского управления безопасности, и искательно посмотрел на Гитлера. Тот отмахнулся от него. Кальтенбруннер вздохнул и снова потонул во мраке. А ведь он поначалу участвовал в создании плана дезинформации. Но земляк Гитлера — австриец, он до сих пор говорил с венским акцентом. Это раздражало Гитлера, напоминало ему, что он, фюрер, не белокурый, голубоглазый, рослый нордический ариец, а черноволосый, черноглазый коротышка Шикльгрубер из австрийского заклустья Браунау, смахивающий скорее на еврея или, что еще хуже, на цыгана.

Впервые заговорил Рундштедт:

— Мой фюрер, этот план гениален. Но хватит ли у нас горючего?

Модель посмотрел на Рундштедта с некоторым подозрением: сочтает «гениален» с «горючим» — не кроется ли в этой лести насмешка? Но Гитлеру вопрос Рундштедта даже как будто понравился. По крайней мере, он остановил на нем свой горячий взгляд с явным удовлетворением.

— Я обеспечил танки горючим на первые сто пятьдесят километров. А дальше мы возьмем горючее у американцев в Ставло. Там у них огромные склады. Вот здесь, юго-западнее Мальмеди.

Модель склонился над картой. Рундштедт сделал вид, что и он смотрит на карту.

— От Ставло, — вставил Йодль, — всего семьдесят пять километров до Льежа.

— А Льеж, — подхватил Гитлер с многозначительной улыбкой, — как известно, стоит на Маасе.

Улыбка вождя тотчас как в зеркале отразилась на лицах обоих фельдмаршалов и Йодля, скользнула к стене позади Гитлера, и там в тени почтительно засверкали оскальки придворных.

Внезапно Гитлер помрачнел. О, эти переходы фюрера от безоблачного неба к грозе!

— Сейчас мороз? — выкрикнул он. — Да! Мороз! И чтобы не заморозить радиаторы, свиньи водители гоняют моторы круглую ночь. Это еще можно бы понять. Но эти подонки обогреваются за счет горючего!.. Я не потерплю этого, господи!

Странное чувство овладело фельдмаршалом Вальтером фон Моделем. Да, он смотрел на фюрера обожающими глазами. И Гитлер любил в нем этот взгляд, полный почти религиозной веры. Да, Модель верил в магическую непознаваемую силу фюрера. Это было, быть может, самое сильное чувство в натуре сухого пруссака Моделя. Но в то же время по природе своей он был сторонником *kleine Lösung*<sup>13</sup>. Его ужаснул размах предполагаемого удара в Арденнах.

— Я позволил бы себе предложить, — сказал он не очень уверенно, — для начала ограничиться уничтожением американского выступления у Ахена...

Он замолчал, увидев, как на низком лбу Гитлера под знаменитым его чубом собираются львиные складки, что предвещало припадок гнева. И этот возмущенный взгляд Йодля! И ропот из мрака у задней стены, похожий на отдаленный рокот приближающейся грозы...

Модель остро пожалел, что обмолвился об Ахене. Кто тянул его за язык! Его жизненным правилом было закрывать глаза на неприятное. Так он делал вид, что не знает, как зверствовала его 9-я армия, когда в сорок третьем году, отступая с «московского плацдарма», проводила «политику выжженной земли». Он старался не вспоминать о

<sup>13</sup> Малые решения (нем.).

том, что был одним из тех, кто потерпел поражение в грандиозной битве под Курском...

Гитлер сдержался. Он метнул взгляд на Рундштедта, на его неподвижную вежливо-высокомерную маску. Что думает этот сгусток военных знаний? Он славится своим немногословием. Вот и сейчас он молчит. О, эта старая редиска, этот мелочный, дотошный Рундштедт! Гитлер ненавидел его за вечную придирчивость, которая проступала, даже когда фельдмаршал молчит, во взгляде, в линии крепко сжатого рта. Но он знал, что Рундштедт к нему привязан всей кровью и плотью своего существа: противник его не пощадит — Рундштедт значится в списке военных преступников. Недаром после июльского покушения на фюрера Рундштедт прислал ему подобострастное поздравление с высокопарными проклятиями по адресу заговорщиков.

Однако его молчание взорвало фюрера. Гитлера бесило, что профессиональные военные считают его дилетантом.

— Я требую вашего мнения, Рундштедт,— сказал он, сдерживая голос.— Вы тоже за малодушное, слюнявое предложение Моделя об Ахене?

Рундштедт покачал головой.

— В атаке на Ахен,— протянул он, как всегда словно с ленцой,— есть большой смысл, но я бы этим не ограничился. Под Ахеном, как вы справедливо указали, мой фюрер, мы легко разгромим Монтгомери. Затем выйдем к Маасу и овладеем Льежем. Сообразуясь с нашими скромными силами, мы...

Тут уж Гитлер не выдержал. Этот сановный говорок вывел его из себя. Он хватил кулаком по наполеоновскому столу:

— Я не хочу ничего слышать об этом! Я двину двадцать одну дивизию, и, кроме того, я даю две мои личные бригады — гренадерскую и охранную! Довольно!

Он выбежал из-за стола и стал перед фельдмаршалами. Они не смели двинуться, хотя он забрызгивал их слюной.

— Я не нуждаюсь в ваших советах! Я руковожу армией много лет, и я приобрел больше практического опыта, чем все эти господа из генерального штаба! Я... я... — Теперь он бежал по комнате, слегка волоча ногу, и кричал: — Я проштудировал Клаузевица, Мольтке, Шлиффена! Гнейзенау! И об этом у меня сведений больше, чем у всех вас!

Рундштедт прикрыл глаза. Он почувствовал, как забилась жилка на правом виске. Во рту медный вкус. Ему тоже хотелось закатить истерику. Но здесь, в ставке верховного командования, право на истерику имел один Гитлер. Рундштедт отлично помнил, во что обошлась ему его реплика, после того как англо-американцы очистили от немцев полуостров Котантен. Вообще-то Рундштедт был изысканно (некоторые говорили — старомодно) вежлив. Сорвался он только однажды, вот именно в этот день — 1 июля. Тогда старый фельдмаршал с ослепительной ясностью увидел, что наступление союзников остановить нельзя. И на панический вопрос по прямому проводу начальника штаба, этого «паркетного генерала» Кейтеля: «Что делать?» — Рундштедт ответил: «Заклучайте мир, дураки!» В ту же ночь он был смещен и заменен фельдмаршалом Гюнтером фон Клюге. Рундштедт счел это за благо. Он снова был восстановлен главнокомандующим всеми силами на Западе не далее как через три месяца — 4 сентября сорок четвертого года, после того как фельдмаршал Клюге был снят с этого поста и застрелился, предварительно написав Гитлеру почтительно-дерзкое письмо, где подхалимские объяснения в любви перемешивались с категорическими требованиями кончать эту безнадежную войну. Его самоубийство было объясне-

но поражением Клюге под Авраншем, но все знали, что, в сущности, это казнь за прикосновенность Клюге к покушению на Гитлера 20 июля сорок четвертого года.

— Мой фюрер! На звездах начертано, что Арденны станут для нас поворотом к победе! — Маленькое лицо Геббельса с низко и косо посаженными, как у обезьяны, ушами дышало восторгом.

Гитлер вдруг успокоился. Это произошло так внезапно, что Рундштедт подумал: «А не являются ли его истерики притворством?» Гитлер подошел к Моделю и положил левую руку ему на плечо. Он благоволил к этому маленькому пруссаку и даже простил ему поражение под Курском.

— Ты веришь мне?

Модель вздрогнул от этого обращения на «ты» — редчайший случай особой милости.

— Да, мой фюрер!

— Вера и воля — вот в чем наша сила.

— И в вашей гениальной интуиции, мой фюрер.

Гитлер задумчиво склонил голову.

— Государственный деятель, — сказал он, — должен уметь предвидеть задолго вперед. Слушай меня: не пройдет и года — мы будем победителями в этой войне.

— Да, мой фюрер! — воскликнул фельдмаршал с порывистостью юного лейтенанта.

Гитлер подошел к столу, взял папку и протянул Рундштедту.

— Вот план операции, — сказал он. — Я назвал ее «Wacht am Rhein»<sup>14</sup>.

— Превосходное название! — воскликнул Геббельс.

Оба фельдмаршала звякнули шпорами и пошли к выходу. Когда они были в дверях, Гитлер окликнул их. Они вернулись обеспокоенные, Гитлер протянул руку:

— Дайте-ка сюда.

Рундштедт, недоумевая, вернул папку. Гитлер надписал на ней готическим шрифтом: «Изменению не подлежит». И размашисто подписался.

Когда они покинули кабинет Гитлера, миновали все бронированные двери, прошли по узкому коридору между двух шеренг эсэсовцев и вырвались на свежий воздух, Рундштедт посмотрел на часы и проворчал:

— Что за варварская манера работать по ночам.

Модель сказал участливо:

— Могу предложить вам отличное снотворное.

Рундштедт покачал головой. Из снотворных он предпочитал алкоголь. Некоторое время они шли молча. Модель снял монокль и принялся вертеть его на шнуре вокруг пальца, что было у него признаком волнения. Потом сказал несколько вызывающим тоном:

— Самая идея наступать через Арденны смела и остроумна. Вы не можете отказать ей в находчивости, не правда ли?

Рундштедт нехотя разомкнул уста:

— Я считаю главным фронтом Восточный.

— Но после победы в Арденнах у нас останется один фронт, и мы справимся с ним быстро. Ведь наши беды в том, что мы в центре Европы и потому уязвимы со всех сторон.

— Главная беда наша в другом.

— В чем?

— В том, что мы должны получать указания от одного человека.

<sup>14</sup> «Стража на Рейне» (нем.).

— Господин фон Рундштедт, я присягал фюреру.

— Бог мой, я тоже.

Больше между ними не было сказано ни слова. Только перед тем как сесть в свой «мерседес-бенц», Рундштедт, перед которым распахнул дверцу молодой адъютант, его сын, сказал:

— Страх... Система держится страхом.

Модель сделал вид, что не слышит. Он отгонял от себя неприятные мысли. Обласканный Гитлером, он поспешил в свой штаб. Он верил в пророческий дар фюрера. «Не пройдет и года», — повторял он мысленно. И когда в штабе группы армий «Б», которой он командовал, его окружили офицеры во главе с начальником штаба генералом Кребсом, расспрашивая о свидании с Гитлером, он повторил им эти пророческие слова фюрера: «Не пройдет и года», не предвидя, что не пройдет и полугода, как он, фельдмаршал фон Модель, попав с трехсоттысячным войском в окружение, пустит себе пулю в лоб, а еще через две недели покончит с собой и сам пророк.

Там же, в «Волчьем логове», и примерно в те же дни был затеян план «Гриф». Тайна строжайшая! В сущности, поначалу о нем знали только два человека: Гитлер и состоящий при нем для особых поручений оберштурмбанфюрер Отто Скорцени, иначе говоря, специальный агент фюрера. Ну, еще, может быть, отчасти Кальтенбруннер, который подбросил Гитлеру пару-другую идей насчет этого тонкого дела, но быстро был отстранен.

Отто Скорцени вымахал два метра без малого. Так что Гитлеру во время разговора с ним приходилось задирать голову. А Скорцени почтительно нависал над фюрером, сплошное «чего изволите, только прикажите — отца родного не моргнув зарежу».

Да вот беда: 20 октября, как раз когда Скорцени понадобился фюреру, он был в отпуске, предавался в Берлине сладкой жизни. Бомбежки сообщали его ночным наслаждениям особый острый привкус.

Конечно, адрес его был известен: отель «Адлон». Но офицер, посланный за ним на связном «Хейнкеле-111», не застал его там. Администратор посоветовал офицеру наведаться в ночной клуб «Фемина».

— Скорцени, я знаю, только вам можно доверить это дело, и вы его выполните.

Верзила преданно щелкнул шпорами. На черном эсэсовском мундире его блистали рыцарский крест и итальянский орден «Сто мушкетеров».

— То, что я вам скажу, — продолжал Гитлер, — является сверхсекретом. Кроме вас и меня... — Фюрер внезапно прервал свою речь. — Что у вас в планшете?

Он нажал кнопку на столе.

Вошел гауптштурмфюрер в сопровождении трех эсэсовцев — руки к бедрам, щелкнули каблуками.

Конечно, Скорцени глубоко свой. Не он ли свергал австрийского канцлера Дольфуса? Не он ли расправился с венгерским властителем Хорти? Не он ли, черт побери, похитил самого Бенито Муссолини 12 сентября сорок третьего года? Но после июльского покушения Гитлер не доверял собственной тени.

Скорцени вынул из планшета фотографию Гитлера, оправленную в серебряную рамку. Золотой каймой была обведена дарственная надпись: «Моему штурмбанфюреру Отто Скорцени в благодарность и на память о 12 сентября 1943 года. Адольф Гитлер».



— Я ношу ее всюду с собой,— сказал Скорцени строго.— У меня нет более дорогой вещи.

Фюрер благосклонно улыбнулся и кивнул эсэсовцам. Они вышли.

— Скорцени, слушайте меня внимательно,— сказал он.— Мы ударим по союзникам в Арденнах. Этот удар будет подобен грому с чистого неба.

Пауза. Быстрый взгляд на собеседника. Скорцени изобразил восхищение. Гитлер продолжал возбужденно:

— Я разорву их дерьмовые армии надвое и поочередно уничтожу их! Они считают, что с моей Германией покончено. Безглазые черви! Не они меня, а я их буду хоронить!

Трясущейся рукой он налил в стакан воду и долго пил. Потом снова:

— Скорцени, чего я хочу от вас? Вы должны внести смятение в их тылы. Вы переоденете вашу бригаду в американскую и английскую форму и снабдите их соответствующими документами. Конечно, вы подберете таких людей, которые отлично говорят по-английски. Понятно?

— Значит, я должен...

— Вы должны просочиться в расположение противника и захватить мосты через Маас.

«Это уже что-то другое»,— подумал Скорцени.

— Вот здесь. Смотрите.

Указка Гитлера скользнула по карте и остановилась между Льежем и Намюром.

— Но этого мало. Вы должны внести в их тылы переполох. Панические слухи! Ложные приказы! Нарушение коммуникации! При удаче пленение крупных офицеров. Словом, вы понимаете...

Он вдруг замолчал. Потом толкнул дверь в задней стене и крикнул:

— Гиммлер!

Вошел рейхсфюрер, которого за его спиной втихомолку называли «рейхсферфюрер»<sup>15</sup>.

— Гиммлер, не придать ли нам бригаде Скорцени, которому я даю специальное задание, бригаду Дирлевангера?

Когда-то батальон, затем полк, наконец бригада — эта часть, числившаяся в группе армий «Центр», состояла из преступников, осужденных за грабежи и убийства. Даже среди эсэсовцев они слыли кровавыми бестиями.

— Счастливая мысль, мой фюрер,— сказал Гиммлер.

Гитлер вперил в него горящий взгляд.

— Нет,— сказал он.— Я передумал. Это преждевременно. С государственной точки зрения это неразумно. Ребята Дирлевангера не отличаются,— он усмехнулся,— сдержанностью. Их манеры (тут все захихикали) могли бы восстановить против Германии этого святошу Рузвельта и помешать сепаратному миру после предстоящей победы в Арденнах...

Скорцени расположил свой штаб в замке Фриденталь, вблизи Берлина. В целях конспирации он переименовал фамилию на Золяр. Для того чтобы отобрать в частях солдат и офицеров, говорящих по-английски, ему нужно было разрешение высшего военного начальства. Скорцени обратился к фельдмаршалу Рундштедту, не сомневаясь в его содействии. Он знал приказ Рундштедта по вверенным ему войскам, изданный совсем недавно, 21 сентября 1944 года: «Эта борь-

<sup>15</sup> Имперский совратитель (нем.).

ба за право быть или не быть немецкому народу не должна щадить культурные памятники и прочие культурные ценности...» Знал он и о том, что Рундштедт покорно выполняет приказ Гитлера о «выжженной земле», известный под кодовой кличкой «Приказ Нерона».

Поэтому Скорцени был поражен, когда Рундштедт ему отказал. В сущности, фельдмаршал вежливо выгнал его. Он считал всю эту операцию «Гриф» любительщиной, а участников ее обреченными. Кроме того, ему не нравилась вульгарная физиономия Скорцени. «Может быть, я потерял честь, но я не утратил вкуса», — подумал фельдмаршал.

Скорцени с нагловатой развязностью заявил, что в таком случае ему остается обратиться к фюреру. Рундштедт пожал плечами и ничего не ответил. Глядя вслед удаляющейся спине Скорцени, он думал: «Может быть, это зачтется в мою защиту, когда меня будут судить как военного преступника».

Скорцени не посмел жаловаться Гитлеру, а обратился к Кейтелю. Этот фельдмаршал, которого за спиной называли Лакейтель, тотчас выдал Скорцени соответствующее разрешение.

Скоро в тщательно охраняемом лагере на полигоне Графенвер под Нюрнбергом скопилось три с лишним тысячи солдат и офицеров, говорящих по-английски. Они составили специальную 150-ю бригаду.

Однако их английский язык был чисто школьным и сильно попахивал немецким акцентом. Тогда им дали учителей — военнопленных унтер-офицеров, англичан и американцев. Отчасти подкупом, отчасти угрозами, иногда обманом их заставили преподавать немцам жаргонные словечки, манеру обращения, повадки, ругательства, солдатские остроты и, конечно, произношение. Труднее всего было вытравить из немецких солдат их деревянную дисциплину и внушить им, например, что американские солдаты не вынимают рук из карманов даже при разговоре с офицерами. В них вдабливали, что американцы называют бензин не «petrol», а «gas». Их учили жевать резинку и свертывать самокрутки из табака «Cарogal». Танкисты осваивали американские танки, шоферы — грузовики и транспортеры, а повара овладевали искусством готовить из американских продуктов.

Конечно, их переодели в английское и американское обмундирование и соответственно вооружили. Доллары и фунты стерлингов, которыми их снабдили, были фальшивыми, но почти не отличимыми от настоящих. Зато подлинной была ампула с цианистым калием, которую получил каждый диверсант. Для себя, конечно. Ну а что, если две группы диверсантов случайно столкнутся? Как они узнают, что это свои, а не настоящие американцы? Для этого были установлены опознавательные приметы: зрительная — вторая сверху расстегнутая пуговица кителя, слуховая — двойной стук пальцами по каске.

Официально предстоящая им операция получила кодовое название «Гриф». Но сами диверсанты предпочитали называть ее более привычным им бандитским словечком «гэнг»<sup>16</sup>.

Шесть часов утра — наконец спать! По зимнему времени темно, как ночью. К распростертому на кровати Гитлеру подходит, мягко переваливаясь на слоновьих ногах, его лейб-медик Теодор Морелль. Брюхастый, лохматый, неряшливый толстяк — рубаша не первой свежести выбивается из брюк. Гитлер посмотрел на него с отвращением. Сам-то фюрер одевался всегда с иголки, очень следил за собой, стараясь элегантно возместить незначительность наружности.

<sup>16</sup> Банда (англ.).

Но Морелль свой. По крайней мере, можно ему доверять. Он рядом с Гитлером с давних времен. Он из самых приближенных, как и лейб-фотограф Генрих Гоффман, который, собственно, и свел его с Мореллем, как и со своей лаборанткой Евой Браун. Пусть о Морелле говорят дурное, пусть чешут языки завистники, что до возвышения Гитлера его клиентуру составляли берлинские проститутки, что он был подпольным абортмакером. Что с того! Сейчас его волшебный шприц дарует Гитлеру бодрость, жизненный тонус, а главное — сон.

— Морелль, я буду спать?

— Вы будете спать, мой фюрер, как новорожденный младенец.

Гитлер отстранил руку Морелля со шприцем. Он боялся сновидений. А вдруг придет сон-жало, сон-приговор, сон-казнь?

— Морелль, я не хочу никаких снов!

— Мой фюрер, у вас будут только приятные сны.

Гитлер с подозрением посмотрел на мутно-зеленоватую жидкость, качавшуюся в стекле.

— Чего вы мне подмешали сюда?

— Немножко гашиша, мой фюрер,— сказал толстяк своим вкрадчивым голосом.— Безвредная доза. Она придаст вашим сновидениям легкость и очарование.

Это был полусон. Действительно мысли Гитлера обратились на приятное. Он возвращался воображением к тем дням, когда был безвестным маленьким художником, а потом в войну вестовым при штабе Баварского полка. В отличие от многих других выскочек он любил вспоминать о времени, когда был социальным ничтожеством. Это возвышало в собственных глазах. Вспомнилось, как Гинденбург в Нойдеке перед смертью — ему не забыть этого дня! — ранним утром 2 августа 1934 года назвал его «ваше высочество»! А Крупп! Гитлеру сладостно было ворошить в полусонных видениях переданное ему на днях Гиммлером. Глава концерна доктор Густав Крупп фон Болен унд Гольбах сказал недавно там у себя, в своем королевстве, в Эссене: «Не пора ли нам вынуть из этого малого наши вклады?» «Поздно, господин Густав Крупп фон Болен унд Гольбах! Нет, я не хочу ссориться с вами. И я недавно специальным декретом даже превратил ваши владения в наследственный майорат. Но вы поздно спохватились! Вы считали, что я ваше предприятие? Нет, руки коротки, господа! Теперь я народное предприятие. Да, в свое время корону мне вручили промышленные бароны. Но теперь содрать ее с меня вы уже не в силах».

Мозг, возбужденный гашишем ли или черт его знает еще чем, работал как бы взрывами. «Никто никогда за всю историю Германии не обладал такую властью, как я. Карл V? Фридрих II? Да нет, куда им! Может быть, только Лютер... и то...»

И вдруг взорвалось в черепе, казалось, лопнут виски: Сталин! И потянулась цепочка... Сталинград... Проклятый Паулюс пожалел свое вшивое тело и не застрелился!.. Рундштедт тоже из этого вонючего теста, он не застрелится, если... если... Но Гитлер не хотел признаться себе, что Арденны — его последний шанс. Он зарывал эту мысль куда-то очень глубоко.

Он старался вытеснить мысль о «Страже на Рейне» мыслью о «Пасхальном яичке». Так — покуда про себя — назвал он операцию, которую еще никому не раскрывал и которая приведет к коренному перелому в ходе войны. Да, он преподнесет миру это пасхальное яичко, черт бы взял их всех вместе и каждого в отдельности, в первую голову, разумеется, Черчилля и Сталина! По этому плану предполагалось убийство Эйзенхауэра, немедленный мощный удар по

Франции, а главное — вот что должно было потрясти весь мир! — обстрел Нью-Йорка ракетами дальнего действия. Да, милостивые государи, вы не ослышались. Именно Нью-Йорка! И как? А вот как.

Гитлер принялся переворачивать в полусонном мозгу это дивное «Пасхальное яичко». Специальная сеть тайных агентов — это могут быть молодчики из стаи Скорцени — скрыто устанавливают на нью-йоркских крышах особые высокочувствительные ультракоротковолновые радиомаяки системы профессора Манфреда фон Арденне (какая символическая фамилия!). Они-то и наведут на американскую столицу ракеты дальнего действия «фау-3»...

А до этого? Да, что до этого?

...Судьба мне внушила тяжелые решения. Очень тяжелые. Но я избран их осуществить. Я, и никто другой. И германский народ меня поддержит. Да, народ ни перед чем не остановится, будь то новый сбор шерстяного трикотажа для фронта, будь то новый призыв в армию. Германскому народу повезло, что у него есть я!

Народ, народ... Что-то в этом слове раздражало Гитлера.

...Где же этот проклятый сон, обещанный Мореллем? Народ... Да, жить должен народ. Отдельная личность должна умереть в народе. Нельзя допускать, чтобы мои приказы критиковались. Сам народ не хочет иметь никакого права на критику. Иметь это право хотят смутьяны, копошащиеся в народе... Где же наконец этот сон? Почему он не приходит? А вместо него лезут в голову незваные мысли о смутьянах, об этом обер-лейтенанте авиации Шульце-Бойзене и его подпольной «Красной капелле». Правда, им всем поотрубили головы. Несчастье немецкого народа в том, что он слишком усердно развивает интеллект и слишком мало волю и веру.

...Вот откуда зараза! Зараза сопротивления! Да, отсюда, да еще из этих дерьмовых Даний, Голландий, Греций! Эти занюханые страны с их опереточными королями могут существовать только потому, что крупные европейские державы никак не договорятся, каким образом их слопать. Я возьмусь за них. Я переселю народы. А те французишки, которые воруют морду, пусть выметаются в Виши... Переселение народов — признак величия верховного правителя. Например, Наполеона... Надо было перевезти из Парижа не только стол Наполеона, но и его гробницу... А впрочем, к чему? Все три Наполеона плохо кончили...

Мысли его то текли лениво, то пускались вскачь.

...Вокруг меня подонки, они воспитаны так: пусть другие приносят себя в жертву; а сами косят в сторону... Необходимые фронту двухсотдециметровые минометы, за которыми я уже месяцы гонюсь, как черт за грешной душой, все еще не могут поступить в производство. Беспозвоночные сволочи! Хуже, чем какая-нибудь коммунистическая свинья — у тех есть хоть какие-нибудь идеалы, за которые они борются... Если где-нибудь в тылу я обнаружу хоть одного мужчину моложе шестидесяти лет, пусть молится богу перед смертью!..

Он приподнялся на кровати. Возбуждение спадало. Очень захотелось кофе с черным хлебцем пуперникель. Веки тяжелели. Ему казалось, что желанный сон накатывается на него. Чтоб не спугнуть, он снова принялся думать о приятном. Об Арденнах!

...Победа в Арденнах будет факелом для всего мира! Поручкой тому разработанный мной план операции «Wacht am Rhein». Льеж и Антверпен снова будут наши! А в дальнейшем... Да, да, это будет Париж...

Утрату Парижа он ощущал особенно болезненно. Казалось, что ему Париж? Он не смог взять Ленинград из-за, как он уверил себя,

бездарности старого оболтуса фон Лееба. И переживал это как унижение. Он не овладел Москвой из-за — он тешил себя этой мыслью — коварного русского снега. И был вне себя от бешенства. Он упустил Сталинград из-за — и он заставил себя верить в это — слабоволия этой собачьей свиньи Паулюса. И это был для него удар под ложечку.

Но мучительнее всего была потеря Парижа. Он без конца приказывал контратаковать его. Вернуть Париж! Но контратаковать было нечем. Тогда он отдал приказ уничтожить Париж! Не мне, так никому! Снести его с лица земли канонадой из крупнокалиберных мортир и фугасками с воздуха! Но и это не было выполнено. Поспешно отступавшие немцы заботились больше о спасении шкуры, чем об утолении мести фюрера. Они бежали так быстро, что не успели взорвать парижские мосты, к чему их обязывал его гневный приказ.

Да, Париж! Почему до сих пор утрата его — как заноза в сердце? Быть может, потому, что Париж — это престиж. Кто владеет Парижем, владеет миром. Когда Наполеон отдал Париж, он отдал все...

...Через Арденны — в Париж! Арденны — это ступенька к Парижу. Передо мною в Арденнах, в сущности, никого нет. Каких-то пять дивизий или, возможно, только четыре, а может быть, и три. Свежих сил там нет. Исключение, может быть, 12-я американская дивизия. Но еще не ясно, прибыла ли она в Арденны. Если даже и прибыла, то совсем недавно. Уж не говоря о том, что она необстрелянная, американцы вообще не способны к длительному боевому напряжению. Подобно фениксу из пепла вновь поднимется воля Германии!

На краю кровати сидел его старый товарищ Эрнст Рем, убитый им еще в тридцать четвертом году в кровавую «ночь длинных ножей». На груди его запеклись раны. Рем улыбался ласково, принимал к Гитлеру, ластился и струился, как поток. Гитлер попробовал оттолкнуть его, но рука увязала в студенистом теле Рема. Гитлер вскочил. Главное, не проронить ни слова. Ведь известно — призраки не могут заговорить первыми.

Держась одной рукой за стену, Гитлер пошел, шлепая босыми ногами. Он не смел крикнуть слуг все из того же страха заговорить первым и этим разомкнуть уста ему. Только бы добраться до двери!

Но возле двери уже стоял стройный смуглый одорукий красавец с черной повязкой на левом глазу. Штауффенберг! Тот самый. Клаус Шенк граф фон Штауффенберг. Начальник штаба армии резерва. Герой Африки, подложивший под него бомбу 20 июля. Расстрелянный по приказу Гитлера той же ночью 20 июля во дворе военного министерства при свете автомобильных фар, а потом для верности повешенный.

К тому же он не один. С ним еще два Клауса Штауффенберга, совершенно неотличимые от него, с такими же полковничьими погонами и тоже со струнными удавками на шее. А что удивительного — призрак может появляться одновременно в разных местах. *Nis et ubique*<sup>17</sup>.

Все так же лукаво ластясь к Гитлеру, как и Рем, Штауффенберг снял со своей шеи струнную петлю и, изловчившись, набросил ее на шею Гитлера. Гитлер хотел поднять руки, чтобы сорвать ее, но два других Штауффенберга схватили его за руки. Он почувствовал, как струна врезается в шею. Ему не хватало воздуха. Хрустнул позвонок. Струна издала звук невыносимо тонкий, как и она сама. Три Штауффенберга, сдвигаясь темными телами все теснее, образовали вокруг Гитлера подобие бокса вроде тех, в какие запикивали смертников в гестапо.

<sup>17</sup> Здесь и всюду (лат.).

И Гитлер, уже не думая, что этим он разговорит призраков, прохрипел:

— Линге... Кемпка... Бауэр... Битц...

В комнату вбежал Морелль в халате и шлепанцах.

— Что с вами, мой фюрер?

Гитлер лежал на полу посреди комнаты. Морелль перенес его на кровать. Вынув из кармана халата шприц и склянку с мутно-желтой жидкостью, он вкатил Гитлеру лошадиную дозу снотворного. Гитлер повалился на подушки и заснул слепым сном.

### *Поляк и его песня*

Вулворт стоял на перекрестке дорог с поднятой рукой. Ни одна машина не останавливалась. От унижения он чуть не плакал. Лечь перед машиной? Дать очередь из автомата? «Может быть, кто-нибудь так и сделал бы,— терзался Вулворт,— а я слизняк, интеллигент, теткин выкормыш, и это в самом деле не война, а какой-то зимний горно-туристский курорт...»

Один грузовик все-таки притормозил. Из-под брезента высунулся парень и протянул сверху руку:

— Лейтенант, влезайте.

Он втащил Вулворта в машину.

— Я вас сразу узнал, лейтенант,— сказал он.— Мы же с вами вместе ехали в машине этого гробовщика. Вспомнили? Феликс Маньковский меня зовут.

В кузове пахло грубым табаком, чуть соусированным. Несколько человек мурлыкали однообразную песню. Кто-то невидимый крикнул:

— Продолжай, поляк! Гони дальше!

— На чем я остановился? — спросил Феликс.

— Привезли вас на аэродром... — сказал малый с нашивками сержанта.

Рыжий детина, сидевший на коленях у другого солдата, лениво спросил:

— А где этот собачий аэродром?

— Подождите, ребята, не все вместе. Аэродром, по-моему, где-то на юго-востоке Англии, возле Портсмута, что ли. Мы торчали там дня три. Пока отправляли английских парашютистов. Их было целых две дивизии «красных дьяволов». Представляете?

— Почему красных дьяволов?

— Так они же в красных беретах.

— Как и наши,— заметил кто-то.

— Да, только у наших с черной полосой.

— Да что ты тянешь! — закричал рыжий.— Ты дело рассказывай!

Маньковский снял с пояса фляжку, встряхнул и со вздохом прицепил обратно. Она была пуста. Потом продолжал:

— Они эти береты носили на одном ухе. Ребята — красота! Как на подбор. В общем, чуть ли не вся Первая воздушно-десантная армия. Думаете, на самолетах? Черта с два! На планерах! Напихают по тридцать парней в брюхо планеру — и с попутным ветерком! Там их была уйма, говорили — тысяча планеров. Картинка! А на четвертый день наконец погрузили нас, поляков. Было это, как сейчас помню, не то первого, не то второго сентября. Куда летим, мы не знали. Нас тоже было немало... — Он вдруг сказал по-польски с какой-то непонятной гордостью: — Самодельна бригада спадохронова.— И тут же перевел: — Отдельная воздушно-десантная бригада.— Он повернулся к Вулворту и спросил: — Лейтенант, у вас хлебнуть не найдется?

Вулворт с готовностью протянул флягу.

Маньковский закинул голову и пил, булькая. Солдаты смотрели на него молчаливые, сосредоточенные, как в церкви на богослужении. Поляк отер рот и продолжал:

— По дороге нам сказали, что англичане должны были захватить какой-то Арнем, в Голландии, что ли, вообще в тылу у немцев. Операция по коду называлась почему-то «Market-garden», то есть «Огород». Но у них что-то не получалось. Влипли они в этот огород. И мы, стало быть, летели на выручку.

— Собачье дело,— сказал рыжий авторитетным тоном.

— В общем, когда мы плюхнулись на землю километрах в тридцати от фронта, оказалось, что этот глубокий немецкий тыл вовсе не такой пустынный, как рассчитывало начальство, а весь прошпигован швабами. И началось...

— Собачьи штабы наши...— сказал рыжий и сплюнул.

— Да, ребята, нас втянули в самую гущу швабов. Там стояла Десятая боевая танковая группа СС. По-моему, она ждала нас, птенчиков.

Рыжий вскочил с коленей товарища и заорал:

— А наша собачья разведка что же?

— А разведка это профукала!

Со всех сторон посыпались ругательства. Вулворт робко спросил:

— А английские парашютисты?

— Их расколошматили еще до нас. Тут еще погода сделалась паршивая и авиация не смогла ни черта нам подбросить. Не было чего жрать, да и не до жратвы было, честное слово! Швабы сдавили нас двумя танковыми корпусами СС и били как хотели.

Голос из угла:

— Сколько ж вас было там, поляков?

— Хватало... Три пехотных батальона, да артиллерия, да противотанковая часть, да связь...

Тот же насмешливый голос:

— И вы все, значит, сразу драпанули?

Маньковский нахмурился. Казалось, вот-вот взорвется. Вулворт взволновался и внутренне приготовился броситься Маньковскому на помощь. Но поляк, видимо, сдержал себя и ответил спокойно:

— Ты чем думаешь — головой или задницей? Куда драпать? Куда?! Задание наше было удерживать мосты через Рейн, пока не придет Монтгомери. Мы и держали. Гибли, но держали. Я сам слышал, как командир наш генерал Соснковский — я при нем был связистом — сказал: «Старик Монти не выдаст, старик Монти придет».

— Ну?

— Он не пришел... Наплевал на нас. Мы это поняли только через неделю, двадцать шестого сентября.

— Не пришел? — крикнул рыжий. Он гневно хлопнул себя по колену. — Конечно! — кричал он. — Кого больше всего на войне? Нас, мальчишек! Призывные возрасты! А мальчишки, известно, самый драчливый народ. А кто командует нами? Старики! Осторожные, медлительные, трусоватые, как и полагается старикам. Слушай, поляк, если бы там командовал не эта собачья рухлядь Монти, а молодой парень вроде нас с тобой, он бы пришел к вам на помощь и вы все были бы спасены.

— Не знаю,— сказал Феликс.— В конце концов мы — я имею в виду ту кучку англичан и поляков, что уцелели,— бросили этот проклятый Арнем и просочились кто как мог за Нижний Рейн. Вот и все, ребята...

Маньковский замолчал и откинулся на борт грузовика. Глаза его были закрыты. С мучительным наслаждением он вспоминал Варшаву — ту, старую, довоенную. Круглый, как торт, костел святого Алек-

сандра на маленькой уютной площади Трех Крестов. Сюда по воскресеньям мама и папа, принарядившись, водили его и братишку Игнация. Мама — черное шелковое платье, зонтик и белые митенки на руках. Платье празднично шуршало. На лаковых башмаках папы прыгали солнечные зайчики. Он, Феликс, и братишка Игнаций в одинаковых костюмчиках, коротких штанах, как у сказочных принцев, белые крахмальные воротники с длинными концами. Кудри... Где он теперь-то, Игнаций? Жив ли? Они вместе обороняли Варшаву в тридцать девятом... Пустые бочки, плиты, вырванные из тротуаров, поваленные уличные фонари, хаос, называвшийся баррикадой... И мы, мальчишки, с пистолетами и охотничьими ружьями... Народ мальчишек... Варшаву защищали — он это хорошо знает — шестьдесят батальонов с четырьмястами пятьюдесятью орудиями.

А у немцев три армии! Ну хорошо, не три, а около трех — 3-я, 8-я и часть 10-й. А орудий и минометов около двух тысяч. Да двести самолетов с утра до ночи бомбили Варшаву. И ночью тоже... Так было тогда, в тридцать девятом. А сейчас, говорят, Варшавы и вовсе нет, она взорвана, сожжена, она — труп... Как они спорили с братом! Как он, Феликс, уговаривал брата в сорок первом уйти с ним на запад. «Нет, — уперся Игнаций, — я поляк, и мое место в Польше». «Но ты сейчас не в Польше, ты у русских. Неужели ты простишь им пакт с Гитлером?» — «Они сейчас сами воюют с Гитлером»... Игнаций остался.

А он, Феликс, вместе с андерсовцами ушел в длинный путь — Иран, Палестина, Мальта, Англия... «Дошло ли мое письмо до отца? Я посылал его из Англии через Москву в Прагу-Варшавскую...» Кто же тот судья, который скажет, у кого правда — у него, Феликса, или у Игнация? Когда наконец кончится соперничество между братьями, и кто из них станет решать судьбу Польши? Он, Феликс, с запада или брат Игнаций с востока? Кто скажет, какой будет Польша? А какой она должна быть? Ну, уж конечно, не такой, какой была. Но какой — этого, честно говоря, Феликс не знал... Вся штука в том, чтобы поляки наконец перестали быть народом обреченных. Но как? Как?.. Нет, не думать! «Я не хочу думать! Будь что будет. Все решится само собой». Феликс тихонько запел:

A gdzie matka tej dzeciny w kolebce...<sup>18</sup>

Он почувствовал тяжесть на плече. Лейтенант Вулворт тихонько посапывал, опершись на Феликса щекой. Что ему снится? Тетя Эдна, домашний громовержец, седая, румяная, с лорнеткой, болтающейся на могучем бюсте? Или первый лейтенант Осборн с желчным лицом и мушкетерскими усиками?

Феликс улыбнулся, глядя на пухлые по-детски щеки Вулворта, и продолжал негромко напевать под ритмичный рокот мотора:

Co to plynie po tej bystrej po rzecie?  
Co to plynie po rzecie?..<sup>19</sup>

### *Линия Кометы*

Летчик упал во что-то колючее, щекочущее и повис на стропах парашюта. Он попробовал в темноте нащупать ногой землю. Нога ни во что не упиралась. Тут только ему пришло в голову, не ранен ли он. Нет, как будто ничего не болит, кроме царапины на лице. Надо бы

<sup>18</sup> А где мать того ребенка в колыбели? (Польск.)

<sup>19</sup> Что плывет по той быстрой по реке? (Польск.)



перерезать стропы. Но тогда он упадет на землю, а далеко ли до нее, он не знал. Фонарик он боялся засветить, чтобы не выдать себя. Где упал подбитый самолет, он тоже не соображал, но, наверно, далеко от него, иначе он увидел бы пламя. Упал где-то в этих проклятых Арденнских горах. Упал, как факел, вместе со штурманом и стрелком-радистом. Стрелка ранило в голову еще в кабине, когда в самолет вломилась осколками двадцатимиллиметрового снаряда... А штурман... Летчик стиснул зубы, чтоб не застонать. Вдруг он услышал под собой негромкие голоса. Он вынул из кобуры пистолет и дослал патрон в канал ствола. Пистолет при этом сухо щелкнул.

Внизу кто-то сказал по-английски со странным акцентом:

— Эй вы, не валяйте дурака, здесь свои. Вы англичанин? Прыгайте вниз, здесь невысоко и мягко, снег.

Летчик подумал и сказал:

— Откуда я знаю, что вы свои?

Голос ответил:

— Если бы мы были не свои, мы бы вас просто пристрелили.

Летчик нашел, что это резонно. Он вынул нож и принялся перерезать стропы.

— Прыгаю.

Он рухнул в сугроб всем своим долговязым телом. Ему помогли выкарабкаться. Теперь на снегу он смутно различал очертания фигур. Очевидно, их двое.

— Целы? — спросил тот же голос.

— Да.

— Тогда идем.

— А парашют? Они же его найдут.

— Весной. Когда сойдет снег. А сейчас они сидят спокойно в своих хорошо отапливаемых блиндажах.

Они пошли через лес гуськом, летчик посередине. Глаза его привыкли к темноте, теперь он увидел, что шедший впереди был огромен. Летчик и сам был высок. Но этот превосходил его по меньшей мере на две головы. А тот, что сзади, напротив, мал и быстро семенит, пока эти двое отмахивают свои саженные шаги.

Иногда тот, впереди, через голову летчика обменивался со своим товарищем несколькими словами на незнакомом языке. Летчик не выдержал и спросил:

— Это вы по-голландски?

— По-русски, — ответил передний.

— А... — сказал летчик удивленно. — Как вы сюда попали?

Высокий бросил через плечо:

— Нас спасла Комета.

— Не понимаю...

— Поймете, когда она спасет и вас.

От усталости и темноты, от невероятности происходящего с ним летчику все казалось ненастоящим. Но он не удивлялся, потому что во сне ведь не удивляются. Только когда проснешься, все виденное там вспоминается странным. С другой стороны, если сознаешь, что спишь, значит, не спишь.

— Меня зовут Реджинальд Мур, — сказал он голосом, который казался ему не своим. — А вас?

Шедший впереди буркнул:

— Нашел времязнакомиться. Кличка моя Урс. Урс значит медведь. Помните роман Сенкевича «Камо грядеши»? Там тоже есть Урс, восставший раб. Я, если угодно, тоже восставший раб. Почему? Фамилия у меня самая простая — Смирнов.

— Смирнофф, — повторил Мур.

— Вот именно. И самая распространенная. Не люблю я ее. И не потому, что в России натыкаешься на нее на каждом шагу. А потому что в ней есть отзвук чего-то робкого, приниженного, смиренного, рабского. В этом имени слышится крепостное право. «Смирнов» — это согнутая спина, это свист кнута, это хрясь в морду, это «чего изволите?». Российский деспотизм вырос и расцвел на смиренных, на смиренности народа...

Урс говорил, размахивая длинной рукой, и не оборачивался, словно обращался не к Муру, а к деревьям, толпившимся вокруг, иногда подбегавшим к самому краю тропинки как бы для того, чтобы лучше расслышать человека.

— А русская революция? — сказал Мур.

— Да, революция, — подхватил Урс. — Народ — это электричество, это колоссальная дремлющая энергия. Она покорно служит повелителю и вдруг — мятеж: гроза или просто короткое замыкание. Молния! Пожар! Вот и я ведь не просто раб, а восставший, Урс!

Мур оглянулся на того, кто сзади. Уже стало заметно светлее, и он увидел невысокого мужичка. Его детский носик кнопкой в сочетании с дремучей бородой, малым ростом и доброй улыбкой делали его похожим на сказочного гнома. Или, подумал Мур, на школьный бюст Сократа.

Урс сказал:

— А его кличка Финесс. Так его здесь прозвали за малые габариты. Финесс значит тонкость. А для простоты я его называю Финик. И теперь все так зовут его...

«Так кажется мне это все или на самом деле?..» — думал Мур. Все в нем устало — ноги, веки, спина. Мысли заезжали одна в другую. Но это не было и бодрствованием. Мур явственно видел могучие лохматые ели, обступившие тропинку. А между елями вдруг появлялось крыло самолета, но не закрывая их, а как бы пронзая. И внезапно отламывалось с такой легкостью, как если бы оно было картонным. И по крылу шагал Урс. Но это был настоящий Урс, он шагал перед ним и что-то говорил, говорил... Попросить остановиться, прилечь, отдохнуть? Муру почему-то стыдно было сделать это. Он потрянул головой, напрягся и спросил голосом, который совсем стал чужим:

— А Комета? Это что?

Несмотря на то, что Урс с живостью обернулся и снова заговорил, Мур ничего не услышал — сон навалился на него с такой силой, что он всем своим долговязым телом рухнул в снег.

Он очнулся гораздо позже и тогда узнал, что такое линия Кометы.

— Ну вот вы, Мур, в полном порядке, — сказал Урс. — И даже глазки масляные, когда вы на нее смотрите.

Женщина быстро двигалась по избе. У нее была удивительно ровная поступь. Она словно плыла, как конькобежцы или ангелы. Она приносила из кухни тарелки со снедью, дымящийся чугунок, бутылки с чем-то голубоватым, должно быть самогоном. Она была немолода, и тем не менее Мур действительно не отводил от нее глаз. Уличенный в этом, он весело улыбнулся и подумал об Урсе: «Циник, грубоват, хитер, должно быть, храбр».

Урс разлил самогон по стаканам. Он поднял свой стакан, но не произнес ничего, только мотнул большой медвежьей головой. Мур выпил и закашлялся. Урс засмеялся:

— А мне ничего, луженое горло.

Маленький Финик тоже засмеялся. А женщина заговорила быстро, длинно и горячо.

— Что она, тоже русская? — спросил Мур.

— Она говорит по-фламандски.

— А что она сказала?

— Пустяки. Болтунья, голландская мельница.

Женщина подозрительно посмотрела на Урса. Серdito взмахнула полотенцем и уплыла своей ангельской поступью.

— Я уловил только одно слово, — сказал Мур.

— Какое?

— Комета. К чему это она?

Урс засмеялся:

— В свое время узнаешь.

Мур пожал плечами.

— Не знаю, вправе ли я спрашивать. Но меня интересует, как вы, русские, попали сюда. Если не хотите, можете не отвечать. Я не обижусь.

Урс снова засмеялся. Хорошее настроение, видимо, редко покидало его.

— Не ожидали? — сказал он. — Впервые видите русских? Никакого секрета в этом нет. Попали в плен. Отправили нас работать в шахты возле Линабурга. Бежали. Связались с Кометой. Проще простого!

— Опять Комета!

Вечером Урс привел плечистого малого. В рыжих волосах его пробивалась седина. А лицо молодое, веселое. Сильно вздернутый нос сообщал ему что-то клоунское. Он охотно улыбался, и тогда становилось видно, что на месте передних зубов у него темная впадина. Конечно, поэтому он пришепetyвал. Вообще-то он говорил по-английски не сказать чтоб очень бегло, частенько задумывался в поисках слова. Но понять его можно было.

— Английский у меня еще со школы, — заявил он. — Ну, а на войне какая практика?

Урс хлопнул его по плечу.

— Вот этот парень, — сказал он, — расскажет тебе о линии Кометы.

— Очень хорошо, — сказал Мур, с интересом вглядываясь в новопришедшего, — но прежде расскажите о себе.

— Фамилия моя Лейзеров, — заявил тот. — В сорок втором, когда немцы потянули от Изюмо-Барвенкова...

Мур поднял брови.

— Это недалеко от Воронежа.

Брови не опускались.

— Не знаете? Ну, от Харькова.

Мур с сожалением покачал головой.

— Фу ты черт, — растерялся Лейзеров, — да он ни черта не знает, совсем темный. На Украине, понял?

Мур радостно закивал головой.

— Ага, дошло! Так вот под Изюмо-Барвенковым остатки нашей дивизии попали в плен. Какая-то сука донесла, что я еврей. Меня в Аушвиц, по-польски Освенцим. Слышали про такой лагерь? — Лейзеров спустил с одной руки куртку, а потом и рубаху. На обнаженной руке синела татуировка: 156099. — Это мой номер, немцы заклеямили. А на одежде они нашивали значки. Разные, кому что. Политическим, например, красный треугольник, педерастам — зеленый,

проституткам — черный, священникам — фиолетовый. Нам, евреям, — шестиугольную звезду...

— О, я знаю! — воскликнул Мур. — Печать Соломона!

— У вас так это называется? Ну да, щит Давида. В общем, аккуратный народ немцы. Я уже думал, мне конец. Я узнал, что занесен в списки «Totwüridig», то есть «достойный смерти». Мне предстояло то, что немцы деликатно называли «Sonderbehandlung», то есть «особая обработка», а попросту удушение в газовой камере. Но я выкрутился: заявил, что я караим. Понятно? Ну, это есть в России такое непонятное племя, оно не признает Талмуда, а верит только в Библию. Словом, я напел им кучу всяких богословских историй и потребовал, чтобы они выяснили о караимах в своем чертовом центре. Но они же, вы знаете, палачи, но буквоеды. Короче, дело дошло до самого Гитлера. А он не то спросонья был, не то ему моча в голову ударила. Короче, он разъяснил, что караимы — это арийцы. Меня переслали в лагерь в Люксембург, а оттуда я бежал вот к ним. Фу, аж горло пересохло.

Урс налил ему вина. Лейзеров выпил и отер губы.

— Ну, теперь слушайте про Комету. Линия Кометы действительно линия. Она тянется от бельгийских побережий до испанской границы. И дальше. Какая ее работа? Ее работа — выручать сбитых английских летчиков и возвращать их на родину. Ну, а бежавших из плена, конечно, в партизаны. Как это делается, тебя, конечно, интересует. Это уж наше дело. В общем, мы будем перебрасывать тебя с этапа на этап.

— А что это за этапы?

— Дома. Квартиры. Жилища бельгийских и французских хороших людей. И смелых, конечно. Врачи, учителя, рабочие. Рискуют жизнью, ведь линия Кометы идет по оккупированным местам, так сказать, сквозь немцев. И случаются провалы. Линия прерывается, приходится ее штопать.

Вмешался Урс:

— Так оно и было незадолго до высадки союзников. Попади ты тогда к нам, тебе пришлось бы торчать здесь целый месяц.

Урс натянул баранью белую куртку, нахлобучил на голову ушанку. Лейзеров тоже поднялся.

— Уходишь?

— Да, есть дело.

— Может, и мне с вами?

Урс покачал головой:

— Ты скоро уйдешь от нас. Тебе нельзя рисковать.

— Так как же это было с Кометой? Вы же недоговорили.

Лейзеров махнул рукой:

— А так, что мофы...

— Кто?

Все засмеялись.

— Это голландцы и бельгийцы так прозвали немцев. Ничего лестного в этой кличке нет. Так вот мофы зацапали целых три узла Кометы. Пока мы их заштопали! Ну, в общем, восстановилась Комета, и опять ребята покатались, как туристы, до самых Пиренеев.

Женщина сидела в углу на табурете. Сумеречная полумгла молодила ее. Она не сводила с Мура странно неподвижных глаз.

— До Пиренеев? А там?

— Что там? Чудак! Там тоже свои ребята, испанские антифашисты. Но не думай, что там можно свободно разгуливать по улицам Мадрида и засматриваться на хорошеньких испанок. Франкисты, или, как их там именуют, фалангисты, — словом, фашистская сволочь вмиг зацапает и сунет в Миранда-де-Эбро, а этот концлагерь почище не-

мецких. Нет, наши ребята тихонько, шито-крыто доставят тебя в португальский порт на английскую подлодку. А то просунут в Гибралтар. Там видно будет.

— Ну, это в случае удачи, — вмешался Урс, стоя уже в дверях. — Конечно, кой кому посчастливилось попасть даже на самолет — и через несколько часов дома. Но это чертовски трудно, там очередь таких, как ты.

Мур пробормотал:

— Только радости, что жив остался. А как же в конце концов люди выкарабкиваются из Португалии?

— А так что пароходом в Голландскую Вест-Индию.

Мур присвистнул и безнадежно махнул рукой. Урс рассердился.

— Ну вот, имей с ними дело, а! — сказал он, обращаясь к Лейзерову.

Тот улыбнулся и сказал мягко:

— Ничего страшного. Путь проторенный. Из Вест-Индии люди попадают в Соединенные Штаты. Оттуда в Канаду. В Канаде ты пристраиваешься к каравану судов, который идет в Англию. Видишь, как просто.

И Лейзеров захохотал жизнерадостно, заразительно. Даже Урс, нетерпеливо топтавшийся у дверей, не удержался от улыбки. Мур пожал плечами:

— Два раза через океан...

Урс сказал с насмешливою рассудительностью:

— Тоже неплохо. Пока ты будешь болтаться по океанам, война кончится.

Лейзеров усмехнулся:

— Есть еще один шанс. В португальском порту устроиться матросом на торговое судно, которое идет в Швецию. Оттуда...

Урс перебил его:

— Швеция трясется над своим нейтралитетом, и парень может попасть за решетку.

— Консул его выручит, — успокоил Лейзеров.

Урс махнул рукой.

— Ну, хорошо, — сказал Мур, — это был урок географии. А как же я все-таки попаду к своим?

Лейзеров опять засмеялся.

— Ты все смеешься! — рассердился Мур.

— Ты знаешь, Мур, у тебя такой досадливый и требовательный тон, будто ты пришел в туристское бюро, которое плохо работает.

— Нет, я ... — пробормотал Мур смущенно.

Лейзеров посмотрел на Мура внимательно и сказал:

— Есть еще один путь. Не знаю, как ты к нему отнесешься... — Он взглянул на Урса. — Говорить?

Урс мотнул головой.

— Через линию фронта, — сказал Лейзеров. — На севере Франции, возле Канн, стоят англичане. Южнее американцы...

— Вот это, кажется, мне подходит, — сказал Мур.

— Не выйдет, — сказал Урс. — Сейчас идут большие передвижения войск с обеих сторон, и можно здорово влипнуть. Нет, оставим уж наш старый, испытанный путь — по этапам. Пошли, Лейзеров.

Лейзеров покосился на женщину, потом на Мура, чуть улыбнулся и вышел вместе с Урсом.

Вернулся Урс один и поздно. За столом сидели Финик и Мур. Между ними бутылка самогона, наполовину пустая. Женщина сидела рядом с Муром. Одной рукой он обнимал ее, другую, со стаканом, вздымал высоко и говорил:

— Черчилль? Э грэйт мэн! <sup>20</sup>

Финик благодушно кивал головой. Женщина смотрела на Мура по-прежнему неотрывно. А он продолжал:

— Рузвельт? Э грэйт мэн.

Урс подсел к столу и налил себе самогона. Мур снова поднял стакан и возгласил:

— Сталин? Э грэйт мэн.

— А Гитлер? — вдруг спросил Финик.

— Гитлер? — переспросил Мур. — Гитлер — о!

Он похлопал себя между ногами. Урс захохотал. Англичанин радостно присоединился к нему. Финик оставался мрачен.

Урс вдруг сделался серьезен, точно с него соскочил весь его хмель. Он сказал задумчиво, вертя в руке стакан:

— Хотел бы я знать, просыпается иногда в Гитлере нечто вроде совести? И вообще есть ли какое-нибудь нутро у этого диктатора, сокрушается ли он о горе, которое принес миллионам людей? А? Как ты думаешь, Мур?

И так как летчик не отвечал, Урс ответил сам себе:

— Нет, конечно. Не сокрушается. Во всяком случае, при дневном свете. Но, как все люди, он должен спать. Верно? И вот во сне, над которым он невластен...

— Невластен? — повторил Мур, заинтересовавшись разговором.

— Да! — грохнул кулаком по столу Урс.

Бутылка покачнулась. Женщина подхватила ее и сердито посмотрела на Урса.

— Ну, поехали! Пью за погибель Гитлера! А ты что ж, Финик? Или тебе тост не по вкусу?

— Не, тост правильный. Дельный тост. Только ты скажи мне, кто нам заплатит за наши прошлые муки, когда Гитлер залез до Волги и Кавказа?

— А ты не вороши это. Сейчас не момент об этом трепаться. Сейчас у нас народный фронт. Объединение! Понял, дурья твоя голова?

— Это ты набрался занятных словечек у иностранцев, — хмуро пробормотал Финик.

— Да ты что! — рассердился Урс. — Какие иностранные словечки? Кто эту Комету тянет? Не я ли, русский? Я из северных, из архангельских. Чистая кровь!

— Слушай, Урс, — сказал Финик удивленно. — Чистая кровь? Это ты про что? А? Ты надрался. Мыслимое ли дело, такое понес? Это из тебя сивуха рычит. — Он вдруг добавил на довольно чистом английском: — He is drunk, isn't he?<sup>21</sup>

Мур не отвечал. Положив голову на плечо женщины, он спал. Она смотрела на него с какой-то строгой нежностью.

Она лежала наверху, на чердаке. Мур разостлал на соломе свой бутл-дресс<sup>22</sup>. Они молча разделись. Она ежилась под шекочущими уколами соломы и тихонько посмеивалась. Он ткнул себя в обнаженную грудь и несколько раз повторил:

— Реджи! Реджи!

Она поняла и, положив его руку к себе на грудь, сказала:

— Вильгельмина...

<sup>20</sup> Большой человек! (Англ.)

<sup>21</sup> Он пьян, не правда ли?

<sup>22</sup> Куртка английского парашютиста.

Он вздрогнул от прикосновения к ее горячему телу и сказал прерывающимся голосом:

— Какое длинное имя...

Желание снова накатилось на него с непреодолимой силой. Тусклый свет лился сквозь маленькое чердачное окно. Он оторвал свои губы от ее губ, и стоявшие внизу, в комнате, снова услышали их голоса.

— А я думала, англичане рыжие, а ты смуглый.

Мур что-то пробормотал. Финик шепнул:

— Как же они разговаривают? Она же ни в зуб ногой по-английски, а он по-фламандски.

— Язык любви, — коротко ответил Урс. — Втюрилась баба.

— Так она ему в матери годится. Фу!

— Что делать! Истосковался...

— Неладно, — сказал Финик огорченно. — Ему что — баловство в дороге, а она по-серьезному.

— Ну уж по-серьезному.

— Думаешь, прикидывается? А в общем, наплевать. — Финик пожал плечами.

Урс откинул тяжелую голову и заговорил, глядя в потолок, как всегда, когда он размышлял вслух:

— Нет, это не притворство, это искренне. Но, конечно, и притворство тоже. Постой, не спеши осуждать ее за лицемерие. Это притворяется не она. Это в ней притворяется то, что хотело приманить Мура. Это военная хитрость великого Инстинкта. А она сама тут ни при чем. А когда Мур вырвется из ее плена, любовь повернется к нему своей черной стороной. И он увидит, что эта женщина совсем другая, некрасивая, старая, глупая, то есть такая, какая она и есть на самом деле.

Мур не попадал рукой в рукав, в бешенстве он натянул куртку с такой силой, что она затрещала. И ботинок сопротивлялся ноге, пуговица ни за что не хотела влезть в петлю воротника. Мур со злостью оторвал ее. Он сердился на вещи. В глубине души он понимал, что, в сущности, сердится на самого себя, но не признавался себе в этом.

Неприятно покосился он на Вильгельмину. Она безмятежно спала, положив под голову голую руку. Даже в чердачном полусумраке было видно, что у нее счастливое выражение лица.

Урс и Финик хмуро смотрели на Мура, пока он спускался по шаткой лестнице. Ему припомнилась фраза, которая полюбилась ему в какой-то книжке, и он крикнул с наигранным молодечеством:

— Простые развлечения — последнее прибежище сложных натур!

— А пошлячок ты все-таки, Мур, — проговорил по-русски Урс.

— *Poshliatchok*, — повторил Мур. — *What is poshliatchok?*<sup>23</sup>

— Ну, обыватель, мещанин.

— *What is meshtjanin?*<sup>24</sup>

Он с трудом втиснул это слово в свой английский рот. Труднее всего ему удалось это невозможное русское «щ».

— *Филистайн*, — перевел Урс.

— Думаешь? Это ужасно. Я не хотел бы стать мещанином.

— Ты еще молодой парень, — сказал Урс мягко. — Больше всего бойся омещаниванья. Из чего оно складывается? Из предпочте-

<sup>23</sup> Что такое пошлячок? (Англ.)

<sup>24</sup> Что такое мещанин? (Англ.)

ния материального духовному, из пренебрежения к людям. Именно отсюда и вырастает хамство деспотизма. Именно так родился и возмужал фашизм.

— Ты уверен в этом? — спросил Мур с сомнением.

— Уверен. Фашисты все-таки обыватели, мещане, бюргеры. Из мещан формируются убийцы. Говорю тебе, Мур, еще раз: самая страшная опасность, которая грозит юноше, это с годами омещаниться. Такая опасность может грозить и целому обществу.

— Но вам... — Мур обвел широким жестом Урса и Финика, — вам, русским, мне кажется, это не грозит. Вы преданы духовным идеалам.

— Да... Это, в общем, так, пожалуй, — сказал Урс задумчиво. — Русские и немцы уж очень непохожи друг на друга. Все у них разное, нередко даже противоположное.

— Ваша великая революция...

— Революция — это великий катализатор душ. Хороших она делает еще лучше, плохих — еще хуже.

— А кого больше? По статистике?

— Да это и без статистики видно. Это...

— Это все мысли, — прервал его Мур нетерпеливо. — Меня не интересуют мысли. Меня интересуют факты.

Урс пожал плечами:

— Некоторые факты — производное от мыслей.

Но Мур упрямо повторял:

— С мыслями подождем до победы над фашистами.

Урс вздохнул и сказал Финику, который напряженно слушал их, не понимая, переводя свои косоватые глазки с одного на другого:

— Тяжело нам будет с этим парнем...

— Так ведь завтра мы дадим ему документ, немного разной валюты и пустим его по Комете, — сказал Финик.

Но так не случилось.

### *Операция*

Вечером пришли Лейзеров и какой-то широкоплечий малый, по виду крестьянин, с торбой за плечами. Лицо его было затемнено опущенными полями порыжелой шляпы. Они долго о чем-то шептались с Урсом. Потом Лейзеров ушел, а тот, другой, остался. Когда он снял шляпу, стало ясно, что он не крестьянин и не малый, а человек средних лет. Черная борода красиво оттеняла его матово-бледное лицо. Смущенно откашлявшись, Урс объявил Муру, что переход по линии Кометы временно откладывается.

— Почему? — вскричал Мур возмущенно.

Пришедший посмотрел на него с холодным удивлением. Урс неохотно сказал:

— В Америке немцы зацапали мельника, нашего человека, наш первый этап. Пока мы не разберемся во всем этом, не наметим новые лазы, тебе придется посидеть у нас.

Мур разъярился. Он говорил, что не хочет ждать, пускай его проведут через лесное бездорожье ночью, и вообще что это за организация, которая так легко разваливается, и что надо быть полными кретинами, чтобы не сохранить потайные тропы, и он не намерен торчать в этих проклятых горах бесконечно.

Пришедший наблюдал его, потом сказал с непередаваемым презрением:

— Британское высокомерие.



Урс терпеливо объяснил Муру, что в условиях подпольной работы под носом у немцев опасно соваться в непроверенные места и что сегодня же ночью они предпримут операцию по освобождению арестованного мельника. А ему, Муру, подберут другой этап.

— Вообще немцы зашевелились, и мне это не нравится,— озабоченно добавил он по-русски, обращаясь к пришедшему.

Тот кивнул и сказал тоже по-русски с каким-то четким и певучим акцентом:

— Да, есть сведения, что их активность возросла. Надо бы сообщить...

Мур поутих. Он все ждал, что его познакомят с пришедшим. Но поняв, что здесь не действуют правила хорошего тона, сам протянул руку и назвал себя. Тот ответил:

— Брандис.

Предки Брандиса, талмудисты, синагогальные служки, наградили его рассудительными интонациями. Он черен, с презрительной и страдальческой линией рта, с тугой, натянутой, как опаленной кожей лица, словно за века скитаний по Европе из него еще не выветрилась жгучесть ханаанского солнца.

Даже годы мучений в фашистском лагере смерти не вытравили из Лейзерова его розоватости, добродушия, округлости. Брандис сух и жилист. Кровавый фашистский антисемитизм не свергнул Лейзерова в еврейство. Он верен России, как растение верно своей почве.

Библейская цветистость и певучесть слышались в каждом слове Брандиса. Он пылок и расчетлив. По утрам он молился по ритуалу иудейской веры. Он не верил ни в бога, ни в черта. Но считал, что надо соблюдать религиозные обряды из соображений политических. Он питал уважение к религии.

Один из немногих уцелевших участников восстания варшавского гетто в 1943 году, он сражался за польское дело на баррикадах варшавского восстания 1944 года. После капитуляции повстанцев он бежал из немецкого плена и вот сейчас здесь, в Арденнских горах, был одним из самых отчаянных макизаров, как называли себя арденнские партизаны. Математик по образованию, он хорошо знал артиллерийское дело. Но какая артиллерия у маки! Два паршивеньких миномета, отбитых у немцев. Впрочем, он знал и саперное дело — наводить мосты, а в случае надобности и взрывать их, минировать горные проходы, рыть подземные ходы,— в этом не было мастера, равного Брандису, на всем расстоянии от Сен-Вита до Бастони. Он был одинок, семья погибла в гетто, его уважали многие, а дружил он, пожалуй, только с Урсом.

На Мура он поглядывал неодобрительно. Он не доверял англичанам. Он знал об их притязаниях на Ближнем Востоке.

— Я слышал, что есть еврейский легион, он сражается в рядах британской армии где-то на Востоке,— сказал Мур тоном любезного собеседника, желая быть приятным Брандису.— В Англии нет антисемитизма. Расовая неприязнь противна самой натуре англичанина.

Брандис сказал жестко:

— У нас в гетто был палач. Когда умерла его канарейка, он сделал ей гробик и похоронил со слезами на глазах.

— Ну, это садист, это выродок,— сказал Мур, махнув рукой.

Брандис сказал глухо:

— Сколько же их, этих выродков, если им удалось засыпать Европу пеплом.

В комнату вошли Финик и Лейзеров.

— Ну что?— спросил Урс.

— Вышли из Американа. Отделение автоматчиков...— сказал Финик.

— Ну а мельник?— нетерпеливо перебил его Урс.

— Гонят с собой.

— Фу, уже легче! Я боялся, что они забьют его до смерти.

— Может быть, это было бы лучше,— мрачно проговорил Брандис.— Из мертвого ничего не выудишь.

Урс поднял одну из половиц и извлек оттуда несколько гранат. Финик и Лейзеров рассовали их по карманам.

— Давид, получай свой паек,— сказал Лейзеров, протягивая ему гранату,— хватит агитировать англичанина.

Брандис сунул гранату в карман. Кивнув в сторону Лейзера, он сказал с горечью:

— Вот видите, перед вами горе еврейского народа. Он потерял национальность. Он забыл о том, что он еврей.

Лейзеров рассмеялся:

— Не потерял, а нашел. Нет, нет, ты меня не заманишь в Палестину. Хочешь создать там новое гетто?

Урс озабоченно посмотрел на часы.

— Сейчас двинем. Мы перехватим мельника, когда они будут переводить его через ручей.

Мур легонько коснулся плеча Урса:

— А мне гранаты?

Урс удивился:

— Ты-то здесь при чем?

— Я с вами.

Урс решительно замотал головой:

— Не могу же я сидеть без дела. Я солдат!

— Да. Но другого рода войск. Не нашего.

— Что за разница! Я пойду с вами.

Урс сказал мягко:

— Да пойми ты, чудак, я не могу рисковать твоей жизнью. Обойдемся без тебя.

Мур рявкнул зло:

— Не доверяешь?

— Слушай, Мур, возможно, не все из нас вернутся, понял?

— Я не боюсь.

— Не в этом дело. Мы обязаны возвращать английских летчиков на родину. Таков приказ.

Но Мур не отставал, просил, клянчил, даже угрожал. В конце концов Урс махнул рукой:

— Ладно, черт с тобой. Только от меня ни на шаг, понял?

Повеселевший Мур набил карманы гранатами, потом перезарядил пистолет. Он радовался, как мальчик, которого ребята приняли наконец в игру.

Из дому вышла Вильгельмина. В руках у нее был старенький фотоаппарат. Она наставила его на Мура. Он замахал руками:

— Нет, нет!

И нырнул за широкую спину Урса.

— Не обижайся,— сказал Урс,— ты уедешь, у нее останется память о тебе.

— Не в том дело,— сказал Мур досадливо,— у нас, летчиков, это считается плохой приметой. Если снялся перед вылетом, обязательно грохнешься.

— Видно, это международная примета,— сказал Урс.— Наши летчики тоже не любят сниматься. Но ведь это перед вылетом.

— Но, может быть, я когда-нибудь все-таки буду летать.

— До этого так далеко, что дурная примета успеет выдохнуться, — засмеялся Урс и вытолкнул вперед Мура.

Вильгельмина щелкнула затвором.

Небольшой отряд тронулся. Уходя, Мур оглянулся. Вильгельмина послала ему воздушный поцелуй. Но Мур смотрел не на нее, а на жестяного петушка, который вертелся на трубе. Он, такой изящный, легкий, очень нравился Муру.

— Не передумал? — спросил Урс. — Еще не поздно вернуться.

— Нет.

— Мальчишка ты, и больше никто, — пробурчал Урс. — Мы идем, потому что это наш долг. А ты лезешь в пекло, как на бабу.

Мур молчал. Не мог же он признаться, что идет с ними потому, что считает, что операция как-то омоет его в его собственных глазах. Он рассматривал предстоящую стычку как нравственную ванну или как отпущение грехов. «Кровь смывает все», — думал он. Вражеская кровь, конечно.

От этих мыслей ему стало легче. Он шел словно на веселую прогулку. Дубы и буки протягивали ему навстречу могучие лапы. Сквозь сплетение веток вдруг прорвался луч солнца, и сразу забронзовели чешуйчатые стволы сосен. Открылся кусок неба, немыслимо синий. «Странно, — подумал Мур, глядя на него не отрываясь, — когда я летал, я не замечал неба. Я замечал только землю. Когда я опять начну летать, я обязательно...» — Он прервал свои мысли: — Почему, собственно, когда? Не правильнее ли сказать «если»? Если я опять начну летать, я обязательно посмотрю на небо...»

Привал сделали на небольшой полянке. Когда стемнело, к ним присоединились еще несколько человек. Мур с интересом взгляделся в них, он надеялся найти соотечественника. Но двое из них были местные крестьяне-фламандцы, двое — французы. Пятый партизан оказался русским, совсем молодой парнишка, его звали Ловычин. Мур никак не мог выговорить это русское «ы», вбитое, как гвоздь, в самую середину фамилии. Фламандцы, Ян и Питер, развели костер. Один из французов, Амедей, вынул губную гармонику и приложил к губам. Урс погрозил ему пальцем, Амедей вздохнул и сунул гармонику в карман. Другой француз, Жан, высокий, худой, нервный, шагал по поляне. Дойдя до края, он резко поворачивался и шагал обратно. Урс неодобрительно смотрел на него. Видимо, это беспокойство перед операцией неприятно действовало на Урса. Но он ничего не сказал Жану.

Наконец они пошли. Снова погрузились в хвойное безмолвие леса. С ветвей валились снежные хлопья, сгоняемые щелчками ветра. Погода переменилась. С неба валилось нечто, уже переставшее быть снегом, но еще не ставшее дождем. Брандис тихо чертыхнулся. Урс сказал:

— Ничего, это лучше. Суматоха в природе нам на руку.

Он приказал держаться поближе друг к другу, чтобы не разбредиться в темноте. Снег, который обычно виден даже ночью, потемнел от влаги и перестал отсвечивать.

Шли, шли, хлюпали по рыхлому снегу. Мур вдруг наткнулся на Брандиса. Тот шепнул:

— Стоп.

Урс пересчитал всех, тыча каждого в плечо, шепча при этом:

— Здесь будем ждать их.

— Долго? — спросил Мур.

— Они пойдут на рассвете.

Ветер и дождь смыли снег с ручья, и в рассветной полутьме он смутно синел между деревьями. Было тихо, и только слышались осторожные хлопающие шаги немцев по некрепкому льду. Мур напрасно напрягал зрение, он видел неясное движение теней, не более того. Большим пальцем он нащупывал предохранитель пистолета. Урс запретила открывать огонь, боялись угодить в мельника.

Мур ощутил легкий зуд в чувствительном кусочке кожи между бровями. Ему было знакомо это нервное напряжение, оно собралось в переносице и в полутьме пыталось заменить зрение. Это было зрение слепых, радар, орган летучих мышей, реликт, остаток древнего чувства...

Внезапный грохот смял эти обрывки мыслей. Партизаны взорвали лед позади немцев, чтобы отрезать им путь к отступлению. Пошла трескотня из автоматов.

И вдруг заговорили птицы — свист, щебетанье. Мур не успел удивиться этому птичьему концерту посреди боя — чья-то мощная рука пригнула его к земле. Внезапно он понял: этот птичий посвист издавали пролетающие пули. Он ведь никогда не был в наземных стычках. А там, в небе, трассирующие пули были безголосыми, все заглушал рев мотора.

Наконец Брандис отпустил его.

— Где Урс?— спросил Мур, растирая замлевшую шею.— Он сказал: «Ни на шаг от меня», а сам исчез.

— Он пошел выручать мельника, боится, что немцы пристрелят его,— сказал Брандис в своей обычной спокойной манере, словно они безмятежно беседовали, сидя в уютных креслах где-нибудь в гостиной у камина. Потом прибавил:— А мне поручил быть возле тебя.

Мур вскочил и, прежде чем Брандис успел остановить его, побежал вперед, к ручью. Брандис побежал за ним, пригибаясь под пулями, шмыгавшими меж деревьев.

Мур прыгал с льдины на льдину. Он уже различал мощную фигуру Урса. А рядом с ним маленького бородатого крестьянина.

Он подбежал к Урсу. Два убитых немца валялись на льду, один вниз лицом, другой на правом боку. Урс сказал:

— Цел? Ну слава богу. Сегодня же пустим тебя по Комете.

— А где ребята?— спросил Брандис.

Урс махнул рукой в сторону леса:

— Побежали догонять мофов. А ты оставайся. Работы много. Надо его спрятать.— Он кивнул в сторону мельника.— Потом отведем Мура на этап, больше ему задерживаться нечего.

Радостное чувство нахлынуло на Мура. Он не думал о трудностях пути. Он видел конец его — Англию! И с нежностью посмотрел на Урса.

— Пойдем!— сказал он в счастливом нетерпении своем.

— Погоди,— сказал Урс,— нам надо прежде раздеть их.

Мур не понял. Урс указал кивком головы на трупы двух немцев, разметавшихся на льду.

— Противная работа,— продолжал Урс,— да что поделаешь—нам нужны немецкие мундиры и документы.

— Я готов! Я могу!— с радостной охотой сказал Мур.

Он был преисполнен радости и любви к партизанам. Ему не удалось принять участия в этой стычке, его берегли, так он хоть чем-нибудь будет полезен этим замечательным людям.

Он нагнулся над одним из трупов и стал переворачивать его с бока на спину. Когда у немца выпросталась правая рука, он поднял ее

и выстрелил в лицо Муру. Брандис молниеносно разрядил в немца его же автомат. Потом он и Урс кинулись к Муру.

Англичанин был мертв.

Стук в дверь не прекращался. В конце концов первый лейтенант Конвей, не вставая с кровати, с досадой отложил книгу и крикнул:

— Какого черта?

Из-за двери что-то неясно пробурчали.

Конвей пожал плечами, поудобнее расположил на кровати свое небольшое тело и снова взялся за книгу. В дверь продолжали стучать, но Конвей не обращал на это внимания.

Это был самый сладкий час посреди дня: отдых после ванны. «Джип» доставлял его из Спа домой за двадцать минут. Продолжая ощущать приятное изнеможение в теле, он тотчас бросался на кровать. А сегодня еще добавочное удовольствие: в Спа он раздобыл небольшую монографию о Кранахе и сейчас наслаждался изяществом издания и совершенством лейпцигской цветной печати.

Однако дверь под напором извне тряслась с такой силой, что Конвейю пришлось встать. Он опустил босые ноги в шлепанцы и, чертыхаясь, поплелся к двери.

На пороге стоял высокий плечистый священник в длинной сутане. Когда он снял широкополую шляпу, Конвей рассмеялся.

— Входите, Урс,— сказал он.— Великолепный маскарад. Раз вы пришли, значит, что-то важное. И вообще я вам рад. Но вы же знаете, у меня строгий режим. Должен вам сказать, что боли в коленных суставах у меня усилились. И это хороший признак — здоровая реакция организма на лечебное действие гидропатии.

— Немцы зашевелились, Конвей. Потому я и пришел. Ребята доносят, что прибыла Пятая танковая армия и передвигают вперед артиллерию. А кроме того, есть данные, что прибыла и Шестая танковая армия СС.

Конвей махнул рукой.

— Вам, партизанам, вечно что-то мерещится,— сказал он устало.— Откуда им взять пополнение? С Восточного фронта? Ерунда! Гитлер влип на Востоке. Русские под Варшавой.

— А все-таки здесь что-то делается. Надо бы сообщить в штаб корпуса.

— Я удивляюсь вам, Урс. Вы старый опытный макизар и поддаетесь каким-то паническим слухам. До весны я вам гарантирую полное спокойствие.— Он засмеялся и добавил: — А для моих суставов мне больше и не нужно.— Потом сказал серьезно: — А весной мы и сами рванем.

Урс настаивал:

— Нет, они что-то затевают. Ребята видели самого командующего — как его? Фон Рундштедт! А он зря не приедет.

— Ах, старый пес уже здесь? Ну, это лучший признак того, что все будет спокойно. Он сторонник стоячей обороны. Вообще неплохой мужик.

Урс нахмурился:

— Конвей, они все виноваты. Тот, кто не говорил «нет», тем самым говорил «да».

После ухода Урса Конвей зевнул и потянулся рукой к лежавшей на столе тетради. Дневники велись ночами, иногда шифром, иногда симпатическими чернилами. Их запаивали в железные банки, закапывали в землю, замуровывали в стены.

Конвей считал, что грешно участнику столь грандиозной войны не отразить ее в своих повседневных записях. Но по лени своей он по-

куда так и не взялся за перо. А впечатления свои изливал в разговорах с кем попало. Неоценимое удобство представлял для этого лейтенант Вулворт по своей молчаливости и охоте слушать. Но он удрал на передний край.

Конвей вздохнул, полистал тетрадь, она была девственно чиста.

Все-таки — правда, не в тот же день и не на следующий, а послезавтра, в день приема ванны, разумеется, перед процедурой, — Конвей завернул в штаб 1-й армии. Там, между прочим, показывая, что и сам не придает этому значения, он рассказал о разговоре с Урсом.

Полковник Бенджамен Диксон (или, как все его звали, Монк, то есть монах, и отнюдь не за монастырский образ жизни), начальник разведки 1-й армии, пожал плечами:

— Неужели вы думаете, что я полезу с этой чепухой к старику Тропу Миддлу? Он меня высмеет, Том.

— Нет, спасибо, — сказал Конвей, отодвигая стакан, — я перед ванной никогда не пью. Я просто рассказал вам, чтобы вы видели, как мне трудно иметь дело с этой оравой неорганизованных неврастеников — маки. Представьте себе, они уверяют, что немцы пригнали в Арденны Шестую танковую армию СС, знаете, ту самую, которой командует обергруппенфюрер Зепп Дитрих.

— Пригнали, да, — сказал спокойно Диксон. — Из оперативного резерва.

Конвей поднял брови.

— Они сосредоточили ее, — продолжал Диксон, — в районе Кёльна. И понятно почему: для отпора нашим войскам, когда мы прорвемся в Кёльнскую равнину. Но вы же знаете, мы рванем только весной.

Прощаясь с Конвеем, полковник сказал:

— Вы выглядите, Том, гораздо лучше. Видно, ваши ванны пошли вам впрок. — И он повторил слова, которые обычно повторяли по всей тоненькой цепочке американских войск в Арденнах и которые звучали как заклинание: — А весной мы сами рванем...

### *Техника*

Стоял густой туман. «Опель-адмирал» фельдмаршала Моделя с трудом пробирался по заснеженным горным дорогам. Некогда элитная машина была как лишаями сейчас покрыта маскировочными пятнами. К задку приторочен безобразный железный баллон — газогенератор, наполненный деревянными чурками: мотор переведен на твердое топливо. Заботливый шофер навалил на крышу автомобиля еловых веток для камуфляжа, хотя день был явно нелетний. Чем больше густел туман, чем больше ощущал фельдмаршал его студенистую плотность, тем больше он радовался. «Небо за нас!» — вспоминал он слова Гитлера и повторил их, когда прибыл на командный пункт 5-й танковой армии. Генерал Мантейфель, предупрежденный по телефону, уже ждал его. «Если только туман не рассеется», — мысленно ответил Мантейфель на бодрое восклицание Моделя, а вслух подтвердил:

— Фюрер взял небо в союзники.

— Молодой метеоролог, фюрер назвал его метеопророком, — сказал Модель, — предсказал длинную серию нелетних дней. Фюрер наградил его.

Мантейфель понимающе склонил скуластое, обветренное, тонкогубое лицо. Они следили не только друг за другом, но и за собой — не дай бог, вырвется лишнее слово.

Потом пошли в танковые роты. Скользили по наледи, кутались в плащи, перепоясанные широкими ремнями. Ветер налетал дикими порывами, сметал снег с деревьев — армия упряталась в лесах. Генералы окунали носы в меховые шалевые воротники. Адъютанты, шедшие позади, прикрывали лица тяжелыми портфелями, набитыми картами и схемами боевых участков.

По дороге Модель сказал:

— Повторяю, генерал: никаких перемен. Обращаю на это ваше особое внимание. Фюрер собственноручно начертил на операционном плане: «Изменению не подлежит». Ваш сосед справа, Шестая танковая армия Дитриха, обойдет Первую и Девятую американские армии, обрушится на Четвертую и отшвырнет ее за Маас.

— Стало быть, мне...

— Вы — на Намюр. Будете обеспечивать левый фланг Дитриха.

Как ни был осторожен Мантейфель, но тут не выдержал:

— Вспомогательное направление?

— Таков приказ, — холодно ответил фельдмаршал.

Мантейфель хотел сказать, что 6-я танковая армия — эсэсовская, а эсэсовцы прославились победами главным образом над мирным населением. Но сдержался. Но даже в молчании генерала Модель, очевидно, почуял протест и, быстро повернувшись к нему, сказал:

— Обе задачи равно существенны.

Невысокие, как боксеры в весе мухи, набычившись, стояли они друг против друга под мелким мокроватым снегом, который сеял непрерывно. Мантейфель проговорил, не разжимая зубов, выдавливая каждое слово:

— Вы хорошо помните, господин фельдмаршал, состав моей армии? Три танковых дивизии и четыре пехотных?

— Вы забыли о мотобригаде.

— Да, бригада «фюрербегляйт» из охраны фюрера. Но ведь она...

— Что она? — надменно осведомился Модель.

— О нет, я ничего плохого не хочу о ней сказать. Но ведь по функциям своим она преимущественно полицейская.

— Так что из этого следует?

— Да нет, ничего. Но вспомните, господин фельдмаршал, еще год назад танковые армии имели по семнадцать и даже по двадцать дивизий.

Модель вздохнул.

— Может быть, еще не поздно, — сказал он задумчиво, — перебросить с Восточного фронта...

— С Восточного? И вы это предлагаете, зная, что русские наседают на южном участке, а на севере они уже в пределах Восточной Пруссии!

— Я ничего не предлагаю, — несколько вызывающе сказал Модель. Потом примирительным тоном: — Здесь два решающих фактора за нас: внезапность удара и нелетняя погода.

Они достигли расположения 47-го танкового корпуса. В тумане мелькали призрачные силуэты, неясно темнели громады танков и автомашин, полуврытые в землю. Все было похоже на гигантский театр теней. Группа танкистов хлопотала над кучей хвороста. Туман капельками оседал на их кожаных комбинезонах.

Мантейфель позвал:

— Капитан!

Штольберг подошел и откозырял со щегольством старого военного.

— Ваша часть укомплектована полностью? — спросил генерал.

— Так точно, господин генерал.

Штольберг хотел прибавить, что сегодня в его автоколонну пригнали семнадцатилетних курсантов и даже есть в пополнении несколько гимназистов из гитлерюгенда, ребятам по пятнадцать лет, но воздержался. Тем более что рядом с генералом стоял незнакомый офицер, видно шишка из главного командования — ведь, выезжая на передовую, они надевают одежду без знаков различия.

— Фаустпатронов достаточно? — отрывисто спросил незнакомый офицер.

— На вооружении батальонов по восемьдесят фаустпатронов, — отчеканил Штольберг.

Незнакомый офицер удовлетворенно мотнул головой. Внезапно налетел ветер, взметнул кучу мокрого снега, залепил глаза. Модель поплотнее запахнул плащ, при этом блеснуло на воротнике кителя серобро маршальских нашивок. Штольберг мгновенно смекнул, кто перед ним. Только он собрался почтительно осведомиться: «Разрешите быть свободным?» (в его положении лучше подальше от начальства) — как Модель спросил:

— Кострами обогреваетесь?

Штольберг не знал, что ответить — хорошо ли, что кострами, или плохо, — как Модель сам сказал:

— Разумно. Фюрер строжайше запретил расходовать горючее на обогрев моторов и людей.

Мантейфель счел момент подходящим для того, чтобы с одобрением отозваться о всеобъемлющей гениальности фюрера, который наряду с решением мировых проблем не забывает и о мелочах.

— Вы только подумайте, — сказал он, — фюрер подал идею немецким домашним хозяйкам ввиду временной нехватки съестных продуктов перейти на систему Eintopfküche<sup>25</sup>.

«Серьезно он это или издевательски?» — подумал Штольберг, все еще стоявший навтыжку.

— Однако с кострами надо поосторожнее, чтобы не демаскироваться, — заметил Модель.

Мантейфель улыбнулся.

— Капитан, доложите о технике ваших костров, — сказал он.

— Мы жжем древесный уголь, он развивает жар, но не дает дыма.

— Превосходно! — воскликнул Модель, окончательно придя в хорошее настроение. — Надо этот опыт распространить на весь фронт.

Они пошли в расположение танкового полка. Аджютанты следовали за ними. Штольберг, посомневавшись, пошел следом за ними.

— Толковый офицер, — сказал фельдмаршал. — Кто таков?

— Капитан Штольберг. Мне подали на него рапорт.

— А что такое?

— Дело на него заведено. Еще по Восточному фронту. Ввиду предстоящего наступления решено отложить разбор до конца операции.

Модель равнодушно кивнул.

Подбежал и рапортовал командир танкового полка, рыжий дегина, каска с трудом держалась на его массивной голове.

— Танки у вас, я вижу, марки «Т-четыре», — сказал Модель.

Мантейфель развел руками.

— Есть некоторое количество «пантер» и «тигров», — рявкнул полковник.

— Ах так? — удовлетворенно сказал Модель.

<sup>25</sup> Всю пищу в один горшок (нем.).



Увидев подошедшего Штольберга, он посмотрел на него благо-склонно и сказал:

— Добрая это машина, «тигр», не правда ли, капитан?

— Да... — неопределенно протянул Штольберг. В ответ на вопро-сительный взгляд фельдмаршала он прибавил: — Маневренности не хватает. — И после паузы: — И вооружения.

Модель нахмурился:

— Объясните.

Штольберг отчеканил уставным тоном:

— «Тигров» выпускают две фирмы — «Хеншель» и «Порше». «Тигр» фирмы «Порше» не имеет пулемета и поэтому не может вести ближнего боя. У нас на вооружении «тигры» марки «Порше».

Модель покосился на Мантейфеля. Тот молчал с непроницаемым видом. Наступила неловкая пауза. Дело в том, что год назад в битве на Курской дуге в армии Моделя было девяносто «тигров». И это бы-ли именно «тигры» марки «Порше»...

— Есть у нас и «королевские тигры», — поспешно вставил полков-ник. И с гордостью добавил: — Толщина лобовой брони — сто пять-десят миллиметров.

— А скорость? — спросил Штольберг.

Полковник оглянулся и, увидев, что перед ним не более чем ар-мейский капитан, не счел нужным ответить.

— Вы слышали вопрос? — строго спросил фельдмаршал.

Полковник неохотно сказал:

— Скорость тридцать четыре километра. — Но тут же с воодушев-лением добавил: — Зато у «пантеры» — пятьдесят четыре! Скорост-ная самоходка! Не утонишься!

Штольберг кашлянул. Модель покосился на него.

— Говорите! — приказал он.

— Разрешите доложить, — сказал Штольберг, — что из-за недоста-точной защищенности системы смазки «пантера» быстро портится. Питание горючим неудовлетворительное. «Пантера» быстро воспламе-няется. На Курской дуге во время операции «Цитадель» «пантеры» горели, как факелы.

Мантейфель торопливо вмешался:

— Капитан Штольберг, можете быть свободны.

И с опасением покосился на Моделя. Тот помрачнел и резко от-вернулся. Он не выносил напоминаний об операции «Цитадель», где он со своими армиями 9-й и 2-й танковой потерпел такой постыдный крах.

### *Ангелы не лгут*

— О чем задумался, старик? — крикнул совсем молоденький солдат.

Они грелись у бездымного костра. Рядом сидел его брат-близнец, совершенно неотличимый от него, такой же розовощекий, с такими же белыми ресницами. Их различали только потому, что у одного был небольшой шрам над левой бровью.

Тот, кого называли стариком, молчал. Это был новобранец из фольксштурмистов. Он поднял лицо, иссеченное морщинами настоль-ко глубокими, что туда с трудом проникала бритва и они заросли се-доватой щетиной. Его мобилизовали совсем недавно, и из его слезя-щихся глаз еще не выпарилось удивление. Он дышал на пальцы, ста-раясь их согреть. Под каской он повязал шарф на манер подшлемни-ка. Это не полагалось, но в густом морозном тумане обер-фельд-фебель не заметит. Фольксштурмист посмотрел на близнецов и сказал:

— О чем я думаю? Да все о том же... Никак не могу понять: грешники мы или праведники, черт бы нас побрал!

Близнец со шрамом предостерегающе приложил палец ко рту, но было поздно. Лейтенант из роты пропаганды, развешивавший на дереве плакат «Каждый немецкий солдат делает внешнюю политику!», тронул фольксштурмиста за плечо. Тот вскочил. Нижняя губа его отвисла. К ней приклеилась потухшая сигарета.

— Так ты не знаешь, кто ты такой? — спросил лейтенант. — Я тоже не знаю, кто ты такой. От тебя дурной запах. Не немецкий.

У лейтенанта подергивалась щека. Видимо, он страдал тиком. Близнец — тот, что со шрамом, — тотчас начал бессознательно подражать ему. Другой близнец подвинулся и собой прикрыл брата от лейтенанта.

— Господин лейтенант, у меня есть расовый паспорт.

Старик дрожащей рукой вытащил из кармана изрядно потрепанный паспорт. На его обложке значилось: «Только для людей немецкой крови. Обладание паспортом не разрешено людям смешанной крови. Издание НСДАП. Мюнхен».

Лейтенант полистал паспорт, вернул его фольксштурмисту, что-то проворчал и принялся прибивать под первым плакатом второй с надписью: «Верить! Сражаться! Повиноваться!» Солдаты молча наблюдали. Когда лейтенант отдался, старый фольксштурмист сказал:

— Я продрог. Сыро... Пойду за кипятком.

— Сиди, — сказал близнец со шрамом. И, обратившись к брату: — Гельмут, принеси кипятку.

Гельмут послушно поднялся.

— Хорошо, Хорст, — сказал он и скрылся в гущине леса.

Рослый солдат, дремавший, прислонившись к дереву, вдруг очнулся и спросил, подмигнув:

— Он младший?

— Не в том дело, — сказал Хорст. Он коснулся пальцем шрама над бровью: — Это его работа.

— Ну? — заинтересовался рослый. Он толкнул своего соседа, тоже дремавшего рядом: — Слышишь, Иоганн? Библейская история: Авель и Каин.

И он захохотал во все горло. Когда он смолкнул, из лесного мрака донеслось эхо его хохота. Иоганн потянулся, встал — ладный паренек небольшого танкистского росточка, в танковые части подбирали невысоких. Сказал, зевнув:

— Кастетом двинул?

— Футбол, — сказал Хорст, оглядывая всех невинными голубыми глазами. — Еще в детстве. Заехал бутсой. Мог глаз вышибить. Вот и казнится всю жизнь.

— Никак не могу проснуться, — сказал рослый солдат, зевая. Он стал стаскивать с себя шинель, потом китель, потом рубаху.

— Вилли, ты совсем одурел! — сказал Иоганн.

— Это не так глупо, воспаление легких ему обеспечено, — сказал фольксштурмист, понимающе улыбаясь.

— Что за радость? — не понял Хорст.

— Ловчится в госпиталь, — пояснил фольксштурмист.

— Ты там помалкивай, старое чучело! — отозвался Вилли. Он принялся растирать снегом свой безволосый торс.

— Я этому научился в России, — говорил он, — от одного старичка, крестьянина, славный такой, просто жалко было его кончать.

— А зачем? — удивился Хорст.

— Ну а что поделаешь, — сказал Вилли, хлопывая ладошками свое покрасневшее тело. — Мы угоняли русских в Германию. Старик

захромал, задерживал колонну. Пришлось истратить на него пулю. Он ничего, только перекрестился перед тем, как я сделал ему *genickschuß*<sup>26</sup>. Смирный... Так вот он надоумил меня растираться снегом. Это очень здорово.

Он стал натягивать на себя рубаху.

— Ты что, бреешь тело? — спросил Иоганн.

— Пошел ты! Я от природы такой гладкий.

— Может, ты баба? — ехидно сказал Иоганн.

Вилли расстегнул ширинку:

— А это у бабы есть?

Все помирали со смеху. Только на тоскливом лице фольксштурмиста появилась гримаса отвращения.

— А ты, старик, чего морду воротил! Да сними шарф с каски, он тебе не к лицу.

— Ах, что мне теперь к лицу... — пробормотал фольксштурмист.

— Как что? Саван! — крикнул Вилли.

Хохоча, он ушел с Иоганном, пообещав принести колбасу для всех.

Старик вздохнул:

— Когда-то наша армия была что надо... Никто не мог противостоять ей. Францию смяли в несколько дней. В общем, вся Европа накла в штаны. Да, так это было...

— Почему «было»? — искренне удивился Хорст.

— Потому, мой дорогой сосунок, что теперь германская армия выродилась. — Он приподнял край шарфа и тронул свой седой висок: — Дошли до того, что стариков забривают. Ну, скажем, я еще смогу опереть ствол о бруствер и пульнуть в американцев. А что толку, я тебя спрашиваю?

Он выкатил на Хорста слезящиеся глаза.

Хорст не знал, что ответить. Он искал взглядом брата. Но того не было. Старик ему нравился. Несмотря на его смешную и жалкую неприглядность, в нем было что-то умное и добродушное. Хорст сказал неуверенно:

— Фюреру нужны Арденны. Мы ему их доставим.

Старик махнул рукой:

— Он импровизатор, наш фюрер. Ты можешь это понять? Он тычется то в одну сторону, то в другую. Давит маленькие государства. Велика ли честь победить Данию или Норвегию?

— А Россию?

— Так ты же видишь, что его турнули из России. Вломился туда врасплох, как ночью к спящим. А когда русские очнулись, он вылетел, как пробка из бутылки шампанского. И с Францией та же история. И с Африкой. На кой черт она ему понадобилась! Теперь он опять прет на Францию. И опять получит по зубам. Только это будет для него конец... Но что с тобой? Ты плачешь, мальчик?

Хорст утер глаза.

— Нет, ничего... Я не имею против тебя зла, отец, ты говоришь от сердца. Но это немыслимо! Фюреру дано видеть, чего не видим мы, простые люди. Не надо рассуждать. Надо идти за ним — и мы придем к цели.

Фольксштурмист посмотрел на Хорста с сожалением:

— Было время, и я так думал. Но с годами я убедился, что, когда человек приобретает власть, он становится другим. Да, да! Я, между прочим, давно подозревал, что Гитлер — это между нами, конечно, — носил в себе семена ненормальности и раньше. А захватив власть, он

<sup>26</sup> Выстрел в затылок (нем.).

раздулся в деспота. Но я тебе говорю, малыш, я убежден: деспотическое в нем жило с детства. И не возвысился он, а остался рядовым человеком, как мы с тобой, он угнетал бы членов своей семьи, или солдат своего взвода, или подручных в своей лавчонке. Такой человек всегда находит наслаждение в унижении подвластных ему. Ты хочешь знать мое мнение? Я уверен, что во всяком честолюбии есть зародыш безумия. Приглядишься к нашим золотым фазанам — и ты увидишь...

Внезапно он замолчал и растерянно уставился во что-то за спиной Хорста. Хорст оглянулся. Под деревом стоял лейтенант из Propaganda Abteilung<sup>27</sup>. Он сказал:

— Ну что ж ты замолчал? Говори! «Приглядишься к нашим золотым фазанам — и ты увидишь...» Что увидишь?

— Нет... Я вовсе не думал... Вы меня не поняли... я...

— Марш со мной!

Фольксштурмист шагнул, но лейтенант остановил его:

— Нет, не ты. — Он кивнул Хорсту: — Ты!

Когда Гельмут вернулся с бидоном кипятка, он застал у костра одного фольксштурмиста.

— Где брат?

— Его увел этот, из пропаганды.

— Что-нибудь случилось?

— Не с ним. Со мной.

— Не понимаю.

— Черт меня дернул за язык... В общем, понимаешь, я разоткровенничался в разговоре с твоим братом. Ничего особенного. В тылу все чешут языки. В своей компании, конечно. Эта паскуда из отряда пропаганды неслышно подкрался. Но, очевидно, под самый конец нашего разговора... Но я уверен, твой братишка не подведет меня? Он такой славный, такой чистый...

— Мой брат ангел! Понимаешь?

— Ну да, я же говорю.

— Ты ничего не понимаешь: ангелы не лгут...

Через несколько часов 5-я армия перебазировалась. На извилистых арденнских дорогах трудно было определить направление. Но солдаты догадывались, что их передвигают поближе к исходным рубежам предстоящего наступления. Уже было светло, когда передовые части достигли опушки леса. Здесь танки остановились, чтобы пропустить конную артиллерию. Копыта коней были окутаны соломой. Запрещено было разговаривать. Американские дозоры стояли недалеко, за грядой ближайших гор. Их иззубренные вершины четко вырисовывались на бледнеющем небе. Все же солдаты шепотком оживленно переговаривались и глазели на какое-то сооружение на самой опушке у выхода в узкое пологое дефиле. К этому месту медленно, на малых оборотах мотора приближался танк, на броне которого сидели близнецы. Гельмут схватил Хорста за руку и крикнул, пересиливая грохот танка:

— Не смотри туда! Отвернись!

Он обнял Хорста за плечи и с силой повернул его. Хорст повиновался. Почувствовав, что объятия Гельмута ослабели, он чуть повернулся и посмотрел...

Это была виселица. Даже шарфа не сняли с головы старого фольксштурмиста — видно, спешили. К груди его был прикреплен

<sup>27</sup> Отряд пропаганды (нем.).

плакат с надписью «Он обманывал фюрера». Старик тихо покачивался под утренним ветерком. Гельмут со страхом смотрел на брата. Шрам над его бровью набух и покраснел, словно налился кровью.

### *Чистокровные*

Фельдмаршал Вальтер фон Модель был человек долга. Поэтому из 5-й танковой армии он отправился для инспекторского смотра в 6-ю танковую армию СС, сколь ни неприятно ему это было. Дело не только в том, что он терпеть не мог командующего армией обергруппенфюрера (а в переводе с эссовского на обычный немецкий — генерал-полковника) Иозефа Дитриха, да, именно Иозефа, а не Зеппа, как его звали в те времена, когда он был коридорным в мебелирашках последнего разряда и мечтал о карьере мясника. «Ну так что? — уговаривал себя фельдмаршал. — Это еще не причина презирать его. Мюрат, прославленный наполеоновский маршал и даже впоследствии король неаполитанский, тоже был, кажется, чем-то вроде сына кабатчика...»

Но дело еще и в том — и, может быть, это главное, — что Модель в глубине души считал ошибкой сведение всех танковых частей СС в одну армию. Она ему казалась непрофессиональной в военном отношении, просто довольно беспорядочное скопище разудалых парней, нечто вроде партизанщины навыворот. Разумеется, он не говорил этого вслух и лгал даже самому себе, уверяя, что идея Гитлера великолепна. Он знал, что фюрер жаждет увидеть превосходство эссовских частей над регулярными войсками. Отчасти поэтому он и расположил рядом с армией Мантейфеля армию Дитриха, да еще поручил ей главную роль в предстоящем наступлении.

Это и беспокоило Моделя. Штаб 6-й армии СС производил любительское впечатление. Притом он держался подчеркнуто самостоятельно, даже заносчиво. И это могло неблагоприятно повлиять на взаимодействие с соседней 5-й армией.

Фельдмаршал подавил в себе все личное и настроился исключительно на деловой лад, когда к нему стал приближаться, бодро переваливаясь на кривоватых ногах, помахивая короткими ручками, бочковатый, с фюрерскими усиками на смуглом широконом лице обергруппенфюрер Зепп Дитрих. Ни рыцарский крест с дубовыми листьями, ни блеск всевозможных эмблем, значков и нашивок на ладно скроенном кителе не могли скрыть, на взгляд Моделя, поразительного сходства Дитриха с полупьяным барменом в захолустном трактире.

Он не рапортовал фельдмаршалу, такие мелочи считались излишними в частях СС. Он просто протянул руку и, приветствуя, засмеялся хрипловатым скачущим смехом.

Накануне Модель распорядился, чтобы разведуправление вверенной ему группы армий «Б» представило биографические данные о Дитрихе, и теперь он знал, что во время первой мировой войны Дитрих дослужился до чина фельдфебеля, с приходом Гитлера к власти был командиром лейб-штандарт дивизии СС (ах, как тешило фюрера это «лейб-штандарт»!), участвовал в присоединении Австрии — это считалось его боевой заслугой, хотя ни единого выстрела там не было сделано. Выстрелы звучали в другом случае: когда Зепп Дитрих во время «ночи длинных ножей» 30 июня тридцать четвертого года расстреливал по воле Гитлера своих партийных товарищей. Дитрих подавал команду «огонь!», прибавляя скороговоркой: «Так требует фюрер!» Характеристика, представленная управлением разведки, до-

бавляла, что обергруппенфюрер Зепп Дитрих по личным качествам храбрый генерал, но в танковой стратегии невежда, тщеславен и неуверенно болтлив, недалек и склонен к особой форме любви.

Фельдмаршал осведомился, какова предполагаемая диспозиция частей в день наступления.

— Мы опрокинем эту дерьмовую Четвертую американскую армию и ее потроха выметем за Маас! — воскликнул Дитрих.

Модель поморщился. Дитрих грубо копировал фюрера, его манеру выражаться. Если бы захотеть составить словарь языка Гитлера, то, вероятно, выяснилось бы, что самые излюбленные изречения его, с одной стороны, «судьба», «величие», «раса», а с другой — «слюнявый», «сопливый», «заблевающий», «вонючий» и тому подобные словечки, удержавшиеся с того времени, когда он в чине ефрейтора был вестовым при штабе Баварского полка. Сейчас он применял их не только к людям, но и к целым странам.

Модель не смел даже в душе осуждать Гитлера. Сам фельдмаршал был склонен к возвышенному слогу, в какой он облакал свои приказы и обращения к солдатам. Его идеалом были знаменитые слова Наполеона, сказанные им в Египте у подножия пирамид: «Солдаты! На вас смотрят сорок веков!» Подсознательно он находил в себе что-то общее с императором французов, даже свой малый рост.

В сущности, Модель был не столько полководцем, сколько организатором быстрым, толковым, распорядительным. И так как военное искусство есть по преимуществу искусство организации, то Модель преуспевал там, где, как, например, под Арнемом, ему удалось быстро и умело собрать из разных мелких резервных частей боееспособную силу и противопоставить ее неточным, разрозненным, попросту неумным действиям Монтгомери.

Но есть высшее, подлинное военное искусство, включающее в себя и искусство организации, но неизмеримо поднимающееся над ним, гениальная способность распоряжения большими войсковыми массами и крупными средствами боя — искусство большой стратегии. Им Модель не обладал. И встречаясь с такой стратегией противника, неизменно терпел поражения.

Сейчас Модель предложил более точно определить участок предстоящего наступления. Дитрих, явно скучая, буркнул:

— Это не мое дело. Это по части Крамера.

Начальник штаба армии Крамер, долговязый мрачный генерал СС, сказал неохотно:

— Наша боевая задача простая: Маас. На фланги нам наплевать. В сороковом году, когда мы брали Францию и перли через эти самые Арденны, мы тоже плевали на фланги и победили. — И прежде чем Модель успел что-нибудь сказать, он поспешно добавил: — У нас личное распоряжение фюрера.

На это трудно было что-нибудь возразить. Модель знал, что Гитлер действительно настаивал на непрерывном движении вперед, пренебрегая флангами. Новостью для фельдмаршала было другое: оказывается, Гитлер непосредственно руководит эсэсовской дивизией, минуя командование группы армий «Б», то есть не считаясь и не интересуясь его, фельдмаршала Моделя, распоряжениями.

Дитрих поблескивал хитрыми веселыми глазами, явно наслаждаясь унижением фельдмаршала. Он прохрипел, как бы желая вырвать Моделя из неловкого положения, но этим презрительным великодушием еще больше его унижая:

— Нам нужен лозунг, Модель. Дайте нам лозунг!

— На Антверпен! — бросил Модель.

— Можете считать, что Антверпен у меня в кармане,— ответил Дитрих со своим обычным хохотком.

Фельдмаршала продолжала мучить мысль: а что, если личные распоряжения Гитлера эсэсовской армии расходятся с общим планом наступления? Ведь это грозит таким крахом... Мысль эта ужаснула Моделя. Он сделал усилие, чтобы не выдать волнения и сохранить на лице бесстрастие. Как узнать? На прямой вопрос нечего ждать откровенного ответа. Надо схитрить, предпринять глубокий обход. Преодолевая брезгливость, Модель взял Дитриха под руку и сказал дружеским тоном:

— Лишь бы только удержалась нелетная погода, а тогда...

— Плевали мы на погоду!

— Ну,— сдерживая себя, сказал Модель,— вы же знаете, что американские истребители-бомбардировщики броневойными сорокамиллиметровыми снарядами подбивают наши танки.

— Вранье! — заорал Дитрих.— Бабы сплетни! Эти вшивые американцы умеют делать только лезвия для бритв да холодильники! Шестнадцатого мы выступаем, семнадцатого мы будем в Сен-Вите.— Он повернулся к подошедшему молодому офицеру: — Не так ли, Вайнерт? Вот он пойдет в авангарде. Я тебе дам, Теодор, тысячу отборных парней.

Модель облегченно вздохнул. Если только Дитрих не врет, это направление удара не расходитя с общим оперативным планом.

Вайнерт, красивый рослый обер-лейтенант, перетянутый поясом по узкой талии, стоял спиной к Моделю, не обращая на него никакого внимания. Формально он имел на это право, поскольку на плаще фельдмаршала не было знаков различия. Однако трудно было предположить, что он не знает в лицо командующего группой армий.

Дитрих крикнул притворно строгим голосом:

— Оберштурмфюрер Вайнерт, вы что, не видите, кто стоит сзади? Вайнерт огрызнулся с видом всесильного фаворита:

— У меня сзади нет глаз.

— Зато у тебя есть сзади кое-что получше,— захохотал Дитрих и хлопнул оберштурмфюрера пониже спины.

Модель уже слышал, что в тесном кружке Зеппа Дитриха шлепок по заду был обычным приветствием, он также понял, что этот красивый оберштурмфюрер, очевидно, очередной «молодой друг» Дитриха. Модель только не предполагал, что этими противоестественными связями так открыто похваляются, как если бы статья сто семьдесят пятая, карающая за половые извращения, значилась в фашистском уголовном кодексе просто для приличия.

Вайнерт повернулся и откозырнул.

— Бравый офицер, а? — сказал Дитрих. И прибавил: — У офицеров моей армии чистая немецкая кровь документирована с тысяча семисотого года.

Фельдмаршал понимающе кивнул и спросил:

— Как у вас обстоит дело с горючим?

Дитрих разразился ругательствами в стиле ефрейторского словаря фюрера:

— Эти занюханые собачьи свиньи в ставке пересекретничали! Из-за хреновой военной тайны горючее заброшено к чертям восточнее Рейна!

Генерал Крамер добавил:

— Мы получили только тридцать процентов от требуемой нормы. Дитрих вдруг хитро улыбнулся:

— Но я подкатился к этому старому чучелу Кейтелю. Недаром его называют начальником имперской бензоколонки. И я у него выклянчил еще немножко. В общем, до американских складов хватит.

Модель отогнул рукав и, приставив к глазу монокль, посмотрел на часы.

— Уезжаете? — спросил Дитрих, неприязненно покосившись на монокль, который почему-то раздражал его. Но вспомнив, что он, как хозяин этой армии, приневолен к гостеприимству, сказал с деланным радушием: — Может, хотите послушать наш зингерферейн? У нас тут такие певцы!

Модель вежливо отказался, сославшись на необходимость побывать на южном участке фронта, в 7-й полевой армии.

— Передайте мой привет старику Бранденбергеру. Они там запаршивели от бездействия. Ничего, скоро мы расшевелим всех вас! Модель проглотил и это «вас».

### *Теорема Гёделя*

Воскресенье всякий, кто мог вырваться из Арденн, проводил обычно денек, а уж ночку-то во всяком случае, в Париже. Изобретали разные предлоги, клянчили увольнительные записки, а то и просто сматывались в самовольную отлучку, надеясь проскользнуть незаметно мимо всевидящих очей ребят с буквами Эм-Пи на белом шлеме. А! Что там! В конце концов, за самоволку в Париж стоит... Если Париж стоит обедни, так уж наверняка он стоит суток на губе.

Разумеется, для генерала Омара Н. Брэдли эта проблема не существовала. Иногда он прихватывал и субботу. В Париже всегда найдется дело: в Версальском дворце, этом, как его прозвали, последнем бомбоубежище Европы, — верховный штаб экспедиционных сил союзников.

Длинный, тощий, неразговорчивый, целыми днями шагал Омар Брэдли по апартаментам люкс в «Альфе», лучшем отеле в Люксембурге. Иногда ему хотелось, чтобы немцы ринулись в контрнаступление. «Пусть они наконец вылезут из своей арденнской норы!» Он уподоблял себя дорогостоящей машине, которая простаивает. Порой он прибавлял: «И ржавеет».

Вызвав к себе полковника О'Хейра, помощника начальника штаба по личному составу, генерал сказал своим тихим монотонным голосом, поправляя очки в простой стальной оправе:

— Джозеф, я думаю, вам надо смотаться к Айку в Шеллбёрст по вопросу о пополнениях. Внушите ему наконец, черт возьми, что у нас здесь просто скандальная нехватка в живой силе.

Даже в разговоре со своими сотрудниками генерал Брэдли называл Версаль, просто чтобы не растренироваться, кодовой кличкой Шеллбёрст (что означает «разрыв снаряда»).

О'Хейр, массивный рыжий ирландец, в прошлом тренер футбольной команды, понимающе кивнул. Повинуясь приглашению генерала, он бережно опустил в хрупкое креслице грузное тело, словно литое... да нет, какое-то шишковатое, не литое, а скорее сколоченное из неровных стальных чурок, но так, что не разомкнешь. Он придал своему лицу озабоченное выражение, думая в то же время, что неплохо будет в Париже хоть немного отмякнуть от арденнской зимней оцепенелости. Тем более с его отличным знанием французского языка вплоть до жаргонных словечек. Не говоря о других развлечениях, которые нетрудно доставить себе даже в военном Париже, там, на площади Этуаль, под Триумфальной аркой, у самой могилы Неизвестного солдата первой мировой войны, а то рядом под деревьями Елисейских



полей у спекулянтов, среди которых, к сожалению, попадают и американские солдаты, можно раздобыть сигареты «Честерфильд» и «Кэмел», притом не пачку, а целый ящик, а также джин и виски и даже канистру розового «нелегального» бензина.

Но помимо всего этой поездки действительно требует дело.

Наморщив по-деловому лоб, О'Хейр сказал:

— Собственно, Эйзенхауэр не хуже нас с вами знает, что роты не укомплектованы почти наполовину. Страшно подумать, что будет весной, когда начнутся бои, если мы не используем зимнее затишье. Но вы же знаете, генерал, в Вашингтоне гонят пополнения Макартуру на Тихий океан, хотя даже последнему дебилу ясно, что судьба войны должна решиться в Берлине, а не в Токио.

— Вот все это вы еще раз и вывалите Айку. Надо долбить в это место. Возможно, он пошлет вас с докладом в Вашингтон.— Заметив, что О'Хейр мнется, генерал спросил: — Что-нибудь еще?

— Прошу прощения, генерал, но я думаю, что если бы вы лично согласились вместе со мной смотаться в Верс... простите, в Шелл-бёрст, шансы на успех значительно возросли бы.

Генерал Омар Н. Брэдли задумчиво потер свое продолговатое большеносое лицо и согласился.

На следующее утро генеральский «кадиллак» был подан к подъезду «Альфы». Брэдли сел сзади, с удовольствием ощущая тепло, исходившее от четырех угольных грелок, поставленных за сиденьем. Две вещи, как всегда, были при нем, ибо постоянство было его религией. Под мышкой небольшой томик вальтер-скоттовского «Айвенго», которого он не уставал перечитывать. На бедре в солдатской кобуре колот одиннадцатимиллиметрового калибра, старомодная громадная пушка, которую генерал нацепил на себя впервые тридцать лет назад, когда был произведен в лейтенанты. Он питал нежную привязанность к этому кургузому пистолету, хотя вряд ли стрелял из него где-нибудь, кроме тира. Эти два признака свидетельствуют, что этот суровый и даже мрачноватый человек не был лишен некоторой душевной чувствительности.

О'Хейр втиснулся рядом с Брэдли, а генеральский адъютант капитан Честер Хенсон сел впереди. Из бокового кармана его шинели торчала свернутая в трубку довольно толстая тетрадка—это был дневник, с которым Хенсон не расставался ни на минуту.

Второй адъютант капитан Брегдон тоскливо смотрел вслед уезжающей машине.

Генерал безмятежно поглядывал по сторонам, ворочая седоватой, коротко, по-солдатски остриженной головой, пока «кадиллак», мягко урча, катил по бульвару Свободы (еще недавно он назывался Адольф Гитлер бульвар), потом по длинному мосту, вознесшемуся над городом на высоких арках, наконец вырвался на обледенелое шоссе и, сбросив скорость, иногда буксуя, почти полз меж буковых лесов, амфитеатром всходящих на горы. А туман все густел, и Брэдли пожалел, что в этом молоке, разлитом в воздухе, плохо различим маленький старинный Динан, стоявший под горой над Маасом и всегда восхищавший генерала. Вздохнув, он раскрыл наугад толстенький томик «Айвенго». Это оказалась двадцать третья страница, конечно, потому, что ее часто раскрывали, и генерал с удовольствием— в который раз! — прочел характеристику славного Седрика-Саксонца, который был его идеалом и которому он, возможно, бессознательно подражал: «Казалось по выражению его, что он человек прямой, но резкий, темпераментный и вспыльчивый».

Туман слегка рассеялся, и стало видно, что они едут по узкой

улице, прилепившейся к серой отвесной скале. Дома смутно отражались на льду Мааса. Мелькнула красная кирпичная ратуша, потом памятник жертвам первой мировой войны, запорошенный снегом, потом какая-то башня, похожая на шахматную ладью.

Хлопотун О'Хейр чего-то бубнил насчет внеочередных пополнений, которые должны будут возместить предполагаемые потери во время предстоящего весеннего наступления американских войск. Но Брэдли почти не слушал, он не хотел терять ровного доброго настроения и отгородился от ужасающих мыслей о потерях, которые когда-то еще будут.

В этот самый день, 16 декабря, но на несколько часов раньше, а именно в пять часов пятнадцать минут утра, стало быть, еще до рассвета, немцы ринулись в наступление на всех участках Арденнского фронта.

Гром артподготовки, конечно, не достигал «кадилака» генерала Брэдли, уже миновавшего Намюр. Но, многократно повторенный горным эхо, он докатился до местечка Бар и разбудил первого лейтенанта Томаса А. Конвея. Вскоре гром затих, артподготовка была короткой, но первый лейтенант уже не мог уснуть, а гром приписал обвалу в горах. Повертевшись в постели, он в конце концов встал, умылся и вышел из дому.

Он с удовольствием вдохнул воздух хоть и увлажненный туманом, а все же свежий и бодрящий. Подойдя к опушке леса, он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов по системе йогов. Потом протоптанной тропинкой пошел в лес. Улетучивалась досада на раннее пробуждение, лес, как всегда, успокаивал. «Почему лес, такой разрозненный, многообразный,—думалось Конвею, по мере того как он углублялся в чащу,—кажется единым существом? Как и море, кстати говоря. Ведь мы знаем, что в нем идет борьба, что он населен враждующими друг с другом жизнями. И все же мы воспринимаем лес как нечто единое, цельное. Не происходит ли это от врожденной потребности человека объединять, интегрировать? Искусству расчленять, анализировать, дифференцировать мы научаемся. А способность синтеза в нас заложена. Поэтому дети такие талантливые художники...»

Мысли эти понравились Конвею, он счел их значительными и решил записать в дневник. Туман несколько рассеялся. Стало светлее. Лес переменился. Конвею показалось, что больше всего оживились сосны. Они задвигались, зашумели, просияли, как девушки под взглядами мужчин. А темные, угрюмые ели остались верны своей мрачности.

И эти наблюдения Конвей не без некоторого самодовольства решил занести в дневник. В умиротворенном, каком-то благостном настроении он вернулся домой. По лени своей за дневник он не взялся. Тем более что на столе лежала начатая листовка, заказанная Конвею управлением информации и просвещения 8-го корпуса 1-й армии еще две недели назад. Ему уже трижды напоминали о ней. Написана была покуда только одна начальная фраза: «Солдат! Государство израсходовало на тебя 30 тысяч долларов».

Вздохнув, Конвей сел за стол и принялся писать: «Солдат! Ты должен возместить этот расход, а возместить можно уничтожением тех, на кого тебя направят...»

В это же примерно время по ту сторону фронта оберштурмбанфюрер Отто Скорцени, взгромоздившись на крышу «джипа» и пригибая туго натянутый тент своими слоновьими ногами в коротких сапо-

гах, рявкал в рупор столпившимся вокруг него диверсантам, переодетым в английскую, а главным образом в американскую форму:

— Солдаты! Сейчас мы ворвемся в расположения противника! Они не подозревают об этом, они спят. Помните, что каждый из вас должен стать постоянно действующей машиной разрушения!

Действительно спали все. Спал генерал Кортни Ходжес, командующий 1-й армией, накрывшись одеялом поверх головы. Спал, зарывшись в подушки, командующий 8-м корпусом генерал-майор Троп Миддлтон. Спали командиры дивизий, полков, рот, взводов и отделений. Спали семьдесят пять тысяч американских солдат от Эстернаха до Моншау. Спал набитый штабами городок Спа под журчанье подземных источников и отдаленный гул канонады, доходившей сюда нежащим мурлыканьем.

А почему бы, собственно, не спать в такой ранний предрассветный час? Плохо другое: спали редкие дозоры, рассеянные по неровной линии переднего края.

Один из дозоров был выставлен 4-й пехотной дивизией. Именно в нее был определен первый лейтенант Лайонел Осборн. Офицеров во всем 8-м корпусе не хватало, и его сразу же послали в дозор. Настроение у него было препаршивое. Во-первых, ломило голову. Накануне он малость перебрал в компании ребят из штаба полка. Во-вторых, ему дали в дозор смехотворно мало солдат — семь человек, тогда как полагался полувзвод, то есть двадцать человек. Другой вопрос: а где их было взято в этой чертовски неукомплектованной и вообще разболтанной дивизии?

Осборн хмуро оглядел свою команду. Хорошо хоть сержант из ветеранов, да какой-то кислый, сразу же начал жаловаться на боль в ногах.

— Всегда мокрые носки, — говорил он Осборну доверительным тоном. — Я, наверно, схватил ревматизм. В Двадцать восьмой дивизии хороший хозяин, он завел специальные сушилки для носков. А в нашей Четвертой... — Сержант безнадежно махнул рукой.

Высокий очкарик тащил на плече легкий пулемет «томми». Стекла его очков были очень толстые. Он старался держаться поближе к Осборну. «Бойтся, что ли?» — подумал тот с некоторой безразличностью. Впереди два солдата быстро, почти бегом несли базуку, длинное противотанковое реактивное ружье, — один за нос, другой за хвост. Тот, кто был у хвоста, обернулся и крикнул:

— Сержант, скажи спасибо, что ты не сороконожка!

Другой, что был у носа базуки, молодой негр, оглушительно захохотал.

— Потихе, сынок, — сказал Осборн, поморщившись. — Мофы где-то рядом.

Он еще не привык к этому спокойному фронту, и ему чудился притаившийся противник за каждым пригорком. Высокий очкарик, оказавшийся обладателем густого баса, прогудел над ухом Осборна:

— Взгляните на эти горы — первозданная природа! Только духи здесь могут пройти.

Осборн покосился на очкарика. «Интеллектуал», — подумал он с презрением, огладил свои стреловидные усики и ничего не ответил.

Второй лейтенант, сдававший пост, тоже был явно из резервистов.

— Сдаю вам горный хребет Шне-Эйфель и предстоящую морозную ночь, — сказал он, смеясь всем своим мясистым лицом.

Убежище было вырублено в горе — глубокая полутемная пещера. Дневной свет проникал через дверное отверстие. Однако там был

электрический свет, провод был протянут из Эльзенбарна. Вдоль стен стояли койки. Уголь лежал снаружи — большой холм, запорошенный снегом. Осборн проворчал, что это непорядок. Но сержант успокоил его:

— Углю это полезно, он лучше разгорается.

Действительно, пузатая железная печь вскоре раскалилась докрасна, и стало почти уютно. Свободные от нарядов солдаты сели вокруг печи. Один из них, тот самый шутник, который сострил насчет сороконожки, приблизил к Осборну лицо и каким-то интимным, почти заговорщическим тоном сказал:

— Ребята говорили, что тут, в горах, есть незамерзающая речушка, к ней кабаны ходят на водопой.

Осборн искоса посмотрел на него и спросил:

— Тебя как звать, сынок?

— Ричард Тибсон. Так вот, нет нежнее мяса, чем кабанчик, запеченный на костре в собственном жиру.

Осборн сказал довольно добродушно:

— А еще лучше камбала, фаршированная артишоками, под соусом из шампиньонов.— И прибавил устало:— Вот что, Дик, ты эти бредни насчет кабанов оставь. Я запрещаю отлучаться хотя бы на минуту.

Дик посмотрел на первого лейтенанта с горьким сожалением. Видимо, он искал в своем запасе острот что-нибудь такое, что могло бы сразить Осборна наповал. Но так и не найдя, вздохнул и завалился спать. Осборн позавидовал ему. Головная боль по-прежнему торчала в черепе. Он кликнул сержанта и вышел наружу.

Морозный колючий туман. Солнце, чуть завернутое в тучи, упало где-то за спиной. Скучный свет лежал на безжизненных скалах. Осборн снял каску и вязаный подшлемник. Холод охватил голову. Ему показалось, что мучительный молоток в голове стал стучать реже. Какие странные горы! Вот эта, например, похожа на гигантского коленопреклоненного ангела, даже крылья мерещатся за его спиной. А вот та, с шарообразной вершиной,— ну вылитая старая баба в халате. А вот эта нависла над дорогой — не дорога, скорей тропка, она вьется далеко вниз, пропадает между гор и снова взвивается вверх. В сущности, дозор охраняет выход из этого дефиле. От него идет арочный мост. Пожалуй, по нему — Осборн на глазок прикинул — танки могли бы двигаться даже по двое в ряду. Конечно, средние.

— Сержант!

— Слушаю, первый лейтенант.

— Мост заминирован?

Сержант удивился:

— А зачем? Наступать-то будем мы. И то весной.— Помолчав, он прибавил:— Посты расставлены. С вашего разрешения, я прилягу.

Щелкнув каблуками, он удалился.

Осборн подумал, что здесь и вправду можно отдохнуть. Как быают на шумных столичных перекрестках «островки спасения», где пешеход может спокойно постоять, дожидаясь зеленого света, так этот арденнский участок фронта — тоже какой-то «островок спасения» посреди горящего мира.

Он почувствовал, что кто-то стал рядом. Ах, это все тот же очкарик!

— Тебя зовут, кажется, Коллинз?

— Зовите меня просто Майкл.

— Славно здесь, правда, Майкл?

— Как сказать...

— Ну и придира ты! Чего тебе тут недостает?

— Звезд.

— Звезд? Так ведь звезды — это бомбежки. Благословляй это низкое небо, этот туман. Ты студент?

— Да... А вы?

— Я музыкант.

Майкл посмотрел на Осборна с некоторым недоверием.

— Я первый раз в горах, — сказал Майкл. — И не предполагал, что здесь так спокойно и даже торжественно. Какой красивый мост! Он как будто летит над пропастью, правда? А эти горы похожи на хорал. Беззвучный хорал.

Сравнение понравилось Осборну. И даже польстило ему. Без сомнения, сказано во внимание к тому, что он музыкант. И совсем этому парню незачем знать, что он пикирует на контрабасе в кафешке на окраине Нью-Орлеана.

Вдруг Майкл схватил его за руку.

— Смотрите! Что это? Землетрясение?

Осборн засмеялся.

— Какой ты нервный! Это туман зашатался. Ветер! Ты давно в армии?

— Три месяца.

Осборн сочувственно посмотрел на Майкла — тощий, сутулый, с ненормально расширенными глазами, с узкими женственными запястьями рук.

— И как только тебя подмели в армию! Да еще в Европу, на фронт!

— Я настоял. Меня освобождали из-за глаз. Но я добился.

— Ну? Разинул рот на красивенькие плакаты, которые выпускают для дурачков? Или нарвался на патристическую бабу из Дамского комитета жен ветеранов? Среди них есть такие мастерицы охмурять, могут уговорить пастора пойти в мусорщики.

— Никто меня не уговаривал. Я ненавижу насилие. Фашизм — это религия насилия. Я хочу собственноручно свернуть шею фашизму! — И добавил смущенно, словно устыдившись своего возбужденного тона: — Или принять в этом участие.

— Филолог?

— Нет, математик.

— Так тебе прямая дорога в артиллерию. Подавай рапорт о перечислении. Все-таки у них там легче, чище, чем в нашей мусорной пехоте.

— Но артиллеристы дальше от противника. Можно провоевать в артиллерии всю войну и не увидеть ни одного живого немца. А я хочу сшибиться с ними грудью с грудью.

— Странный ты парень, Майкл. Ну иди выпишись, через два часа тебе заступать на пост.

Сумерки в горах короткие. Сразу стало темно, словно кто-то повернул вселенский выключатель.

Майкл побрел в убежище, откинул полог. Оттуда на секунду вырвался свет, шмыгнул по краю обрыва, и снова стало темно. Осборн решил пойти проверить посты. Он пошарил на груди, ища подвесной фонарик. Фонарика не было, видно остался в мешке на койке. Он пошел к убежищу. Оттуда доносился тихий разговор. Осборн остановился послушать. Два голоса перебивали друг друга.

— Нет, ты толком скажи, зачем ты сунулся в это дерьмо?

Осборн узнал голос Дика.

Другой:

— Я тебе говорил: моя религия — антифашизм.

Это, конечно, Майкл.

— Нет, ты брось завираться, не крути, давай по-честному: какого черта ты припер на войну?

— Есть такая теорема Гёделя. В математической логике. Я попробую популярно изложить тебе ее.

— Иди ты со своей логикой знаешь куда! Я не такой олух, как ты думаешь!

— Значит, так. Есть такие неполные системы, аксиоматические, ну, бесспорные, что ли, их нельзя ни доказать, ни опровергнуть. И все же они истинные.

— Слушай, Майкл, а ты, знаешь, малость косолапый. У тебя носки внутрь.

— Приходится прибегать к элементам, взятым извне, за пределами данной системы.

— А знаешь, почему ты так ходишь?

— Или просто верить в данную систему аксиоматически, не подпирая ее конструкцией аргументов. То, что я пошел на войну, одним может показаться глупым, а другим — святым делом. Ни обосновать, ни разбить этого нельзя. И все же не подлежит сомнению, что я прав, что пошел на войну.

— Объясню тебе, парень: у тебя задница не на месте, она у тебя подвешена слишком низко, будь я проклят!

Осборн не удержался от смеха. Он вошел в убежище. Дик разлегся на койке, а Майкл сидел рядом на корточках, долговязый ангел, и вместо крыльев помахивал длинными руками в слишком коротких рукавах. Осборн принялся шарить в своем мешке.

— Ищете что-нибудь, первый лейтенант? — спросил Дик.

— Да вот не найду своего фонарика.

— Черти утащили.

— Не валяй дурака, Дик.

— Нет, честное слово! Конечно, это делают бесенята. Взрослый, уважающий себя черт никогда не опустится до кражи мелких вещей.

Майкл смотрел на Дика с восхищением. Осборн улыбнулся. Хорошо, что в их команде есть такой разбитной малый. Это несколько скрасит дозорную тягомотину.

Так и не найдя фонарика, Осборн прилег на минутку, как он сказал себе, но незаметно для себя заснул крепчайшим сном.

Незадолго до рассвета Осборн вскочил: грохотали пушки. Он напялил каску и выбежал из убежища. Вслед за ним выбежал Майкл. Дул сильный пронзительный ветер. Спросонья Осборн забыл, что на дворе зима. Небо посветлело, мутно-серый свет стоял над горами. То, что Осборн увидел, так потрясло его, что он перестал чувствовать холод. Внизу по дороге к мосту ползли танки. Они были покрашены белой краской. Но в свете прожектора, который сержант засветил на крыше убежища, проглядывали черные свастики на их броне. В ту же минуту выстрел разбил прожектор.

Осборн нырнул в убежище, накинул шинель и схватил гаранд, самозарядную винтовку, с которой он не расставался.

— Надо подорвать мост! — крикнул он.

И тут же понял, что уже не успеть.

— Наши идут! — радостно вскричал сержант.

Обгоняя танки, по мосту двигался «джип», набитый ребятами в американской форме. Сержант побежал вниз, к ним навстречу.

Из «джипа» выскочили двое и подошли к часовому. Это был негр. И тут Осборн с ужасом увидел, как один из прибывших американцев выстрелил негру в голову. Сержант остановился, не добжевав до моста. Тотчас раздалась пулеметная очередь из «джипа». Сержант, вертясь, упал в пропасть.

— Что это? Измена? — крикнул Майкл.

— Скорей к телефону, надо предупредить.

Они вбежали в убежище. Осборн схватил телефонную трубку. Она была безжизненна. По-видимому, провод был перебит.

— Ну-ка давай отсюда быстро! — сказал Осборн. — Через несколько минут они будут здесь.

— Куда?

— В лес. А там посмотрим.

Они побежали в сторону от дороги. Танки грохотали уже совсем близко. Проваливаясь в снег, Осборн и Майкл забежали в глубокую лесистую расщелину.

— А, черт! — простонал Осборн.

— Вы ранены?

— У меня, видимо, открылась рана на ноге. И я оставил там, в убежище, свой дневник.

— Я пойду за ним.

— Не смей! Черт с ним!

— Я перевяжу вам рану.

Майкл достал из нагрудного кармана индивидуальный пакет и прислушался.

— Вы слышите? Английская речь!

— Тише! Это диверсанты.

Осборн обнажил ногу. Его тряс озноб. А нога горела. Майкл забинтовал рану.

Вскоре голоса утихли, звуки моторов стали удаляться.

— Я выгляну,— сказал Майкл.

— Подожди.

Но Майкл, полусогнувшись, вышел из расщелины. Оставшись один, Осборн подумал: «Мальчишку подобьют». Он с трудом поднялся, чтобы пойти за Майклом, и скверно выругался, проклиная его. В это время тот вернулся.

— Они убралась,— сказал он.

— В какую сторону?

Майкл махнул рукой на запад.

— Боюсь спрашивать: как наши?

— Я никого не видел. Или убежали, или...

Он не закончил. Потом:

— Снизу идут танки. Много танков с пехотой на броне.

— Так... Все прокакали наши мудрецы...

— Я пойду.

— Куда?

— За вашим дневником.

— Сумасшедший!

— И за своей винтовкой. Не бойтесь. Я успею до их прихода.

И снова исчез.

Боль в ноге с такой силой пронзила Осборна, что он лишился сознания. Не совсем, наверно, потому что почувствовал, что ему суют в рот что-то холодное, зубы лязгнули о стекло, потом обжигающая жидкость пролилась в горло и глубже. Он открыл глаза.

— Улизнул из-под самого их носа,— сказал Майкл. — Они там все перевернули, почему-то пожгли, забрали наши винтовки... — Он опустил голову и прошептал: — Я видел труп Дика...

Грохот танков не прекращался.

— Очевидно, только мы двое уцелели,— сказал Осборн.

— Надо бы его похоронить...

Осборн пожал плечами и тут же застонал от боли в ноге.

— Вот ваш дневник,— сказал Майкл. Он протянул полуобожженную тетрадь.— Она тлела, я потушил ее снегом.

— Да ну его! Стоило из-за него рисковать.

— Стоило,— сказал Майкл.— Дневник — это самое драгоценное.

Это летопись души.

— Слушай, ты не мог бы говорить не так красиво?

Майкл подумал. Потом сказал со вздохом:

— Нет, наверно, не мог бы.

Несмотря на тяжесть их положения, может быть даже безнадежность, Осборн усмехнулся — с такой наивной серьезностью это было сказано.

— Подождем, пока они уберутся,— сказал он.

— А потом?

— Попробуем пробраться к своим.

Они притаились в глубокой ложбинке, лежали на животах в снегу щека к щеке. Лежали долго. Танки шли и шли, и бронетранспортеры, набитые солдатами, и грузовики с понтонами, и бензовозы, и санитарные машины.

Осборн процедил сквозь зубы:

— Прямо просятся под бомбежку. Пара-другая «боингов» разнесла бы все это вдрызг...

Но мрачное небо висит почти над головами. Сильно сказано? Ну, над вершинами гор, во всяком случае. Да что там! Краями бурых лохматых туч оно цепляется за верхушки деревьев, особенно на горизонте, когда он вдруг на мгновение становится виден в каком-нибудь просвете между горами,— внезапный порыв морозного ветра раздирает туман, и блеснет, как обещанье счастья, ослепительная, недостижимо далекая полоска голубого неба.

Только к середине дня стало тихо. Полузамерзшие Осборн и Майкл выкарабкались из своей ямы. Их шатало. Они принялись махать руками и охлопывать друг друга.

— Сильнее! — кричал Осборн.— Ты слишком нежно меня колошматишь!

— Я боюсь, вам будет больно.

— Ничего, моя рана задубела на морозе. Бей!

Поначалу они не решились идти по дороге, а пробирались по крутым лесистым склонам, держась за деревья и с трудом выдирая ноги из снега. Это было мучительно трудно, особенно для Осборна, и в конце концов, плюнув на опасность, они вышли на дорогу. Они тащились, то и дело оглядываясь. Но дорога была пуста, видно вся немецкая сила укатила на запад.

Белизна ослепляла Майкла. Он пожаловался, что плохо видит. Осборн повел его за руку. А Майкл нес его гарант.

— Значит, мы сейчас в немецком тылу? Да? — спросил Майкл.

— Выходит, так,— проворчал Осборн. Он посмотрел на Майкла.— Как ты несешь винтовку? В нее набьется снег. Неси ее дулом вниз.

Майкл послушно перевернул гарант.

— Да, кстати,— сказал Осборн с насмешливым презрением,— что ж ты не сцепился с немцами? Ты же мечтал об этом.

Майкл молчал.

— Ты изменил своей религии — бороться с насилием. Ты вероотступник.



Он наслаждался растерянностью Майкла.

— А я тебе скажу: ты просто трус.

Майкл пробормотал:

— Знаете, я почему-то не почувствовал к ним ненависти...

Осборн посмотрел на него с возмущением.

К полудню они дошли до скрещения дорог. Снег был грязно изжеван гусеницами танков. Тучи по-прежнему шатались тяжело и низко. Но лес выглядел сказочно. Голые буки, низкорослые кривобокие березы превратились в красавиц: каждая ветка, каждый сучок оторочен хрустально белым кружевом. Майкл смотрел с восхищением на эту ювелирную работу морозного тумана. Осборн ее не замечал. У него ныла нога, он страшно устал, его мушкетерские усики намокли и повисли, на лице проступила жесткая щетина, кое-где с сединой. Кроме того, он очень хотел есть и от этого ослабел, но не признавался и старался не отставать от длинноногого Майкла.

Вдруг тот нагнулся и что-то поднял. Широкая деревянная стрела. Он стряхнул с нее снег. Оказалось, это дорожный указатель. На нем надпись: Бастонь.

— Мы, должно быть, совсем близко от наших,— сказал Майкл.

— Да, если их не выперли боши.

— Так, значит, нам надо пройти сквозь линию фронта?

— Да, но не это самое опасное.

— А что?

— Когда мы будем приближаться к своим, они с перепугу могут принять нас за бошей и подстрелить.

— То есть за переодетых диверсантов?

— Да.

Майкл пробормотал задумчиво:

— Я допускал, что меня убьют... Но чтоб это сделали свои же... Боже, как это глупо!

— А ты что, приехал ума набираться на войне?..

Некоторое время части 6-й и 5-й танковых армий шли бок о бок, сметая слабые американские дозоры. Потом они веером разошлись: Зепп Дитрих — на северо-запад, он разинул пасть на Льеж и Антверпен; Мантейфель — на запад, стремясь заглотить Брюссель; 7-я полевая армия Бранденбергера перла на юго-запад, на Люксембург.

В авангарде 6-й армии шел отборный отряд эсэсовцев во главе с фаворитом Дитриха оберштурмфюрером Вайнертом. Одержимые мыслью продвинуться вперед как можно дальше и как можно скорее, они, овладев американскими оборонительными пунктами, не брали никого в плен, а, сберегая время, расстреливали американцев тут же на месте. Продвигались они по узким обрывистым дорогам с поразительной быстротой и в первые же несколько часов углубились в расположения противника не менее чем на двадцать километров. Но вдруг остановились. Перед ними бесновался незамерзающий горный поток, довольно широкий и весь в водоворотах. Странное и даже немного жуткое впечатление производило это холодное кипение воды среди оцепенелых снегов и льдов. Пришлось ждать, пока подойдут переправочные средства. Какая потеря времени!

Вайнерт в нетерпении шагал по берегу своей молодцеватой пружинистой походкой, колебля тело на длинных стеблевидных ногах, слегка поскальзывая на обледенелых камнях и нервно хлопая себя по сапогу резиновым хлыстом — шлагом.

Наконец порученцы, которых он беспрерывно посылал в тыл, до-

ложили ему, что приближается колонна с инженерным имуществом, но саперы эти не свои, а соседа, то есть 5-й армии.

— Наплевать! — вскричал Вайнерт и приказал людям подготовиться к переправе.

Это была автоколонна капитана Франца Штольберга, груженная понтонно-мостовыми средствами. Капитан сидел в кабине головной машины. Иногда он сменял за рулем шофера, давая ему отдохнуть. Он и сам изнемог от усталости. Такой дьявольски трудной работы, как тут, в Арденнах, еще не было у Штольберга. Эти скользкие, как каток, дороги с проклятым наклоном в сторону обрыва! Эти неожиданные повороты почти под прямым углом, где приходилось отцеплять орудия и прицепы и лебедками перетаскивать через эти чертовы ловушки! А сзади в спину тычут наступающие части! А обгон на этих дорогах невозможен... «Нет, уж лучше польская слякота», — угрюмо думал Штольберг. И вдруг всю его мрачность сдуло воспоминание о польской девчонке, об этой Ядзе, Ядзе-с-косичками, как ее на допросе упорно называл эта гнида гауптштурмфюрер Биттнер. И именно после этого допроса она неотступно стучится ему в голову — золотоволосая девчонка с гримасой загнанного зверька. А ведь он ее почти не видел, только какой-то миг, когда она пряталась в углу сарая, а там, в здании гестапо, поник, уронив лысую голову на стол, застреленный ею палач...

— Потрудитесь навести переправу как можно быстрее, — услышал он голос Вайнерта.

Вайнерт говорил отрывисто, повелительно. Штольберг слушал вежливо и, как показалось Вайнерту, почтительно наклонив голову. Они были примерно одного роста, Штольберг, пожалуй, пошире в плечах.

— Мне приказано, — сказал он мягко, — в первую голову обеспечивать переправу артиллерии.

— Ваша фамилия, должность? — так же отрывисто спросил Вайнерт, устремив на Штольберга красивые дерзкие глаза.

— Капитан Штольберг, начальник отдельной автоколонны Пятой танковой армии.

— Капитан Штольберг, в силу данных мне особых инструкций я приказываю вам немедленно навести переправу для моего отряда.

— Переправа будет наведена незамедлительно, — сказал Штольберг все так же учтиво, — но... по ней прежде всего пройдет артиллерия.

Собственно говоря, Штольберг мог, конечно, пропустить отряд Вайнерта первым. Но когда он увидел изнеженную и наглую морду Вайнерта, он пришел в ярость. И, как всегда в этом состоянии, заключил свою ярость в оболочку мягкости и даже как бы смиренности. Поначалу Вайнерт был обманут этой почтительностью. Но вскореобразил, что Штольберг не только противоречит ему, но еще, пожалуй, и издевается над ним.

Поток глухо ревел. Понтонеры подтягивали свои огромные калошеобразные лодки к берегу. Вокруг Вайнерта стояли эсэсовцы, все как на подбор рослые ребята. Некоторые с недоброй усмешкой растегивали кобуры и стаскивали с груди автоматы.

— Капитан, вы отдаете себе отчет в том, с кем разговариваете? — процедил Вайнерт.

Штольберг обернулся и что-то шепнул стоявшему позади него артиллерийскому лейтенанту. Тот послушно кивнул и побежал к своим машинам. А через несколько минут артиллеристы установили у берега два полевых орудия. Быстро расчехлив стволы, они направили их на подобранный к берегу отряд Вайнерта. Все это они проделали

проворно и, по-видимому, не без удовольствия. Прорвалась затаенная рознь между армейцами и привилегированной гитлеровской гвардией.

— У меня личный приказ фюрера! — уже не сдерживая голоса, кричал Вайнерт.

— Покажите,— по-прежнему мягко сказал Штольберг.

Артиллерийский лейтенант подошел к Штольбергу и, вытянувшись, доложил:

— Орудия заряжены картечью.

Вайнерт покосился на пушки, круто повернулся и бросил через плечо:

— Поторапливайтесь, капитан. Следом за артиллерией пойдем мы. Но на вас я подам рапорт.

Штольберг пожал плечами и сказал довольно равнодушно:

— Не советую. У вашего доноса нет будущности.

Услышав слово «донос», Вайнерт свирепо стеганул себя шлагом по сапогу и пошел прочь. Эсэсовцы терпеть не могли этого слова. Они придумали для него столько вполне благопристойных псевдонимов: «заявление», «сообщение», «рапорт», «информация», «докладная записка».

А Штольберга угроза Вайнерта несколько не испугала. Ну еще один донос. Что это изменит в его судьбе? И пока мимо по понтонному мосту с грохотом проносились орудия, влекомые лошадьми, которых ездовые нещадно стегали, потому что лошади были реквизированы у голландских крестьян и не понимали немецких команд, Штольберг вспоминал, как он тогда остановил машину и выпустил из ящика от македонских сигарет эту золотоволосую крошку и она, серьезно глянув на него, со всех ног побежала в сторону леса графа Потоцкого, где, как известно, притаились хлопские батальоны.

### *Игра продолжается*

Наконец лейтенант Вулворт добрался до места. Он пожал руку Маньковскому и тому рыжему парню и выпрыгнул из грузовика. Попал в сугроб, отряхнулся, засмеялся. Он был в прекрасном настроении. Все ему нравилось. И забористые словечки солдат, и дымно-сладковатая горечь дешевого табака, и крутые снежные тропинки, по которым он добирался до этого городка, и самое его название: Бастонь. В этом звуке есть что-то звонкое и воинственное. В радостно-возбужденном состоянии Вулворт не замечал некоторых странностей на улице. Она была забита грузовиками, крестьянскими возами, легковушками, даже танками. Один из них, видимо чрезвычайно спеша, попер на тротуар, и Вулворт вжался в стену. То есть, конечно, он замечал всю эту суету. Но не видел в ней ничего странного. Война! Он со вкусом вдыхал запах войны, запах этой сумятицы, эти крики, скрежеты, весь этот грозный и живописный хаос, каким ему представлялась война.

Немножко удивило его, что у входа в штаб 8-го корпуса не было часового. Оттуда выбежал сержант с огромной кипой папок в руках. Он наткнулся на Вулворта, не извинился, а еще и чертыхнулся. Вулворт хотел было призвать его к порядку, но потом подумал, что сержант мог в спешке из-за этой горы папок и не заметить, что перед ним офицер. В полутемном коридоре Вулворт тщательно вглядывался в лица встречающих офицеров. Он знал, что его дядя работает в штабе корпуса, но не знал, в каком отделе. Он заглядывал то в одну, то в другую комнату и не решался ни к кому обратиться. У всех такой озабоченный вид. Никто не сидел на месте. Хлопали двери, шкафы раскрыты настежь, ящики столов выдвинуты. Было похоже, что штаб

выворачивает свое канцелярское нутро. Никто не обращал внимания на Вулворта.

В крайней комнате было поспоксйнее. Два офицера молча выкладывали на столы кипы папок с документами. Потом нагибались, что-то брали из-под стола и засовывали в эти груды бумаг. Вглядевшись, Вулворт увидел, что это «что-то» — термитные гранаты. Офицеры были так заняты своим странным делом, что не заметили Вулворта. Он деликатно кашлянул. Один из офицеров, плечистый увалень, подняв голову и отбросив с глаз длинные белокурые волосы, спросил довольно сурово:

— Откуда вы взялись?

— Я ищу полковника Вулворта. И, кроме того, не можете ли вы сказать мне, где базируется Шестая бронетанковая дивизия?

Офицер переглянулся с товарищем. Потом буркнул:

— Предъявите документы.

Вулворта поразил контраст между его вульгарной физиономией и этими золотистыми, почти дамскими кудрями, ниспадавшими до плеч и обрамлявшими его испытые черты.

С какой-то радостной услужливостью Вулворт показал свой офицерский билет и направление в часть.

— Однофамилец? — спросил офицер более мягко. — Или родственник полковника?

— Племянник, — несколько смущенно сказал Вулворт.

— Полковник три часа назад эвакуировался со штабным имуществом. Его перевели в верховный штаб. А что касается вашего направления, то вряд ли кто-нибудь сможет сейчас указать, куда занесло Шестую бронетанковую.

— Позвольте... как же это? Ведь есть дислокация...

Офицер внимательно оглядел Вулворта, его новенькую шинельку с начищенными пуговицами, сверкавшую лаком скрипучую кобуру и сказал:

— На войне, лейтенант, не все точно. На войне несколько иначе, чем на уроке каллиграфии в школе, из которой вы, по-видимому, недавно вылупились.

Другой офицер, постарше, с отвислыми усами, занимавшийся тем же, чем и сосед, то есть осторожным зарыванием термитных гранат в груды документов, сказал:

— Не разыгрывай паренька, Чарли. И не строй из себя старого волка окопов. Послушайте, Вулворт, ваш дядя действительно смазал пятки салом. И если вы жаждете его обнять и передать ему посылку от мамочки с теплыми носками и маисовой лепешкой, тогда валяйте в Нешато. Только побыстрее. Немцы уже в Троттоне. Это рукой подать. А что касается Шестой бронетанковой, то сам Дуайт Эйзенхауэр не скажет, где она сейчас мотается, все так перепуталось, что не разберешь, где фронт, где тыл.

Вмешался белокурый увалень. Он сказал довольно вежливо, видимо, хотел загладить прежний хамоватый тон:

— По последним сведениям, не ручаюсь за их точность, ваша дивизия, возможно, находится где-то между Бастонью и Сен-Витом и пытается отразить натиск Пятой армии Мантейфеля.

Сказав это, он полез рукой под стол, достал из ящика очередную термитную гранату и принялся устраивать ее в кипе бумаг. Заметив удивленный взгляд Вулворта, он сказал:

— Как только на гребне этих гор, которыми вы можете любоваться через окно, покажутся немцы, мы подожжем термитные гранаты, и вся секретная документация превратится в пепел.

— Что же это? Наступление?

— Смотри, мальчик попался из смышленных,— проворчал длинно-волосый.

— Вот что, лейтенант,— сказал другой серьезно,— у ворот штаба стоит «студебеккер». Валяйте туда. Только побыстрее.

— А вы?

— А мы остаемся. Мы попробуем все-таки не отдавать Бастонь. Вулворт ничего не ответил. Только как-то неуклюже потоптался на месте. Этот капитан с отвислыми усами и заостренным, несколько свернутым в сторону носом казался ему необыкновенно симпатичным и даже красивым.

А вот тот, второй, белокурый увалень, совсем ему не понравился. Что-то было в нем заносчивое, наплевательское. Но Вулворт старался расположиться по-доброму к нему, пребывая в том блаженно-восхищенном состоянии духа, из которого не выпадал с той самой минуты, когда нога его ступила на землю пылающей Европы. Тем более что на груди у белокурого, особенно когда он поворачивался, играл бликами и испускал маленькие всплшки орден «Пурпурное сердце», на который Вулворт то и дело искоса поглядывал.

— Побыстрее! — крикнул капитан.— Больше транспорта не будет.

— А м... можно,— робко, заикаясь, сказал Вулворт,— а можно мне тоже остаться?

Он снова покосился на «Пурпурное сердце», которое ослепительно подмигнуло ему своим сверкающим оком.

16 декабря первому лейтенанту Конвею не пришлось принять очередную ванну в Спа. Паника, охватившая этот город, была еще сильнее, чем в Бастони, вероятно, потому, что в Спа много тыловых военных учреждений, а тыловики, как известно, обладают несравненно более чуткой нервной организацией, чем задубевшие в боях фронтовики. Прислуга разбежалась, подача воды в ванное заведение «Петр Великий» прекратилась. Раздосадованный, некупанный Конвей, ладонью прикрывая рот и нос, чтобы не застудить горло, поплелся в штаб 1-й армии узнавать новости. Он не застал его. Только вихрь бумаг — приказов, запросов, директив — летал по пустым комнатам.

Впрочем, сержант-буфетчик еще копошился в шкафах бара, захватывая в контейнер навалом вина, тушенку, сигареты, сардины, яичный порошок, что попало. Он-то и сообщил Конвею, что штаб во главе с генералом Ходжесом укатил по направлению к Вервье.

Ну уж если Ходжес, спокойный, уравновешенный, методичный...

Сержант-буфетчик добавил, что до Вервье отличное шоссе, не то что эти проклятые горные спирали, узкие как ловушка. Ведь в случае нападения с воздуха укрыться некуда. Что из того, что по обе стороны горных дорог густой лес,— там такая крутизна, что не вскарабкаешься. А превосходная магистраль на Вервье широка, и, кроме того, оттуда прямой путь на Льеж. Наш «студебеккер» идет туда не позже чем через час, потому что боши уже в Мальмеди, а ведь это рядом.

— Я видел у входа два «студебеккера»,— заметил Конвей.

Сержант-буфетчик объяснил, что второй «студебеккер» идет с грузом боеприпасов совсем в другую сторону, в Бастонь...

Недослушав, Конвей вышел на улицу. Он понимал, что надо спешить. Он горько пожалел в этот момент, что не выхлопотал себе увольнения из армии. С его ревматизмом и связями в штабе это не проблема. Но сейчас, когда завязывается сражение, это как-то не совсем удобно.

Поначалу он сел в «студебеккер», который направлялся в Вервье. Но краем уха он услышал, что немцы выбросили парашютный десант где-то в районе Шофонтона. А это недалеко от шоссе на Вервье. Поэтому он пересел на тот грузовик, который вез боеприпасы в Бастонь. Однако оказалось, что место в кабине уже было занято двумя старшими офицерами. Ну что ж... Сняв заиндевшие на морозе очки, Конвей вскарабкался в кузов и принялся устраиваться в неудобном соседстве с взрывчатыми материалами. Все же это лучше, чем встреча с диверсантами! «Однако чертовски холодно! Бедные мои сываы! Нет, так воевать я не согласен...»

Конвей решил утеплиться. И пока шофер налаживал на колеса цепи, Конвей, дрожа, как в ознобе, раскрыл свой чемодан. Наверху лежал незаконченный проект листовки, призывавшей покончить с чудовищем нацизма, цветная копия Рафаэлевой «Сикстинской мадонны», толстый дневник, в который, впрочем, Конвей не занес еще ни строки, и несколько брошюр: Томас Конвей, «Ранние византийские иконы». Он запустил руку в глубину чемодана и выгреб оттуда длинные солдатские подштанники. «Да, этот русский партизан Урс предупреждал, что немцы зашевелились... Ну что ж, я сообщил об этом в штаб. Но Диксон не придал этому значения, даже высмеял меня...» Сидя на ящике со снарядами, натягивая безобразные кальсоны на тощие ноги, Конвей был уверен, что предупреждал штаб о предстоящем ударе Рундштедта, но к его сигналам не прислушались. Да, это не случайная вылазка, а мощное контрнаступление! Только дурак этого не понимает!

Но хотя ни Дуайт Эйзенхауэр, ни Омар Брэдли, ни «монах» Диксон не были дураками — о нет! — они этого не поняли.

В тот вечер они играли в бридж. Игра втроем требует особого сосредоточения. Ветер шумел в деревьях, окружавших виллу в Сен-Жермен-Ан-Ле, штаб Эйзенхауэра. Стекла в морозных узорах. Вино подогрето. В огромном камине уютно потрескивают поленья. В углу сверкает украшенная елка. Над дверью — белой, с бронзовыми инкрустациями — свисают листья памелы. В соседней комнате сержант-буфетчик с двумя подручными солдатами накрывает длинный рождественский стол.

В тот момент, когда Эйзенхауэр задумался, собрав вокруг глаз крупные ласковые морщины, как бы ему отразить сложную каверзу этого хитреца Брэдли, в комнату, неслышно ступая, вошел дежурный офицер. Сегодня им был молодой Дуглас Макартур-второй, лощеный, щеголеватый, похожий скорее на дипломата, чем на офицера-фронтовика. Быть может, это и не удивительно, если вспомнить, что всего два года назад он был третьим секретарем посольства в Лондоне. На левом плече его горел золотой меч и радуга на черном поле — эмблема сотрудников верховного штаба. С тех пор как этот молодой человек был пристроен при Эйзенхауэре, отцовское сердце главнокомандующего юго-западным районом Тихого океана генерала Макарута было спокойно за сына.

Макартур подошел к Диксону и что-то шепнул ему на ухо. Полковник, извинившись, тотчас вышел. Вернувшись, он сказал:

— Простите, генерал, но я полагаю, что должен вам это сказать. Троп Миддлтон звонил, что Рундштедт зашевелился.

Эйзенхауэр с минуту подумал и решительно метнул на стол карту. Потом спросил:

— Он сам звонил?

— Нет, из оперативного отдела. Передавали, что есть данные о прибытии на фронт Шестой танковой армии СС.

Эйзенхауэр сказал с ироническим недоумением:

— Воображение — хорошая вещь, но не в такой степени. Я надеюсь, Монк, вы объяснили им, что Шестая танковая армия СС находится в районе Кёльна.

— Немцы все мечтают вернуть Ахен,— сказал Диксон.— Говорят, Гитлер покаялся...

— Шевелятся, вы говорите...— задумчиво проговорил Эйзенхауэр.— Очевидно, это то, что они называют «активная оборона».

— Я думаю,— сказал Диксон,— что немцы хотят захватить какую-нибудь высоту, чтобы преподнести рождественский подарок фюреру. В этом тоталитарном государстве есть такая рабская манера — делать подношения обожаемому фюреру за счет солдатской крови.

Омар Брэдли потер массивную челюсть, покачал головой и сказал негромким, словно застенчивым голосом:

— Take head to yourself for the Devil is unchained<sup>28</sup>.

Все вскинули на него глаза.

— Простите за цитату из «Айвенго»,— продолжал он,— но я думаю, что это не так просто. По-видимому, Рундштедт хочет остановить наступление Паттона в Сааре. Это отвлекающий удар.

Эйзенхауэр кивнул Макартуру:

— Дуг, позвоните от моего имени Монти: как у них там, на севере? — Потом к Диксону: — Дайте нам вашу карту, Монк, знаете, ту, на которой нанесены расположения Рундштедта.

Когда карта была принесена, ее положили на стол осторожно, чтобы не смешать игральные карты, и склонились над нею.

— Ну да,— сказал Эйзенхауэр,— у них на все Арденны четыре пехотных и две танковых дивизии...

— ...которые движутся на север,— добавил Диксон.

Карту сняли, они опять уселись за стол.

— Вряд ли с этим можно сделать что-нибудь серьезное,— сказал Эйзенхауэр.

— Вы говорите о дивизиях Рундштедта или о своих картах? — спросил Брэдли.

Эйзенхауэр рассмеялся.

— Вы же знаете, Брэд, вооруженные силы Соединенных Штатов могут высечь весь мир.

Вошел Макартур.

— Разрешите доложить? Фельдмаршал виконт Монтгомери шлет привет генералу Эйзенхауэру и информирует, что немцы перешли к обороне на всем участке.

— Очевидно, к активной обороне,— вставил Диксон.

Макартур продолжал:

— Фельдмаршал добавил, что Рундштедт не в состоянии наступать — у него нет для этого ни транспорта, ни горючего.

— Ни людей,— добавил Эйзенхауэр. Он задумался на мгновение и сказал: — А все же, Брэд, на всякий случай примем некоторые меры предосторожности. Уж очень у Миддлтона жидковатый фронт, весь в прорехах. Отправьте-ка ему Седьмую бронетанковую из Девятой армии, ну и, скажем, Десятую бронетанковую из Третьей армии.

— Из Третьей? Вы представляете себе, какой скандал мне учинит Готспер!

Эйзенхауэр удивился:

— Это еще кто? — Потом, поняв, рассмеялся: — Вы так называете Паттона?

<sup>28</sup> Берегитесь, дьявол спущен с цепи (англ.).

Готспер значит «горячая шпора». Так Шекспир в своей хронике «Генрих IV» называет за необузданность характера вождя феодалов Генри Перси. Конечно, Брэдли извлек это прозвище не из шекспировской хроники, а из своего излюбленного «Айвенго».

Эйзенхауэр поморщился:

— Мне надоела эта вечная возня с Джорджем Паттоном. Честное слово, я больше воюю с Паттоном, чем с Гитлером.

Все рассмеялись. Монк Диксон придал лицу небрежное выражение. Все насторожились: это предвещало острую реплику. У Диксона была репутация хорошего рассказчика, и он дорожил ею.

— Вы знаете,— сказал он,— как Гитлер отозвался о Паттоне? Мне передавал один пленный офицер: «Ах, Паттон, этот генерал-ковбой!» Но вот забавно: оказывается, Гитлер признался, что во всем мире он боится только двух людей: Сталина и Черчилля. Правда, к Черчиллю у него двойственное отношение. Дело в том, что Гитлер узнал, что Черчилль назвал его кроважидным подонком. Он взбесился и дал себе слово повесить Черчилля...— Диксон сделал паузу и закончил с тонкой улыбкой: — Конечно, в том случае, если он доберется до него.

Все захохотали пуще, но, взяв в руки карты, снова стали благоговейно-серьезны.

Игра продолжалась.

### **Хлеб**

Осборн старался сохранить воинский вид и не бросал каску, хотя с каждым шагом ему казалось, что она становится тяжелее. Он подвесил ее к поясу. И ногу не волочил, хотя она болела все сильнее. А главное, он старался не отставать от Майкла, это был для него вопрос самолюбия. Майкл шел легко, каким-то летучим шагом. Осборн поглядывал на него с хмурой завистью. Он даже иногда зажмуривал глаза, чтобы не так отчетливо видеть его. И тогда ему казалось, что Майкл парит над землей, длинный переросток со светлым детским лицом. Наконец Осборн не выдержал и предложил сделать привал.

Они сошли с дороги и принялись карабкаться в лес по обледенелому склону, иногда такому крутому и скользкому, что приходилось опускаться на четвереньки. Майкл обхватил Осборна и тащил за собой. Казалось, это для него не составляет труда.

Они остановились на маленькой поляне, окруженной мощными мрачными елями. Место это казалось им надежно защищенным от взглядов с дороги. Осборн бросил плащ на снег и рухнул. Майкл сел на пенек. Он положил на колени подобранную им деревянную стрелу с надписью «Бастонь». Достав из кармана огрызок карандаша и вырвав из записной книжки листок бумаги, он положил его на стрелу, аккуратно разгладил и принялся писать, склонив голову набок, как прилежный школьник.

— Что ты царапаешь там?

— Письмо маме.

— Какой добродетельный сыночек! Ты что, думаешь, здесь, в лесу, развешены почтовые ящики?

Майкл удивленно посмотрел на Осборна: что это он так злобно? Ответил не сразу:

— Главное, писать. Это труднее, чем отправить.

Майкл всегда брал некоторое время словно на обдумывание ответа. Он вертел его в голове, прежде чем выпустить на волю. Нетер-



пеливого Осборна это раздражало. Да и вообще он чувствовал, как в нем накапливается неприязнь к Майклу. Но он не признавался себе в этом. И был неприятно удивлен, когда Майкл поднял на него глаза и сказал:

— За что вы меня ненавидите?

— Ты с ума сошел!

Но в эту минуту он почувствовал, что действительно невзлюбил Майкла.

Он ненавидел Майкла за его «невыносимое благородство», за его «зловонную скромность», за тощую стеблевидную фигуру, и девичьи тонкие запястья, и изумленно-вопрошающий взгляд. Он ненавидел его, потому что смертельно устал, потому что мучительно ныла рана в ноге, потому что не знал, как пробраться к своим, и от этого пал духом, потому что боялся наткнуться на диверсантов и потому что был страшно голоден, а за пазухой у него лежал кирпичик хлеба, и его мысли были направлены на это, и он злился на Майкла за то, что тот своим присутствием мешает ему съесть этот хлеб, и злился на себя за то, что не делится этим хлебом с Майклом.

Глядя на него, склонившегося над письмом, Осборн и сам почувствовал желание писать. Он вытащил из мешка свою заветную тетрадь, спасенную Майклом из огня. Желание писать навалилось на него вдруг и с непреодолимой силой. Он стеснялся этого. От полуобгоревшего дневника дурно пахло. По мнению Осборна, от него разлило немцами. Он уверил себя, что есть специфический немецкий запах. Он чуял его, когда они входили в освобожденные от немцев города, — смесь шнапса, кнастера и пота. Он полистал дневник в раздумье, и вдруг внезапное подозрение охватило его.

— Ты своими грязными лапами лазил в мой дневник! Ты читал его!

— Под пулями? — сказал Майкл с мягкой укоризной.

Осборну расхотелось писать. Майкл сложил письмо, сунул в конверт, провел языком по его краю и положил в карман.

— Меня что-то сон сморил. Вы не возражаете? — сказал он.

Осборн промолчал. Майкл нарвал еловых веток, улегся на них и мгновенно заснул.

Проснувшись, он увидел, что Осборн жует. Он подумал, что это чуингем<sup>29</sup>, и собрался спросить, нет ли у него еще. Все-таки это как-то помогает заглушить ужасающее чувство голода. Но в этот момент он заметил, что Осборн вынимает из-за пазухи кусочки хлеба и запикивает их в рот. Майкл смежил веки, но не совсем, он мог наблюдать за Осборном. Сколько у него там было хлеба, непонятно, потому что он отламывал там, за пазухой, а наружу вынимал маленькими кусочками и быстро нес их в рот. Майкл закрыл глаза, чтобы Осборн не заметил, что он за ним наблюдает. Иногда он на секунду приоткрывал глаза — Осборн таскал и таскал из-за пазухи.

Майкл боялся пошевеливаться. Он не хотел этого видеть. Он не хотел дурно думать об Осборне. Он жалел его. Он не мог решить, так ли это хорошо, что в нем столь сильно развито чувство жалости. Как это странно! Там, в Штатах, у него была теоретическая ненависть к немцам. То есть к насилию. Ну и к немцам как носителям этого насилия. И вот он на войне, и другое, еще более мощное чувство постепенно пропитало все его существо: жалость. Он жалеет... Притом всех. Почему? И жертвы и насильников. И убитых и убийц. Почему, черт возьми? Это какое-то искривление души. «Осборн прав: я вероотступник. Может быть, я просто трус? Не знаю. Не понимаю.

<sup>29</sup> Жевательная резина (англ.).

Я не понимаю, что такое трусость, потому что точно так же я не понимаю, что такое храбрость. Но Осборн все-таки прав: я изменник. Я предал себя. Я должен пересилить свою жалость к немцам. Выжечь ее из себя. Я приехал, чтобы бороться с насилием. И я буду бороться».

### *Петля*

5-я танковая армия обошлась без артиллерийской подготовки. Генерал Мантейфель против этого. «Зачем? Мы только спугнем противника. Пусть этим занимается 6-я. Эсэсовцы любят треск, барабанный бой. Мы будем действовать втихомолку. Операция «Ночные убийцы»...»

В полной темноте (только снег неясно отвечивал) и полном безмолвии (все, что могло звенеть и бряцать, от флаг на поясах до передков орудий, наглухо приторочено и задраено) по понтонному мосту штурмовые роты и ударные группы 5-й армии перешли реку Ур у местечка Дасбург. Здесь генерал Мантейфель положил быть своему командному пункту.

Слабые американские заставы в горных проходах были частью уничтожены, частью же панически бежали в городок Шенберг. Но на следующий день был взят и Шенберг. Очень милый городок, почти не поврежденный. Солдаты ворчали: их гнали вперед без передышки. Вперед, только вперед! Вилли, сидевший на броне танка вместе с Иоганном и обоими близнецами, говорил с горечью, нисколько не хорясь:

— Все слопают тыловики — и баб и трофеи.

Иоганн подхватил:

— И награды!

Близнецы молчали. Гельмут с беспокойством поглядывал на Хорста. Они тряслись на броне, стоя друг возле друга, похлопывали одинаковыми белыми ресницами, каждый был похож на другого, как на свое отражение в зеркале. Хорст что-то сказал, из-за шума моторов не расслышать, но Гельмут догадался. Он и Хорст так сроднились душевно, что угадывали мысли друг друга. Гельмут понял, что сказал Хорст.

— Я его предал, — сказал он.

На привале за обедом — а обед был славный, захватили совершенно нетронутый американский продовольственный склад, даже шоколад там был! — Гельмут сказал:

— Зачем ты наговариваешь на себя? Ты здесь ни при чем. Ведь этот... ведь он...

Хорст сказал угрюмо:

— Да, да, мы даже не знаем, как его звали.

— Это не важно. У него был такой длинный язык. Он сам себя предал.

— Нет. Это я. Надо было лгать. Это я его сунул в петлю...

На обед пятнадцать минут. Ни секундой больше. Вперед! Только вперед! К Маасу! Ибо хотя фронт прорван — в нем колоссальная прореха шириной в восемьдесят километров! — и американцы драпают, ослепленные ужасом, фюрер недоволен. Он ожидал, что сегодня, 17 декабря, обе армии, 5-я и 6-я СС, дорвутся до Мааса. Но до Мааса еще столько дела! Еще не взят этот проклятый Сен-Вит, этот городишко-паук, где сплелись пять шоссе и три железных дороги. Уже под его стенами сдались Мантейфелю семь тысяч окруженных американцев, а Сен-Вит всеми остриями своих церквей и башен торчит как заноза в горле наступления. Мантейфель жмет на него всей мощью своего правого фланга. «Но Дитрих! Дитрих! Где же левый фланг 6-й?»

Он ведь должен сомкнуться с правым флангом у Сен-Вита! Где же он? Ведь если Эйзенхауэр очнется — а это не может не произойти, и вся суть грандиозного немецкого блефа в том, чтобы перевалить через Маас, пока он не очнулся, — и поднапрет своим американо-англо-канадским множеством, страшно подумать, что станет с моим славным 57-м корпусом... Да и со всеми нами! Второй Сталинград! После Паулюса — Рундштедт!» Мантейфель даже вздрогнул при этой мысли. Связаться с Дитрихом не удавалось. Телефонная нить рвалась поминутно. Метели в горах сносили шесты с проводом. Вообще не было уверенности, что они существуют. Хаосу панического отступления соответствовал хаос победного наступления. Непогода разметывала и радиосвязь. К тому же Мантейфель подозревал, что Дитрих избегает разговора с ним. Очевидно, придется прибегнуть к классическому способу связи XIX века — через ординарцев, как во времена Наполеона.

Однако это не так просто. Человек, посланный к Дитриху, должен вести себя тонко, принимая во внимание самодурство обергруппенфюрера. Это должен быть образованный, самостоятельный, ловкий, тактичный офицер, который сможет составить точное представление о положении 6-й армии, не выдавая в то же время Дитриху истинной цели своего поручения.

Мантейфель вспомнил об офицере, которого фельдмаршал Модель назвал толковым. Как его? Штольберг, кажется? Генерал послал за ним. Этого офицера тем удобнее послать в 6-ю армию, что не жаль, если с ним что-нибудь случится по дороге либо в этом логове эсэсовцев: все равно он неблагонадежный, на него уже заведено какое-то дело.

Генерал лично объяснил Штольбергу, в чем состоит его поручение. Конечно, устное. Никаких бумаг. Словесное послание от генерала обергруппенфюреру.

Штольберг слушал генерала с удовлетворением. Поручение было ему по душе. В его натуре отвращение к нацизму уживалось с преданностью своей 5-й армии.

Генерал повторил:

— Изложите мои претензии точно. Как у вас с памятью?

— Не жалуясь.

— Главное, опишите положение с флангами как оно есть. Не забудьте упомянуть о просчете с горючим. — Немного поколебавшись, он добавил: — Если в связи с этим зайдет речь о наших парашютистах, изложите не стесняясь нашу точку зрения: здесь они неприменимы. Есть вопросы?

— Никак нет, господин генерал, все ясно. Разрешите выполнять?

— С богом!.. Да, вот еще что... — Помявшись, генерал сказал: — Выражайтесь энергичнее, понятно. Не стесняйтесь в выражениях, там принят такой стиль, и это может подстегнуть их к действиям.

Он чуть улыбнулся, и Штольберг подумал, глядя на него: «Веселый аскет»...

Однако легко было наполеоновским офицерам на взмыленных конях, с прыгающей лядункой на боку, придерживая треуголку с развевающимся плюмажем, скакать по дымному полю сражения, пригнувшись к шее коня, чтоб не угодить под пушечное ядро, и единственное, что им грозило, это смерть. Подумаешь!

Другое дело пробираться на паршивеньком задыхающемся «опеле», буксующем, несмотря на цепи, на укатанном снегу. Рокадных дорог здесь нет. А есть путанный горный лабиринт со взорванными мо-

стами, с нерасчищенными минными полями, с лесом, вдруг перебегающим дорогу, страшным в своем затаившемся безмолвии.

Тут Штольберг не выдерживал, сам брал баранку, чтобы занять себя делом, чтобы забыть, что он живая мишень, что он на мушке партизана, укрывшегося в лесу. Напряжением памяти Штольберг вызывал образ этой маленькой испуганной Ядзи-с-косичками, и тут же возникало бледное, с лиловыми подглазьями лицо Биттнера, которого он, возможно, встретит в 6-й армии СС, и тот может провалить его миссию, ибо дело об участии Штольберга в бегстве Ядзи отнюдь не закрыто, а только временно прикрыто. Эти мысли помогали Штольбергу заглушить подленькое чувство страха, пока он гнул свое длинное тело над баранкой, мчась мимо сумрачного, недобро молчавшего леса.

*(Окончание следует)*



---

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

★

## ДЕРЕВЬЯ

Как деревья утешают!  
Как смягчают сердца муки!  
И шумят — а не мешают.  
И молчат — а нет в них скуки.

И куда бы ни летели  
Их возвышенные рати —  
Каждый листик их при деле  
И не может быть нестати.

Сентябрем ли пламенеют,  
Пробуждаются ль весною —  
И корою зеленеют  
Раньше, тоньше, чем листвою,

Дремлют в инее морозном,  
Розовеющем к закату,  
Или в полночь в ливне грозном  
Ловят вспышку языкату...

Но лишь те деревья летом  
Силу свыше мне внушают,  
Что, бушующая, тень со светом,  
Жар со свежестью мешают!

Погляди: на дальних склонах  
Лучезарное светило  
Кудри яворов и кленов  
Сквозь ресницы пропустило...

Последи: в неравном вихре,  
Зноем ранясь, как занозой,  
За рекой деревья стихли,  
А вблизи — шумят с угрозой

И качаются, друг другу  
Дрожь листвы передавая,  
Чтобы шум ходил по кругу,  
Словно чаша круговая.

## К МУЗЕ КОМЕДИИ

Истинное остроумие куда ближе к добродушию, чем мы предполагаем.

*Шеридан, «Школа злословия».*

Кто смешным боится быть,  
Кто в смешные положенья  
Не стремится угодить,  
Тот боится униженья.

Кто боится униженья,  
Кто вкусил от поношенья,  
Кто забит и напряжен,  
Тот не может быть смешон.

Тот же (храбрый!), кто беднягу  
Не боится оскорбить;  
Кто не даст ему и шагу  
Без стеснения ступить;

Кто не в меру задается,  
Кто над слабостью смеется,  
Кто сердечности лишен,  
Тот действительно смешон!

Не смешна мне ущемленность  
(Если злоба ей чужда):  
Мне смешна самовлюбленность,  
Не имущая стыда!

Не смешны мне ни калеки,  
Ни шуты, ни горбуны:  
Дутые «сверхчеловеки»  
Мне действительно смешны!

...О, Комедия святая!  
Столь не часто к нам слетая,  
Жалость, милость нам яви,  
Путь закрой насмешке злобной,  
Хохот изгони утробный —  
Суть вещей восстанови!

С простодушием лукавым  
Вещий толк верни забавам,  
Слезы вызови из глаз,  
О смешливая!

И снова  
Острым чувством Не Смешного  
Наделяющая нас.

## О «ЯСНОВИДЕНИИ»

О, «прозорливости» орлино-острый взор!  
Он видит вас насквозь!  
Он режет вас в упор!  
В нем — быстрый суд, апломб, насмешка и отвага...

Вздор!  
 Лучше семерых зазря перехвалить,  
 Чем грязью одного безвинного облить  
 (Чтоб не зазнался этот бедолага!).

Как «прозорливому» глядеть не надоест?  
 Решив заведомо, что все на свете — жест,  
 Что и подстреленная лжет, рисуясь, чайка,  
 Цены не придавать, по сути, ничему.  
 Лишь подозрительности нищую суму  
 Беречь, как золото Клондайка.

Ах, если всюду ложь, не тот ли индивид  
 Открытьем Истины народы удивит,  
 Кто примечателем холодным остается?  
 Но вот что главное: открыв так много зла,  
 И каракатица заплакать бы могла!  
 А он-то (человек), он, кажется... смеется?  
 Зло, стало быть, открыл? И дал острастку злу?  
 Эх! Мышь разоблачил, дрожащую в углу.  
 Что делать... Не везет с открытиями явно  
 Всем детям уксуса и адовой смолы;  
 Открыть (добро ли, зло ль) не могут те, кто злы:  
 Зло слишком близко им, а благо им — забавно.

Лишь по наивности (казалось бы, старо!)  
 Возможно раздобыть жар-птицино перо;  
 Лишь простодушному земля открывает клады.  
 А лужи для того бывают «на земли»,  
 Чтоб «наблюдатели» садиться в них могли,  
 Бросая «ясновидящие» взгляды..



# О Ч И Р Ж И    Н А Ш И Х    Д Н Е Й

ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА

★

## ЧЕРЕЗ РЕКУ

**Г**ода три назад довелось мне побывать в одной крестьянской семье на Рязанщине. Не случайно довелось — специально туда ездила.

Перед этим в соседнем районе познакомилась с замечательной старушкой Пелагеей Петровной Милешиной — великой труженицей и совестью своего села. Познакомилась с ее «зетярьчком» Миляшем — захребетником и демагогом. Со старшей дочерью Марией, работающей в колхозе буквально без всяких громких слов, за двоих — за себя и за него, мужа, недостойного, но... что делать? — любимого.

Там же от Пелагеи Петровны услышала, что есть у нее вторая дочь, которую она давным-давно выдала замуж «за воду» (то есть за реку) в богатую пригородную деревню и к которой с тех пор так и не удосужилась выбраться: «всё дядя, всё дядя...»

Семья Пелагеи Петровны, или тети Поли, как ее все называли, меня тогда глубоко взволновала, я — как-то разом, взхлеб — написала о ней<sup>1</sup>. Ну, а с младшей дочерью, Шурой, знакомство окончилось ничем. Не то чтобы она мне показалась не интересной — совсем наоборот! И в ее семье обнаружили свои — где их нет? — радости и беды, полярные характеры и нравственные «разломы».

Однако ж, как это частенько бывает, по горячим следам не написалось, а потом отвлекли какие-то неотложные задания и насущные проблемы. Завертела жизнь, закрутила...

И все же в водовороте текущих дел и забот нет-нет да и припоминалась мне встреча с Шурой, и припоминалась, вопреки всему, как нечто светлое, очищающее и возвышающее.

А теперь вот властно, неодолимо потянуло о ней рассказать.

Светлая... Такой она предстала предо мной в черном проеме отворенной двери, когда я впервые постучалась к ней. «Светлота» исходила не только от ее платья — белого, в синий горошек, не только от аккуратного желтенького передника, не только от васильковых доверчивых глаз, — светилось само лицо — спокойным вниманием, добротой, готовностью оказать человеку услугу.

Я залюбовалась ею — высокой, статной, ничуть не похожей ни на маленькую, ладненькую мать, ни на угловатую, резкую в словах и движениях сестру.

Она выжидательно глядела на меня. Проживающие в доме отдыха, в сосновом лесу, напротив, нет-нет да и навевывались к ней и ее соседям: кто купить яблок или вишен, кто попросить соленый огурчик или луковичку. Может, и мне что надо?

— Здравствуйте, Шура! Я от Пелагеи Петровны.

В лице ее что-то дрогнуло, какая-то настороженность мелькнула в глазах, но губы улыбнулись и голос прозвучал приветливо:

— Проходите, будьте гостьей!

Сбирая на скорую руку завтрак («обедать будем, как Сергей Иванович с работы придет»), Шура легко и плавно носила по избе свое крупное тело, не торопясь и вместе с тем споро стелила скатерть, жарила яичницу, резала помидоры. И все посматривала на меня с затаенным беспокойством:

<sup>1</sup> «Новый мир», 1971, № 5. «В рязанской глушинке».



— Ну как они там? Мать все хлопочет? Здорова? В самом деле здорова? Она-то мне правды не напишет...

С тетей Полей мы не виделись тоже, считай, два года, но в письмах она ни на что не жаловалась. С чистой совестью я заверила Шуру, что Пелагея Петровна в полном порядке, рассказала, какой она еще деятельный, нужный всем человек, как идут к ней люди за советом, за судом и за лаской.

— А Мария?

Про сестру Шура спросила вскользь, словно бы отдавая дань кровному родству. О Миляше совсем не помянула, будто и не было его на свете. Наверное, обижена, предположила я, что мать всю свою жизнь отдала им и их детям. Говорила же мне тетя Поля: «Виновата я, виновата! Шуркиных дочек и на руках не держала, а они, поди, тоже уже невесты!»

— Наш дом, как и раньше, крайний? — спрашивала между тем Шура и покачивала головой, узнав, что от него к реке протянулась целая улица.— А школа-то наша старенькая все стоит?.. А пристань-то, я читала, на другое место перенесли и дебаркадер новый поставили? О-ой, и памятна мне та пристань, ой, как памятна!

И она, взволнованвшись воспоминаниями, так вот, вдруг — доверчиво, откровенно, распахнуто — поведала мне о том, как «отрывала» ее от себя Пелагея Петровна, с какими страхами, с какими горькими слезами отдавала «за воду» ее, шестнадцатилетнюю, отдавала такому же юному, года на полтора старше, мужу.

— Девкой-то я рослая была, фигуристая, на меня парни раньше, чем на Марию, стали заглядываться. Но мне они тогда — хоть бы что! А тут комсомол меня на курсы механизаторов направил, мода такая в ту пору пошла — девчата, на трактор... Там, на курсах, своего Иваныча и встретила, он и увез меня из дому... Помню, сев только кончили, он за мной и явился...

...Плакала мать, дулась Мария («Как же, прежде старшей сестры высказывала!»), дядя и тетки вздыхали: «Дети же, совсем дети!», советовали хоть до осени обождать, когда все нормальные люди женятся. Жених, упрямо тряхнув смоляным чубом, буркнул: «Так увезу», невеста, смущенно потупившись, прошептала: «Так уеду...» Что тут поделаешь? Сыграли свадьбу, одарили молодых чем могли, всей гурьбой отвели на пристань, и они поднялись по сходням на палубу старенького парохода, взявшись за руки, словно брат и сестра.

Так и просидели, рука в руку, весь путь — нескорый путь по реке, прихотливо петляющей по рязанским равнинам. Так и сидели на неудобной деревянной скамье, сами почти одеревенелые, стыдясь взглянуть друг на друга, чтобы не догадались люди, кто они. Весь день на палубе провели, глядя, как вьется и кружит между холмами Ока, как отражаются в голубой волне лесистые крутояры. Весь вечер не сошла с места, дивясь как кровенит закат недвижную, стеклянню застывшую гладь. Всю ночь любовались, как бежит по густой, темной ряби лунная дорожка, то догоняя пароход, то стелась перед ним, то пересекая реку узким златокованным мостом.

— Ой, такой красоты в тот раз навидались, такой красоть! Больше и встречать подобного не привелось, — говорила Шура. — А может, была она и потом, только глаза уже по-иному смотрели?

Я слушала ее неторопливую певучую речь и так ясно представляла себе их путь по реке, будто сидела на палубе с ними рядом. И так хорошо видела их самих — меццерскую Джульетту и ее Ромео...

Но вот слышались тяжеловатые усталые шаги в сенцах. Шура встрепенулась: сам!

Он вошел в неуклюжем брезентовом плаще, в старой шапке-ушанке, в сапогах, измазанных глиной. Лицо его было темно от пыли, на нем выделялись лишь продолговатые светлые пятна — следы от защитных очков, да ровные белые зубы.

— Ой, мы заговорились! — Шура пружинисто, молодо поднялась навстречу мужу.— Трудно сегодня было?

— Ничего... Камней многовато...

Они встретились взглядом, и в черных запавших глазах Сергея Ивановича промелькнула сдержанная нежность, а на Шурином лице я увидела выражение — его не спутаешь ни с каким другим — безоглядной любви.

Пока хозяин переодевался и, шумно фыркая, мылся за цветастой занавеской, пока хозяйка накрывала стол к обеду, прибежала из школы дочь-восьмиклассница, Любаша. Как нередко бывает в счастливых браках, взяла она от каждого из родителей все самое лучшее: стать и величавость матери, матовую смуглость кожи и диковатую, цыганскую красоту отца.

Она, негодница, знала, что хороша собой, но снова и снова хотела удостовериться в этом, снова и снова косилась мимоходом на свое отражение то в маленьком кухонном зеркальце, то в трельяжике на комодке, то в большом трюме.

— Гляди, шею-то не свихни,— попеняла ей мать, но видно было, что и она любит дочь.

— Жалко, на затылке запасных глаз нету,— утираясь полотенцем, ворчливо подхватил отец. Но чувствовалось, что и его воркотня не всерьез, а просто так, из солидарности с матерью и для поддержания порядка в доме.

А порядок этот, несомненно, был ему мил и дорог. Он расслабленно откинулся на спинку стула, с наслаждением вытянул под столом ноги в шерстяных, домашней вязки, носках, с облегчением положил на столешницу загорелые, неожиданно маленькие и изящные руки.

Рабочий день его был долг, картофельное поле трудное, каменистое. Ему несчетное количество раз пришлось прыгнуть со своего комбайнерского «насеста», чтобы выхватить каменюги из земли, не дать им попасть на элеватор, забиться в цепи или в комкодавители. Десятки тысяч людей по предписанию врачей делают лечебную гимнастику, миллионы других выполняют гимнастические упражнения в перерывах между работой. Для него весь рабочий день был сплошной гимнастикой: сколько раз прыгнешь, сколько наклонишься, в какие щели между железяками втиснешься — так изогнешься и скосбочишься, что и цирковому акробату, наверное, не приснится.

И вот — все позади, на сегодня, по крайней мере. Ты — в теплой, чисто вымытой, выскобленной до желтизны кухне, перед тобой — обильно накрытый стол, рядом с тобой — твоя заботливая жена, не забывшая поставить тебе бутылочку «беленькой»; по дому ярким мотыльком порхает одна из твоих дочерей, самая последняя, самая любимая, самая балованная...

— Сядь, угомонись,— так же ворчливо проговорил Сергей Иванович и даже сдвинул, как бы сердясь, свои черные, нависшие брови. Но в глазах — куда их денешь? — явственно читались любовь и гордость.

— А Надя? — спросил он и пояснил мне: — Наша вторая... Их у нас трое: Вера, Надежда, Любовь...

— У них какое-то собрание,— подавая наваристый борщ, ответила Шура.— Ну что ж ты, отец, нам-то не наливаєшь? Вышьем и мы «со свиданьем»...

За обедом мне пришлось подробно повторить свой рассказ о встрече с Пелагеей Петровной и столь же подробно ответить на вопросы Сергея Ивановича о Болотцевых Зачинках, в которых после женитьбы довелось ему побывать один раз (он почему-то запнулся на этом месте) — всего один раз... давно... очень давно... как кончилась война...

Хрипловатым, простуженным баском расспрашивал он обо всем обстоятельно, дотошно. Но имя Марии — снова обратила я внимание — назвал между прочим, как бы по обязанности, а Миляша и единым словом не удостоил.

— Я тут про тракторные курсы вспомнила,— счастливо розовея, проговорила Шура, когда я закончила свой «отчет». — Как ты меня тогда гармошкой своей завлек...

— Ну уж нет! Это ты меня своими песнями заманила...

Хмуроватое лицо Сергея Ивановича озарилось мгновенной улыбкой.

— И как ты меня из дому увозил, рассказывала... Какая красота на реке была, не забыл?

— Да-а,— задумчиво протянул он, и впалые щеки его зардели жарким румянцем,— такое разве забудешь?

Любаша, отодвинув тарелку, смотрела на них во все глаза, словно впервые осознав, что и мать и отец тоже были когда-то молодыми, влюбленными.

Сергей Иванович после долгой паузы спросил:

— А знаешь, Шура, какую мысль я... ну, там... больше всего маялся? Как тогда, на палубе, зябко было ночью... А я тебе даже пальтишка в подарок не привез...

Он легонько положил на плечо жены сухую, темную руку, будто теперь, задним числом, хотел согреть ее. Целомудренным, мимолетным движением Шура коснулась щекой его руки.

— Ну что ты, Сергуша! — растрогавшись, она назвала его не «отцом», не «Иванычем», а тем, молодым, да, может, еще для ночи сохранившимся именем. — Ты же свой пиджак на меня накинул!..

Сергей Иванович не принял этого утешения:

— Только тапочки прорезиненные и смог достать. Да и за ними в Рязань пришлось ехать...

— Красивые были тапочки, синенькие, с белой шнуровкой, — благодарно напомнила она.

Мы сидели за столом четверо, но они, двое, были сейчас далеко-далеко от нас, они совершенно забыли о нашем существовании. Я боялась шелохнуться, боялась громко дышать, чтобы не спугнуть, не нарушить этого путешествия в юность.

— Мам, а ты что, за папку за бедного выходила?

Сергей Иванович в замешательстве посмотрел на дочь, не сразу сообразив: о чем это она? А сообразив, насупился, заиграл желваками, резко поднялся со стула:

— Ну, я пошел... Завтра рано вставать...

Подождав, пока за ним захлопнется дверь терраски, Шура с укоризной покачала головой:

— И как ты могла, Любка?

— А что тут особенного? — строптиво возразила дочь. — Я, например, выйду замуж только за парня с машиной... Р-раз! — и ты в Рязани. Вж-жик! — и, здравствуй, Москва!..

— Не болтай глупости! — строго прикрикнула мать. — Стыдно за тебя. Садись лучше уроки делай.

— А-а, нам сегодня мало задали, завтра на картошку, — беспечно отмахнулась Любаша и прильнула к матери, шаловливым котенком завертела головой у нее на груди. — Мам, а мам, можно, я на танцы пойду?.. Куда, куда? В город, конечно, не в сельский же клуб идти, что там? — баян да проигрыватель, Пашка-шофер да Ванька-слесарь. То ли дело в городе мальчики — и посмотреть есть на что и потвистовать есть с кем...

— Ой, Любка, смотри, не доведут тебя до добра эти мальчики и «свисты»!..

— Ну я же, мам, не одна! И Тоська там будет, и Анька Пчелкина... А, мамочка? Миленкая, хорошенькая!

— Никаких танцев! — все еще сердясь, но теплея глазами от дочерней ласки, проговорила мать. — Что про тебя приезжий человек-то подумает?

Ссылка на «приезжего человека» не возымела действия. Пожалуй — даже подзадорила Любашу. Она сверкнула в мою сторону огромными черными глазами:

— А что человек может подумать? На селе живут такие же девушки, как и в городе. Та же самая современная молодежь...

Сочтя вопрос исчерпанным, она громко чмокнула мать в щеку:

— Спасибо, мам, ты у меня золотко... Не волнуйся, я вернусь рано, ты дверь в сенцах не запирай да приготовь мне раскладушку...

И упорхнула в комнату, называемую здесь залом, наводить на себя красоту. Через раскрытую дверь было видно, что занятие это для нее давно освоенное, привычное. Волосы она начесала и взбила не хуже парикмахерши, глаза подвела и удлинила к вискам с ловкостью профессиональной косметички. В ушах у нее появились большие «цыганские» серьги — они очень шли к ее крупному, матово-смуглому лицу. На ярко-пунцовое платье она набросила легкую белую косынку, на ноги натянула модные белые сапожки. Пробегаая мимо нас, поиграла в воздухе пальцами — «чао!» — это был жест известной киноактрисы, приветливый и рассеянно-небрежный.

— Вот они, нынешние дети! — Шура беспомощно развела руками. — Нам с ними и разговаривать-то трудно. Ты ей — слово, она тебе — сто...

И вдруг рассмеялась беззлобно и лукаво, точь-в-точь как Пелагея Петровна.

— Все на них валим, на атомы. А сами — тоже хорошие были неслухи...

Собирая посуду, добавила не без похвалы:

— Ну, старшие у меня совсем другие. Старшие у меня серьезные, сознательные, особенно Надя — такая уж активистка!.. А вот и она!

Да, Надя была совсем другая. Всем — и внешностью, и повадкой, и характером — она отличалась от своей младшей сестры. Была она невысокой и худощавой, как отец, светловолосой, как мать, и глаза у нее были материнские, васильковые, только не доверчивость в них светилась и не доброта, а какая-то совсем не девичья строгость.

Строгим было ее правильное, даже, скорей, красивое, но не улыбочное и, может, потому лишенное обаяния лицо. Строгой была прическа — гладкие пряди, прямой пробор. Даже в пестреньком платье была строгость — безупречная белизна пикейного воротничка не устранила ее, а, пожалуй, подчеркивала.

Во всем этом виделось что-то нарочитое, демонстративное. Или она играет какую-то роль? Или подражает кому-то?

Шура захлопотала — тоже ведь, как и отец, работница! — «сейчас покормлю!».

Надя от еды отказалась — «уже перетерпела», отказалась и от отдыха — «все равно сейчас не усну», попробовала сесть за учебники — «с этим собранием дневную норму не выполнила», но вскоре вернулась с терраски в «зал», где мы сидели, и тут Шура нас познакомила: «Из Москвы человек, из газеты»...

— А чего ты так переживаешь? — спросила Шура. — Что у вас там опять стряслось?

Спрашивала дочку, а поглядывала со значением на меня: я же говорила? Видите, какая!..

— Ну как не переживать, как не переживать? — с горячностью отозвалась Надя. — Ты знаешь, Танька-то какой номер выкинула?

— А что она натворила, бедовая голова? — ничуть не удивилась Шура. — Дойку проспала?

— Если бы только это! — возмущенно ответила Надя. — Замуж она выходит! Замуж!

— Что ты говоришь? — обрадовалась Шура. — И кто ж ее, сиротку, приветил?

— Какая разница «кто»? Важен сам факт!

— Господи, доченька, что же в том плохого? Это — каждой девушки судьба, был бы человек хороший...

— Мама, ну как ты не понимаешь? — Надя встала перед матерью, в голосе ее появились назидательные нотки (они адресовались, скорей, не Шура, а мне). — Мы же взяли на себя обязательство отработать доярками два года. Два! А прошел только один. И вдруг — ухожу! Ее жених, видите ли, городской, ей бы его в колхоз перетянуть, так нет — она идет на поводу. Бойтся: он от нее откажется...

— Ну а если и впрямь откажется?

— Грош ему цена, если он такой... Я ей на собрании так прямо и заявила: где твоя гордость? В других-то случаях умеешь поставить на своем!..

— Так у вас об этом собрание было?

— Ну да! Три часа просидели, и зря. Она уперлась и ни в какую!..

Шура смущенно покосилась в мою сторону.

— А если там большая любовь, а, Надя? Вы об этом не подумали? Может, ей без него жизни нету?

— Ну, мама, от кого-кого, а от тебя я этого никак не ожидала! Таньке без ее пижона «жизни нету». Мне — я тоже могла бы сказать — без педвуза «жизни нету». Третьему, пятому, десятому еще без чего-нибудь «жизни нету». А кто ж тогда будет работать? Кто обязательство будет выполнять?.. Я так и поставила вопрос: или комсомольский билет, или личное счастье...

Шура всплеснула руками:

— Ой, Надя! Она же твоя подруга!.. И к тому — без отца, без матери, при бабушке росла... Разве ж с нею так можно!

Надю этот упрек не остановил, не тронул.

— Тут дело принципа, мама! Сегодня Таньке это сойдет с рук, завтра Зинка или

Сонька еще чего-нибудь придумают. Так и развалится наша комсомольско-молодежная... Хорошо же я буду выглядеть перед райкомом! Всякое доверие потеряю...

— Ты, дочка, не о себе пекись,— поправила Шура и снова смущенно покосилась на меня.— Там, может, счастье всей жизни...

— А здесь — интересы дела! Здесь — показательная ферма!

— Ну коли про ферму разговор — все равно о председателе раньше нужно думать, о Журавлеве. Он для вас так старался!

— Конечно, и перед Журавлевым неловко,— согласилась Надя.— Но перед райкомом-то не ему краснеть, а мне — я комсорг... Да о нашей ферме и в обкоме комсомола знают!.. И в ЦК!..

Не вмешиваясь в разговор, я с интересом, но и с немалой досадой наблюдала за Надей. В этой девушке угадывались и похвальная настойчивость, и чувство долга, и чрезмерное самолюбие, и молодой максимализм, и непреклонность начинающего догматика. Что здесь истинного, а что наносного? Что от Шуры? Что от отца? Что привито и взлелеяно школой? Что окрепло и расцвело на комсомольской работе?

— А Журавлев был у вас на собрании?— спросила Шура.

— То-то и оно, что его я не пригласила... Понадеялась на сознательность своих девочек. А они в большинстве оказались беспринципными. Нинка Пчелкина первая полезла в кусты, она, как ее дорогой папенька, всегда — ни нашим, ни вашим... Уж на что Люда Климашина — на нее я, как на себя, рассчитывала,— но и она воздержалась...

— И чего же порешили? Про Таню-то?

— Не прошло решение, не хватило голосов... Придется теперь из райкома просить представителя... Так стыдно: сама не справилась... Ну ничего, Олег приедет, он сумеет это дело переломить!..

— Прости, Надя, что «переломить»?— не выдержала, вмешалась я.

Надя вскинула на меня строгие глаза: почему вдруг такое непонимание? Столь же строго переспросила:

— Как «что»? Эту их беспринципность.

И продолжила: — то ли с восхищением, то ли с завистью:

— Олег, он, знаете, какой? Он любую резолюцию проведет. Когда наши девочки после десятого класса упирались...

— Упирались?!

— Ну, колебались, оставаться на ферме или нет, он такую речь закатил! Так всех задел за живое! Буквально зажег людей. И резолюция прошла «на ура».

Шура взглянула на часы:

— Поздно уже... Пора спать...

Но, показалось мне, не во времени было дело: огорчила Шуру дочка, надо было прервать этот неудачный и неприятный разговор.

Проснулась я оттого, что Шура — тут же, в «зале», склонившись над раскладушкой, тихонько, ласково уговаривала Любашу встать, а девочка брыкалась, тащила на плечи одеяло, прятала голову под подушку, сонно твердила: «Да ладно, мам, это же не уроки, мам, можно и пропустить...»

— Ой, Любка, горюшко мое, и в кого ты у меня такая?!— сокрушалась Шура.— Ну, если мать с отцом для тебя не пример — на сестер бы своих посмотрела... Вон Надежда, давно уже за книжками сидит...

— А ну ее, твою Надьку,— отмахнулась Любаша.— Ей бы только на виду быть, чтоб ее хвалили...

Однако поднялась, потянулась всем своим гибким, не по возрасту зрелым телом, медленно, с закрытыми глазами стянула ночную сорочку, стала надевать трусы, лифчик, платье.

— Да не это, не это!— Шура выхватила у нее платье из рук.— Тебе же в поле работать!..

— Что, если в поле, так и чучелом?.. Тогда я совсем не пойду...

— Да надевай, что хочешь, только поскорей убирайся!..

— Беспokoит она меня,— тяжело вздохнула Шура, когда мы остались одни.— Очень уж своевольная, неподвластная... Старшие росли — свекра была жива, золовка

еще замуж не выходила, как-никак доглядывали. А эта — на полном произволе. Мы-то с отцом, бывало, с утра до ночи на работе.

— Пелагея Петровна говорила: у вас детский сад, ясли...

— А я так и писала... Пусть бы они думали, что у меня тут все хорошо!

Это прозвучало почему-то с вызовом.

Но тут же Шура погрузилась, о чем-то задумалась. Призналась:

— Это теперь ясли-сад, тогда ничего похожего в помине не было... Но матери-то зачем об этом знать? Она все равно не могла ко мне приехать.

И добавила совсем уж печально:

— Она и так из-за меня реку слез выплакала...

Я догадываюсь: и «сплошь каменные дома», и «мотоциклы в каждом дворе», и «очередь на легковушку», в которой будто бы записан Шурин муж, — все это в письмах Пелагеи Петровны появилось из тех же самых побуждений.

Насколько я успела понять, проехав вчера по деревне, колхоз «Передовик» пока еще не так уж богат и благоустроен, хотя, конечно, с Болотцевыми Зачинками его не сравнить. Тут и экономика крепче, и близость города сказывается — те же бревенчатые избы сплошь с верандами, покрашенными в белый, голубой, салатный, канареечный цвет; палисадники похваляются друг перед другом гладиолусами, георгинами, астрами, золотыми шарами, глянешь вдоль улицы — сердце замирает: расцвела-заиграла красками деревня!

Особенно заметной, должно быть ошеломляющей, показалась Шуре разница между Болотцевыми Зачинками и городом тогда, когда она только приехала сюда из своей глухомани («дикарь дикарем, ни сесть, ни ступить, ни слова сказать, свекор все, бывало, передразнивал»). Это теперь нет большого различия в том, как говорят, что носят молодые в шумной столице и в «медвежьих углах». А тогда, перед войной? Первый настоящий магазин Шура увидела здесь, в городе. И первые двухэтажные дома — тоже. И первую цветочную клумбу, и первый фонтан. И первых «живых» артистов, и просто первых москвичей и ленинградцев...

Город есть город. Даже теперь, если хочешь чего-то сортом повыше, едешь туда. Любка — в хороший городской Дом культуры, Надя — в богатую городскую библиотеку, Шура — в городской универмаг: там выбор товаров больше, в городские ателье: пошить дочкам выходные пальто или платье к выпускному вечеру.

Город есть город. Я побывала в нем — маленьком, но известном, с большой и шумной историей, почти ровеснике Москвы. На крутых его холмах сохранились торговые ряды, построенные в начале прошлого века, скромные дворянские усадьбы и аляповатые купеческие особняки, тяжелые, приземистые соборы и стройные церквушки с крохотными, точно игрушечными, колоколенками. А меж ними, по пригоркам и оврагам, — одноэтажные деревянные домики с резными ставнями, с вышитыми гладью и ришелье занавесками на окнах, с флоксами, глоксиниями и цикламенами на подоконниках. Но там же, в этом киношно-заповедном городке, — крупная овчинно-меховая фабрика и механический завод, там же — сельскохозяйственный и речной техникумы, педагогическое и медицинское училища. Там же — Народный театр, побывавший с гастролями в Москве, и Народная студия документальных фильмов. Там же — два спортивных клуба и детская спортивная школа, и Дом юных техников, и музыкальное училище. Как ни верти — иной, чем в колхозе, уровень, иные возможности, иной настрой. Он и подтягивает окрестную молодежь, город, но он же ее, несомненно, привлекает.

— Мне этот город — во! — резанул по шее ладонью председатель здешнего колхоза Журавлев, подбросивший меня к Родниковым.

Я разыскала его в райкоме партии. Только что кончилось бюро, из распахнутых дверей зала заседаний вываливались, шумно отдуваясь или негромко переговариваясь, руководители и парторги хозяйств. Судя по отрывистым репликам, от них сегодня требовали всемерно увеличить сверхплановую сдачу картофеля — год для многих областей выдался неурожайным, картошка необходима стране, как хлеб.

Мне указали на плотно, коренастого человека в кожанке, лет так под пятьдесят. Был он утомлен и озабочен, но круглые глаза, широко расставленные на скуластом лице, вздернутый нос и взъерошенные волосы придавали ему что-то мальчишеское, озорное.

Не скажу, что Журавлев обрадовался моему желанию пожить в его колхозе («Черт их знает, чего они, эти писаки, выискивают!»), но все же он — не без галантности — предложил мне место в потрепанном «газике», а сам сел за руль.

Мы спустились к понтонному мосту, пересекли Оку, по-осеннему скучную, белесую, вырвались на асфальт, затем свернули на проселочную дорогу.

— Давно вы в этом хозяйстве? — спросила я, чтобы прервать неловкое молчание.

Журавлев покосился на меня лукавым взглядом:

— Восемьдесят лет! А весь мой трудовой стаж — сто с хвостиком.

И, наслаждаясь моим недоумением, пояснил:

— Давайте по Малинину и Буренину. На войне, в авиации — год за три — двенадцать. После войны пять лет там же — год за два — еще десять. Ну, завод шесть лет — это шести и соответствует. И в колхозе — год за пять, никак не меньше! — семнадцатый пошел...

Я вспомнила Сверчкова — тоже председателя колхоза, но из «глубинки», его заvistливо: «Журавлеву легко, у него город рядом». Сказала об этом своему спутнику. Вот тогда-то он и резанул по шее ладонью, словно ножом:

— Мне этот город — во!.. Мы тут живем, как в осаде. В сплошной блокаде живем! Здесь, — он по-боксерски ткнул кулаком в одну сторону, — железнодорожная станция. Там, — он нанес символический хук, — завод. Тут — каменный карьер. Чуть дальше — изыскательская партия. Это — на нашем берегу. Через реку мостик перебежал — еще десяток предприятий, крупных и мелких, на любой вкус. Беги, родная сельская молодежь! Пополняй ряды героического рабочего класса!

Притормозив, он яростно уставился на меня, словно узрел наконец непосредственного виновника своих трудностей.

— А хлеб кому растить? А молоко-мясо с кем делать? А ту же картошку, у меня ее почти тыща гектаров?.. Я перед ними, молодыми, такие виражи, такие петли выкручиваю, только б их задержать!.. Я своих доярочек, кто заочно учиться хотел, всех пробил в институты. Я им даже «дубленки» оторвал — они у меня, как олимпийки, одеты; зимой придут куда на совещание — сразу видно: журавлевские!.. До одного не дошел — не пляшу в их самодеятельности. Но подпевать уже подпеваю. За сценой...

Судя по тому, что вчера я услышала от Нади, он правду говорил, Журавлев, но вместе с тем и не всю правду. Это, впрочем, я узнаю позже.

А пока мы с Шурой безвылазно сидим дома и ведем неторопливые, нескончаемые беседы.

«Сидим» — это, конечно, условно сказано, Шура весь день в движении: еду приготавливает, детей и мужа покормит (всех в разное время), приберет в избе, что надо во дворе, в саду-огороде сделает. Работа в Шуриных руках вершится как бы сама собой, как бы без всяких усилий с ее стороны.

— Мы, бабы, — существа нескончаемые, конца краю нашей работе нету, — говорит она и вдруг смеется весело: вспомнила, как гостила в Рязани, у старшей дочери Веры. — Неделю жила — думала, помешаюсь... Ну, квартиру приберешь, ну, обед сваришь, ну, с маленьким погуляешь, а больше и делать нечего, день-то тянется, тянется... То ли дело дома: крутишься, вертишься, только встал — глядишь, уже вечер...

Мне нравится ее речь — по-деревенски певучая, образная и в то же время уже почти городская, насыщенная, может не всегда кстати, книжными словечками и оборотами.

— Я ведь малоклассная, — объясняет она, — в девках-то мало поучилась — «отсюда досюда», по учебникам. Читать-то по-настоящему за Сергеем Ивановичем начала...

В первый же месяц в мужнином доме попался ей «Евгений Онегин». «Про что это?» «Про безумную любовь», — шутя ответила ровесница-золовка. Шура вначале не почувствовала там «ни складу ни ладу», но постепенно волшебство поэзии захватило ее, и она дочитывала роман, заливаясь слезами.

Потом читала все подряд. Даже в войну, устав до изнеможения, не засыпала, не пробежав десяток-другой страниц, чужими радостями и горестями заглушая свою тоску и тревогу. Свекор, бывало, ворчал: «Не жги керосин», свекровь жалела: «Побереги ты

свои глазыньки», золовка, фыркая в кулак, демонстрировала, как утром сонная Шура будет вести свой трактор...

Позже, когда вернулся муж и зажили они своим домом, пристрастилась Шура к радио. Особенно нравились ей радиопостановки, их она по возможности старалась не пропускать. Прибежит с работы, покормит семью, уложит старшую, Веру, спать, меньшую, Надежду, на руках укачивает, а сама прильнет к черной тарелке — никакой силой ее не оторвешь. «Овода» так раза три-четыре слушала. Сергей Иванович как-то даже сказал с обидой: «Тебе бы, Шура, за этого Овода замуж выйти или за другого героя». А для Шуры в злключениях Овода — это я тоже позже пойму — виделись совсем иные злключения...

В последние годы уже вместе с мужем они увлеклись кино. В колхозном клубе сеанс — в клуб идут, в доме отдыха — туда направляются, в городе, люди хвалят, «хорошая картина» — тоже не поленятся, поедут. Не летом, конечно, и не осенью, не в разгар работ — а зимой и ранней весной, в буран и распутицу, не хуже молодых шагают...

Шура любит пересказывать содержание полюбившихся фильмов, она в это время необычайно воодушевляется, лицо ее становится особенно просветленным, речь приобретает еще большую певучесть.

— Эта самая Салют-Мария все в жизни превзошла, все какие есть беды и радости. И под конец, совсем уже старая, вся как лунь седая, идет и смотрит, как вокруг нее жизнь кипит, люди — такие счастливые... Смотрит она на людей и не нарадуется: не зря, стало быть, жизнь ее прошла, не впустую все ее жертвы и страдания...

Жертвы и страдания Салют-Марии, оказывается, не случайно поразили воображение Шуры. Сама она тоже «превзошла» немало. Та первая весна с Сергеем Ивановичем для нее не перешла в лето — летом началась война. Для других эта война длилась четыре года, для нее — целых семь. И — без единой весточки: как ушел, так с первого дня и канул, «будто ключ в реку». Только в сорок восьмом, по осени, объявился Сергей Иванович...

Семь лет не просыхала у нее по ночам подушка. О сгинувшем муже убивалась. О матери и сестре, о доме родительском тосковала. За первенца своего боялась, что придется расти безотцовщиной. Потом о нем же тужила, когда родился он заморышем недоношенным и, неделю помучившись, «преставился». От попреков свекра не знала, куда деваться.

Однажды, дойдя до крайности, отпросилась у директора МТС, у сердобольной свекрови и отправилась в Болотцево Зачинки — хоть выплакаться перед матерью, а может... может, и насовсем там остаться... Много километров добиралась то на попутках, то пешком, от темна до темна, ночевала у добрых людей и двигалась дальше, как-то сбилась с пути и чуть не заоченела в лесу, под соснами...

— Почему же у матери не осталась?

Шура то ли не слышит, то ли не хочет отвечать, пока не вылила свое, наболзвшее:

— А работать сколько приходилось? И как работать? Трактор-то раньше разве такой был, как теперь? Он ведь раздетый был весь, просто ужас! Я на нем дождями вымочена, солнцем высушена, ветрами продута, морозом выжжена... А как ремонт, бывало, начнется, так в нетопленной мастерской руки к железу и вовсе примерзают. Посмотри, какие они у меня с тех пор!

Шура протягивает мне кисти рук — лиловато-припухшие, с искривленными пальцами, с ревматическими шишками на суставах, с твердыми, словно ороговевшими мозолями, — бедные, бедные, прекрасные руки, подлинная «трудова книжка» крестьянки!

— Ну, а после того, как Сергей Иванович пришел?

Кто-то некстати заглянул, отвлек — в этот день Шура не ответила на мой вопрос и в следующий его не коснулась, а я не посмела напомнить, чувствовала: неспроста...

Да, неспроста! Трудно было Шуре подступить к этому, даже теперь, четверть века спустя, трудно. А что пережили они в ту пору?!

Он ведь в плену был, Сергей Иванович, из лагеря в лагерь перегонялся, и бежал несколько раз, и чуть ли не был разорван овчарками, и к расстрелу приговаривался... «Куда там Оводу!» — воскликнула Шура.



А когда уж на своей земле, после множества проверок в родной дом вернулся,— тоже неладно все получилось.

Свекровь плакала от счастья, наглядеться не могла на воскресшего сыночка, а свекор все вздыхал, все поглядывал на него этак бочком, по-петушину, да как-то спяну и клюнул: «А все ж ты фамилию нашу опозорил! Дядья твои — все люди заметные, грудь в орденах, отец — красный гвардеец, у Буденного воевал, а ты?» Сергей ему: «Я же раненый был, и руки, и ноги перебиты», а тот свое: «Не-ет, не в меня сын пошел, не в меня!.. Кабы я — гранату бы зубами, да вместе с собой еще нескольких фрицев прихватил...»

Тут-то и взорвалась Шура — тихая, безропотная, терпеливо сносившая все придирки свекра, все его наскоки, тут-то и закричала, опаленная обидой за мужа: «Так что же, по-вашему, лучше бы он совсем сгинул? Вы... Вы — не человек — зверь лютей!..»

И хотя извинялся разом протрезвевший свекор и свекровь молила: «Не слушайте вы его... Он как глаза зальет — болтает, сам не знает что», и Сергей уговаривал: «Ну, отец же о себе... Он бы, наверно, так сделал»,— Шура не могла простить этих слов.

Вот тогда и решили они с мужем перебраться к Шуриной матери, тогда и ездили в Болотцевы Зачинки, в первый раз после свадьбы и в последний.

— Не понравилось? Работу подходящую не нашли?

— Нет,— отвечает Шура, помедлив.— Мешать не захотели... Мария уже замужем была, и сынок у нее родился... Тесно б нам вместе было...

В тесноте да не в обиде, думаю я про себя. А может, была и обида? Но ведь такое не спросишь, если люди сами не говорят!

А они, рассказывает Шура, «погостевав», воротились в эту деревню и эту вот усадьбу заброшенную в рассрочку купили, вон в той баньке сначала маялись, там она и Верочку родила, а избу возводили долго, несколько лет: поставили одну комнату с крыльцом — под колхозную контору сдали, потом спальню пристроили — в нее перешли, потом кухню добавили и сенцы, потом и терраску.

А уж как дом-хозяйство завели, как разбил Сергей Иванович этот сад и дочери одна за другой пошли — перевелась Шура из трактористок в доярки: свободного времени вроде больше. Но и эта работа здоровья не добавила: сколько кормов на своем горбу пришлось перетаскать, сколько навоза выгрести,— «сложить все это вместе — высокая бы получилась гора!».

Вот почему сейчас, в цветущем своем возрасте, недалеко от того, когда про бабу говорят «ягодка опять», имеет Шура не только тридцатидвухлетний стаж, но и инвалидность третьей группы.

Все что могла отдала колхозу, имела бы право и не работать больше, благо дочери, кроме Любки, на своих ногах, и достаток в доме полный, и Сергей Иванович приносит в семью солидный механизаторский заработок. Но... недаром Шура — тети Полина дочка, не мыслит и она своей жизни без труда. Вот и ходит убирать колхозную контору. Деньги, конечно, небольшие, но все ж таки — при деле, в самом средоточии деревенской жизни.

На уборку конторы Шура ходит, когда погаснет свет в председательских окошках. Для семьи такой распорядок дня — большое удобство, и мне хорошо: вечерами у нас с Сергеем Ивановичем свои беседы.

Не особенно-то он разговорчив, Сергей Родников! Полной раскованности, задушевности, лиричности, как в первый вечер, больше не повторилось. Отчасти, может, потому, что я неудачно подступилась к разговору. А главное — после Шуриных рассказов слишком много «подводных камней» приходилось мне обходить.

Не признаваясь в том, что наслышана о его прошлом, я пыталась втянуть его в воспоминания о войне: как он на это смотрит? Он бросил коротко:

— Настродался народ. И там, и тут.

Тщетно подождав продолжения, сказала:

— Да, многие постарались вычеркнуть из памяти эти годы.

Он передернулся, как от озноба.

— Я несколько лет кричал по ночам и скрежетал зубами...

Он снова надолго замолчал, уставившись невидящим взглядом в окно.

Ну что ж, значит, эта тема — табу.

Попробуем о первых послевоенных годах. Но и тут результат не лучше:

— С ничего начали. К голому колу прививались...

Гораздо охотнее он говорил о своей семье, о детях. Но тоже без лишних слов. Все проблемы семейного воспитания, например, свел к одному:

— Детей любить надо.

— Ну, а требовательность?

Он усмехнулся:

— Жизнь свои требования предъявит. Никуда от них не уйдешь. Отформует как надо...

— Случается ведь, и не то «формует»?

— Если подвой и привой здоровые — плоды будут хорошие. Непременно...

Да, конечно, семья — основа основ, в ней, в ее микроклимате, на ее традициях прежде всего воспитывается человек. Но не так все это однозначно и просто. Даже в садоводстве, которым увлечен Родников: и подвой и привой могут быть хорошими, а на деревца то болезни нападут, то сельхозвредители расплодятся, то разбойники-грызуны нагрянут — глядишь, и нет плодов или они червивые, гнилые... А уж с детьми?..

Но к чему мне с ним спорить? К нему душевный покой пришел, как видно, не скоро. И в возвращении душевного покоя, в нелегком послевоенном возрождении опорой для него, судя по всему, была его семья. Они с женой верили друг в друга, они надеялись рука об руку преодолеть все трудности на пути, они, несмотря на лишения, сохранили свою любовь; как символы их веры и надежды выростали их дочери — утешение, радость, отрада и награда всей жизни. Мог ли он иначе воспринимать их? Мог ли по-другому к ним относиться?

— У ваших девочек такие разные характеры,— осторожно, будто по тонкому льду идучи, сказала я.

Он улыбнулся безмятежно, ласково.

— На яблони яблок много, а двух совсем одинаковых не найдешь... Вы еще старшую не видели — вся в мать, хлопотливая, хозяйственная...

Не обижен ли он на Веру, что она из деревни в город переметнулась?

Он пожал плечами.

— Теперь все перемешалось... Мост-то через реку в оба конца можно перебежать... Наши — в город, городские — к нам...

— Вы имеете в виду шефов?

— Шефы — само собой. И «десятники» тоже.

— «Десятники»? — не поняла я.

— Которые из одной десятой работают... Накопал колхозу десять мешков картошки — один бери себе. Собрал в колхозном саду сто килограммов яблок — десять твои... Это Журавлев ввел, до него много добра пропадало, не справлялись своими силами...

— Давно ввел?

— Да уж несколько лет... Сразу-то его прижали, дескать, частному сектору общественное добро разбазаривает, потом разобрались, начали это дело распространять...

— Помощь существенная, но ведь сезонная.

— А он круглый год ими пользуется, городскими-то, он их хорошо привлекает! Особенно тех, кто еще там не укоренился...

— Чем? — удивилась я.

— Дома с удобствами строит. Приусадебные участки выделяет. Поросят на развод дает... У нас с механизаторами никакого зарезу... только свистни — завтра еще десять и двадцать прибегут.

Та-ак! Значит, отчаянное журавлевское «ножом по горлу» — всего лишь эффектный жест? Такой же эффектный, как и «сто с хвостиком» лет трудового стажа?.. Сверчков-то, выходит, прав: не так уж плохо пригородному колхозу, если и там умный, находчивый, оборотистый председатель. Есть от города — близкого и бурно растущего — и прямая польза для села. (Не говоря уж о той огромной, всеохватной, все возрастающей помощи, которую получает от городов советская деревня.)

Однако ж то, что Родникову кажется бесспорным, кто-то видит совершенно в ином свете. Кум Пчелкин хотя бы.

Шупленький, похожий на старого мальчика Пчелкин забегает к нам почти каждый

вечер. Именно «забегает» — ходить он не умеет. Сидеть спокойно тоже не привык — он и на стуле непрерывно сучит ногами, будто продолжает бежать. В движении не только ноги, но и руки — они все время снуют, но и глаза — они то и дело помаргивают, но и губы — они даже в молчании шевелятся — то ли он улыбнется сейчас, то ли заплачет. Но в молчании Пчелкина застать не так-то легко. Любит он, по его же словам, философию развести.

В отличие от Родникова, который глубоко, органично убежден в том, что все — в его доме, в колхозе, в стране — правильно, все «как надо», Пчелкин со всем «выражает несогласие».

Взять те же дома для переехавших горожан.

— Это что же, — негодует он, — мы от дедов-прадедов здесь в своих хибарах-халупах живем, а они из города набежали и — на тебе! — им дома в пять этажей, им горячая вода и теплые сортиры!?

— Это у тебя-то «халупа»? — Брови Сергея Ивановича изумленно ползут вверх.

— Я лично-персонально не про себя... Я за весь сельский народ-население забочусь... Нет, ты, Серега, скажи: и чего они сюда лезут? Чего им в городе не сидится?

— Кто-то наших-то должен заменить, наши-то поразъехались, — резонно замечает Родников.

— Еще бы! Город — он ведь как магнит! Город, это что? — Пчелкин вскакивает, привстав на цыпочки, упирается в спинку стула, как в трибуну. — Город — это культура. Фонари-асфальты на улицах, театр под боком, кино с широким экраном... Опять же — два выходных в неделю и тринадцатая зарплата — вынь да положь, она от дождя-снега и от прочей стихийной засухи не зависит... А мы что видим-наблюдаем на данный конкретный момент? Что? Как неурожайный год — спину-то втрое погнешь, по́ту ведрами выжмешь, а дополнительная? Где она?..

— Значит, в городе лучше? — серьезно спрашивает Сергей Иванович, улыбаясь глазами.

— Знамо дело! — возвращаясь на стул, подтверждает Пчелкин.

— А чего ты в городе не остался? С такого завода ушел!..

Пчелкин замирает с открытым ртом, будто стукнулся о невидимую стену.

— Чего? — переспрашивает он, растерянно моргая. Наконец восклицает обрадованно: — Так у меня же баба тут! Семья-дети! Престарелые родители!..

— Приусадебное раздолье, — в тон ему добавляет Родников, а глаза его совсем уж откровенно смеются. — Знай поспевай-поворачивайся!..

— Вот-вот, оно самое! — не уловив подвоха, соглашается Пчелкин. — Старики-то надрывать-горбиться уже не в силах. И бабе давно не двадцать—тридцать!..

— А ужимать поместье — ой, как жалко!.. Оно ведь не только кормит-поит, но и доход дает!..

— Да уж, не по-ихнему живем! — приосанивается Пчелкин и вдруг хихикает, покошачьи жмурясь. — Это же, Серега, курам на смех! За всякой картошкой-моркошкой — на базар! За килограммом мяса — в очередь!..

— Значит, в деревне лучше?

— Вольнее! — убежденно кивает Пчелкин.

— Потому ты и живешь вольнонаемным, в колхоз не вступаешь?

Пчелкин обижается:

— Я колхозу не чужой! У меня отец с матерью — колхозные ветераны, баба на колхозной земле состарилась... Да и сам я разве хуже тебя работаю? Меньше норму даю?

— Не хуже. Но сердце у тебя за колхоз не болеет... Хорошо — ты здесь, плохо — шапку в охалку и на тот берег... Шатунок ты, Федя, — необидно, скорей с огорчением, говорит Сергей Иванович куму своему и другу детства. — Право слово, шатунок!..

После моих вопросов Надя относится ко мне вежливо-настороженно. Ей, с ее черно-белой прямолинейностью, неясно, что я за человек. Может, из тех, из самых... говорили им про таких-то на собрании районного актива, предупреждали!..

И когда я прошу ее взять меня с собой на вечернюю дойку, она не без строгости спрашивает:

— А с райкомом комсомола вы это согласовали?

— Надя, детка, опомнись! Какой райком? Какое согласование? — Мне и смешно, и грустно, и жаль ее.— Просто я хочу взглянуть, как вы работаете. Познакомиться с девочками...

И так как Надя отстраненно молчит, Шура спешит вмешаться:

— Что уж ты, Надежда, в самом-то деле, такая неприветная? Мне за тебя даже совестно.

— Да пожалуйста! Я что? Я разве против? — неохотно соглашается она.

Но она «против», всем сердцем «против», всей душой. Я чувствую это, пока мы у колхозной конторы ждем машину, усаживаемся в нее, едем вдоль деревни, «подбирая» доярок. А вскоре я пойму и причину этого.

Доярки влезают в кузов с шумом, с гамом, с хохотом. Девушки — они в брючках — вспархивают легко, пожилые цепляются за борта юбками, подтягивают друг друга, какая-то толстуха весело кричит шоферу:

— Чего к сиденью-то прилип? Подтолкнул бы в зад!

— Да нешто я с тобой справлюсь? — отвечает тот, высунув из кабины рыжую кудлатую голову.— Тут башенный кран нужен. А то и порталый...

Видно по установившейся традиции, пожилые рассаживаются с пожилыми, у молодых — свои скамьи. Сидят девушки рядом, но, кажется мне, как бы и врозь. Неужели всегда так недружно? Или разъединило их недавнее собрание?

— Эй, вы, чего находились? — спрашивает толстуха.— Почему не поете? Да кабы у меня такая радости!

И, подмигнув товаркам, затягивает высоким, визгливым голосом:

Вы просватали подругу  
Дешево-задешево...

С передних скамей неожиданно звонко — откуда только сила берется? — подхватывает задорная, белесые «хвостики» врзлет, пичужка:

Ничего, что дешево —  
За Леню за хорошего...

Ее соседка — круглолицая, в мелком барашке завитков—поет, адресуясь непосредственно к ней:

Отплясала наша Таня  
На высоких каблучках...

И та, лихо подбоченясь и дробно притопывая, отвечает:

Скоро маленький кудрявенький  
Запляшет на руках...

Третья девушка — серые глаза с поволокой, пепельные косы, горделивая осанка,— приняв эстафету, запекает глубоким контрально:

Мы просватали подругу,  
Мы не будем горевать,  
Нам самим по той дороженьке  
Идти, не миновать...

Последнюю фразу они поют уже втроем, поют истово, самозабвенно, поют для одного, определенного человека. Частушки звучат как своего рода резолюция того, неудачного собрания, только в данном случае «голосов хватает» и голоса эти направлены в защиту «отступницы», против Нади.

Она это прекрасно понимает, однако «игнорирует» и вроде бы безучастно смотрит вдаль. Но едва в частушечной переключке возникает пауза, Надя вклинивается в нее и поет, как положено «вожаку»:

Нету свету, нету свету,  
Нету электричества,  
Нету качества работ —  
Не надо и количества...

Так, чередуя озорное с «выдержанным» и стараясь перекрычать друг друга, они распевают всю дорогу к величайшему удовольствию женщин. (Древенский «телеграф» работает безотказно: они, несомненно, посвящены в суть этого конфликта.)

Тем временем машина, миновав колхозные поля, объехав ольшаник, где тракторы с утробным урчанием корчевали деревья (мещерская целина!), оставив позади дубовую рощу, вырвалась на широкую поляну. На дальнем краю ее, слева, виднелись новенькие деревянные навесы, а справа, под купой белоствольных берез — такая же новая бревенчатая изба с красным флагом на крыше.

Это и был летний лагерь.

Черно-пестрые коровы, тяжело ступая, направлялись к нему откуда-то из-за кустарника, вымя у каждой было полным, грузным, на мордах так и читалось сознание исполненного долга. Неторопливо толкаясь, они занимали свои места под навесом.

Доярки, выпрыгнув из машины, переодевались в белые халаты, повязывались козынками, мыли под краном руки, спешили начать работу.

Я обратила внимание на молодых: до чего ж по-разному они это делали!

Надя шагала решительно, как на приступ, с коровами разговаривала строго, повелительно: «А ну, подвинься! Встань как следует! Убери ногу!»

Сероглазая не шла — плыла, будто пава, но в беспешности своей как-то незаметно опередила Надю, заговорила ласково: «Ах, вы, мои умницы, ах, вы, мои красавицы!» (и потом, я видела, подойник у нее наполнялся быстрее, она ходила с ним в молочный блок чаще).

Задорная, с белесыми «хвостиками» (уж не она ли — невеста?) бежала, пританцовывая, почему-то не по центральному проходу, как все, а внешней стороной. Я подошла ближе: оказывается, она угощала своих подопечных то коркой хлеба, то яблоком, то куском сахара, а какую просто гладила по голове, чесала за ухом.

И только круглолицая, в кудряшках передвигалась нехотя, как-то рывками, к коровам подходила с той же нервозностью, покрикивала на них: «Чего лягаешься, дура?.. Ишь ты, хвост-то обделала, неряха!»

Пока они наводили коровам «туалет», затарахтел движок, под навесом и среди берез неярко (сумерки только начинали сгущаться) вспыхнули лампочки, а там и зачмокали доильные аппараты, в воздухе, перебивая запах солярки, повеяло запахом парного молока, запахом детства. Сердце замерло, жалось: как давно оно было!

Подавив волнение, я направилась к избе, и вдруг — остро, сильно — пахнуло на меня речной свежестью, и я увидела внизу Оку, прекрасную в плавном ее изгибе, и темный заречный бор. Вода была тусклой, недвижной и ртутно-тяжелой, небо над бором — цвета незрелого яблока, но уже наплывала из дальних далей синева, и в ней, чуть заметные, не столько виделись, сколько угадывались звезды.

— Интересуетесь? — послышался мужской голос.

Я оглянулась. Позади стоял кругленький, помятый, но еще довольно бравый мужчина в клетчатой ковбойке с немислимо ярким галстуком, в галифе и сапогах.

— Здешний зоотехник, — представился он. — А вы из газеты? Из радио? Из телевидения?.. Нет, просто частное лицо?.. А то к нам после молодежного почина многие ездят... так сказать, пропагандируют...

Я попросила его рассказать о девушках этой смены.

— Краткие характеристики? — с готовностью отозвался он. — Что ж, начнем с нашей, что называется, гордости — Надежды Родниковой. Она всякому делу закоперщик и главный толкач... С ба-альшим будущим товарищ!.. Ее показтели...

— Спасибо, не надо...

— Людмила Климашина, — он указал на сероглазую. — Лучшая наша доярка и будущая моя замена... Я, так сказать, из практиков, что называется, исполняющий обязанности... А она второй год на заочном. После школы сразу и поступила... У нее как раз во время выпускных экзаменов отец помер, наш бывший зоотехник.. так вот она — по следам и на смену...

О задорной, с «хвостиками» сказал:

— Татьяна Макарова... Ежели на чистоту — оторва девка... Мужу ее, как говорится, вожжи держи да натягивай... Такой чуть-чуть слабинку дай — век из-под ее каб-

лука не вылезешь.. Но уж добра-а! Не то что человеку — псу последний кусок отдаст... Жаль, уходит, из нее бы хорошая доярка получилась...

Круглолицую я сама назвала:

— Нина Пчелкина, да? Вы рады, — спрашиваю зоотехника, — что к вам пришли молодые?

Он на мгновение замялся.

— Откровенно? Не для печати?.. Еще бы не рад! Некоторые из старых доярок, пользуясь, так сказать, нехваткой кадров, совсем, знаете, избезобразились — капризы всякие, ультиматумы, чуть что: «В город на производство уйду!»... А теперь они хвосты, что называется, поджали...

— А с молодыми вам легко?

— Строго между нами?.. Не очень! Народ они больно уж грамотный, интеллигентный... С ними каждое слово подряд не скажешь, попросту, по-крестьянски, матерком, что называется, не пошлешь... Говори и думай, так сказать, озирайся... А ежели что «не в дугу» — они таким манером между собой перегляднутся — со стыда сгоришь, будто ты и не человек вовсе, а, извиняюсь за выражение, ископаемое... Мне Журавлев насчет этого строго-настрого наказал... Да я и сам стараюсь.. И вообще, так сказать, окультуриваюсь, — он указал на свой галстук. — Ну, а в работе — ничего, девки хваткие, что называется, огонь!..

После дойки, когда все было перемыто и перечислено, пожилые доярки уехали домой, и Таня Макарова уехала — ее ждал нетерпеливый жених, и Люда Климашина — надо было помочь матери. Мы остались: Надя с Ниной в эту ночь дежурили, а я надеялась что-то еще увидеть, услышать, понять. Вместе с пастухами жгли у обрыва костер, варили пшеничный кулеш с салом (в избе стояла газовая плита, но «на газу», объяснили мне, получается не так вкусно). Пастухи после еды долго, разморенно курили, неспешно вспоминали войну, степенно, без споров, прикидывали: от чего больше «эффекту» — от заливных лугов с их разнотравьем или от непривычных пока культурных пастбищ. Когда они умолкали, слышался мерный плеск реки и глухие вздохи коров. Пастушеские собаки, как равные, сидели рядом с нами и заглядывали нам в глаза своими все понимающими глазами.

А с девушками разговор у нас так и не состоялся.

Вернувшись поутру, я застаю Шуру в погребе.

— Идите ко мне, полюбуйте на наше предприятие! Вон как жить стали!

По удобной, с перильцами лесенке спускаюсь в просторное, сухое помещение. Электрический свет дробится, искрится, переливается в стекле. На свежеструтаных полках стоят десятилитровые баллоны с маринадами, в них — пупырчатые, с мизинец огурцы, длинненькие розовые помидоры, аккуратные, будто наштампованные, грибочки. Жмутся боками трехлитровые банки с компотами: светло-желтые — яблочные, желто-зеленые — грушевые, фиолетовые — сливовые, почти черные — вишневые. А полки с вареньями!..

— Полтора центнера сахару купили, — гордясь произведенным эффектом, говорит Шура. — И все равно не хватило, килограммов двадцать пришлось докупать.

Ближе к зиме, когда начнут резать скот, появятся на этих полках еще и банки с мясными консервами. Прежде крестьяне тоже пытались сохранить мясо впрок: держали его на льду или жарили и заливали салом, но от времени оно синело или покрывалось ржавчиной. Сейчас деревенская хозяйка освоила тайны пастеризации не хуже дипломированного специалиста.

А ведь помимо погреба есть у Родниковых и кладовушка за сенцами — там царство солений: те же грибы, огурцы и помидоры, но в другом, более грубом исполнении. Капусты кадку уже нашинковали да посолили, теперь кочаны начнут замачивать с яблоками, антоновкой, — представляете, какой это вкус?

— Продавать ничего не продаем, — говорит Шура после того, как мы возвращаемся на кухню. — Дочке в Рязань, золовке в Москву отправляем... Когда нуждались — сад еще в силу не взошел, а теперь нужда отпала... Да и нет у меня этой жилки — всякую овощ-ягоду в копейку превращать. Другие-то бабы в этом деле напорные... Полно, уговорила кума Антонина с вишеньем к дому отдыха выйти. Она поет-зазы-

вает: вот у меня товар крупный да сладкий! Спешите, покупайте, не ягода — мед и сахар... А я, как немая, молчу и сквозь землю готова провалиться. Отдала первому подошедшему за полцены и бегом к дому...

— Ой, кума, ты мне тогда всю коммерцию испортила! — басовито донеслось из сеней.

Дверь из кухни в сенцы мы, увлекшись разговором, забыли закрыть, там человек незаметно вошел и, похоже, слушал нас, а теперь, решив вмешаться, усиленно заширкал ногами о половичок. Продолжал с издевкой:

— А чего с ими, городскими, считаются, у их денег куры не клюют, все, что увидя — хапают... Ай, извиняюсь, я не думала, что твоя гостья дома...

Это (легка на помине!) Антонина, жена Пчелкина, — громоздкая, будто стальной сейф, с плоским, как блин, лицом и серой пористой кожей.

Антонина явно делает вид, будто огорчена своей оплошностью, а Шура, несчастная, от смущения не знает, куда деваться.

— Ну что уж ты так, Тоня? Их деньги тоже не с неба дождем свалились, они, как и наши, трудом достигнутые...

— Да что ты, что ты, кума! Я совсем не то имела в виду, я говорю — неизбалованные они, непривередливые...

Антонина говорит это вроде бы с сочувствием к непривередливым горожанам, но глазки ее — темные изюминки в тесте — так и поблескивают от удовольствия.

— А ты... ты сегодня была в конторе? — отвлекая куму от опасной темы, торопливо спрашивает хозяйка. Но, как видно, касается темы еще более опасной. Гостья так и подсакивает на табуретке:

— Была, была... Видела: наследницу твою опять на доску повесили...

— Вот и хорошо, — примирительно говорит Шура. — Не зря я на нее надеялась. Молодец Люда!

— Люда — наследница? А почему — Люда? — удивляюсь я.

Антонина даже пыхтит от возмущения, искреннего или наигранного, кто ее знает.

— Куда как не молодец! Таких коров в руки получила. Ты их раздаивала, ты их в рекордистки выводила, а она пришла на готовенькое...

Шура отвечает спокойно, рассудительно:

— Кто-то же должен принять мою группу, раз я на пенсию уходила.

— Дочке бы передала, Надежде! Или уж моей Нинке, как-никак — крестница...

— Не скажи, кума! Люда единственной работницей в семье осталась, у матери еще трое мал мала меньше, ей высокие надои не для рекордов — для жизни нужны. А у наших с тобой, слава богу, есть отцы-матери.

— Это все доброта твоя, ненужная твоя доброта, — наступают Антонина.

— Доброта — всегда нужная, — просто, без всякой аффектации возражает Шура.

— Много, вижу я, ты за доброту свою имеешь. — Антонина пренебрежительным взглядом окидывает комнату.

— С меня хватает, — непривычно холодно говорит Шура.

Я догадываюсь: они не первый раз говорят об этом и позиции их непримиримы. Но Антонина не может (или не хочет) остановиться — прет напролом.

— Она тебе, поди, и спасибо не сказала, а ей теперь — слава на всю область, почет и уважение...

— Пусть молодые славятся, а у меня свой почет — от детей, от мужа...

Мне кажется, только деликатность мешает Шуре выставить Антонину вон.

А та, сложив полные руки на могучей груди, смотрит на Шуру свысока, снисходительно:

— Ты что же, и впрямь думаешь, что Людка да и все они заслужили ту славу?.. Я уж по своей Нинке вижу... И ты, вспомни-ка, за свою Надежду сколько раз доила! То у них собрания, то заседания, то на слет передовиков ехать, то на передачу опыта, то в самодеятельности выплясывать...

— Так ведь и без этого не обойтись, они ж молодые, — пытается возражать Шура, но куда там! — Антонина буквально «забывает», «глушит» ее своим басом:

— Да на них же политику делают, понимаешь — по-ли-ти-ку! Чтобы к деревне их привязать и в город не выпустить. Оттого и поблажки всякие, и ах, и ох, прямо как

сервис какой на подносе носят... А ты и поверила? Эх, подружка моя золотая, простота ты простота!

Последние слова Антонина произносит приторно-ласково, привстав, обнимает Шуру и в лицо этак добренько заглядывает, но столько в ее тоне чувствуется собственного превосходства, столько убежденности: она-то уж — извините-подвиньтесь — не так проста!..

Антонина еще раз повторила эти слова, уже мне одной, перехватив меня у своего забора — высокого, из толстых, плотно пригнанных досок, с массивной калиткой и прямо-таки крепостными воротами (Родников справедливо назвал: поместье).

— Слышу я, Шура вам про свою жизнь рассказывает? Жизнь у нее — хоть роман пиши, это уж точно! Только всей правды вы от нее не узнаете... Это я, упаси бог, не со зла говорю — Шуру я люблю и жалею, как родную... Она той правды не видит, а когда и видит — все равно прощает, этакая простота!..

— Извините, я спешу...

Я сделала попытку пройти дальше — не обсуждать же мне Шуру за ее спиной! — но Антонина крепко вцепилась в мой рукав, загудела, жарко задышала в лицо:

— Про Маньку, сестру свою, она вам не говорила? Нет? И не скажет... А я — скажу! Я — такая, я правду-матку всегда выложу... Шура-то в войну к матери своей уходила, нестерпимо было ей тут оставаться... А как ее Мария встретила? Ступай, говорит, откудова пришла, куда, говорит, тебя законный муж увез, там и жди его, чтоб потом не попрекнул... Думаете, она об Шуриной семейной жизни болела? Как бы не так! Она же в девках, ровно стручок перцу, засыхала и за себя испугалась, как бы не застыла Шура ее своей красотой... Я сама — зачинковская, я Маньку как облувленную знаю, при Шуре-то ни один бы парень в ее сторону даже не плюнул, не то что в жены взять...

Я опять делаю движение, чтобы уйти, но Антонина теснит меня к забору, гудит с еще большим азартом:

— Нет, вы постойте, постойте, дослушайте! Без меня вам никто правды не откроет... А как с плена вернулся Сергей, думаете, почему они у Пелагеи Петровны не остались? Опять же она, Манька, не допустила! Кинулась Шуре в ноги и ну голосить: «Не жить нам в одном доме, вы моему Василию всю судьбу поломаете!» Его, Манькиного-то охламона, тогда в начальники метили, больно он к этому рвался. Ну и струхнул: как бы пленный родственник анкету не подпортил... Мать, сказывают, шибко убивалась, хотела их удержать, но Миляш и ей пригрозил: не уедут — он его, Сергея-то, куда подалее упечет, чтоб совсем без возврата...

Все, что собиралась, Антонина опрокинула на меня, выпустила мои руки, впилась в лицо мне своими изюминками. Ну уж нет, я не дам тебе торжествовать!

— Напрасно старались,— говорю с безразличием.— Все это я уже знаю.. От Шуры...

Конечно, того, что нагудела мне Антонина, я не знала, не могла знать. Однако ж и раньше, с первого дня в родниковском доме, я о чем-то смутно догадывалась. Другое дело, что не собиралась ничего выведывать, тем более — таким путем...

Так вот они, стало быть, те обиды, о которых Шура не захотела мне рассказать! Все будто случайно, вскользь, брошенные слова, даже умолчания, даже настороженные или тревожные взгляды теперь нашли свое объяснение. Все участники событий заняли свои, заслуженные ими места в общей картине. Все увиденное и услышанное за эти две встречи — в Болотцевых Зачинках и здесь — приобрело цельность, глубину и законченность.

Антонина — увы! — хорошо осведомлена. Достаточно хорошо, чтобы при случае терзать «золотую подругу». Чтобы, подобно дырявому мешку, рассыпать так вот, мимоходом, перед первым встречным свою куцую правду. И притворно сетовать на Шуриную простоту.

Нет, Шура совсем не проста, думала я, уйдя в ближайший — по-осеннему яркий, многокрасочный, но уже и грустный чем-то — лесок. Она умна, гонка, все видит, все понимает, всему знает цену, только «шкала ценностей» у нее совсем иная, чем у Антонины.



Всепрощенье? Тоже — нет! Ни свекру, ни тем более Миляшу, я убеждена, Шура ничего не простила. А Марии? А сестру свою, должно быть, постаралась понять. И пощадила ее, не промолвила о ней ни одного худого слова. А может, и пожалела по-женски: ведь для нее, Шуры, любовь была величайшим счастьем, для Марии — она тяжкий крест.

Самое печальное во всей этой давней истории, пожалуй, то, что Шура, любя и почитая мать, не могла жить рядом с нею, не решалась даже ездить к ней, боясь осложнить ее жизнь скандалами. А Пелагея Петровна, как ни убивалась по Шуре, как ни считала себя виноватой перед внучками, не обласканными ею, как ни выплакала «реку слез», — не могла, по материнской своей справедливости не имела права оставить Марию: ей она больше была нужна.

Чем же тут помочь? Что сделать, чтобы перекинуть мостик через реку вины, реку обиды, реку слез?

Жизнь сама решила этот вопрос, сама всем распорядилась. Но как!..

Домой я вернулась поздно (надо было как следует пережить, «пережевать» услышанное). Наши уже поужинали, Надя, по обыкновению, уткнулась в свои учебники — она была на втором курсе заочного педвуза и там тоже старалась держаться на уровне лучших. Шура на кухне что-то вязала, Сергей Иванович сидел рядом, читал ей вслух.

— Вас покормить или Любушку обождете? Она вот-вот, с минуты на минуту...

— Конечно, подожду...

Но пробегали минуты, прошел час, на дворе уже стемнело. Сергей Иванович то и дело отрывался от книги, поглядывал на ходики.

— Шура, они у тебя не спешат?

— Кажется, немного бегут, — не слишком уверенно сказала мать, но Надя крикнула из «зала»:

— Тютелька в тютельку! Я по радио проверяла.

— Так что же Любки нет? — насупился отец.

— Может, дополнительные уроки... Ты же знаешь, не ладится у нее с математикой...

Сергей Иванович почитал еще немного (я прислушалась: это был Толстой, «Воскресение»), затем порывисто отложил книгу:

— Шура, а она куда не собиралась? На танцы или куда?..

— Да вроде нет, ничего не говорила...

Он поднялся.

— Пожалуй, пойду, покурю...

Шура с тревогой посмотрела ему вслед: он же курить давно бросил...

Заглянула в дверь «зала»:

— Надя, ты не знаешь, где она?

— Я ей в пастухи не нанималась...

— Грубишь ты, дочка! Отец вон сам не свой, да и я места себе не нахожу... А ты сидишь себе, как чужая...

Материнский упрек словно хлестнул Надю по лицу. Она вскочила, самолюбиво вспыхнула, но под взглядом матери опустила голову, исподлобья посмотрела на нее:

— Прости, мама... Я думала...

— А ты не подумала, что с ней, может, что случилось?!

Впервые в голосе Шуры я услышала нотки гнева. Неизменно хваленая, образцовая, показательная Надя, видимо, — тоже. Потеряв весь свой апломб, она приблизилась к матери.

— Ну хочешь, я у Пчелкиных узнаю?

— Да ладно уж!.. Обойдусь...

Шура махнула рукой, как бы напрочь отсекая Надю от себя и от своей беды.

Жест этот был сильнее всяких слов, сильнее всякого удара. Надя отошла к своему столу, сторбилась над ним, слепо уставилась в учебник.

Шура рывком сдернула с вешалки полушалок, накинула на голову, стукнув дверью, выбежала в сенцы. Спустя какое-то время с улицы донесся ее беспечный голос:

— Ты чего это, отец, в темноте, как сыч, выглядываешь? Иди отдыхай, тебе чуть свет на работу...

Сергей Иванович пробормотал что-то невнятное.

— Ступай, ступай! А я к Пчелкиным сбегая. Скорей всего она с их девчонками засиделась...

— Был я там... Ихняя Анька ее после школы не видела...

— Ну других подружек обойдем... Ты ложись, ложись! А мы быстро... Мы с Надеждой разом оба конца деревни прочешем...

Надя напряженно прислушивалась к этому разговору. Материнское «мы с Надеждой» как бы возвращало ее в семью, позволяло включиться в семейные заботы. Она судорожно, по-ребячьи вздохнула, быстро начала одеваться.

Бережно, за плечи, Шура ввела мужа в дом, скомандовала дочери неожиданно властно (я тут же вспомнила «командирские» интонации тети Поли в критические моменты):

— А ну живо! Ко всем Любкиным подружкам подряд... Пойдешь приречной стеной, она светлей и короче. А я...

— Разрешите мне с вами,— предложила я.

— А мы,— согласилась Шура,— двинемся по подгорной...

Мы побрели по ночной улице. В окнах не светило уже ни одного огня; редкие уличные фонари высветляли небольшую окружность подле столбов, а за теми «пятак-ками» света темь была еще непроглядней; мы спотыкались о какие-то камни, попадали в глубокие колеи с застоявшейся после недавнего дождя водой.

Шура, привычно угадывая нужные дома, осторожно стучала в ставни, вызывала знакомую Лукерью, Дусю или Настёну, извинялась за беспокойство, спрашивала: «Моя Любка у вашей Зины (Гали, Лены), случайно, не заночевала?» И услышав отрицательный ответ, стучала в следующие ставни еще более осторожно, извинялась еще более виновато.

Шурина деликатность не помешала дворовым Жучкам и Шарикам поднять тревожное тявканье и скулеж, их подхватывали соседние псы и последующие, ближние и дальние. Так что мы двигались по улице, сопровождаемые собачьим лаем, слышимым всей деревне, и неслышными — то удивленными, то соболезнующими — перешептываниями, пересудами, догадками...

В одном из домов на стук, не решаясь выходить, выглянула в форточку Любкина соученица, сонно протянула:

— Вам кого?

Разглядев, испугалась:

— Тетя Шура, вы? Что случилось?

— Ой, Клава, ничего пока не знаю... Скажи, Любка не у тебя?

— Нет. Мама в Рязань, к брату уехала... Я ее звала, говорю, мне одной страшно, а она говорит: не могу, предки не разрешат...

Так мы ни с чем и вернулись к своему крыльцу. А там навстречу нам поднялась со ступенек Надя. Сказала, не умея скрыть своей растерянности:

— Послушай, мама... Я узнала, где она...

— Где?!

— Ничего страшного, мама... Во Дворце культуры устроили осенний бал... Кончился поздно... Она не одна ушла, с парнем...

— К-куда ушла? С к-каким парнем? — Бедная Шура даже стала заикаться.

— Мишкой звать... Девочки слышали, он ее обещал на машине до дому прокатить...

— Наш Мишка? — с надеждой спросила мать.— Журавлевский шофер?

— Нет, Мишка-студент... Да ты не расстраивайся, мама, я этого парня знаю... У него мать — учительница, отец — директор школы...

— Ночью? С парнем? В машине? — Шура повторяла эти слова как бы не в силах уразуметь их смысл.

— Ну что тут особенного, мама?! Ну, может, забуксовали, не могут выбраться?.. Позавчера, помнишь, какой ливень был? — Надя говорила горячо, убежденно: не знала только, мать она старалась успокоить или себя?

— Любка? В машине? С парнем?.. Да как же я отцу об этом скажу?!

Шура не выговорила эти слова — простонала.

Я поняла: не столько легкомыслие дочки сразило ее («сами — тоже хорошие были неслухи!»), она за мужа больше всего боялась — как он перенесет проступок своей любимицы?

В это время в сенцах послышались торопливые шаги, дверь со скрипом отворилась, из темноты раздался более чем всегда хриплый голос Сергея Ивановича.

— Что за военный совет?

Он пошарил по стене, щелкнул выключателем. Над входом загорелась лампочка в матовом колпачке, осветила крыльцо, асфальтовую дорожку, ведущую к калитке. И его осветила. Он стоял в сером рабочем плаще, накинутом поверх исподнего белья, и сам, при смуглоте своей, был бледен до серости.

Сергей Иванович повел запавшими глазами по нашей растерянной, нахохлившейся группке слева направо и справа налево, как бы пересчитывая. Спросил осевшим вдруг голосом:

— А Любка?

— А Любка,— начала было Надя, но Шура метнулась вперед, отстранила ее, заговорила быстро, весело:

— Не волнуйся, отец! Ты только не волнуйся! Она у Клавки Астаповой ночует... Лизавета в Рязань к сыну уехала, ну, Клавка нашу и попросила: останься, а то одной страшно... Одной-то ей, мол, страшно... Вот Любка и осталась... У Клавки...

Она не умела глать и тупо повторяла одно и то же и, слыша, сколь неубедительно это звучит, с мольбой обернулась ко мне:

— Ведь правда?

Я кивнула.

— Да! Конечно! — уверенно подтвердила Надя, как будто она сама там была.

Сергей Иванович снова обвел нас взглядом — медленным, упорным, испытующим, круто повернулся и ушел к себе, на терраску, не сказав ни слова. Шура шагнула было за ним, но передумала. Мы молча, не глядя друг на друга, вошли в дом, разбрелись, совершенно разбитые, по своим углам.

Я видела, как Шура неприкаянно бродит по кухне, то присядет к столу, то возьмется за ручку двери, ведущей на терраску, то нерешительно остановится у входа в «зал».

Я кашлянула, давая знать, что не сплю.

Шура подошла, тяжело опустилась на край дивана, охватила руками голову, закачалась из стороны в сторону, приглушенно всхлипнула:

— Ой, Любка, Любка, что же ты натворила?!

Я погладила ее по плечу. Что я могла сказать?

Из спальни вышла в ночной сорочке Надя.

Бывают часы и минуты, в которые молодые мгновенно взрослеют. Надя за эти несколько часов внешне как будто вернулась в детство. Она сбросила с себя придуманную личину строгости, деловитости, непреклонности. Вместо ложной приходит истинная взрослость — взрослость души. Сейчас это был человек, познавший сочувствие и сострадание, страх за близких, готовность разделить с ними и горе и ответственность.

Надя присела на пол у Шуриных ног, положила голову матери на колени.

— Не плачь, мамочка, родная, ну, пожалуйста, прошу тебя, не плачь!.. Ну что ж теперь?.. Ну, бывает... не такая это трагедия...

А когда Шура все-таки прилегла, Надя — яростно, сквозь зубы — пообещала мне:

— Я сама к этому Мишке утром поеду!.. Я ему покажу!.. Он у меня узнает!..

Наде не пришлось ехать к Мишке ни утром, ни в последующие дни.

На рассвете Шура, как всегда, собрала Сергея Ивановича на работу. Впрочем, не совсем как всегда. С необычной для нее суетливостью сновала от печи к столу, от стола к посудному шкафчику, поворачиваясь к мужу то спиной, то боком. Боялась: спросит что-нибудь, а что ей отвечать?

Но он был каменно-молчалив, одевался медленнее обычного, несколько раз при-

саживался на табурет, держа в руках сапог или свитер,— то ли в глубокой задумчивости, то ли собираясь с силами.

Шура спросила, не поднимая глаз от салфетки, в которую заворачивала обед:

— Ты что, отец? И завтракать не хочешь?..

Не ответив, он стал натягивать на себя тяжелый, негнувшийся, будто жестяной плащ, долго не мог нашарить левый рукав.

Шура подошла, помогла ему, прильнула к его спине. Он не отстранился, но и не отозвался на ласку. Обернулся, задержал на ней тяжелый, скорбный взгляд, сказал, как выдохнул:

— Э-эх, мать!..

Ей бы крепче обнять его, оградить своими руками, заслонить своим телом,— только бы задержать, не дать переступить порог, не допустить, чтобы сегодня, после такой ночи, он поднялся на свой комбайн! Как она потом кляла себя, что не сделала этого, что стояла посреди кухни «чучело — не чучело, истукан — не истукан», и об одном лишь думала: «Неужто догадался?!»

Нет, не только о том. Еще билась в голове мысль: «А что ж теперь с Любкой-то делать?», и еще одна: «По всей деревне сами оповестили, сраму-то, сраму сколько!» Именно это казалось ей в ту минуту наиважнейшим в жизни.

Боже мой, каким — уже через час — все это виделось мелким, несущественным, недостойным внимания перед той, самой большой, самой страшной, самой непоправимой бедой!

Именно через час прибежал запыхавшийся Пчелкин и, кривясь лицом — то ли плача сквозь смех, то ли смеясь сквозь слезы,— быстро-быстро заговорил:

— Ты, кума, не пугайся!.. Ничего уж такого ужасного-страшного... Может, просто споткнулся-оступился, может, в глазах потемнело-закружилось... Он даже за ворота не успел выехать...

Шура, вытянув вперед руки, точно слепая, медленно двинулась к нему. Спросила шепотом:

— Жив?

— Жив, жив, кума! Тебя спрашивал... Да ты беги, беги к нему! Он там, возле мастерской... А я в контору. «Скорую» из города вызову... Ты на меня положишься, кума! Я — мигом...

Он убежал семенящей, подпрыгивающей своей походкой, а мы, все трое, бросились в мастерскую.

На полпути Шура остановилась, потерянно провела рукой по лбу... Вспомнила:

— Да... да... Любка!.. Вы вернитесь, дождитесь ее, узнайте все, а там уж...

Она не договорила и продолжала свой путь — не круговую, по дороге, а напрямик, через чьи-то дворы, плетни, огороды, канавы. Надя с трудом поспевала за ней.

Время плелось, ползло, тащилось...

Любки не было. Боялась явиться домой? Ждала нагоняя? Просто стеснялась? А может... А если случилось более страшное?!

Шура и Надя тоже не возвращались.

Я пошла в колхозную контору, наискосок, но там ничего толком не знали. Кто-то с чьих-то слов сказал: «Кажется, инфаркт». Кто-то видел сам: на носилках вносили Родникова в санитарную машину, а Шура все порывалась помогать, чтобы не уронили, не тряхнули ненароком.

Можно ведь позвонить в больницу, но в которую? Их в городе три. Буду спрашивать подряд, где-нибудь да найду.

И в этот момент из окна конторы заметила: в родниковскую калитку — не с улицы, из глухого проулка — юркнул кто-то стремительный и яркий. Ну, наконец-то, кажется, Любка!

Да, это была она. В новом цветастом платье с оборочками (я у нее такого не видела). Когда я вошла, она стоя торопливо доедала не тронутый отцом завтрак. Ни тени смущения или, тем более, страха не было на ее лице. Она уже убедилась, что матери нет дома и неизбежное объяснение откладывается, а передо мной, посторонней, решила разыграть независимость. Спросила с вызовом:

— Куда это все разбежались?

— Люба, Люба...

Черт побери, я-то чего волнуюсь? Мне-то почему трудно говорить?

— Как ты могла, Люба?

— Ну и что такого особенного? Я у Клавки Астаповой была! — ответила она невнятно, с набитым ртом. Прожевав, вскинула голову. — А в чем, собственно, дело?

Я молчала. Что-то в моем лице или взгляде ее, как видно, встревожило, но она строптиво вздернула плечом, прошла в «зал», оглядела себя в трюме с головы до ног.

— Хорошо платице? Модерновое!.. Целый год копила деньги... специально заказывала, к осеннему балу...

Я смотрела на нее, такую свежую, юную, прелестную — и мне было страшно нанести ей удар, по существу, обвинить в том, что случилось с ее отцом.

Любка, по-прежнему стоя перед зеркалом, в свою очередь, глядела на меня, вернее, на мое далекое отражение. И вот глаза ее расширились, испуганно метнулись

— А куда... Куда же все делось?

И тогда я сказала:

— Люба, папу увезла «скорая помощь»...

Девочка круто, резко обернулась ко мне. И вдруг вся сникла. Долго, как в замедленной съемке, опускалась на пол, сжалась, скорчилась. Жалобно, жалко глянула на меня снизу вверх:

— А-а как он? Он... что?.. Он не?..

Я ничего о нем не знала, как он сейчас. Но другого сказать было нельзя:

— Успокойся, он жив.

Она расплакалась горько, безудержно, отчаянно. Я с трудом подняла ее, усадила на диван, обняла. Девочка прижалась ко мне, сквозь рыдания повторяя, что же она наделала, какая она виноватая, как она любит своего отца, какой он справедливый и добрый.

Из бессвязного ее рассказа я поняла, что Миша действительно хотел отвезти ее домой, как делал это уже не однажды, но машина испортилась, они с отцом долго ее чинили да так и не могли починить, Миша собирался проводить Любу пешком, но мать не разрешила: «Уже очень поздно, мы будем волноваться» — и уложила девочку у себя в спальне.

— Ах, зачем, зачем я ее послушалась? Лучше бы я прибежала домой одна!.. И тогда бы ничего не случилось, все бы хорошо кончилось!..

А чем она кончится, эта ночь, не знал никто на свете, ни одно, самое чуткое сердце, ни одна, самая светлая голова: ни Шура, ни городские врачи, ни профессор, вызванный на консультацию из Рязани.

У Сергея Ивановича действительно оказался инфаркт — инфаркт тяжелейший, обширный. Боли несколько дней не унимались, температура не падала, давление снижалось до кригического, пульс еле-еле прослушивался.

Все это я узнавала от девочек, Нади и Любы, — они каждый день, одна между собой, другая до школы, бегали в больницу. Одинаково потрясенные, одинаково напуганные и как никогда дружные, они часами простаивали под окнами терапевтического корпуса, ловили людей в белых халатах, приставали к «ходячим» больным: не знают ли хоть чего-нибудь об их отце? Не передадут ли хоть словечко их матери? Или вот — немножко еды...

Шура в доме не появлялась: она как села возле кровати мужа, так и не отходила от нее, разве только к соседним койкам что-то подать или поправить. Она не покидала палату даже во время врачебных обходов, даже в минуты профессорского священнодействия, лишь вжималась в стену, вся—зрение, вся—слух: что еще скажут? что сделают? чем помогут?

Ее попытались убедить по-хорошему, с ней говорили строго, в конце концов за нее испугались: «Да посмотрите вы на себя, вас же скоро придется укладывать рядом!» Все напрасно: «Я должна быть с ним...»

Однажды задремавшая было Шура почувствовала на себе взгляд Сергея Ивановича. Взгляд какой-то незнакомый и, как ей почудилось, нездешний. Она проглотила вставший вдруг в горле ком, невероятным усилием удержала готовые хлынуть слезы:

— Я здесь, Сергуша...  
 Взяла его побелевшую, вялую руку, погладила.  
 — Я с тобой...  
 Он что-то проговорил, она не расслышала, нагнулась к самым губам: что, что?  
 — Ты... себя... береги...  
 Она улыбнулась сколь сумела бодро:  
 — Я-то ничего. Ты вот давай поправляйся...  
 Он спросил — Шура по движению губ догадалась:  
 — Как Любка?  
 Закивала весело:  
 — Все хорошо, отец, все в порядке... Они каждый день тут, обе, да их к тебе не пускают.

— Не надо... им... меня... такого... видеть...  
 Сергей Иванович устало прикрыл глаза. Шура подождала, подождала, прислушиваясь к его неровному, трудному дыханию, решила, что он заснул, убрала от его руки свою замлевшую руку. Сергей Иванович слабо пошевелил пальцами, призывая ее назад.  
 После долгой-предолгой паузы он опять прошептал что-то коротко и повелительно. Шура наклонилась к нему:

— Я тебя слушаю, Сергуша!  
 — Мать позови...  
 Шура испугалась. Так испугалась, что похолодела вся: бредит! Мать свою, покойницу, призывает!

Но Сергей Иванович, как это часто у них бывало, будто каким-то чудом услышал ее мысль, угадал ее испуг. Уточнил:

— Пелагею Петровну...  
 ...Шура рассказала мне это, забежав из больницы,— надо же было помыться, переодеться и соснуть часок-другой, от долгого бдения на табурете ноги ее отекали, не вмещались ни в туфли, ни в тапочки.

— Вы, Шура, отдыхайте, а я схожу на почту, отправлю тете Поле телеграмму...  
 Я не решилась признаться ей, что телеграмма уже несколько дней назад послана. От имени Шуры. После долгих раздумий я взяла на себя такую смелость. Больно мне было за них, за Шуру и ее мать, больно, больно и обидно — ведь обе они тяжело страдали из-за той, давней истории. Пусть со временем примирились, но примирились внешне, на расстоянии, в письмах, а решительного шага навстречу друг другу сделать не могли. Когда же, думала я, и подтолкнуть их на этот шаг, как не теперь, в дни беды...

Пелагея Петровна приехала без ответной телеграммы—заранее не знала, попадет ли на проходящий теплоход. Никто ее поэтому не встречал. Какой-то добрый человек, сделав изрядный круг, довез ее на своем «Москвиче» до дому, внес во двор ее немудреный багажник.

Мое присутствие она восприняла как должное: «А, и ты здесь?» Обнимая внучек, всплакнула: «Родные вы мои, кровиночки, да какие вы ладные, какие пригожие!»

Мы хотели покормить ее с дороги, она села скромненько в уголок, маленькая, виноватая:

— Ня буду... Дочку обожду...  
 И все качала седенькой головой в темном платке, все вздыхала, все приговаривала:

— Вот, значитца, как... Вот она, жизнь какая!  
 Шура, к счастью, скоро явилась.  
 Они бросились друг к другу — радостные, сколь это позволяло им их общее горе, и все же, казалось мне, заметно скованные неловкостью.

Я ушла из дому, чтобы им не мешать; вернувшись за полночь, легла, не зажигая огня, на свой диванчик.

Не знаю, долго ли они разговаривали и о чем, а может, и совсем не говорили, сраженные бедой. Но утром, когда я проснулась, Шура уже уехала в больницу, а тетя Поля хлопотливо кружилась по дому и по двору, делая все быстро и ловко, будто всегда тут жила.

А через неделю я возвращалась в Москву — дела давно меня туда звали.

Уезжать было грустно: я оставляла семью, ставшую мне дорогой и близкой. Передо мной прошла недолгая, но такая бурная, сложная, трудная часть ее жизни, пора испытаний.

Сколько на моей памяти семей в подобных и даже менее сложных обстоятельствах давали трещину, а то и рушились совсем, в скольких семьях в дни потрясений поселялись взаимные упреки, непрощаемые обиды, злоба, вражда.

Родниковых испытания сблизили и сплотили, раскрыли в их детях все самое лучшее, доброе, светлое, самоотверженное. Все, что вложили в них родители.

Дорогой ценой, скажете вы? Очень дорогой! Очень! Но где, когда, что — истинно ценное — доставалось дешево?

...Сергею Ивановичу — заезжала я в больницу — стало к этому времени легче, можно было надеяться на благополучный исход.

Москва — Переделкино,  
октябрь—декабрь 1975 г.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ



## ВОЗМОЖНОСТИ ЖАНРА

**В** октябре прошлого года в Москве состоялась международная встреча писателей, тема которой была обозначена: «Исторический опыт второй мировой войны и ответственность писателя за судьбы своего народа и человечества в условиях разрядки международной напряженности».

Нас (и не только нас) озадачило утверждение одного американского писателя, будто бы в Советском Союзе память о жертвах войны, в том числе и в литературе, это уже что-то вроде религиозного культа. Одним словом, непонятная ему чрезмерность.

Если бы реакционный писатель утверждал такое, никого бы это не озадачило, не удивило. А то ведь хороший, прогрессивный писатель, человек, который в свое время яростно участвовал в борьбе против американской авантюры во Вьетнаме...

Вспомнилось тогда другое высказывание другого американца. Майк Давидов, побывав в Хатыни, писал:

«Трудно ощутить полностью глубину страданий другого, если сам не испытал беспредельности трагедий. Я пришел к выводу, что данные о тяжелейших испытаниях Белоруссии выходят за пределы моей способности постичь и осознать трагическое. Четвертая часть ее населения убиты и восемьдесят процентов ее территории превращено в пепел. Как вообразить это? Это напоминало бы трудновообразимую картину: более пятидесяти миллионов американцев убито и вся наша страна разрушена, за исключением ее восточного побережья».

Видите, если твой народ этого не испытал, трудно даже вообразить. Нашему народу, к сожалению, «воображать» не надо: он помнит. А потому и литература наша, советская литература, забыть этого не может, права не имеет забывать. Более чем закономерно, что не только через художественное воображение писателя, но и напрямую звучит память народная в нашей литературе.

В ряду этих произведений и книга-документ «Я из огненной деревни». Но я хочу вести речь не о ней, а о самом жанре подобных книг. О возможностях жанра.

Ведь она не последняя. (А в каком-то смысле и не первая. Уже Лев Толстой записывал рассказы крестьян об их жизни.) Скоро, насколько мне известно, мы будем читать документально записанные К. Симоновым солдатские воспоминания о войне. Да разве только о войне возможны книги в таком жанре? Жизнь нашей деревни в разные исторические периоды, заводские судьбы народные — мало ли о чем мог бы рассказать наш народ, если бы мы его всерьез спросили и если бы расспрашивали о самом главном?

Когда-то М. Горький подал идею записать «Историю фабрик и заводов». Немало было сделано в этом направлении. Но что-то и мешало осуществить превосходную идею так, чтобы произведения оказались долгожителями.

Много было причин тому: и дело совершенно новое, и журналистский опыт как-то подталкивал иных литераторов в сторону публицистической однодневки. Напомним и про то, что в руках у писателя не было и такой удивительной вещи, как портативный магнитофон. Нет, это не всего лишь техника — вроде шариковой ручки, пришедшей на смену гусиному и стальному перу. У человека с магнитофоном возникает возможность получить голоса сотен и сотен людей, которые, накапливаясь, постепенно становятся самостоятельной литературной (в определенном смысле) реальностью. Другое дело, как вы обойдетесь с этой реальностью. И как с вами разговаривали и о чем. А это зависит от многого.

Когда мы делали книгу о Хатынях, друзья интересовались: все это нужно, важно, но что делать здесь писателю? Приехал,



пришел, включил магнитофон, записал... При чем тут писатель, художник?

Профессионализм в такой работе должен проявиться в очень жестком (даже жестоком) отношении к себе именно как писателю. Новичку, который еще не согнал охотку «пописательствовать», труднее отстраниться, не вылезать вперед со своим всезнающим и «беллетристическим» словом. Да, когда берешься за такую работу, надо быть готовым как бы раствориться во всем, что у тебя есть, в мудром и щедром таланте народа. В этом прежде всего и проявляется твоя писательская квалификация.

Но что же все-таки за жанр такие вот книги?

«Никто,— говорил К. Симонов, выступая в 1975 году в Минске на конференции, посвященной литературе о Великой Отечественной войне,— не может сказать: я знаю о войне все! Все о войне знает народ. Так давайте записывать народ».

Репортажные жанры, записи событий «из первых уст» — это сегодня повседневное журналистское занятие. Но бывают и могут быть репортажи с «места события» воистину исторического, которое действительно затронуло, затрагивает судьбы народные. И вот ты дал выговориться самой жизни, не подменяя ее ни схемой, ни своим торопливым «художественным» словом. И что дальше?

В процессе такой работы обязательно обнаружится любопытная вещь, которая, между прочим, помогает внести трезвую ноту в «самооценку» людей писательской профессии. Вот пишут критики, исследователи, сами писатели, что у художника — особенная способность запоминать различные психологические состояния. Да, без такой способности трудно представить художника. Но ведь и женщины из Хатыней помнят происходившее с ними и в них с такой остротой, точно вот сейчас, сегодня это совершается. И чем проще человек, чем бесхитростнее, тем больше помнит, все помнит: что почувствовал, как подумал...

Но в чем же тогда преимущество писателя-профессионала? Очевидно, в большом умении сознательно отбирать из своей (и чужой, если записываешь) памяти эстетически значимое, самое полноцветное. Вот эту способность и мобилизуешь, она и есть главный инструмент на той стадии работы, когда материал уже собран и надо помочь ему найти форму, отлиться в форму, в жанр.

С Даниилом Граниным мы записываем воспоминания ленинградских блокадников. Работа, особенно когда доходит до оформления, в чем-то даже сложнее, нежели та, которую мы проделали с Янкой Брылем и Владимиром Колесником, делая книгу «Я из огненной деревни». Хатыни — это один, самый страшный в жизни человека день, час. Ленинградская блокада — 900 дней. Отыскать, нащупать в памяти человека, с которым встретился впервые, самые вершинные точки пережитого им, направить память человека так, чтобы рассказ его захватил именно эти точки, о которых тебе, конечно, ничего не известно, — тут только интуиция и может помочь.

И хорошо, если поможет.

Вот человек рассказывает, как он руководил противопожарными группами МПВО. Много интересного сообщает, но это уже, в других вариантах, и читали и слышали мы. И вдруг человек вспомнил! Мог бы и опустить этот факт, не придавая большого значения ему, посчитав его просто казусом, нелепым случаем, но его просят не опускать как раз то, что особенно поразило, стоит перед глазами. Хотя оно, может быть, и не столь значимое, на его взгляд, в сравнении с другими событиями и фактами.

И человек вдруг вспомнил.

«Упал снаряд на барак. И не разорвался. Лежит в квартире. Поехали разряжать его. Звонят ему, начальнику. Снаряд, мол, нашли, здесь он, но женщина, хозяйка, не отдает («Не могу отобрать»).

— Как, не можешь снаряд отобрать?

— Не могу. Приезжайте сами.

Приехал сам. Зашел в комнату. Лежит женщина на полу, обняла снаряд, закутала в шаль (снаряд теплый еще) и не отдает его.

Стали выяснять, в чем дело. Оказывается, у нее грудной ребенок не был эвакуирован. От этого страха, в панике, ребенка-то родственница схватила и унесла куда-то. А она осталась, увидела этот снаряд и решила, что это ребенок»...

Сколько дней, недель, месяцев бомбежек и обстрелов, слепых, систематических, сколько дней страшного, смертельного голода видится за этим состоянием человека, вроде уже невменяемого! Когда все сдвинулось, придвинулось одно к другому: умершие от голода и живые, жизнь и смерть...

То же самое, как женщина в белорусских Борках нам рассказывала. Тоже вроде ми-

моходом, но именно это ее потрясло, запомнилось. Да и как могло не запомниться...

Соседка ее, поняв, что будут убивать, живьем жечь людей, сказала своему восьмилетнему мальчику: «Сынок, зачем же ты ботики резиновые надел? Зачем ты обулся в эту резину? Твои же ножки будут долго гореть»...

Кстати, почему после Хатыней — Ленинград?

Минувшая война помечена была множественностью событий глобального значения, смысла. Но в этом множестве выстроился ряд из нескольких особенно зловещих явлений.

Это — запланированное истребление людей в деревнях, та же концлагерная «селекция», но уже вынесенная на просторы оккупированных стран («Хатыни»). Обыкновенные избы, амбары, колхозные сараи, церкви превращались в жуткие крематории.

Это — попытки удушения голодом многомиллионного города Ленинграда.

И наконец — первая атомная вспышка над планетой...

Деревня и город в условиях тотально-истребительной войны, развязанной фашизмом, войн, переносимых именно на мирное население, — вот что такое наши Хатыни рядом с блокадным Ленинградом.

Ленинград... Мы слышим, мы произносим, мы читаем это слово, а за ним встает, звучит так много для сердца не только русского, но и белоруса, и украинца, и француза, и норвежца: Петербург, Петроград, «Аврора», Эрмитаж, Пушкин, Достоевский... Без него, без этого города, мир для нас, для человечества неполон. Как и без Москвы, Парижа, Праги, Рима...

Но появились на этой же планете существа, которым город этот казался лишним, ненужным. С точки зрения их сумасшедшей доктрины о «нужных» и «ненужных» людях, расах, народах. Уже в июле 1941 года они планировали, как их армии, взяв в огненное кольцо город на Неве, уничтожат его, сровняют с землей, истребив и население, чтобы «не кормить его хлебом южных районов», который они уже считали своим.

Ленинград устоял. Как устояла Москва. И тогда на помощь призван был голод. Как говорила Ольга Берггольц, фашисты «заслали в город голод». «Положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник — голод», — записывал в своем дневнике начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер, когда в Берлине поняли, что Ленинград устоял пе-

ред прямым натиском, прямым штурмом. Известно, что у Гитлера побывали «ученые» «третьего рейха» и с математическими выкладками проинформировали его, сколько нужно недель, чтобы город умер, пал голодной смертью. Все было подсчитано точно: продукты, калории, биологические законы. И действительно, умерли сотни тысяч.

Но город не пал, не умер.

Мы множество рассказов записали, из которых видно, как люди выжили, хотя по всем объективным данным обязаны были умереть. Одна из женщин чудо это сформулировала так: «У каждого был свой спаситель». И действительно. Не в том лишь смысле, что многие выжили лишь потому, что в самый трудный момент кто-то кого-то поднял на улице, вернул утерянную карточку, поделился последним. Но была и более сложная зависимость.

Люди выстояли, выжили потому, что их поддерживало чувство долга, преданности, любви к ребенку, дорогому человеку, родному городу. Спасались спасая. И если даже умерли, то на своем последнем пути кого-то поднимали. А если выжили, так потому, что кому-то очень нужны были.

Женщина (еще один рассказ), которая в самые страшные дни декабря 1941 года лежала в морозном, темном, без воды, без канализации, вымирающем доме и кормила ребенка буквально собственной кровью — материнского молока и никакой другой пищи не было, она прорезала исхудавшую руку и давала сосать вместо груди, — женщина эта тоже спасала Ленинград, не давала ему умереть. Так же как и те, кто сбрасывал с крыши бесцельные «зажигалки», вез продукты через Ладогу, удерживал врага под стенами великого города.

Можно сказать: естественное поведение матери, женщины... Но крайний голод способен многое исказить в человеке. Если человек духом послабее. Не случайно народ в пословице предупреждает: голод не тетка!

В том же доме и даже в квартире той поселилась другая женщина. «Такая вроде бы видная, рослая из себя», — рассказывают нам. И у нее тоже двое было детишек: мальчик постарше и девочка десятилетняя. Когда снизилась норма хлебная до ста двадцати пяти граммов, стала «смертельной» (по словам рассказчицы), погибель, смерть неудержимо устремилась к детям и одной и другой женщины.

Первая собой их заслонила — «открыла жилы».

Вторая перехватила ее, смерть, рукой человека ожесточившегося до крайности. Перехватила, чтобы отвести ее от старшего, от мальчика. Но какой ценой отвести?! И куда направить?.. «Получу карточку на троих, а кормить буду только его. И ты сделай так», — советовала она соседке.

Нам адрес давали той, несчастной. Не пошли мы с Даниилом Александровичем. Побоялись. Постыдились подсматривающе слушать человека. Не нам, не пережившим такое, лезть в судьбы. Пусть судят те, кто право имеет, — сами все это испытавшие. Вот эта женщина, что кровью собственной кормила девочку.

Пока жила она, ее ребенок, жил Ленинград вопреки стремлению тех, кто хотел умертвить его. Вслед за нашими Борками или Хатынью умертвить.

В одном из писем женщина из Тосно говорит:

«Очень рада, что так теперь хорошо живем... Ребятишек заставляем больше есть и все вспоминаем, как Лариса в 7 утра в голод просыпалась и просила хлеба вчерашнего.

Говорили:

— Лариска, нет хлеба.

— Ну тогда дайте завтрашнего!»

«Вся правда» о войне, которую знает на-

род, конечно же, «не отменяет» художественную литературу о войне. Но она что-то корректирует в наших произведениях. И вообще наше восприятие художественной литературы корректирует.

Вот я специально перечитал «Голод» Кнута Гамсуна. Когда-то это произведение меня потрясло тем, что воздействует не только на чувство, ум, но как бы и на желудок, железы наши. Читая, вслед за героем я мучился всеми стадиями голода.

После невыносимо правдивых рассказов блокадников о том, что такое голод и каков человек, умирающий от истощения в голодном городе, я и Гамсуна невольно читал как одного из свидетелей. Тоже интересного, но не самого правдивого, не самого памятливого и даже не самого талантливого рассказчика из числа нами слышанных и записанных.

Да простит меня литература!

К чему я это говорю? Даже если такое прочтение и ощущение, такое сравнение литературы и народной памяти и очень субъективно, даже и в этом случае трудно не прийти к очевидному: народная память, если мы ее записываем и запишем со всей полнотой правды, честности, существуя в литературе как особенный жанр, вместе с тем не может не оказать влияния и на всю литературу. И именно тем, что в ней — истинная мера боли и правды, красоты и силы, нравственная мера.



Е. ГОРБУНОВА



## ГОРИЗОНТЫ МАЛОЙ ПРОЗЫ

**В**семи замеченный подъем современной новеллистики связан, как представляется, с тенденциями глубинного обновления нашей многонациональной литературы, пристально глядящейся в коллизии общественного и индивидуального сознания. И в особенности с влиянием действенно-преобразующих идей социалистического гуманизма и народности.

Социалистическое искусство с самого своего зарождения утверждалось как искусство, воодушевляемое сочувственным вниманием к внутреннему миру личности, к сложностям и противоречиям человеческой жизни. В противоположность литературе капиталистических стран, испытывающей давление нереалистических концепций, проникнутых духом неуверенности и нигилизма, социалистическое литературное творчество стремится укрепить целостный взгляд на человека, на его место в жизни, последовательно утверждая идеалы человеколюбия, поддерживая в людях чувство собственного достоинства, сознание ценности человеческой личности.

Выступая в мировом литературном движении как «принципиально новое эстетическое образование, отнюдь не замкнутое в рамках одного или даже нескольких способов изображения, а представляющее собой,—по определению Д. Маркова,—исторически открытую систему форм художественной правдивости», искусство социалистического реализма всемерно расширяет свои изобразительные возможности. Писатели смело обращаются к самым разнообразным формам художественной типизации, отвечающим проблематике, материалу произведения, индивидуальным и национальным особенностям авторского дарования. Складывается широкая и жизнеспособная эстетическая система, «открытая» в том

смысле, писал Б. Сучков, что возникающее на ее основе искусство «необычайно чувствительно к историческим переменам, идущим в мире, к новым проблемам и конфликтам, новым характерам, новым ситуациям, порождаемым самим ходом социалистического строительства и духовно-нравственной, морально-политической атмосферой нашего общества»<sup>1</sup>.

Явственно видно, как много новых острых вопросов ставила и решала наша литература, новеллистика в частности, за последние десять—пятнадцать лет, какие трудные явления пыталась осмыслить и как богато разнообразие ее художественных форм. Наряду с произведениями, развивающими традиции классического реализма, такими, например, как «Водоворот» А. Поцюса, «Привычное дело» и «Плотнички рассказы» В. Белова, «Шопен, соната номер два» Е. Носова, «Живи и помни» В. Распутина, «Елки-мотапки» и «Над уровнем моря» В. Чивилихина, «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского (да все и не перечислишь!), появились «Ржавая лейка» П. Куусберга, «Наша школа» И. Микелинскаса, «Твой род» Г. Матевосяна, «Единожды вокруг солнца» Д. Каинчина, написанные в форме так называемого внутреннего монолога, «Дневные звезды» О. Берггольц и «Возвращение на круги своя» И. Друцэ, причисляемые к

<sup>1</sup> Следует иметь в виду, что концепция исторически открытой эстетической системы, впервые разработанная Д. Марковым и Б. Сучковым, подобно всякому новому слову в науке, не встретила еще полного понимания и поддержки. Несогласие с нею так или иначе высказали П. Глинкин и Г. Пospelов. Здесь не место для полемики с названными учеными. Но интересующиеся могут обратить внимание на то, что их контраргументы недостаточно защищены от критики, так как слабо учитывают литературный опыт современности.

лпической прозе, аллегорические рассказы вроде «Затоваренной бочкотары» В. Аксенова, фольклорно-поэтическая повесть Ю. Шесталова «Когда качало меня солнце», своеобразно «врастающая» в современность, трудно укладываемые в традиционную жанрово-стилевую классификацию рассказы В. Шукшина, Ч. Айтматова. Ю. Рытхэу, широко развернулась документальная и фантастическая проза.

Но дело, в конечном счете, не в накоплении примеров и имен, а в тенденции достаточно выразительной.

К расширению способов художественной типизации, к более тонкому и совершенному проникновению в «тайны духовности» побуждает прежде всего радикально обновившийся характер связей мира и человека, нередко полных скрытого драматизма. С гуманистической отзывчивостью современной литературы связано и своеобразие индивидуально-особенных, драматически напряженных способов анализа и обобщения жизненных конфликтов.

Творческая субъективность, говорит Д. Ф. Марков, не только стала непременным качеством социалистического реализма, его «совершенно необходимым принципом», но и формой осуществления последовательно революционной исторической сознательности на основе ленинского учения о партийности литературы.

Сказанное стоит запомнить. Мы будем иметь случай вернуться к этой мысли по конкретному поводу, рассматривая внешне несхожие рассказы «Наша школа» Й. Микелинскаса и «Простите нас!» Ю. Бондарева. Субъективно-творческое отношение писателей к жизни (осознанный историзм художественного мышления), влияя на выбор тематики и ситуаций, как правило напряженных не столько внешне, сколько внутренне, усиливает авторскую способность достигать широких социальных и нравственных обобщений в пределах «тесной» художественной формы рассказа, естественно и органично наполнять национально-особенные формы широким интернационалистическим содержанием.

В расширении горизонтов малой прозы, которое прослеживается не только на опыте названных, но и на множестве других литературных произведений новеллистического жанра, проявляется сущность социалистического реализма, развивающегося на основе преемственно обновляемых и обогащаемых традиций демократизма и гуманиз-

ма, свободно и непринужденно использующего в своих идейно-эстетических целях художественные достижения современности. Социалистическая концепция мира и человека неизбежно приобретает при этом значение фундамента, на котором держится не только роман, обладающий большими художественными возможностями, но и рассказ, новелла. Вот что пишет по этому поводу один из мастеров современной новеллы, Миколас Слуджис: «Пока она (концепция человека.— Е. Г.) не оформилась, не зазвучала властно, все себе подчиняя, до тех пор не будет и рассказа, который покорял бы красотой, то есть правдой и естественностью ее выражения». При этом можно думать или не думать об Истории с большой буквы, это уже дело темперамента, психологического склада и творческой манеры автора, «но История непременно должна явиться если не прямым, то побочным результатом того, что выльется в форме рассказа. Это само дыхание произведения. Но ни в коем случае не иллюстрация» к Истории.

Углубленная и более разносторонняя идейная концепция человека, полагает литовский писатель, помогая проникать не только в социальную «среду обитания» персонажа, но и в сферу его психологии, психики, улавливать, подобно барометру, изменения, зрющие конфликты, новые черты и явления жизни, позволяет рассказу достойно конкурировать с романом и драмой.

Погружаясь в социально-психологические коллизии современности, писатели используют для этого самые разнообразные способы типизации—от классически размеренного, внимательного к бытовым подробностям повествования до так называемого внутреннего монолога персонажа, нарушающего видимость логически последовательного развертывания фабулы, создающего иллюзию бессюжетности.

Но какую бы художественную форму ни избрали авторы того или иного произведения, цель их едина: объективно-образное освоение действительности и определенное ее истолкование, рассчитанное на адекватное восприятие читателем. Микелинскас, как мы это увидим в дальнейшем, обратился к технике внутреннего монолога, непосредственно вовлекающего читателя в коллизию духовности персонажа. Бондарев, развертывая классическую повествовательную традицию, перенес центр тяжести на тональность, на интонационную нюансировку «бщего настроения» рассказа. И в том и

в другом случае избранный прием — не второстепенный или дополнительный элемент художественной структуры, он определяет образный строй всего произведения, влияет на художественную целостность обобщений. И хотя «способы», предпочитаемые Микелинским и Бондаревым, внешне выглядят очень различными, чуть ли не противоположными, результат оказывается равноценным: читатель, захваченный стихией образного самодвижения, проникает в чувства и мысли героев, заражается настроением и идеей автора.

Доверие к эмоциональной отзывчивости читающего — явление в литературе вовсе не новое, оно входит как непрменный элемент в принцип художественности. Что же касается меры и способов выражения этого доверия, то они весьма разнообразны и зависят от многих обстоятельств. В том числе и от характера, глубины затрагиваемых проблем и конфликтов, от индивидуального своеобразия таланта, уровня художественного мастерства и цели писателя.

Вспомним, например, Чехова, который настоятельно внушал своим корреспондентам-литераторам, что к выводам, заранее известным автору, читающий должен приходиться умом. «Любите своих героев, но никогда не говорите об этом вслух», — на разные лады внушал Чехов не кому-нибудь из «начинающих», а Т. Л. Щепкиной-Куперник, известной писательнице и своему большому другу. Темы, которых другим хватило бы на целый роман, Чехов умел уложить в несколько страничек. Но «какая в них страстная жалость и любовь к своим героям — именно любовь, о которой он «не говорил вслух», — писала Щепкина-Куперник. Втянутый незаметно для самого себя в «тихую драму» житейской пошлости, давящей человеческие таланты и достоинство, читатель испытывал щемящее чувство сострадания к людям. Его, как и писателя, охватывала «жажда справедливости», которую Чехов полагал «самым главным» в художнике, в людях вообще. В единении нравственных чувств читателя и автора таился секрет действительности внешне «бездейственных» новелл и пьес Чехова. Благодаря Чехову не только русская, но и мировая новеллистика сделала важный шаг на путях неустанный обновления. По мнению Т. Л. Щепкиной-Куперник, «самое существенное в Чехове — это раскрепощение рассказа от власти сюжета, от традиционных „завязки и развязки“».

Слова эти не следует, конечно, понимать буквально. Освобождая рассказ от претензий канонической поэтики, Чехов вместе с тем предъявлял более строгие требования к художественной целостности воспроизводимого жизненного явления. Сюжет, понимаемый как раскрытие человеческих отношений и характеров в их связях и развитии, росте или разрушении, более чем когда-либо был подчинен основной творческой задаче.

В современной новеллистике стремление продвинуться из сферы внешних проявлений духовности в ее высокие — философские и нравственно-этические — слои, как бы изнутри показать правду жизни, обнаруживает себя и в рассказах, приверженных классической повествовательной традиции (в данном случае «Простите нас!» Ю. Бондарева), и в рассказах, по виду вовсе с нею порывающих («Наша школа» Й. Микелинскаса).

Йонас Микелинскас решительно отказывается от многих традиционных для литовской прозы форм повествования, и прежде всего от событийно-последовательного сюжета, развернутых бытовых и психологических описаний. Создается впечатление, что в рассказе «Наша школа» отсутствует не только более или менее напряженная интрига, но и сюжет в привычном значении слова. Событие, рассказанное автором, на первый взгляд кажется частным, мелким, пожалуй, вообще даже не событием. А между тем под внешней бездейственностью совершенно отчетливо прослушивается внутренняя пульсация, которая стимулирует движение мысли и чувства персонажей, а читателя подводит к умозаключениям, значительность которых трудно было предвидеть по началу.

Написанный в форме, которую у нас (порой без достаточных к тому оснований) называют внутренним монологом, рассказ и правда может показаться простой фиксацией впечатлений рассеянного ученика литовской сельской школы, в «потоке сознания» которого важное перемешано с неважным и случайным. В то время как весь класс согнулся над тетрадями и листками бумаги («...тетрадей тогда было в обрез», — замечает в скобках автор), Валюнас все еще задумчиво смотрит в окно, у которого стоит учитель. Им обоим хорошо виден знакомый пейзаж: разрытые окопы «у тех трех елок», почерневшая голая труба на месте бывшей помещицкой кузницы, распластанные

«страшно тяжелые» гусеницы подбитого немецкого танка и тускло поблескивающий ствол орудия, чей «темный зев устался прямо на меня».

На листке наконец написаны первые слова: «Наша школа находится недалеко от реки, которая весной в половодье выходит из своих берегов». Но дальше дело не идет. Не нравится слово «находится». Почему? Валюнас и сам не знает. Нет, слово «находится» не для нашей школы. Оно «какое-то неживое, казенное». А тут еще старательная Бируте, у которой такой «красивый, умный почерк», задает вопрос: можно ли писать с лирическими отступлениями? «И откуда только у нее берется такое? Всегда что-нибудь придумает... На днях она говорит: «Фильм «В шесть часов вечера после войны» очень тонко раскрывает внутренний мир советского человека и широкий диапазон его чувств».

Ни ученик, ни автор не комментируют этих «ладких» слов Бируте, но читатель понимает, что они ничем не лучше «неживого» слова «находится». Все правильно и все не свое.

Учитель «тихо-тихо» кладет часы на стол и напоминает, что прошло уже пятнадцать минут. «Сейчас, сейчас начну писать... господин... товарищ учитель». Учитель усмеяется и отходит к окну. Мальчику кажется, что если учитель не будет стоять у этого клеенного из осколков стекла окошка, дело скорее сдвинется с места.

«И какой он мне, в самом деле, товарищ! — вспыхивает новая отвлекающая мысль. — Был бы товарищем, отошел бы от окна и дал бы спокойно писать про нашу школу...» Наконец начало найдено. «Наша школа, — пишет мальчик, — это тот бывший помещичий дом, красная крыша которого издали светится сквозь черные верхушки елей». Это уже лучше! За первым предложением следует второе, третье. Слова «ладно примыкают одно к другому, словно намагниченные». Валюнас не замечает, как в классе потемнело, «на дворе что-то вдруг ярко вспыхнуло, и тут же раздался оглушительный треск. Будто пушка выстрелила. С потолка посыпалась штукатурка», начали падать капли. За окном разразилась буря. Приходится сдвигать парты, усаживаться по трое, «но безопасных мест становится все меньше»...

«Разумеется, наша школа — не только это», — говорит учитель, показывая на лужи, образовавшиеся на полу. И тут, когда до

конца урока остается несколько минут, происходит что-то совсем неожиданное: сквозь неустроенность школьного быта, где все, даже «расстроенные ряды» парт, еще не отделилось от войны и связанных с нею ассоциаций, Валюнас вдруг «увидел перед собою двойняшек бывшего батрака Андриюлиса, бредущих после трехлетнего перерыва каждое утро по глубокому снегу в школу, увидел зимогора Даукшу, который за пару заржавевших коньков выменял... для дочки старый учебник английского языка, увидел соседку Грайбене, выходящую из учительской со слезами радости на глазах... У них-то было бы что рассказать про нашу школу». И еще мальчик увидел своего «учителя, который вернулся тогда из армии с повязкой на голове». Так вот она какая, наша школа!

Сейчас учитель уже стоял позади Валюнаса, и тот почувствовал, как знакомая рука осторожно берет со стола тетрадку с незаконченным сочинением. «Мы... слишком долго смотрели в окно, — слышит Валюнас голос учителя. — Мы оба». И тут свершается второе чудо: учитель перестает быть «господином», теперь он на самом деле «товарищ учитель». А оба они включены в большую общую цепь, которая называется жизнью. Новой жизнью, возникающей из руин и пожаров еще не остывшей войны. Отдельный человек не существует больше отдельно. Люди живут вместе. «Мне захотелось коснуться лбом этой руки»...

Так разрозненные и на первый взгляд эмпирические приметы времени без видимого авторского вмешательства сложились в цельную картину, полную внутреннего смысла. Тема традиционного классного сочинения утратила локально-замкнутую конкретность. Обычная сельская школа, находящаяся на берегу красивой реки, стала символом школы, которая только теперь действительно наша. Вот почему плакала соседка Грайбене, узнав, что ее дочка с начала учебного года пойдет в класс, а Даукша обменял коньки на учебник английского языка. Потому и капли, падающие с потолка на тетрадки, и лужи на полу, и стужа, проникающая с улицы, это не только «не все», это совсем «не все».

Ни сам писатель, ни его герои, которых так настойчиво притягивало к себе клеенное из осколков стекла окошко, ни разу — даже косвенно — не прокомментировали значения этого символически обобщенного образа, выводящего сюжет рассказа в мир реальной действительности. Образ склады-

вался «сам собой» из тех «осколков», которые, как оказалось, не рассыпались, а примыкали друг к другу по мере преодоления внешнего, бедного событиями сюжета. Но именно потому, что ученик и учитель «слишком долго смотрели в окно», и могло возникнуть то полифоническое единство разных «голосов», та художественная целостность, когда происходящее там, в жизни, органично сращивается с происходящим здесь, в классе, в душе мальчика и его учителя.

Реакции персонажей и читателя на попадающие в поле их зрения детали создавали второй, внутренне наполненный, ищущий разрешения сюжет. Конкретные черты, каждая из которых сама по себе достаточно выразительна, стягивались в определенную систему, приходили во взаимопроницающее движение, суть которого предстояло постигнуть не только ученику, но и нам, читателям рассказа Йонаса Микелинскаса.

Обращение к технике внутреннего монолога, а ею пользовался не один Микелинскас, вызвало строгие нарекания со стороны литературной критики, усмотревшей здесь измену национальным художественным традициям, подражание чужой моде. Несостоятельность такого рода упреков доказало время, и нет смысла возвращаться к исчерпаным спорам и дискуссиям. Сегодня и внутренний монолог, и многие другие условные средства изобразительности, считавшиеся по странному недоразумению изобретением и прерогативой нереалистических систем, успешно используются русскими и литовскими, армянскими и молдавскими писателями, писателями народов Поволжья и Дальнего Севера, Киргизии и Средней Азии. И это как раз говорит об органичном развитии национальных художественных традиций в системе социалистического реализма, об их обогащении на почве более тесного и свободного сближения с новой действительностью, интернациональным художественным опытом.

Критерием целесообразности того или иного приема неизменно остается его способность расширить и углубить познание мира и человека во всей подвижной и противоречивой сложности их взаимодействия. Свидетельством тому и рассказ Йонаса Микелинскаса, субъективная творческая мысль которого направлена на образное раскрытие истинно гуманистического значения социалистических преобразований национальной жизни, национального народного сознания

Сегодня мы уверенно можем сказать, что в этом смысле «Наша школа» не только не порывает с национальными культурными традициями, но, напротив, из них исходит, их обновляет.

Коренные черты литовской классики — глубокое понимание народного характера, искренняя любовь к родному народу-труженику — воплощены Микелинскасом с тем радостно-щемящим чувством, которое переливается из сердца автора в сердце читателя. Новое же, родившееся из новых условий национального бытия, проявляется прежде всего в социальном обостренном зрении художника, ищущего более динамичных форм, способствующих постижению революционного характера переживаемых исторических перемен. Процесс обновления национальной литературы поэтому менее всего сводится к чисто внешним изменениям. Он протекает в глубинах национального художественного сознания, сберегая при этом самые негнелные его ценности, такие, как демократизм и гуманизм. Развитие совершается на основе преемственности наиболее устойчивых и исторически прогрессивных традиций. «Корни», питая своими животворящими соками «вершину», укрепляют вечное древо национального народного творчества<sup>2</sup>.

Стиль, в котором написана «Наша школа», органичный и содержательный (и это тоже свойство литовской классики), подсказан предметом художественного исследования и задачей, поставленной автором: запечатлеть движение индивидуального сознания к постижению единства и общности с людьми, разглядеть истоки этой вновь образующейся национально-исторической общности. Символика деталей, техника внутреннего монолога помогали Микелинскасу развертывать сюжет в нескольких планах, выявлять обусловленность внутренних импульсов реалиями окружающей действительности. Текучая подвижность разобобщенных

<sup>2</sup> Подразумевая существование «двух измерений», которыми всегда обладает подлинная поэзия — ее «корни и вершины», Юстинас Марцинкявичюс писал: «Странное чувство: знаешь, что это корни, а думаешь о них, понимаешь их, смотришь на них, запрокинув голову. Все большое, ветвистое дерево современной советской литовской поэзии живет и цветет именно благодаря своим корням, благодаря традициям демократической, революционной поэзии, которые уходят в глубочайшие слои исторического опыта народа и поднимаются до всеобщих, вечных идеалов добра и красоты».



впечатлений кристаллизовалась в определенный образ-явление, образ-открытие. И в этом переходе из одного состояния в другое проявилась не только индивидуально-психологическая, но и социально-историческая ситуация, определившая содержание рассказа: образование нового качества национального мировосприятия.

Добиться столь емкого обобщающего результата было бы трудно, если бы в рассказе не присутствовал еще один скрытый слой повествования, придающий энергию целеустремленности всей художественной структуре. Это та самая «любовь к героям», не высказанная нигде открыто, но как бы синтезирующая в триединой целостности эмоционально-интеллектуальное состояние персонажей, читателя и автора. Именно благодаря своей идейно-эстетической отчетливости и определенности «субъективная активность» писателя стала в рассказе средством познания объективного мира. Эта активность, заражающая нас волнением сопереживания, подводила и к тем общим выводам, которые были так нужны Йонасу Микелинскому. Которые мы связываем с понятием народности и партийности искусства.

Для литовского народа, включившегося в социалистическое жизнеустройство не одновременно с другими нациями СССР, изборожденная Микелинским социально-психологическая ситуация, как и способ ее разрешения, была абсолютно новой и принципиально важной. Чтобы уловить и художественно воспроизвести ее общенародный гуманистический смысл, автор сам должен был обладать огромной чуткостью к переменам, только еще совершающимся, еще не отлившимся в «окончательную» форму, мыслить исторически перспективно.

Новизна, столь характерная для рассказа Й. Микелинскиаса, свидетельствовала о формировании исторически нового типа художника. Коренные социальные сдвиги в национальной жизни, изменяя место писателя в обществе, обостряли в нем самом чувство историзма и интернационализма.

Художественная манера Йонаса Микелинскиаса, стиль, в котором написана «Наша школа», близки искусству графики, ее «скупой речи». Портрет, пейзаж, психологическую ситуацию Микелинскиас передает несколькими твердо проведенными штрихами, как бы рассчитывая на умного читателя, способного домыслить «пропущенное».

Его прозаическая миниатюра не случайно порождает богатство ассоциаций, наводит на размышления. Ю. Бондарев, говоря о художниках-графиках (о Юрии Могилевском, в частности), заметил, что мастера гравюрного портрета «достигают черно-белым цветом тайной психологической глубины, когда вы начинаете видеть и сложный душевный мир человека, и биографию его...».

На умного читателя рассчитаны рассказы и самого Бондарева. Но своих целей он достигает другими средствами. Юрий Бондарев — живописец, владеющий мастерством акварельной нюансировки и впечатляющей силой полноцветных красочных контрастов. Снег, говорит он, «может быть не только белым, но и синим, голубым, фиолетовым, пепельным, сиреневым, розовым, сизым, черным, лиловым».

С помощью живописи Бондарев создает определенное настроение, «воздух жизни» своих героев, погружает нас в переливы их чувств, в диалектику развития характера. Говорит он со своим собеседником не повышая голоса, с симпатией и доверием, рассчитанными на обоюдность нравственных и эстетических убеждений. И это сближает Бондарева с традициями русской классики.

Вспомним, с каким восторгом отзывается молодой литератор Никитин, герой бондаревского романа «Берег», об «удивительном колдовстве настроения», которым как никто другой владеет Чехов. «Как он умел заканчивать свои рассказы! — восклицает Никитин. — Помнишь фразу: «Миссюсь, где ты?» И за этими словами вымышленного персонажа нетрудно различить голос самого автора, искренне восхищенного «гениальной простотой» сюжетов и «непостижимой словесной магией» рассказов Чехова.

«Для нашей классической русской литературы (Толстой, Чехов), — пишет Ю. Бондарев в книге «Взгляд в биографию», — характерно «закручивание сюжета». Сюжет у великих мастеров не лежит на поверхности. Он — глубинное движение повествования, как бы подводное течение, главный интерес которого заключается «в мысли, в идее, в характерах героев произведения, в той социальной значимости, в той, я бы сказал, общественной нагрузке, которую несет роман, повесть, рассказ».

Не претендуя на исчерпывающее формулирование, Бондарев твердо знает, что самое важное в искусстве и миропонимании великих наших писателей — «правда дейст-

вительности», открытие истины человеческих отношений и характеров своего времени. Не потому ли и сам Бондарев убежден, что литература — это вторая жизнь, сконцентрированная во времени, истина реального человеческого бытия. Для него «правда и красота — это познанная сущность характера, явлений, вещей, в которую проник художник сквозь внешнюю их форму», та правда и красота, которая «заставляет напрягаться все нравственные чувства человека, испытывать восторг или ненависть».

Критерием истины в жизни и искусстве Ю. Бондарев считает мораль, а критерием морали — прекрасное, что, по его убеждению, нисколько не противоречит принципам историзма и социальности. Выдвигая во главу угла нравственно-этический аспект исследования жизни общества, влияющий на выбор литературных сюжетов и конфликтов, Бондарев открывает путь к жгучим проблемам переживаемого времени, к их общественной актуальности. «Все, что касается морали — предмет искусства, а все, что связано с моралью, лежит в социальной сфере», — заявляет он, ибо литература по сути своей «не может не быть социальной». Тем более литература социалистического реализма и гуманизма.

Здесь перед нами уже целая эстетическая и философская программа, которую Бондарев исповедует не только в своих высказываниях о литературе, но прежде всего в творчестве. Стоит вчитаться в его романы, повести и рассказы, посвящены ли они отгремевшей войне или сегодняшнему дню, чтобы удостовериться, сколь последовательны эстетические и нравственно-этические принципы этого писателя, умеющего затронуть самые отзывчивые струны человеческой совести и сердца. Впрочем, в этом смысле Бондарев не одинок.

Целая плеяда яркоодаренных художников слова, таких, как Ф. Абрамов и В. Шукшин, В. Белов и В. Распутин, В. Быков и С. Зальгин, да и не они только, каждый по-своему, в своей неповторимой манере черпают духовные и творческие силы в гуманистических идеалах отечественной литературы. Воспринятый от русских классиков интерес к внутренним стимулам человеческих действий, к скрытому назреванию драматического конфликта, диалектически сопрягающего «частный случай» с проблемами общезначимого содержания, эти писатели преломляют сквозь призму современности и своего собственного мировоззрения.

В рассказе Ю. Бондарева «Простите нас!» проявилось умение писателя выявить чрезвычайное и общественно важное в событии с виду малозначительном, казалось бы лишнем общего интереса. При этом чеховское начало, очень характерное для этого рассказа, проступает одновременно и в художническом мировосприятии, сдержанном и живописном, и в той «жажде справедливости», которая наполняет душу щемящей любовью к людям, отвращением к эгоизму и равнодушию. Как не вспомнить, читая этот рассказ, слова Чехова о том, что в писательском деле «главное — быть справедливым, а все остальное приложится». Не умиляясь и не приукрашивая человека, но и не унижая его жалостью, Бондарев, по его же словам, хотел бы настойчиво и неустанно «стучаться в его сердце, в его разум». Не даром, говоря о современных «измерительных категориях» художественности, в качестве важнейшей он называет человечность.

В рассказе «Простите нас!» мы ясно ощущаем направляющее влияние этой «измерительной категории». Поднимая голос против «злой воли», писатель представляет ее не в отвлеченном или обнаженно-порочном виде, а в косвенном проявлении, незаметно подтачивающем совесть и справедливость, делающем равнодушного человека невольным предателем светлых идеалов юности и тех, кто первым, быть может, заметил и укреплял юношескую, только зарождающуюся веру в свое человеческое призвание и талант.

Рассказ Юрия Бондарева начинается с картины утренней, по-летнему пестрой и душистой степи. Павел Георгиевич Сафонов, известный авиаконструктор из числа тех, кто уже привык и даже немного устал от своей известности, «как порой устают люди, когда к ним рано приходит успех и удовлетворение», поддавшись неожиданному порыву, вышел из поезда на маленькой железнодорожной станции. Он долго стоял на безлюдной платформе и слушал горячий треск кузничков за насыпью. «После духоты вагона, утомительных дорожных разговоров в накуренном купе за полночным преферансом, ненужных знакомств, после надоедливой поскрипывания полок Павла Георгиевича охватила неправдоподобная тишина, казалось, совсем как в детстве». Теперь, как и тогда, «внятно и резко пахло польню», и этот аромат возвращал его в давно уже прожитый, а «мо-

жет быть, непрожитый» мир, мимоходом замечает не то писатель, не то герой, мир, где остался «лучший друг» Витка Снегирев, где была Вера, потрескавшиеся обветренные губы которой тоже пахли пылью.

Сафонов нарочно вышел не на городском вокзале, а на ближнем полустанке, чтобы пройти пешком в «этот спокойный час утра тепло и ало красневшей за холмами на востоке» степью в «пылающую, мнилось, бесконечность», где, «четко вырезанные по красному, проступали терриконники, дальние силуэты водонапорной башни, оазисы беденьких домов, острые верхушки тополей». Эти как бы заново «открываемые» подробности давно и хорошо знакомого пейзажа заполнили душу Сафонова тем особым настроением, которое знакомо, вероятно, каждому сколько-нибудь эмоционально развитому человеку. Он с радостным недоумением доверился тлешей где-то глубоко потребности вернуться в мир своей первоначальной жизни. Каждая подробность, встреченная по дороге в город, — будь то уже нагретые солнцем, отяжелевшие ветви яблонь, свесившиеся через садовые заборы, или ранний самоварный дымок, потянувший из палисадников, и этот фиолетовый цветок у обочины, название которого он знал, «но теперь уже забыл», — все вызывало сжимающие сердце и учащающие его биение чувства. Неизъяснимой сладкой грустью наполнилась душа Сафонова. и куда-то совсем далеко отодвинулась утомительная экзотика только что покинутого «ослепительно-солнечного юга с его острой, сухой жарой, неестественно экзотическими пальмами на бульварах, прокаленным песком пляжа».

Бег времени, как бы повернутого вспять, не таил в себе ничего драматичного. Напротив, он был полон поэтичного всепроникающего лиризма. Длились и множились воспоминания о голубятне, об играх в Чапаева, о сокрушительных набегах на чужие сады. «Как давно это было! Да было ли?»

Охваченный желанием встретить своих школьных товарищей, вернуться в соединявшую их жизнь, входил Павел Георгиевич в свой родной город. Но, боже мой, как все переменялось! Центр полностью перестроен. На месте, где стоял низенький глинобитный домик, в котором родился и рос Павел Георгиевич, теперь бульвар. Такой же, как в любом другом городе. Он «совсем не помнил и не знал детства Павла Геор-

гиевича, не знал, как здесь он неуклюже поцеловал у не существующей сейчас калитки Веру, и она, странно потрогав пальцами свои губы, откинув голову, сказала с беспомощной растерянностью: «Теперь на всю жизнь, да?»

Где сейчас Вера? Где все остальные друзья? Что с ними? Никого так и не встретил Павел Георгиевич, утомительно и напрасно слоняясь по ставшему чужим городу, все сильнее ощущая себя посторонним «экскурсантом». Чувства разочарования и отрешенности сменяют «утреннюю свежесть». Павлу Георгиевичу становится «тоскливо, одиноко, досадно».

Это состояние тягучей неудовлетворенности и разочарования нарушается только раз, когда, охваченный робостью, внезапно поднявшимся волнением, со сбившимся дыханием, приближается он к домику под тополями рядом с аптекой (она такая же, на том же месте!), в котором жила Вера. Что владеет им в эту минуту, неужели он еще любит Веру? Или это острое сожаление, что все получился «как-то не так, возможно, воспоминания о тех первых ощущениях мелькнувшего давным-давно счастья?»

На пороге Сафонова встречает постаревшая Верина мама. «Боже мой, Павлуша, ты ли это? Приехал, Павлик?» — растерянно и суетливо восклицает она, нелепо и виновато извиняясь за беспорядок в комнате. И тут же поспешно сообщает: «Мы слышали, все знаем, как ты далеко пошел». Где Вера, что с ней? Женщина отворачивается, «подняв руку, точно загораживая лицо». «Разве ты не знаешь, Павлуша? Нет Веры... Нет Веры... Она ведь на войне санитаркой...» Потрясенный и потерянный Сафонов уходит из Веринаго дома. Он еще долго бродит по улицам и, чувствуя себя вконец «ограбленным», в десятом часу вечера отправляется на вокзал.

Создается впечатление, что рассказ достиг своей кульминации, свершился тот перелом, после которого сюжет пойдет на убыль, устремится к развязке. Ситуация как будто бы исчерпана и разрешена. Да, жизнь разочаровывает и обманывает нас на каждом шагу, отравляя самые светлые надежды и порывы, «наказывая» другой раз и постороже, чем Сафонова. Сочувствуя ему, мы понимаем, что сам он не очень-то и виноват, что «все получилось как-то не так». Он и сам ведь был там, на войне, война и его жизнь разделила на до и после, отняла столько дорогих людей. Забыть или при-

мириться с этим людям, пережившим войну, не дано.

Значит, об этом — о памяти павших — рассказ Юрия Бондарева?

Нет, как выясняется уже на последних страницах, не только, пожалуй, об этом. Он и о забвении живых. В этот истинный смысл рассказа мы начнем проникать, когда вместе с Сафоновым неожиданно (именно неожиданно!) — этот акцент чрезвычайно важен) в проеме Первой Привокзальной улицы вдруг увидим его школу. «Она не изменилась. Она была прежней, как в детстве, как много лет назад». Сафонов вошел в школьный парк и уселся под старой акацией, возле которой когда-то на переменах играли в фантики. Охваченный радостью узнавания, он только потом заметил справа в сырой темноте парка красный огонек. Так ведь это же дом, в котором жила Мария Петровна, его учительница по математике. «Как же он сразу о ней не подумал, не вспомнил! Всегда он был ее любимцем, она пророчила ему блестящее математическое будущее...»

В незапертой темной передней его встретил запах керосина, от неосторожного движения с грохотом упало железное ведро, и на шум вышла из комнаты худенькая, постаревшая Мария Петровна...

Без предваряющей подготовки, без перехода переменялся весь строй повествования. Сгустились краски, как будто бы наступили тревожные, что-то таящие сумерки. Изобразительные акценты переместились на детали, резко поляризующие контрасты обстановки, облика и поведения персонажей. Рассказ и описание уступили место диалогу, скрытому за прямой речью подтексту. Сафонова все больше конфузила и тревожила «непонятная настороженность» Марии Петровны, ее быстрые слова: «Паша... Совсем не ожидала. Вот Паша Сафонов... Я сейчас, Паша... Прости, что я называю тебя так. Ты ведь теперь...» — которыми она как бы от чего-то отталкивалась, заслонялась.

«Пропавь времени» лежала между прежним Пашкой и настоящим Павлом Георгиевичем. И он старался заполнить эту пропасть, возвращаясь в разговоре к школьным делам, к воспоминаниям об отметках, о товарищах, о журналисте Мише Шехтере, который ездит по всей стране и за границу («Часто читаю его статьи. И часто вспоминаю», — медленно, чего-то не договаривает Мария Петровна), о Вите Снегиреве, приехавшем в прошлом году в отпуск, но не

навистившем учительницу, об Игнатцеве Сеньке.

Мария Петровна, наклонив голову, мешала ложечкой в чашке, и Сафонов заметил на ее пальце неотмывшееся чернильное пятно. Переведа взгляд на ее лицо, он с какой-то «внезапной жалостью, с любовью увидел морщины вокруг ее губ, ее тонкую, слабую шею, коротко постриженные, сплошь белые волосы, и что-то больно, тоскливо жгало у Павла Георгиевича в груди. Он подумал, что, если бы она умерла, он не знал бы этого. И не знали бы другие».

Заходит к Марии Петровне иногда только Коля Сибирцев. Он «работает на шахте», и «у него неудачно сложилась жизнь». Но его-то Павел Георгиевич как раз и не помнил. «Забыл!» «Очень плохо», — не то насмешливо, не то осуждающе проговорила Мария Петровна. И от этих последних слов Сафонову стало не по себе, он понял их двойной смысл, а затем в наступившей тишине перехватил взгляд Марии Петровны, устремленный на книжный шкаф, где в первом ряду стояла его, Павла Георгиевича, книга. «Я вам напишу. Разрешите?» — сконфуженно сказал Сафонов, чувствуя, что лицо его начинает жарко гореть, и, вовсе ошеломленный, оглянулся на Марию Петровну, увидев свой портрет, вырезанный из газеты и сейчас выпавший из книги. «А это из «Правды», Паша, — быстро говорила Мария Петровна. — Когда я увидела, я дала тебе телеграмму». Сафонов поспешно, точно скрывая нечто порочащее его, неприятное, спрятал листок в книгу и, охваченный стыдом и ненавистью к себе, теперь отчетливо и хорошо вспомнил, что он действительно получил телеграмму два года назад среди кучи других поздравительных телеграмм и не ответил на нее, хотя ответил на другие».

Испытывая «непроходящее ощущение вины», Сафонов молча прощался с Марией Петровной. И та вдруг робко спросила о том, что подспудно стояло весь вечер между ними, что создавало эту нарастающую неловкость и напряжение в душе у Сафонова: «Хоть капелька моей доли есть в твоей работе? Хоть что-нибудь...» «Мария Петровна, что вы говорите? — в замешательстве забормотал он. — Если бы не вы!..»

Всю дорогу до Москвы Сафонов не мог успокоиться, переживал чувство жгучего, невыносимого стыда, думал о Витке Снегиреве, о Шехтере, о Самойлове — обо всех, с кем долгие годы учился когда-то, хотел написать им гневные письма. Потом решил

написать Марии Петровне длинное извинительное письмо, но «с ужасом и отчаянием подумал, что не знает номера ее дома». На большой станции «хмурый и взволнованный» Сафонов дал телеграмму Марии Петровне на адрес школы. В телеграмме было два слова: «Простите нас». Эти слова, заключающие рассказанную Юрием Бондаревым историю, вынесены и в заглавие рассказа. В них слышен голос самого писателя, угадывается нравственная зыскательность, которой проникнуто все его творчество.

Мирно начавшийся день Сафонова завершается драматично. Сюжет рассказа, получивший новый динамический импульс, совершает своего рода диалектический скачок, представив человеческие характеры и состояния в совершенно новом освещении и качестве. Лирико-созерцательное настроение, определявшее общий тон повествования, взрывается конфликтом, духовные предпосылки которого трудно было предугадать.

Дочитывая рассказ, мы понимаем, что за простым случаем из повседневной жизни скрывалось явление, имеющее важный общий смысл, гуманистическая идея, современная и актуальная, реализованная в форме, тяготеющей к законам драматического рода литературы.

Здесь, как мне кажется, сказалось не только влияние замысла, но и определенная тенденция современного литературного развития. «Стесненная» пределами своего «жизненного пространства», новеллистика, «жаждущая» на конкретном примере вскрыть важные общественные закономерности, поневоле обращается к драме, испокон веков успешно справляющейся с такими именно задачами и трудностями. Процесс драматизации современного рассказа менее всего носит внешний характер. Он протекает в глубинных слоях творчества, требуя внутренних преобразований. Не потому ли, скажем, многие рассказы нашего времени, по виду «вяло текущие», не отличающиеся самоценной занимательностью, напряженным динамизмом сюжетного развертывания, полны захватывающего интереса и привлекательности. Внутренние, нравственно-этические и социально-психологические коллизии стимулируют в них движение сюжета и характеров, действенное разрешение главного конфликта.

У писателей-новеллистов все чаще главным принципом создания образа становится, если воспользоваться словами В. Шкловско-

го, «не только изображение предмета, но и представление предмета при помощи его познания в его движении». Поэтому выбор автора падает на ситуацию, чреватую действием необязательно внешним, осуществляемым в поступке, но непременно внутренним, революционизирующим духовное состояние героя. Внимание писателя привлекает такой момент в жизни героя, когда тот как бы «созревает» на глазах читателя для действия, для определенного решения или вывода, принимая тем самым на себя ответственность за сделанный выбор. Другими словами, основой драматического действия внутреннего и внешнего становится духовная коллизия личности, поставленной в определенные, от нее не зависящие обстоятельства и потому особенно напряженно и драматично стремящейся к постижению их смысла, определению собственной позиции в сложившейся обстановке. Последующее развитие событий или духовных состояний приходит уже в прямую зависимость от выбора, сделанного в критической ситуации. Такая ситуация, нарушая состояние душевного покоя, обнажает взволнованность и потрясенность человеческого сознания; драматичная по своей жизненной и эстетической сущности, она требует и соответствующей формы.

Сафонов у Ю. Бондарева и Валюнас у Й. Микелинскаса охарактеризованы очень скупое. О биографии героев, складе их духовного развития читателю известно только «самое необходимое». Здесь дает о себе знать не просто «теснота» новеллистического пространства, но и драматическая необходимость, требующая выделения тех черт характера, которые действительно включают его в главный художественный конфликт: в натуре Валюнаса, как можно было заметить, такими преобладающими чертами является наблюдательность и чуткая эмоциональная память, склонность к размышлению и анализу, к самостоятельности мышления. У Сафонова — не вовсе заглушенная «рано пришедшим успехом и удовлетворением» врожденная совестливость, те «нравственные точки опоры», на которых зиждется любовь к людям. «Задетые за живое», именно эти качества характера дают внутренний стимул для включения обоих персонажей в психологическую коллизию, передающую смысл рассказа.

Противоречивость привычного и нового и не дает Валюнасу «спокойно» сосредоточиться над классным сочинением, уводя

его мысли за пределы школы, «за окно», в которое так долго смотрят ученик и его учитель. У мальчика рождается потребность осмыслить суть совершающихся перемен, понять новый характер складывающихся между людьми отношений. Изображая душевную растерянность Валюнаса, который не знает, с чего и как начать свое сочинение, и пытается разобраться в своих внешних впечатлениях и чувствах, ими вызванных, писатель развернул коллизию, давшую повод к широким обобщениям. Так возникает тот «общий интерес» рассказа, который и объяснит самое важное не одному Валюнасу, но и нам, читателям, насытит скудную художественную форму внутренним динамизмом.

Автор намеренно устранился от «руководства» поведением Валюнаса, по возможности незаметно передоверил функции исследователя новых жизненных положений молодому герою. Валюнас сам познавал мир, сам в нем ориентировался, не скрывая от читателя своих сомнений и переживаний. И хотя при этом мы понимали, что в конечном счете общая картина не могла бы сложиться с необходимой цельностью и полнотой без участия автора с его понятиями о социальной и нравственной справедливости, нам все равно трудно было отделаться от впечатления, что к главному выводу Валюнас пришел самостоятельно.

Драматически-эмоциональная насыщенность действия характерна не только для «Нашей школы», художественная структура которой демонстративно тяготеет к драматургичности, но и для бондаревского рассказа «Простите нас!», где повествование ведется не от лица героя, а от лица автора. Драматическую функцию здесь принимает на себя то особенное настроение, тональность повествования, которое на наших глазах видоизменяется, полностью обновляется.

Первые, еще неощутимые толчки такого движения исходят от контрастов, не таящих в себе, казалось бы, драматизма. Это контраст между пышной и жаркой природой юга, прокуренной скукой железнодорожного купе и звенящей тишиной свежей утренней степи, между оживающими впечатлениями детства и уже стершейся памятью (знал название лилового придорожного цветка, но теперь уже забыл), между ожиданиями встречи с юностью и разочарованием, наступающим на каждом шагу. Пока это еще только внешние контрасты, обескураживающие и разочаровывающие,

но не более. Однако уже после встречи с Вервиной мамой и особенно с Марией Петровной и эти мимолетно отмеченные и каждая новая деталь перестают быть приметой быта, наполняются драматическим смыслом. Вспомним слова: «Разве ты не знал, Павлик?» И дважды повторенную, сначала Вервиной мамой, а потом Марией Петровной, фразу: «Мы все знаем, как ты далеко пошел... ты ведь теперь...», роскошный плащ Сафонова рядом с «одиноким» потертым пальто старенькой учительницы и т. д. Все это, накапливаясь, взаимодействуя, усугубляясь, как бы заново объясняет нравственные истоки драмы, таящейся в первоначальной ситуации. Драматизм этой ситуации скрыт так глубоко и потаенно в еще не осознанных порывах и чувствах Сафонова, что ни он сам, ни читатель не в состоянии предугадать смысл того противоречия, которое потрясет совесть Павла Георгиевича.

Первый побудительный мотив его поведения — безотчетно возникшее желание вернуться в мир прожитой («...а может, и не прожитой») юности — бескорыстен, навеян добрыми чувствами и воспоминаниями. Но уже и в этой светлой растворенности, в душевной теплоте воспоминаний есть оттенок эгоизма, которого не замечаем ни мы, ни сам Павел Георгиевич. Только потом мы поймем, что возвращается Сафонов к своему прошлому ради себя и для себя. В прошлом он ищет прежде всего славного, чистого сердцем, отзывчивого ко всему прекрасному мальчугана, каким был он сам в ту пору. Отсюда лирический тон повествования, надломившийся первый раз после встречи с Вервиной мамой. Боль, сжавшая сердце Сафонова, когда он узнал о гибели Веры, это тоже его личная, своя, боль, усугубившая разочарование в своих ожиданиях и надеждах. Оно полно печали, захватывающей и нас, но мы все же интуитивно понимаем, что не в этом сердечном ударе, пережитом Сафоновым, смысл основной драмы, что драма еще впереди. Только встреча с Марией Петровной («Как я сразу о ней не подумал») раскрывает истинный смысл рассказанного писателем. Драма, пережитая Сафоновым (и шире — драматический смысл всего рассказа), обретает только теперь необходимую цельность, становится подлинной драмой, нравственная сущность которой выводит рассказ далеко за пределы индивидуального случая, индивидуального переживания.

Настроенный сначала умиротворенно-зерцательно, затем элегически и наконец утомленно и разочарованно, «отчаянно махнув рукой» на возможность встретить хоть кого-нибудь из своего светлого прошлого, Сафонов встречается не с кем-нибудь, а с самим собой, таким, каким он стал теперь — преуспевающим, в меру самодовольным и самоуверенным человеком средних лет. Эта встреча, к которой никто из нас не был готов, обнажила в человеке незлом, чуждом житейской расчетливости и эгоцентризма, свойства, о которых он и сам не догадывался, с такой мерой беспощадности, которая заставила Сафонова пережить потрясающее чувство стыда и ненависти к себе.

Но приближаясь к идейной и эмоциональной кульминации рассказа, Бондарев-художник остается верен самому себе. В сюжете по-прежнему не происходит «ничего особенного», чрезвычайного. Внешние обстоятельства (запах керосина в передней у Марии Петровны, упавшее со стены железное ведро, скудная обстановка узкой, с одним окном комнаты), так же как и слова, которые произносят Сафонов и его бывшая учительница, обыденны, обыкновенны. Но краски сгустились, насыщая сюжет и диалог напряженным подтекстом, тем внутренним действием, которое и вызвало в душе у Сафонова глущее сознание собственной вины («Как же я мог ее забыть!»). Произошло то «просветление совести», которое в древности называли трагическим катарсисом.

Домысливая то, чего недоговаривает Мария Петровна, Сафонов начинает видеть свое поведение в истинном свете, и это заставляет его пережить мучительное чувство стыда и вины перед старенькой учительницей, которой все ее ученики так многим обязаны. Ему раскрывается предательский смысл собственного и своих товарищей поведения. И для выражения этого нового самосознания Сафонова писателю понадобилось всего два слова: «Простите нас».

Драматический писатель, говорил Горький, пишет не словами, а образами, поэтому и событие необязательно происходит в сюжете, оно может совершиться в диалоге. О правоммерности подобных наблюдений мы можем судить и на примере бондаревского рассказа. Диалог в нем — это не просто разговор, содержащий определенную сумму информации: сведения о Витке Снегиреве,

ставшем директором большого завода на Урале, известие о гибели на фронте Веры, о достигших известности Мише Шехтере, Грише Самойлове. Всякий раз такой диалог — это конфликтный узел, звено единого драматического действия, движущего идею и сюжет рассказа в определенном направлении.

В рассказах Бондарева и Микелинска именно в диалогах, чрезвычайно лаконичных, состоящих порой из кратких вопросов и восклицаний, скорее из умолчаний, чем прямых ответов, но насыщенных психологическим, смысловым подтекстом, происходит тот слом сюжетного развития, который продвигает его на новую ступень, переводит из области морализирования в сферу изображения событий, в момент наиболее значительного и кульминационного их состояния.

Процесс драматизации, который наблюдается в современной новеллистике, расширяя содержательно-образительные горизонты, одновременно выявляет еще одну важную особенность: проникновение в малые формы прозы элементов эпичности. Эпичности, понимаемой не в смысле множественности, «широкоформатности» вмещаемых в сюжет событий и тем более не в смысле увеличения объема рассказа или новеллы (наоборот, лаконизм, уплотненность и краткость — характерная тенденция всей современной прозы, даже романа), эпичности в родовом значении этой категории, связующей содержание и проблематику литературного произведения с коренными явлениями общественно-исторического развития.

Эпичность современной новеллистики выразилась в углубленном историческом и философском осмысливании общенародной жизни, особенно в ее революционные и переломные моменты. Такой момент — переход от индивидуалистического миропонимания к коллективистскому — был запечатлен И. Микелинским в рассказе «Наша школа». События этой новеллы, сами по себе локальные, уместившиеся на тесном пятячке временного и жизненного пространства, были осмыслены автором под эпическим углом зрения, как события, революционизирующие народную жизнь. Такой угол зрения позволил выявить органические связи конкретного и частного с общим движением заново складывающегося национального бытия и сознания.

Когда Юстинас Марцинкявичюс говорил о процессах эпизации современной литовской поэзии и прозы, он подразумевал прежде всего художественное мировосприятие, выражающее идею единства. Эпос, по его мнению,— это «картина целого». «В эпосе мы собираем в систему наши разрозненные лирические мгновения, наши разрозненные представления о жизни. В эпосе мы творим мир из хаоса», добиваясь разумного постижения явлений, ищем связи и причины, «целое как систему». Подобное воспроизведение «эпической действительности» — процесс диалектический и драматичный. Поэтому литовский поэт решительно возражал тем, кто думает, что «эпическое состояние мира — спокойное состояние, когда контуры жизни непоколебимы и ясны». Он скорее готов был утвердиться в противоположном: «...эпос — это преодоление противоречий и титанический порыв в новое состояние». Очень глубокая мысль, подтвержденная опытом современной многожанровой и многонациональной социалистической литературы.

Мы могли лишний раз удостовериться в ее справедливости и на примере рассматриваемых рассказов Й. Микелинскаса и Ю. Бондарева. Каждый по-своему вырабатывали писатели художественную форму, помогающую постигнуть объективно-обусловленные, закономерные связи нравственного развития личности с общей системой миропорядка, тоньше исследовать диалектическую детерминированность индивидуальной психологии движением исторической действительности. Здесь с очевидной полнотой проявилось самое существенное в советской многонациональной литературе — интернационализм художественного миропонимания.

Новеллистика, особенно тесно «приближенная» к отдельному человеку, к конкрет-

ности его существования и психологии, тяготея к принципам эпоса, не захотела при этом «опускаться» свою точку наблюдения внутрь отъединенной от объективного мира духовности, замыкаться в «потемках» подсознания личности. Вместе с человеком и во имя человека она ищет способы расширить свои горизонты, возвыситься над «обозреваемым пространством», чтобы постигнуть «целое как систему», в которой человеку, его духовным потребностям и способностям отведено такое важное место. Малая проза, как и проза эпическая, насыщена философией жизни. И здесь проявляет себя подлинная широта эстетических возможностей литературы социалистического реализма.

Авторы рассмотренных рассказов — литовец и русский,— исходя из современного опыта и прогрессивных национальных традиций, пользуясь разными способами художественной типизации, глубоко раскрыли общечеловеческое, интернационалистическое значение идеалов социалистического гуманизма. Анализируя «частные» случаи, Йонас Микелинскас и Юрий Бондарев пролагали путь к пониманию диалектического единства особенного и общего, национального и интернационального как важнейшего фактора общественно-исторического и художественного развития человечества. Их пример доказывал, что социалистический реализм, не нивелируя национальное и индивидуальное своеобразие таланта писателя, открывает перед ним широкие содержательно-изобразительные возможности, что в социалистическом реализме, повторим слова Д. Маркова, «находят свое выражение не какие-либо одни, а многообразные свойства художественного творчества», сохраняющего верность принципам народности, партийности и социалистического гуманизма.





# ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**В. В. Новинов.** Не сглаживая противоречий.— Янов Хелемский. Северный фасад отечества.— **Инна Соловьева.** Знак равенства.— **Вл. Гусев.** Дух и архитектура «Собора».

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**И. Кошелева.** «В единстве духовной жизни...» — **Г. Резниченко.** Об Америке и американцах.— **Ю. Игрицкий.** Тайное становится явным.

## Литература и искусство

### НЕ СГЛАЖИВАЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ

**Чингиз Гусейнов.** Магомед, Мамед, Мамиш. «Дружба народов», 1975, № 12.  
**Чингиз Гусейнов.** Магомед, Мамед, Мамиш. В книге «Не назвался». Повести. Баку. «Гянджлик». 1973. 152 стр.

В своей повести «Магомед, Мамед, Мамиш» Чингиз Гусейнов обращается к острой теме, которой незадолго до него посвятил свой роман «Белые флаги» грузинский писатель Нодар Думбадзе,— борьбе с протекционизмом, взяточничеством, нарушением законности, борьбе, осложненной цепкостью национальных предрассудков. Но в романе Думбадзе преобладает открыто сатирический подход к отрицательным явлениям. Камера тюрьмы, где развертывается основное действие произведения, превращена в некую условную арену соревнования добра со злом. Преступники здесь наказаны и юридически и, так сказать, бичом авторской сатиры, а невинно пострадавший герой, не затратив особенных усилий в борьбе за справедливость, приходит к счастливому финалу. Добродетель, таким образом, торжествует.

По-иному решена задача в повести Чингиза Гусейнова, где в отличие от «Белых флагов» преступники пока не разоблачены и до поры до времени разгуливают на свободе. Выведенные Гусейновым носители зла— взяточники, комбинаторы, нарушители социалистической законности, это прежде всего живые люди, резко очерченные индивидуальности и вместе с тем — социальные типы. Чингиз Гусейнов рисует семейный клан

Бахтияровых во главе с «патриархом» Хасаем — ловким дельцом, прикрывающим свою хищническую натуру, свои ханские притязания и замашки правильными словами, тщательно отретегированными приемами делового и дальновидного руководителя (он занимает в своем городе весьма ответственный пост), которому любая задача по плечу. Мастер мимикрии, Хасай хранит в себе мрачные заветы восточного средневековья, консервируя в своем семейном и деловом (вернее, деляческом) миреке те антиобщественные черты и явления, с которыми борется наша Коммунистическая партия, борется советская литература.

Чингиз Гусейнов остро обличает хищническую мораль клана Бахтияровых, их покушение на коренные принципы нашего общества, совершаемое, разумеется, с самыми громкими изъявлениями верности этим принципам.

Основным художественным принципом разоблачения Хасая как хищника и стяжателя является у Чингиза Гусейнова испытанный в классической литературе прием раскрытия кричащих противоречий между видимостью, казовой стороной его поведения, и сущностью. Писатель вводит нас в дом Хасая, знакомит с его семьей (очень ярко нарисовано застолье у Бахтияровых, где

каждый из сотрапезников твердо помнит о своей малости перед сиятельным ликом главы клана — Хасаем), постепенно готовя кульминационные точки, взрыв накопившихся противоречий между сущностью и видимостью. Эти напряженные, «взрывные» моменты придают динамическую силу сюжетным коллизиям, в которых по-разному и с разных сторон обнаруживают себя ханские нравы, возведенные Хасаем в жизненную норму.

Родной сын Хасая — Гюльбала — кончает жизнь самоубийством. Он не может вынести атмосферы лжи, стяжательства, обмана, показного благополучия в отцовском доме. Сюжетная ситуация, в центре которой оказался Гюльбала, носит подчеркнuto заостренный характер. Гюльбала был влюблен в Рену — молоденькую девушку, вчерашнюю десятиклассницу. Но та же Рена пригласилась и Хасаю. И тот с помощью дорогих подарков, щедрых посулов (особенно Рену соблазнило обещание протекции при поступлении в университет) склонил ее к сожительству, а затем ввел в свой дом на правах «хозяйки». Для Гюльбалы же была подыскана другая невеста — дочь ответственного работника, который так же, как Хасай, нарушал законность. Но не в пример «неуловимому» Хасаю тесть Гюльбалы разоблачен, снят с работы, привлекается к ответственности за должностные преступления. Вдобавок ко всему Гюльбала подозревает, что отец родившегося у Рены мальчика Октая он, Гюльбала, а вовсе не Хасай, как считают все. Драматическая концентрированность ситуации, которая разрешается взрывом, резкой вспышкой трагического, позволяет Чингизу Гусейнову изнутри раскрыть всю патологию, глубочайший аморализм бахтияровского мирка, столь несоместимого с коммунистическими принципами нравственности. Самоубийство Гюльбалы дает нам глубинный разрез этого мирка, освещающий самые темные углы душ Бахтияровых.

Но клан этот, как показывает автор, все еще силен и жизнеспособен. У Хасая есть покровители (например, Джафар, который, подобно Хасаю, был как бы «получастником» минувшей войны, осторожно пройдя по ее отдаленной периферии, а теперь хотел бы числиться человеком с героическим прошлым, что, по его понятиям, необходимо на административном посту, который он занимает). А есть и последователи.

Ч. Гусейнов показывает новую генера-

цию беспринципных дельцов и циников в лице заместителя Хасая — Амिरаслана, генерацию, пожалуй, еще более опасную, чем Хасай, ибо входящие сюда «особи» намного маневренней, эластичней, обладают повышенной стойкостью к разного рода «ядохимикатам», применяемым против них. Амिरаслан — прожженный карьерист. Он выработал сложную систему окольных «шагов», ведущих к «теплому местечку» (безупречная биография, университетский диплом, общественная активность, услуги, в том числе самые деликатные, нужным людям, безупречность по семейной линии). Он юрист, хорошо осведомлен в законах и умеет «изящно» законы обходить. Их общего с Хасаем начальника Джафара он считает мямлей. По его мнению, Джафар поотстал от времени, недостаточно гибок, подвижен, архаичен в манерах, а оттого и подзадержался на своей «среднеруководящей» ступеньке. Образ Амिरаслана — большая удача писателя. В его лице Чингиз Гусейнов показывает дельца, карьериста последней, так сказать, «марки», ловкого хамелеона, являющего собой резкий антипод коммунистическим началам нашей жизни.

Разоблачение делячества, протекционизма, рецидивов торгашеского сознания ведется Чингизом Гусейновым в соответствии с жизненной правдой и носит диалектический характер.

Последовательно разоблачая зло, писатель, однако, далек от прямолинейной «фельетонности» и лобового нагнетания «возмутительных» фактов. Структура его повествования отнюдь не проста. Здесь используются смещение временных пластов, отступления, наплывы. Автор перемежает внутренний монолог с диалогом, сны с явью, ретроспекции, отлеты в прошлое с действием, протекающим сегодня, и даже делает проекцию в будущее.

Тактично пользуясь композиционными «смещениями» и условными «ходами», Гусейнов создает многоплановую картину, развертыванием которой движут реальные противоречия жизни.

Мы, в частности, видим, что клан Бахтияровых неоднороден и от него откальвается все здоровое, не затронутое нравственной скверной. Младший брат Хасая, Теймур, добровольно несмотря на протесты семьи, в войну вступил в Советскую Армию, честно выполнил свой долг, погиб за Родину (Хасай твердо убежден, что Теймур поступил нерасчетливо, глупо, его гибель

он расценивает как плату за недомыслие). Из семьи Бахтияровых уходит, не желая мириться со старым, закосневшим укладом, мать Мамиша, сестра Хасая, которую, кстати, именно он воспитал, дал ей образование. Она геолог. «Кочевница», как с оттенком пренебрежения называет ее ядро клана. Отколовшись от семьи Хасая, она живет честной, духовно наполненной жизнью. Уходит из клана Бахтияровых и Али, сын Аги (один из братьев Хасая) от русской женщины, которая «пожалела» Агу, когда тот отбывал наказание за измену воинской присяге. (История о том, как Хасай с помощью подкуша и сложных комбинаций по принципу «рука руку моет» «вызволил» из ссылки Агу, окрашена у Чингиза Гусейнова в жесткие сатирические тона.)

Основная идейная нагрузка повести, центр той жизненной диалектики, которую воспроизводит писатель, приходится на образ Мамиша — передового, сознательного рабочего. Именно с ним прежде всего связан внутренний боевой пафос произведения. Мамиш — подлинный герой повести, своего рода соратник автора в борьбе с бесчестным манипуляторством, протекционизмом, нарушениями законности и коммунистических норм жизни. Его глазами нам как раз и дано увидеть те события, которые составляют основу сюжета. Мамиш — нефтяник. Он трудится в бригаде бурильщиков. Чингиз Гусейнов показал эту бригаду как сплоченный рабочий коллектив, живущий по принципам общества зрелого социализма. Состав ее интернациональный. В нее входят русский парень Сергей, армянин Арам, дагестанец Расим. Возглавляет бригаду знатный мастер азербайджанец Гая. Труд их и дружба, их производственная и душевная сплоченность исполнены высокого и благородного смысла.

Описание работы бригады, взявшейся пробурить на Морском впервые в истории бурения наклонную скважину, дышит у Ч. Гусейнова подлинной романтикой созидания. Романтичен здесь и пейзаж Морского, и чувства, охватившие Мамиша, сознающего, что он участник великого дела, строительства нового общества. Масштаб чувств и мыслей Мамиша во многом определяет общую тональность повествования, политическую заостренность коллизии, лежащей в основе произведения. Сама стилистика повести на тех ее страницах, где раскрываются мысли и чувства Мамиша, словно парус под воздействием морского бриза, обретает упру-

гую силу. Прямая публицистика тут сливается с внутренним движением образа в нерасторжимое единство. И мы чувствуем реальность нравственной жизни героя, ее наполненный пульс.

«Миллиард тонн нефти дала родная земля.. Миллиард тонн!..»

Мамиш вспоминает Морское, первое свое рабочее утро. Он проснулся, когда солнце еще было на той половине земного шара. Над морем стоял туман, серый, редкий, охлаждающий горло; туман быстро исчезал, море будто глотало его. Горизонт азел. Из-за моря выполз красный ломоть солнца, на водную гладь посыпалось пламя. Солнце медленно, уверенно поднималось, росло, округлилось, и вот уже трудно смотреть на него — оно больно слепит глаза. Умылось в море и, чистое, глянуло на буровые. Петляя и разворачиваясь, раскинула эстакада далеко-далеко свои ветви-рукава. И на отдельных мощных основаниях, будто стражи моря, величаво возвышались стальные вышки.. А вечером, когда возвращался после первого своего рабочего дня, помнит, никогда не забудет: слева — заходящее солнце, красноводое море, черные на фоне солнца буровые; справа — гигантские серебристые резервуары-нефтехранилища, островерхие вышки..»

Мамиш, а с ним и бригада бурильщиков не существуют у Чингиза Гусейнова сами по себе как некий островок среди господства Бахтияровых. Образы этих ребят тесно связаны со всеми событиями, являются своего рода барометром тех грозовых туч, которые сгущаются над кланом Бахтияровых.

В повествовании Чингиза Гусейнова происходит сложная борьба противодействующих сил. Это как в шахматах: на каждый хитрый ход противника (клана Бахтияровых) следует ответный, определенный глубокой жизненной логикой ход Мамиша и его друзей. Да, Мамиш связан с Хасаем узами родства, он воспитан в его семье, но он его антипод. Мамиш знает всю подноготную семьи Хасая, догадывается об истинных причинах самоубийства Гюльбалы. И он гневно бросает в лицо Хасаю: «Наша жизнь — сплошная ложь!. Жизнь нашей семьи..» «И кто в этом виноват?» — спрашивает Хасай. Мамиш отвечает: «Ты прежде всего! И в смерти Гюльбалы тоже ты виноват!»

Писатель достигает большого художественного эффекта, когда в заостренной фор-

ме показывает, как бахтияровский клан собирает все свои силы, стремясь «заткнуть рот» Мамишу, сломить его волю. Автор здесь нарочито смешивает реальное и фантастическое, явь и сон, возможное и невозможное. Зловещая суть «бахтияровщины» особенно наглядно обнаруживает себя в драматическом эпизоде, где Ага и Гейбат (родные дядья) избивают Мамиша, пытаются его, связанного, держать в комнате, как в тюрьме. Друзья Мамиша по бригаде приходят ему на помощь и освобождают его. В этих картинах наиболее отчетливо выявляется и позиция автора. Порою он прямо и открыто формулирует свои мысли и в виде внутренних монологов Мамиша. Автор показывает: идет борьба, борьба ожесточенная, борьба с протекционизмом, пережитками косных обычаев старины, принимающими сложные модификации в новых условиях. Идеиная правда и нравственная красота на стороне передового рабочего Мамиша. Но старое не сдает свои позиции без боя. Более того, чем сильнее наступает новая, социалистическая мораль (ее носителем в

повести является прежде всего бригада бурильщиков), тем утонченнее способы мимикрии, к которым прибегает делячество и своекорыстие (образ Амираслана)..

Не хочу, однако, уверять читателя, будто повесть Чингиза Гусейнова свободна от недостатков. Ряд художественных просчетов здесь, можно сказать, на самом виду. Так, поездка Мамиша в Ашхабад к отцу Кязыму, разведенному с матерью, встреча с бабушкой, на мой взгляд, отягчают и без того сложное повествование. Этот композиционный «сбой» в повествовании я склонен связывать с авторским стремлением как можно полнее представить читателю мир своего героя, стремлением, которое не всегда согласуется с внутренней логикой избранной писателем формы. Но если отвлечься от такого рода частностей, перед нами несомненная удача писателя, создавшего остроактуальное, проникнутое духом гражданской активности произведение.

**В. В. НОВИКОВ,**

*доктор филологических наук.*



## СЕВЕРНЫЙ ФАСАД ОТЕЧЕСТВА

**Александр Марьямов. За двенадцатью морями. М. «Советский писатель». 1975. 592 стр.**

Есть книги, которые пишутся всю жизнь. Непосредственная работа над рукописью может ограничиться несколькими годами. Это завершающее усилие мы вправе сравнить с финишным рывком.

Три повести Александра Марьямова впервые собраны в одном томе. Соединившись под общим заглавием, они образовали необыкновенно слитную эпопею. Автор книги создал ее в свою позаную пору. Но готовился он к этому свершению смолоду. И перед тем как приступить к нему, повидал полмира, был матросом и репортером, офицером военно-морского флота и кинодокументалистом. За долгие годы работы в литературе он опубликовал множество рассказов и очерков, публицистических и критических статей, написал монографии, посвященные Всеволоду Пудовкину, Александру Довженко и Всеволоду Вишневскому.

При всех обстоятельствах, трудясь много

и плодотворно, он продолжал вынашивать давно задуманное повествование.

Ольга Берггольц в «Дневных звездах» мудро сказала о том, что каждый литератор, над чем бы он ни работал, исподволь накапливает силы и знания, впечатления и мысли для своей Главной Книги, которая еще впереди.

Такой Главной Книгой для Марьямова оказались неразрывно связанные между собой повести «Идем на восток», «Полярный август» и «За двенадцатью морями».

А началось все давным-давно. В 1926 году в Харькове, на Благовещенском базаре, который по тогдашней привычке к сокращениям именовали Блабазом, на живописной барахолке, где можно было купить все на свете, семнадцатилетний книголюб как замороженный бродил вдоль длинного букинистического развала.

«С этого развала я однажды унес вместе с объемистым томом мадам Блаватской, рассказывающим о духовных сокровищах

тибетских пещер, и с отпечатанным на узорных обоях сборником футуристов растрепанную книжку в темно-зеленой бумажной обложке. Выпущенная незадолго до первой мировой войны, она называлась «К познанию России», и автором ее был Дмитрий Иванович Менделеев. В этой-то книге я и прочитал поразившую меня своей неожиданностью мысль, не вполне мне тогда понятную, — о том, что истинным фасадом своим Россия обращена на Север, к тысячеверстным пустынным побережьям Ледовитого океана.

...Аналитический ум творца периодической системы элементов — вслед за давней догадкой другого гениального провидца и аналитика, Михайлы Ломоносова, — постигал, что едва ли не все химические элементы, на какие может быть разложен и сам человеческий организм и вся окружающая нас вселенная, скрыты в необъятной сокровищнице: за чертой ледяного припая арктических побережий, под многометровым панцирем вечной мерзлоты, облегающим заполярные недра.

Книга Александра Марьямова «За двенадцатью морями» вышла через полвека после того, как начинающий газетчик, прочитав менделеевские строки, «заболел» Севером.

Вся последующая его жизнь сложилась так, что он в разное время и по разным поводам устремлялся к высоким широтам, к суровому и сказочно богатому фасаду России. В этих путешествиях он избегал роли праздного наблюдателя, ограниченного собиранием фактов и красочных подробностей. Выношенному слову всегда предшествовало дело.

Впервые он отправился к берегам Арктики на знаменитом ледорезе «Федор Литке», который, выйдя в марте 1929 года из Севастополя, должен был достичь Владивостока, а оттуда пойти к Чукотке и дальше. Командировку Марьямову дала газета, где он сотрудничал, но на борт корабля не принимали пассажиров даже с командировками. Оказаться на судне можно было лишь в качестве члена команды, выполняющего любую работу. Это, конечно, не остановило молодого корреспондента.

«Федор Литке» прошел двенадцать морей и два океана, побывал в экзотических портах, одни названия которых способны поразить воображение. Но это была лишь присказка, сказка оживалась впереди. Газетчика, который честно нес магросскую

службу, в южных морях будоражило исполнение главной мечты — ему предстояло своими глазами увидеть Арктику.

Но вскоре выяснилось, что по приходе во Владивосток «Федор Литке» на полтора месяца становится в сухой док для осмотра и ремонта и лишь потом начнет ледовую часть своего плавания. И вот тут харьковская редакция запротестовала. Приказ шефа гласил — немедленно возвращаться. Дисциплинированный репортер подчинился редактору.

Через несколько лет, переехав в Москву, он присутствовал в столичном Дворце пионеров на встрече со знаменитым полярником Ушаковым. Георгий Алексеевич поведаль юным слушателям о своих зимовках. И между прочим о том, как встречали «Федора Литке» на острове Врангеля.

«Он снова разбудил мою старую острую, до сих пор не заснувшую боль... Не надо было мне уходить с корабля, складывать лапки, отказываться от того, ради чего предельно было... долгое плаванье».

Прочитывая эти строки, я понял, что сейчас нарушу законы жанра. В рецензиях не принято предаваться воспоминаниям. Но что поделаешь, я тоже был на той давней встрече с Ушаковым во Дворце пионеров и помню, как после общей беседы Марьямов взволнованно рассказывал Георгию Алексеевичу о своем былом промахе, как Ушаков вместе с ним сокрушался: «Да, это вы зря... Как это вас угораздило вернуться?»

А я слушал их и сочувствовал своему товарищу — мы работали тогда с ним в «Пионерской правде» и дружески делились всем, что нас увлекало, тревожило, поражало.

Освоение Севера в ту пору уже достигло немалого размаха. Имена Ушакова и Шмидта, Ферсмана и Визе, Воронина и Чухновского были у всех на слуху. Названия кораблей — «Литке», «Сибиряков», «Красин», «Челюскин» — звучали завораживающе.

В редакции «Пионерской правды» Саша Марьямов был окружен неким ореолом: он ходил на «Литке». Пусть не дошел до конца, но все равно был причастен к легендарному плаванью.

«От первой дороги у меня остались три толстые тетрадки дорожных дневников», — сказано в книге «За двенадцатью морями».

Я помню и эти тетради, добротные, в клеенчатых обложках, исписанные мельчайшим, но четким почерком. Марьямов чи-

тал мне свои записи вслух, дополняя устные рассказы дневниковыми страницами, точными и красочными. Некоторые из них почти без изменения вошли потом в его повествование.

Я помню и подаренные мне автором ранние сборники путевых очерков, написанные и увидевшие свет еще в Харькове, — «Аэродромы и порты» и «Пути под солнцем».

Теперь я понимаю, что это уже были подступы, самые начальные, к будущей Главной Книге. Как и томик рассказов «Сампо», изданный в Москве в середине 30-х, возникший после поездки на Кольский полуостров, в Мончегундру, где были обнаружены знаменитые апатиты.

Там состоялось первое свидание молодого литератора с нашим Севером.

Знакомство, начатое на левом фланге Заполярья, продолжилось в годы войны. Корреспондент флотской газеты Марьямов в тех же местах участвовал в десантных операциях, ходил на подводных лодках, на сторожевых и торпедных катерах.

Фронтные репортажи и очерки, написанные тогда, тоже оказались вехами на пути к далекой, но уже основательно задуманной книге.

А в послевоенные годы поездки в Заполярье стали для ее будущего автора настоящей частью жизни.

Мечта Марьямова исполнилась.

«Я видел русский Север на всем его протяжении — от Рыбачьего полуострова до мыса Дежнева», — читаем на одной из страниц трилогии.

Эти путешествия совпали с решающими годами преобразования дальних земель. Вслед за открытиями Ферсмана на Кольском полуострове последовали новые — обнаружилась нефть и уголь Воркуты, потом руды Таймыра, алмазы Якутии.

Марьямов побывал с киноэкспедициями в Зауралье, увидел Тюмень, Салехара, Ханты-Мансийск. Потом — Сыктывкар, Воркута, Верхоянск, Магадан, якутская тайга и таймырская тундра, Игарка и Дудинка, хождение по Енисею и Лене, бухта Тикси.

В съемочных группах он числился сценаристом, но сценарии писались не загодя, а возникали в пути. Документальные фильмы выходили на экран, а одновременно росла и расширялась Главная Книга.

Я так подробно пересказываю предысторию трилогии, потому что на ее страницах эти годы начального накопления красок, впечатлений, мыслей занимают немалое

место. Переключка увиденного недавно с устремлениями давних лет, ранних замыслов с поздними достижениями, придает книге объемность и глубину.

Жанр путевых записок, один из самых распространенных в нашей литературе, имеет свои высокие традиции. Он вобрал знаменитую книгу Радищева и пушкинское «Путешествие в Арзрум», страстные очерки Герцена и обстоятельные «Письма об Испании» Боткина, сахалинские строки Чехова и лирические записи Пришвина.

Если говорить о современниках, на память сразу же приходят «Владимирские проселки» Солоухина и «Ледовая книга» Смуула, «Северный дневник» Казакова, «Соленый лед» и «Морские сны» Конецкого. К этим и многим другим книгам примыкает повествование Марьямова.

Традиции, восходящие к нашей классике, прежде всего выражаются в том, что дорожные страницы запечатлевают не только увиденное сейчас. Это всегда еще и путешествие в собственную жизнь, неотделимую от жизни общества. Это — связующая нить размышлений, обращенных к прошлому и адресованных будущему.

Место действия книги Марьямова — все пространство от Кольского полуострова до Чукотки. Время действия — от 20-х годов до 70-х.

Но порой и эти достаточно широкие границы раздвигаются, и тогда мы оказываемся в Стамбуле, в Порт-Артуре, в Японии или переносимся из современности в эпоху Ермака.

Однако прежде всего речь идет о наших краях и днях, о людях, которые своими прозрениями и открытиями подготовили сегодняшние свершения, и о тех, кто нынешним поиском предвдывает завтрашние задачи.

Эта преемственность и определяет внутренний сюжет книги «За двенадцатью морями».

Повести Марьямова густо населены людьми. Мы знакомимся с ними в Мончегундре, в якутском наслеге Борогон, в таежной охотничьей избушке, в чуме, в палатке, в сборном домике, на борту «АН-2». Геологи и строители, синоптики и звероводы, сплавщики и врачи, географы и геофизики, вертолетчики и учителя, академики и стюардессы — кажется, нет им числа на этих страницах. Галерея характеров, проходящих испытание на северную прочность, — немалая удача книги.

Марьямову повезло. Он встречался с Ушаковым, Леваневским, Папаниным, Кренкелем и сумел запечатлеть черты этих людей, храбрых, талантливых и одержимых.

Фамилии некоторых действующих лиц Марьямов заменил вымышленными, оговорив это. Но все они, действующие под своими или чужими именами, оставляют след в памяти — геолог Кузин, врач Храпов, учительница Полозова и многие другие северяне, коренные и приезжие, нашедшие в Заполярье свое призвание.

Эти судьбы, прочно связанные, образуют живую летопись освоения Севера, каждый из этих людей, чем бы он ни занимался, кровно причастен к бесчисленным поискам и открытиям.

В главе, посвященной Якутии, сказано: «...Чтобы заглянуть в то, что будет, опять приходишь к воротам, как в сказке. На Таймыре были ворота „медные“. Тут должны быть „алмазные“. А пойдешь еще дальше, увидишь и „золотые“».

Как и положено путевым очеркам, книга «За двенадцатью морями» полна движения. Не случайно в Быкове, под Москвой, поднимаясь по трапу на борт самолета, автор вспомнил слова из радищевского дорожного дневника: «Сел в кибитку и поскакал».

Современные кибитки скачут молниеносно. Вместе с Марьямовым читатель движется не только в пространстве, но и во времени.

В Салехарде есть краеведческий музей. Там в числе других экспонатов можно увидеть бубен шамана, а также кафтан, подаренный березовским полицмейстером обдорскому князьку Тайшену. Посещение этого музея побудило Марьямова совершить увлекательный исторический экскурс.

Полет на скромном «АН-2», на внешне неуклюжем, но безотказном «Антоне», без которого уже много лет немислима транспортная связь в труднодоступных районах, послужил писателю поводом для живописного рассказа о создателе воздушного вездехода Олеге Антонове, о его раннем увлечении планерами, о нынешних мощных лайнерах, рожденных по замыслам и расчетам знаменитого конструктора. Полны удивительных подробностей воспоминания о давних годах, когда Антонов парил на «летающей лодке» над Коктебелем, тем самым Коктебелем, где поднимался в воздух и молодой Сергей Королев.

Таких лирических отступлений в книге много. Благодаря им стремительный ход

повествования обретает неожиданную плавность, резкие повороты внутреннего сюжета смягчаются, а вся многосложная композиция оказывается естественной и цельной.

К своей Главной Книге Александр Марьямов готовился не только как бывалый человек, многое повидавший, умудренный житейским опытом, но и как художник. В повестях о Севере он достиг зрелого мастерства. Многие страницы исполнены подлинной поэзии. Можно привести отрывки, свидетельствующие об этом. Вот один из них.

«От Кольского до Чукотки цветет в августе тундра лиловыми цветами, зреют во мхах морощка и голубика: вошло в силу полярное лето и уже вот-вот окончится; уже солнце каждые сутки уходит по ночам за край неба, и тучи темны, будто переполнены снегом: подует с севера ветер — и заметет пурга».

Август в Заполярье проходит стремительно, но в короткие его недели успевают расцвести в тундре все ее цветы, созревают ягоды и над карликовой полярной березкой куда выше прижатого к мерзлой земле ствола поднимается тугая шляпка огромного подберезовика».

И еще:

«Однажды во время войны случилось мне идти на катерке из Полярного в Мурманск. Мы проходили уже мурманское предместье — Росту, когда я увидел у берега знакомый силуэт корабля. Судно было покрыто пятнами ржавчины, невероятно запущено, но все еще сохраняло удивительную стройность, легкость и соразмерность очертаний».

«Федор Литке?»

Да, это был «Литке». Его привели сюда, чтобы разрезать голубым пламенем на металлический лом. Он свое отплавал. Я не мог смотреть на свой любимый и уже мертвый корабль. Даже сознание всех смертей и потерь, виденных во время войны, не могло усмирить чувство горечи. Я отвернулся».

Четырнадцать лет прошло к тому времени от июньского дня, когда я простился с «Федором Литке» у набережной Золотого Рога...»

Это фронтовое воспоминание, как бы закольцовывающее трилогию, могло бы послужить и мостиком к четвертой повести, которая была задумана Марьямовым. Она должна была запечатлеть его службу на Северном флоте в пору Великой Отечественной войны.

Повесть эту он не успел написать. Но остались его фронтовые репортажи, сохранились и записные книжки тех дней, вернее тетради, заполненные все тем же убогим и четким почерком. Часть этих записей недавно опубликована в журнале «Октябрь». Так что полярную эпопею, которая подготавливалась и писалась автором почти всю жизнь, можно считать состоявшейся.

Впрочем, ее окончания нет и быть не может. Жизнь продолжается, она сама дописывает и множит страницы открытий и свершений.

«Выходило, как почти всегда и везде выходит, когда снова приезжаешь на Север,— что главное не то, что уже сделано, что можно увидеть готовым, а то, что еще только предстоит делать. Главное — то, за что еще только принимаются люди».

В том, насколько справедливы эти слова Марьямова, я убедился воочию, когда несколько раз побывал на Севере вскоре после того, как туда приезжал автор книги «За двенадцатью морями».

О воздушных воротах Тюмени в книге сказано: «В деревянном домике аэровокзала скрипели полы».

Я увидел современное здание из бетона и стекла, яркие огни, неоновые буквы на фоне прозрачной северной ночи.

«О новых стройках, о разведчиках в тундре, об успехах изыскателей природного газа в Березове... говорило тюменское радио», — сказано в книге.

Когда я был на этой земле, вдоль дорог пылали факелы — попутный газ приходилось еще сжигать, но уже вот-вот им предстояло погаснуть — природное топливо шло в дело.

Разведчиков на этой земле сменили рабочие нефтепромыслов, бетонные дороги, настиланные поверх вечной мерзлоты, веди к новым буровым, а изыскатели ушли дальше, в такую глубинку, что до них надо было добираться самолетом или идти не один

час по Оби. На Самотлоре в бригаде прославленного мастера Лёвина я слушал рассказ о возрастающих темпах добычи.

Когда Марьямов был в Норильске, он увидел архитектурные ансамбли знаменитого города, цеха медеплавильного комбината, гигантские разработки на Медвежьей горе, обшитые досками трубы, которые гнали воду на обогатительную фабрику, зимние сады в клубах и школах. Все это уже было реальностью, вчерашним и сегодняшним днем.

Кинодокументалисты устремились в день завтрашний, за Норилку, за поселок Валек, все дальше и дальше в тундру, где на берегу реки Талнах стояли палатки и работали геологи в резиновых сапогах, в защитных сетках, спасающих от беспощадного комарья.

Через некоторое время я с группой литераторов приехал в Талнах. Там уже стояли кирпичные жилые корпуса, от них были проложены деревянные мостки к Дому культуры с ультрасовременными интерьерами и прекрасным залом. Девушки и парни, пришедшие на вечер поэзии, были одеты нарядно и со вкусом, словно дело происходило не в тундре, а в новом микрорайоне Москвы.

Я мог бы продолжить эти сравнения прочитанного с увиденным несколько лет спустя. Но дело в том, что и мои впечатления успели устареть. Дома, которые при мне строились в Сургуте и Ханты-Мансийске, давно заселены, а в Талнахе деревянные мостки наверняка успели смениться асфальтом.

Но не стареет книга Александра Марьямова. Стремительное освоение Севера, непрестанное обновление истинного фасада России ждет не только злободневных репортажей, но и своих неторопливых летописцев. Трилогия «За двенадцатью морями» многое скажет и сегодняшнему читателю и завтрашнему историку.

**Яков ХЕЛЕМСКИЙ.**



## ЗНАК РАВЕНСТВА

Анатолий Эфрос. Репетиция — любовь моя. М. «Искусство». 1975. 319 стр.

Сочинение, казалось бы, имеющее предмет специальный,— так предложена читателю книга режиссера Анатолия Эфроса. Труд о режиссуре и более узко — об опыте репетиций, да же вовсе узко — о том,

как возникает «режиссерский сюжет» спектакля. Все это должно быть интересно людям, связанным со сценическим искусством. Но всем этим не объяснить трогательной и разительной силы воздействия книги.



С какой бы деловой целью ни приступал к чтению, в конце концов читаешь ее «для души». Способность книги дать нечто душе и выводит ее из рамок «специальной литературы», делает литературой в полном объеме слова.

Вот Анатолий Эфрос думает о трех сестрах — еще даже не о «Трех сестрах» как о произведении, а именно о трех женщинах и людях, к ним близких, которые живут в их городе, обойденном железной дорогой — вокзал в двадцати верстах и никто не знает, почему это так. Понятно, что даст артистам подсказ лада жизни: как в ссылке или в эвакуации; годы не живешь, а переживаешь, когда вернешься и будешь жить. Актеры подсказом воспользуются по-своему; но не важна ли и для нас с вами ранимая верность этого наблюдения, сделанного над жизнью людей, нам близких, с нелепостью их дней, которые уходят, не признаваемые за дни, долгие и пустые, как всегда бывает долго и пусто время ожидания. Годы, которых словно и не было, но их вычли как прожитые, других не будет.

Вот Эфрос обращается к Гоголю, и «Женитьба» странным образом откликается тому же мотиву. Подколесина на его диване подчас точно подбрасывает, током бьет ощущение: все сроки пропускаю! жизнь уходит! уходит же! И Агафья Тихоновна тут не от скуки привередничает, полагая, что со своим приданым уж как-нибудь в девках не останется; она тоже знает это внезапно язвящее чувство, что все сроки пропущены, жизнь пропущена, а должна же быть жизнь и счастье в ней...

Бедные, искаженные люди, воображение их мгновенно являет им это счастье, которое тут же заставляет с опаской покачать головой — полно, стоит ли? Надо ли? Вот свадьба, торжественная и бесповоротная, как большие похороны, вот прслетка, где едет жених — не один жених, много, один у другого чуть не на коленях примостился; вот жизнь, которая мелькает с быстротой перелистываемого модного журнала, на картинках все куда-то спешат, замерев в позе щегольского бега...

Но есть в спектакле сцена иная: Агафья Тихоновна наконец наедине с Подколесиным. Как помните, они говорят всякую ерунду о том о сем, потом Агафья Тихоновна остается одна и говорит, что Подколесин прекрасный человек, очень ей по душе. Сцена у Эфроса смешна — немного, трогательна — в высшей степени; и поэтич-

на прежде всего. Объяснение без слов, мимо слов, сквозь слова, но объяснение состоявшееся, счастливое для обоих. В конце концов, почему бы нет? Ведь был же классический любовный дуэт в «Трех сестрах», где он напевает: «Там-там», а она переспрашивает: «Тра-ра-ра?»

В этой сцене Подколесин считает, сколько остается до какого-то праздника, считает он по пальцам на руке Агафьи Тихоновны; пальцев на одной руке не хватает, невеста робко протягивает ему и вторую ручку. Эфрос об этом не может помнить, но в постановке «Трех сестер» (1901 год) Ирина Прозорова так же считала по руке сестры, сидя с ней на диване, сколько же остается до заветного отъезда в Москву. Чем-то дорог этот случайный повтор детали — не тем ли, что обнаруживает наследственность темы «тоски по жизни» и темы человеческой потребности друг в друге, во взаимном тепле, без которого не прожить, пусть оно и не замена жизни, упускаемой в ожиданиях.

Вот Анатолий Эфрос думает об Отелло и Яго. Ему нужно понять мотивы Яго, потому что нельзя ставить, не понявши их, но его догадки жизненно важны и нам с вами, хотя мы никогда не выйдем на сцену, чтобы играть мавра и его адъютанта. Режиссер приглядывается и не без ужаса видит силу, зреющую в бездарном и злом человеке, когда тот оскорблен существованием рядом с собою души значительной и тем непонятной. Значительность чужой души для него если не подвох, то нечто худшее.

Не важно ли нам понять, почему Яго своими, в общем-то, не демонскими, а казарменными средствами умеет все повернуть, как ему надо?.. Заодно мы пойдем, почему Шекспиру понадобились первые два акта из его пяти — акты, которые на сцене всегда казались лишь затяжкой экспозиции...

Наверное, жизнь мысли начинается там, где кончается скучная магия общих мест. Счастье Анатолия Эфроса, что он этих общих мест будто и не знает. Талант его начинается с непредвзятости, хотя, разумеется, не в ней одной заключен. Он словно бы хочет взглянуть в жизненное положение, после которого могла возникнуть пьеса: что было и как? Иное дело, что в ответах на простейшие эти вопросы у Эфроса уже закладывается художественность понимания, а не только его житейская убедительность.

Режиссер спрашивает, пьеса отвечает ему с простотой и откровенностью, будто только и ждала, пока ее спросят об этом именно, а ведь не спрашивали до сих пор.

Вот спросил, например,— а что собой представляет этот человек, отец Джульетты? «Теперь уже немолодой и рыхлый мужчина, он с улыбкой встречает гостей и острит.

В одном из театров, за кулисами, я видел портрет Гинденбурга, приготовленный для какого-то спектакля. Это была сильно увеличенная фотография — рыхлое, полное лицо с мешками под глазами. Возможно, и он шутил когда-либо, но в глазах ни тени добродушия. В обрюзгшем лице — одно сплошное железо.

Говорят, что Черчилль был капризен и часто впадал в состояние бешенства. И был тогда страшен.

Рассердившись на Тибальта, Капулетти во время бала так наказывает своего воинственного родственника, что тоже становится жутко.

Хотя, по сути, он как бы прав, так как отстаивает спокойствие на своем мирном празднике. Но его манера подавления другого человека сама по себе все окрашивает в дурной цвет».

Следовало бы принести извинения за длинные цитаты, но читатель после нее лучше поймет, как написана эта книга, как нарочито близкий к тексту пересказ трагедии оказывается здесь сразу же толкованием ее, включает ассоциации, переключает на полемику. Вот начало «Ромео и Джульетты», которое понаторевший зритель знает в колорите «фальстафовском», но которое Эфрос явил в красках совсем иных и, кажется, проступивших из самого текста. Драка, перед ней небольшая экспозиция типов дерущихся. «Они ведут себя столь же низко, как обычно ведет себя всякое уличное хулиганье. Идиотски настраивают себя на драку. Потом — ищут, к чему бы придраться. И. наконец, начинается поножовщина.

— Сколько крови! — говорит Ромео.

Каждый нормальный человек никогда не перестанет удивляться тому, с какой легкостью хулиганы хватают друг друга за лицо. Даже когда нет никакой драки, когда группа кажется мирной, дружественной. Раз! — и всей пятерней «дружественно» ухватил за лицо приятеля. Потом толкнул его в стенку, а тот и не думает обижаться — это их норма.

Первобытное презрение к неприкосновенности личности.

А в те времена, я представляю...»

Не вообразите себе, будто в театре на Бронной актеры так и играют начало Шекспира, напоминая повадками какую-нибудь компанию в малаховских джинсах, орущую под гитару нарочито мерзко, с явным намерением нарваться на замечание и ответно въехать в морду: действие, конечно, идет «в те времена». Но важно, как что-то входит с улицы в творческую лабораторию и приходится тут кстати.

Думаешь, читая: как все перетасовывается, как одно бросает ответ на другое, «из какого сора растут стихи». И вот откуда композиция книги.

Казалось бы, почему не писать все по порядку — как нашли ключ к Розову и как пошла работа над Чеховым, что искали в Гоголе и как задумывался Шекспир. Ведь не все же разом ставили. А то странно как-то выходит. Вот начал рассказывать вообще про жизнь за кулисами. Потом перебивка: про то, когда происходит действие «Трех сестер». Первый акт — утром, второй — вечером, третий — ночью и четвертый — опять утром. Еще несколько слов рядом с пьесой. И опять перебил: стал вспоминать, как было, когда его, молодого, пригласили в Центральный Детский театр, и очень хорошо рассказал о своем настроении в ту пору, вообще о настроении той поры — как все ладилось, как ясен был противник. «Нет ничего лучше, мне кажется, чем работать в театре, где ты ощущаешь себя бойцом среди других бойцов. И как трудно сохранить это ощущение на долгие годы. Потому что со временем усложняются задачи, обстоятельства и накапливается масса мелочей».

Потом фраза из «Трех сестер»: «Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение вдруг, ни с того ни с сего». Живешь, и жизнь приводит тебя к чеховской фразе; вы словно бы взаимно поняли и объяснили друг друга.

Композиция книги, пожалуй, странная, но тут нет причуды, а есть лишь верное ощущение предмета. Здесь речь о том, как жизнь претворяется в искусстве. Жизнь, отдающая себя искусству со всем своим трепетным и сорным содержанием и в нем постигаемая, гармонизованная, переданная другим. Прежде всего — собственная жизнь, и уж через нее — жизнь всех, кого знал, встречи с кем вошли в душевный состав.

В книге — портреты этих людей. Вот Алексей Дмитриевич Попов, которого и я помню именно таким: похожим на мастера-вого, рыцарственным, невеселым (всегда казалось, что у Бертрана, рыцаря из простолюдинов с кличкой Несчастье, в «Розе и Кресте» Блока такой облик). Вот Мария Осиповна Кнебель, прекрасный режиссер, талант и умница, которую, как пишет Эфрос, в детстве не научили делать «значительное лицо». Впрочем, если бы Кнебель делала это самое «значительное лицо», она меньше была бы похожа сама на себя, а быть похожим на самого себя в искусстве непременно надо.

Творческое усилие сливает собственную, личную жизнь художника с такой же объективностью чужой жизни, им создаваемой, с объективностью художественного создания. Репетиции — это как раз пробы подобных усилий. Мера таланта определяется быстротой, с которой из накопленный собственной души отбирается то самое, что нужно, ну и, разумеется, тем, насколько даровита душа, насколько художественно усваивается мир. А то ведь такую еще

плоскость с электронной быстротой выбросит вам иное «устройство», что хоть руками разведи. В книге «Репетиция — любовь моя» сквозит не раздражение, а какое-то усталое удивление перед легкостью, с какой кто-то может быть этим плоским доволен. Неужели не скучно, не противно?.. Ведь в этом проходит жизнь.

У Эфроса есть вначале про то, что репетиции должны доставлять радость: на них уходит половина каждого дня. И если время проходит пусто или тяжело, то тяжесть не искупится, даже если после мучительных репетиций и получится хороший спектакль.

Потом — через страницы к этим простым словам придут отзвуки и рифмы, все расширится, приобретет глубину и объем. Мысль творческая отзывается просто мысли, и наоборот; в этом-то поэтический закон книги Анатолия Эфроса. Она написана-прожита именно так, что тире — типографский знак разделения — воспринимается как знак равенства.

Инна СОЛОВЬЕВА.



## ДУХ И АРХИТЕКТУРА «СОБОРА»

Юстинас Марцинкявичюс. Собор. Драматическая поэма. Перевод с литовского Д. Самойлова. «Дружба народов», 1975, № 12.

Чтение «Собора» радостно уже и потому, что вызывает высокие и несколько забытые историко-литературные образы. Автор и переводчик представили материал, ведущий на авансцену тени Шекспира, Пушкина, Гёте как автора «Фауста», Мицкевича, французских и литовских драматически-поэтических классиков; нет нужды объяснять, насколько интересны сейчас эти традиции, ассоциации, ощущение такого типа творчества. Мы, отчасти уже привыкшие к деловитой прозе или к слишком специализированной, профессионализированной поэзии, вдруг вновь вспоминаем, что есть в искусстве философско-возвышенное начало... При этом в тексте присутствует оригинальный оттенок, состоящий вот в чем. Исторический материал, даваемый Марцинкявичюсом, судя по всему, тяготеет к шекспировскому «грубо»-экспрессивному типу и соответственной стилистике; перевод же Д. Самойлова по своей словесной фактуре тяготеет скорее к пушкинскому началу — более строгому, стройному, менее «грубо-

му», экспрессивному, романтическому. Учитывая общий характер поэзии самого Д. Самойлова, это естественно. Такой дополнительный внутренне-стилистический контрапункт сообщает словесной ткани «Собора» особую объемность:

Зачем я здесь? Чего я здесь хотел?  
Полюбоваться на ее мученья?  
Или утешить? Чем утешить? Ложью?  
Недаром говорят, что душегуба  
Влечет увидеть жертву... Вот и я  
Вернулся... Здесь тот склеп, откуда к небу  
Взывает грех мой о возмездье правом!  
О господи, ты покарал меня  
Всего ужаснее — не покарав,  
Оставил жить, страдать. Как все на свете...

Проблематика этого произведения, как того и требует сам жанр стихотворной драмы, трагедии, тоже возвышенна и торжественна. Здесь ставятся последние вопросы человеческого бытия и истории. Наиболее очевидный из них связан с двумя главными противостоящими персонажами. Герои «Собора» — зодчий Лауринас и архиепископ

Масальский, олицетворяющий собою духовную и светскую авторитарность накануне гибели феодального строя. Как и следует ожидать, отношения их неоднозначны: Масальский достаточно умен, Лауринас достаточно стихийен и неровен в своем поведении и замыслах, чтобы образовался клубок противоречивых страстей. К этому, конечно, «добавляется» любовная коллизия — оба любили одну женщину, мать сына Масальского. Последний не прочь приласкать Лауринаса, если тот будет заниматься своим делом и не лезть в чужие; Лауринас, в свою очередь, как беспокойный и чуткий творец, «делая свое дело», при этом только и попадает что в чужие дела и не может распутаться с этим.

Однако если бы ситуация ограничивалась этими традиционными коллизиями, все было бы проще, но Марцинквичюс стремится прозреть логику жизни дальше банальной дилеммы феодального государства и свободного искусства.

Следуя букве истории, а может быть, при этом отчасти замышляя, например, и над опытом «левого» искусства XX века, поэт ставит вопрос о прямом участии художника в современной ему бурной политике, притом политике красиво-романтической, но внутренне не подготовленной. Этим последним обстоятельством Марцинквичюс, конечно, несколько облегчает себе задачу, чем, может быть, и объясняется некоторое «провисание» во второй половине произведения: все слишком ясно заранее и автору и нам, нет того напряженного «равновесия диких» сил, которыми поражает нас, например, Шекспир в своих третьих—пятых актах. Марцинквичюс, как и всякий апологет возвышенного искусства, чувствует, как оно бывает с художниками, временно отходит от своего замысла душой, забывает о своем «профессиональном» назначении и ввинчивается в бытовые и социальные страсти, связанные с подготовкой восстания.

Неопытный в этой сфере, он тут же начинает попадать в разные драматические и неловкие положения: то Масальский щадит его талант, но казнит его товарищей, и

на этом основании бунтующие сограждане обвиняют его в предательстве; то, наоборот, он становится во главе самих бунтующих, но ведь восстание заведомо обречено, и Лауринас знает об этом; кроме того, сам народ еще не совсем ведает, что творит, — и тут встает третья проблема «Собора». Она связана не только с традиционным «личность — народ», но и с пушкинским «народ безмолвствует».

Вовсе не модернизируя самое историю и стараясь просто добросовестно понять, что же происходило в Литве на рубеже XVIII—XIX веков, на рубеже феодализма и новой эры, о чем и сам предупреждает в предисловии, поэт говорит о трагедии народа, застигнутого европейскими (Французская революция) ветрами в те времена, когда сам он еще только готовился к новому мироощущению. Итогом было преждевременное восстание, раскол среди народа, усталость, разочарование, проникшие внутрь его, и — поражение после самой победы.

Что же Лауринас?

Он одинок, он — на грани гибели; впрочем, вдали гибнет и умный его враг-покровитель — Масальский; но Собор — символ родины, — Собор будет, он уже вот он, и в этом ныне — смысл жизни; и одинокий ребенок играет у паперти, ребенок, неизвестно чей сын: то ли крестьянки, надрывно причитающей у Собора над погибшим сыном, то ли самой героини, пережившей такое же горе; важно, что он есть, он жив, что он символизирует будущее.

Вообще-то в таких вот символах заметна и некоторая слабость — символ слишком ясен, в нем слишком четко просматривается дно. «Миндаугас», предшествовавший «Собору», был более плотным и плотским, а в поэме «Стена» символ тоже чрезмерно прозрачен.

Повышенная символичность вообще присуща литовской поэзии, и в частности эпической поэзии Марцинквичюса; это черта стиля. Да что говорить, тут литовцы не одиноки в нынешнем литературном мире; достаточно вспомнить латиноамериканскую прозу, драматургию, японский роман, чтобы увидеть тот же прием (хотя и иначе направленный). У нас — армянские, молдавские прозаики, грузинское кино... Порыв к синтезу, стремление освоить главную закономерность жизни — вот откуда это.

Но бурна, сложна жизнь, и простая символика не всегда справляется с этой сложностью.

В «Соборе» достаточно много проблем, чтобы их можно было свесги в одну точку; конечно, тут можно бы сказать, что не надо было их «брать» столько, но Марцинкявичюс прав, что он «взял», что он дерзает. Но просто он здесь столкнулся с той величайшей трудностью условно-поэтического искусства, которая заключается в соединении повышенной «духовности» с ощущением самой естественности жизни; искусство бытовое легко выходит из этой коллизии — оно сохраняет правдоподобие и «органичность», но за счет полета духа; в «высоком» же творчестве есть опасность абстракции и того просчета, который состоит в подмене «органичности» «синтезом», то есть именно сопряжением извне неких отдельно взятых начал, «проблем». При «органичности» проблемы сами вырастают из текста, при «синтезе» они все-таки ощущаются не как химическое целое, а как электросварка со швами. И поэт отчасти не избежал этой трудности. Он и сам не хочет «точек» — не дает тезисных, однозначных ответов на вопросы давней истории. Да и какие «отмычки» годятся для проблемы «духа и действия», столь актуальной ныне для нас в истории, для проблемы народа и его победы как пути к будущему, до которого было еще двести лет? Но все-таки есть соблазн дать такие ответы, и вот перед нами символы: Собор, играющее дитя.

Сводит ли это композиционные концы?  
Может быть.

Но хотелось бы и той мощной конкретности в самой возвышенности, которая уже не нуждается во внешней символике, которая, кстати сказать, проявилась бы и в самой стилистике, в языке, местами грешащем хотя и эмоциональной, и возвышенной, но все же — риторикой, особенно в

психологически напряженных, «надрывных» местах. Здесь поэт «забывает», что искусство, как и всякая духовная деятельность, тоже не только восклицает, но анализирует; он боится той условности, которая является непрременной чертой им же принятого стиля. У Шекспира Ромео, прежде чем войти на балкон к любимой, произносит монолог, где подробно описывает свои чувства; именно такая условность возмущает в Шекспире Толстого, но каждому свое. Шекспир действует по законам поэзии, а они бывают и жестоки и непреложны; «Собор» живет по тем же законам, но местами есть нарушения — срыв воли, невыдержанность стиля. Бытовая «правда вскрика» не всегда становится правдой искусства:

Скажите, как же уберечь Собор,  
Пускай обманный, пусть самообманный,  
Как уберечь его от страшных сил?  
От угнетения и от насилья...  
Ха-ха! Шутник! Сказал бы лучше, как  
От самого себя сберечь мечту,  
Любовь и веру, собственную правду...

Мысли верные, но недостаточно поэтически выраженные.

Причем видно, что за строкой стоит автор, а не только переводчик.

Ю. Марцинкявичюс в последние годы в возвышенно-поэтической форме пристально исследует историю родного народа и попутно — общие законы истории и «духа в ней». Нечего объяснять, как труден, но и благороден, почетен предмет. В общем и целом поиск идет успешно. Поэт «шествует» в русле большой культуры, а произведения его становятся достоянием всей советской поэзии. Критерии оценки — соответственны.

Вл. ГУСЕВ.



### Политика и наука

#### «В ЕДИНСТВЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ...»

(Заметки о педагогической литературе)

Не перечислишь всех ста тысяч «почему?», которые мы обращаем к нашим детям. Почему они уже в подростках ироничны и склонны к безудержным умствованиям? Почему, развиваясь физически «ускоренным методом», нравственно и социально они взрослеют подчас медленнее, чем нам хотелось бы? Почему одеваются причудливо,

предпочитая всем украшениям кожаные заплаты? Почему танцуют так же самозабвенно, как решают шахматные задачи?

Во все времена приходящее в мир новое поколение задавало предшественникам легкие задачи.

Сейчас сам ритм общественного и научно-технического развития, быстро меняющиеся

ся условия быта порождают большие и маленькие проблемы поистине в геометрической прогрессии. Сегодня ясно: поколения не матрицируются—они разные. Смешно мечтать воспитать детей «совсем такими, как были мы». Мы только успели привыкнуть к телевидению, а наши дети — типичные представители «телевизионного» поколения, впитавшего в себя мощные и хаотические потоки разнообразного знания. Их детство проходит не в тех городах и селах, где росли мы: все вокруг меняется буквально на глазах. И в школе они изучают не ту математику, с первого класса оперируя понятиями вполне абстрактными.

Но нам держать связь времен. Нам воспитывать. Нам передавать младшим традиции, материальные и духовные ценности. И потому мы мучительно ищем: как же управлять становлением наших детей? Нам бы надо ответ найти побыстрее (жизнь торопит). И в этой торопливой своей надежде мы открываем книгу. Педагогическую.

...Если бы я увидела свою знакомую Татьяну Ивановну читающей что-нибудь, допустим, из биохимии, я бы удивилась: к чему бы это? Но вот ее же, редакционную машинистку, встречаю в метро. Радостно размахивает перед моими глазами прозрачной сумочкой: «Корчак. Достала».

И я воспринимаю радость как естественную. Во-первых, у Татьяны Ивановны дети и внуки. А во-вторых... Все читают и Корчака, и Макаренко, и Пирогова. Статьи в «Правде», журнал «Семья и школа» и просто книги, купленные в отделе «Педагогика»,— все в обиходе, все в обращении. И в обращении читателя понимающего. Больше того — участвующего в создании науки педагогики.

Как всякая теоретическая наука, педагогика пополняется знаниями, добытыми логическим путем, обогащается за счет наук — философии, психологии, социологии. Но основное свое содержание она извлекает из жизни. Мой, ваш, соседский опыт, опыт знакомой учительницы по воспитанию и обучению ребят, может быть, мал и отнюдь не безупречен, но из всех наших удач и неудач кристаллизуется тот общественный опыт, который имеет несомненную ценность для науки. В этом смысле все мы и «делаем» педагогику. И нет резона удивляться, что педагогические потребности, во многом определяющие логику развития науки, рождаются не только в специальных научно-исследовательских институтах. Что мно-

гие из нас, не имеющих претензий к биохимии, могут радоваться с хорошим пониманием дела новым, интересным идеям в педагогике, могут говорить о своих запросах к этой науке.

Еще К. Д. Ушинский, большой русский педагог, верил в «педагогический гений народа». Сегодня этому природному гению придана острота, сила возросшим образованием и новым уровнем культуры, а главное, работают на это социальные установки. История не знала общества, по природе своей столь педагогичного. Государство, Коммунистическая партия ставят важнейшей задачей гармоническое, всестороннее развитие личности. А начинается оно, безусловно, с активной гражданской позиции человека.

«В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко и быстро возрастает, уже невозможно делать главную ставку на усвоение определенной суммы фактов. Важно прививать умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации»<sup>1</sup>.

Нынешние мальчишки и девчонки — современники будущего, граждане того общества, которое мы строим. Идеальная убежденность, воля, умение строить коммунизм... Все это мы должны научить их уже сегодня. Ответственность великая. Тем более что воспитать личность активную, творческую — задача сложнейшая. Она требует от каждого из нас определенных знаний, определенного типа чувствования, мышления. Как обрести все это?

Мы знаем: есть люди, специально занимающиеся воспитанием, образованием, обучением молодежи как наукой, которые по долгу службы своей постоянно прощупывают пульс волнующих нас проблем. Мы обращаемся к ним за помощью. Наука педагогика... Она не сама по себе, она — для жизни, для всех нас.

Занимаясь конкурсом «Семейная педагогика» в журнале «Работница», я ощутила уровень проблем, волнующих «массового» воспитателя. Какие удивительные письма по глубине и тонкости чувств, разнообразию волнующих тем. Отношения между родите-

<sup>1</sup> Л. И. Брежнев. Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики. Доклад XXV съезду КПСС. М. Политиздат. 1976, стр. 93.

лями и детьми, близость и отчуждение... Ребенок и школа, классный коллектив... Ребенок и книга. Стремясь разобраться в мотивах поведения своего ребенка, родители подчас дают блестящие примеры подлинно педагогического анализа. Для определения родительского уровня — интеллектуального, душевного — хочется привести одно из писем, пришедших на конкурс. Автор — не педагог, инженер — пишет:

«Взялась за перо в тяжкую минуту — сын нагрубил мне, разговаривал со мной зло. Нужно разобраться во всем как следует. Ведь были уже и до этого и пререкания и неприязненные взгляды. Пусть не так откровенно... Что это? Легче всего свалить на трудный возраст. Но прежде всего и в этом случае нужно начать с себя.

Трудный возраст... Для кого трудный? Для нас или для самих детей? Скорее всего последнее. После бурного потока родительской любви и нежности подросток, заявивший о своих мыслях и желаниях, вдруг чувствует, что с ними он никому не нужен, всем мешает, всех раздражает. «А меня не интересует, что ты думаешь», — слышит он и в школе и дома. Как же быть ему мягким! И я грешна непониманием, неуважением. Я...

Вспоминаю, как маленький сын потерял резинового крокодыльчика, и я бегала по городу в поисках подобной игрушки. Я понимала: Жиранда (так назвал он крокодила) была ему другом, с ней он делился радостями и огорчениями. Я была счастлива, когда нашла соплеменницу Жиранды и выдала ее за потерявшуюся. Но вот тринадцатилетний сын заявляет, что будет ходить на занятия баскетбольной секции не два, а три раза в неделю, а я категорически говорю «нет». Его отчислили за пропуски тренировок. Сердце у меня сжалось, когда я случайно узнала, как старался он выполнять все условия тренера, как дорожил своим баскетболом. А я вот так мимоходом все разрушила...

Сын поздно вернулся домой. Не выслушав его объяснений, я упрекнула его в черствости и эгоизме. И снова с опозданием узнала: он отводил домой пораненного во время игры в футбол товарища.

И пусть моя несдержанность — от волнений и тревог за сына, она сослужила мне неверную службу. И самое страшное, что я не всегда избегаю брюзжания, неоправданно бурной реакции по мелким поводам. Опрокинул чашку с молоком, потерял ва-

режку, испачкал куртку, насорил в комнате — из всего мы умеем делать трагедии. Конечно, если учесть особенности века — спешку, напряжение, то можно понять это. Но не оправдать. До поры до времени детям помогает защитная реакция — пропускать наше ворчание мимо ушей, что, между прочим, нас тоже сердит... И чего стоят все наши недоразумения, из-за которых мы отравляем жизнь себе и которые могут обречь нас, родителей, на одиночество. Их нужно как можно скорее выяснять и разрешать. К таким выводам пришла я».

Прочитывая десятки, сотни родительских писем, я убеждалась: у нынешних пап и мам интерес направлен в самую что ни на есть сердцевину явления, которое называется: человек растет, человек становится личностью. Письма, подобные приведенному выше, стали для меня точкой отсчета в раздумьях над выходящей педагогической литературой. Какой она должна быть, чтобы захватить умных, тонких, думающих авторов этих посланий, повести их дальше?

Года два назад, присутствуя на обсуждении брошюр серии «Педагогический факультет» издательства «Знание», я слышала разные мнения о том, какой должна быть педагогическая литература, обращенная к широкому читателю. Одни: массовому читателю поменьше философии, социологии, психологии. Житейские наблюдения, жизненные факты, доказывающие правоту или неправоту того или иного шага воспитателя, — вот что нужно. Другие: сегодня настала пора нести в массы и сами научные основы педагогики.

Логика развития событий даже в масштабе издательства «Знание» доказала, что эти точки зрения не исключают друг друга: помимо «Педагогического факультета», в «Знании» возникла новая серия «Педагогика и психология», предназначенная «в основном для учителей, работников народного образования, студентов и всех интересующихся проблемами, над которыми работают педагогическая и психологическая науки», то есть для аудитории многомиллионной.

Вот одна из брошюр этой новой массовой серии с научным уклоном «Системность — качество знаний» Л. Зориной. Прямо скажем, чтение ее — труд, и труд нелегкий. Приходится одолеть понятие совсем не бытовое, не расхожее. Мы часто ведем речь о систематичности знаний ученика, попросту об отсутствии «провалов» — ведь они

нарушают содержательно-логические связи. И тогда учителя говорят о «запущенности» предмета, родители уповают на репетиторов, которые вернутся к старому, повторяют, подгонят. Но никто особенно не волнуется, если ученик не знает внутренних связей той или иной научной теории, если, выходя из школы, не имеет научной картины мира. Но, может, и не надо всего запоминать? В обычной жизни школьные, очень общие физические, химические и прочие законы не так уж и нужны. Так, может, ни к чему системность? Рассуждая так, говорит автор, мы забываем цели обучения, забываем об условиях реализации знаний в современном мире. Школа не дает запасов на всю жизнь, она должна дать опорные знания, дающие возможность человеку развивать мышление, ориентироваться в нестандартных, меняющихся условиях.

Теоретическое мышление, диалектическое мышление закладывается уже в детстве, а неотъемлемое свойство теории — системность. Именно системность — качество современных знаний. Л. Зорина убедительно доказывает это. И родитель, с затративший труд, чтобы прочитать брошюру, обобщающую серьезный научный эксперимент, несущую в себе сложные теоретические положения, не проиграет: он обретет подлинно современный, глубокий, «внутренний» подход к оценке знаний своего сына, своей дочери. У профессионального педагога практический выход окажется еще большим: он постарается строить уроки так, чтобы теория не предстала перед учениками набором разрозненных фактов, а знания по связям своим «повторяли» теорию.

Вот и получается, что польза от популяризации педагогической науки огромная — есть непосредственный выход на жизнь, на практику, на обучение и воспитание. И если все-таки у нас подчас возникает желание сложить в сторону педагогическую книгу, то виною этому не «научность» как таковая. Иногда отпугивает специальная терминология. При ближайшем рассмотрении она не так уж и нужна. Разве нельзя «сенситивность» заменить всем понятной «чувствительностью», «адаптацию» — «привыканием»?

Но если за языковыми преградами скрываются интересные, новые мысли, идеи, как говорится, полбеда. Если же и этого нет... Тогда псевдонаука празднует победу: она надолго, если не навсегда отталкивает воспитателя от серьезного педагогического чтения.

В последнем номере журнала «Воспитание школьников» за прошлый год мне попалась статья кандидата педагогических наук М. Поташника «Ваш ученик вступает в комсомол...». Название, обещающее открыть важный для каждого воспитателя секрет возникновения и осознания ребячьей гражданской активности. Но уже первые фразы настораживают: «Рекомендация вступающему в комсомол — ответственный педагогический акт, требующий специальной инструктовки. Всех ребят, обращающихся за рекомендациями к учителям-коммунистам, можно условно разделить на две группы по тому, как они решают этот вопрос. Одни (их сравнительно немного) долго мучаются, прежде чем обратиться к тому или иному учителю, другие...» Впрочем, и так ясно, что другие решают вопрос легче. Да и вообще после двух-трех абзацев понимаешь, что статья описывает всего-навсего внешнюю, процедурную сторону дела. Почти каждая новая подглавка начинается со слов «следующий этап»: «Следующий этап — утверждение решения классной организации о приеме ученика комитетом ВЛКСМ», «Следующий этап приема — окончательное утверждение решения партийной организации на бюро райкома (горкома) ВЛКСМ» — и так далее. До того момента, когда ученик получает фотографию, «на которой запечатлена процедура вручения» и которая «тоже сыграет свое воспитательное значение в будущем».

Не будем придирается к погрешностям языка («сыграет значение»), хуже другое: псевдонаучные размышления прикрывают пустоту. Маскировка банальных вещей под «нечто важное» смещает акценты: предметом воспитательских усилий объявляются элементарные, внешние условия воспитания, а ребенок, этот живой предмет исследования, начисто исчезает.

Ведь кто-то же все-таки прочтет подобный «труд», преодолев скуку. Да еще и поверит, что прием в комсомол должен непременно венчаться вручением фотографии, которая «сыграет значение в будущем». Ведь по тону многие работы такого толка — типичные «ценные указания». И эти самые ЦУ не так уж редко преграждают путь к ярким решениям, творческим поискам в практической педагогике. Тем поискам, которые идут от реального, живого ребенка, которые учитывают конкретную жизнь детского коллектива и, значит, могут привести к подлинному успеху в воспитании.



И право, такой литературе предпочтешь обычную, испытанную временем «литературу факта» — хоть какой-то непосредственный интерес пробуждается при ее чтении. Да и все-таки не просто беллетристика. Нечто большее. И как часто рассказ о конкретном случае переходит в размышления о нравственной направленности влияния взрослого на младшего, об ответственности перед этим младшим.

Подобные материалы появляются и на страницах «Правды», «Известий». Они черпают темы из потока жизни и являются теми эмпирическими кирпичиками, на которые может опереться педагогическая теория. Такая литература — первый и, главное, практический подход к закономерностям воспитания, и потому она пользуется подлинной популярностью. Вспомним, какие очереди устанавливаются в библиотеках за книгами доктора Спока. А он сделал самое простое. Заметил, выделил несколько типичных конфликтных ситуаций и рассказал, при каких условиях они успешнее решаются. Если ребенок плохо ест, не надо его заставлять есть насильно, умные отцы и матери дают малышу возможность проголодаться, чтобы он не отвык получать от еды удовольствие... Если ребенок много и «грустно ест», задумайтесь, не одинок ли он. Мягкие, ненавязчивые, не претендующие на звание научной истины советы. Опыт, простой житейский опыт, без которого педагогика не живет.

Как правило, статьи в периодической печати рассматривают отдельные проблемы воспитания. В лучшем случае острые, важные и все-таки частные по отношению ко всему ходу формирования личности. Но воспитатель жаждет обобщений. Тех самых, что дадут в руки метод, подход к ребенку, помогут во всех случаях жизни.

В последние годы появились капитальные педагогические труды, учитывающие эту потребность. К сожалению, вопросы «что воспитывать?», «как воспитывать?», заданные науке практиками-воспитателями, отдельные ученые понимают слишком буквально, слишком узко. Отсюда «рецептурный» уклон в их работах. Отсюда желание все воспитание «расписать» на мероприятия, дать инструкцию, представив ее панaceей от всех бед и сложностей.

Вот труд, солидный по замыслу и подбору авторов. Книга «Примерное содержание воспитания школьников» (рекомендации по

организации системы воспитательной работы общеобразовательной школы). Вышла тиражом 160 тысяч экземпляров, в педагогической литературе сообщалось о ее переиздании. Адрес — широкий круг читателей: «Руководителям школ следует ознакомиться с «Примерным содержанием воспитания школьников» членов родительских комитетов, советов содействия семье и школе на предприятиях и советов общественности по месту жительства». Авторский коллектив во главе с профессором И. С. Марьенко справедливо утверждает: «Воспитательному процессу должна быть присуща системность, определенный порядок». В соответствии с этим принципом авторы и пытаются строить свой труд. От класса к классу, от года к году.

Итак, что воспитывать? Ну, скажем: «В процессе воспитания у учащихся II—III классов должны быть сформированы: умение различать и оценивать хорошие и плохие поступки людей, справедливо оценивать свои действия и поведение товарищей... готовность защищать тех, кто прав...» Легко сказать! Чтобы выработать в себе эти качества, иногда нужна вся жизнь.

Как же добиться этого? Перелистайте в учебнике несколько страниц и найдете соответствующее упражнение. Чтобы научиться всему предусмотренному, второклассники «руководствуются твердо усвоенными правилами поведения. Уточняют и расширяют представления о хорошем и плохом в поведении. Запоминают имя, отчество и фамилию учителя начальных классов и технических служащих, вежливо обращаются к ним... Заучивают наизусть стихи и басни на моральные темы...»

«Стихи и басни на моральные темы»... Не слишком ли облегчены труднейшие педагогические задачи? Надо ли подменять вечный, мучительный, труднейший диалог воспитателя и воспитанника, который звучит в любой семье, в любой школе, немудреной инструкцией?

Все это тем более удивительно и обидно, что немалый коллектив авторов создавал свой труд целое десятилетие. Хочется как-то понять, объяснить, по возможности оправдать затраченные усилия. Ну хоть план воспитательной работы «Примерное содержание» поможет составить классному руководителю, убеждаю себя. Вероятно. Но, ориентируя воспитателя в общих задачах, стоящих перед школой, инструкция уведет его от живого, конкретного ребенка. Метод

воспитания в «Примерном содержании» копирует метод обучения по запрограммированным ступенькам от простого к сложному. Если бы такие ступеньки были в жизни, в человеческих связях и отношениях! Но свои нравственные проблемы жизнь обрушивает на растущего человека, не считаясь с требованиями постепенности и порядка. Надо бы нацеливать учителей, родителей на их решение — решение проблем конкретных, неповторимых. Работа же предлагает воспитателям, по сути, комплекс мероприятий на все времена и случаи. Увы, ни один «кусочек жизни» не втиснешь в схему. Благая цель — помочь воспитателю быстро, напрямую — не достигнута.

Ах, если бы на читателя влияли лишь те цели, что ставят в своих трудах ученые-педагоги. Право, не стоило тогда критиковать «Содержание». Но... не нейтрален ведь и метод исследования. Способ мышления воспринимается и перенимается. Прочитал учитель одну монографию, где ребенок словно и существует только для того, чтобы испытывать на себе прекрасное педагогическое влияние, вторую прочитал, третью... И вот его уже раздражают живые, действительные Пети, Миши, Мариночки, которые носятся на переменах по коридорам, капризничают, бьют окна и совсем не поддаются всем тем методам педагогического воздействия, которым «в институте учили».

Недавно на одном совещании я услышала весьма настораживающее словосочетание «педагогическое обслуживание». Так и было сказано с трибуны: «...ребенок нуждается в педагогическом обслуживании». Представился этакий полусонный мальчик, скучный и сытый, усевшийся за стол жизни. И суетящийся педагог или родитель в роли официанта. На блюдечке с голубой каемочкой — нравственные понятия, вполне готовые к употреблению, жеванные-пережеванные «добро», «счастье», «смысл жизни». На первое — одно, на второе — другое.

Картина фантазмагорическая, крайняя. Но разве уж так редко педагоги именно «обслуживают» учеников в обычных, будничных ситуациях: готовят для пионеров сборы (а не с пионерами), отыскивают для них героев труда, помпезно оформляют школьные музеи. Спроси у них, зачем это делается, ответят: для воспитания коллективизма, для воспитания уважения к труду, для воспитания патриотизма. Мышление, типичное для функциональной педагогики. Важна цель — не важен метод, воспитание по ча-

стям: все внимание так называемым мероприятиям: ребенок как личность, как активное начало из поля зрения выпадает.

А это подчас ведет к самым печальным последствиям. Мне пришлось быть на суде — слушалось дело о тяжком хулиганстве, безмотивном избииении пожилого человека. Подсудимый — старшеклассник. Показания матери строились так: «Музыку сыну обеспечили — обеспечили. Каток, фигурное катание — тоже. Библиотека в доме. Все сделали, чтобы умным рос, хороши...». Педагоги не скрывали своего потрясения: «Почти отличник, активист класса — и вдруг...» Но на суде никто не говорил, добр или недобр юноша, как относится к друзьям, родителям, что читает. Здесь начиналось то, что зовется личностью. И что ускользало от активного внимания воспитателей, их усилий...

С полной убежденностью можно сказать: многие явные просчеты воспитания берут начало именно здесь, в этом неумении увидеть, узнать, понять воспитанника.

Казалось бы, именно вниманию к внутренней, духовной жизни ребенка, умению анализировать ее должна учить книга Б. Лихачева, которая называется «Теория коммунистического воспитания»<sup>2</sup>. К сожалению, пятисотстраничная монография оказалась удивительно бездетной, в ней мало примет сегодняшней школы, исчезли даже такие реалии, как пионерия, комсомол — организации, чью роль невозможно не заметить, говоря о коммунистическом воспитании. Методология вне исследуемого предмета. Автор делает акцент на механизмах воздействия на ребенка и практически не касается его внутреннего мира, духовной деятельности, которая в конечном счете определяет успех воспитания.

Великий русский педагог Н. И. Пирогов предостерегал от строго-математического, повторяющегося, привычного воздействия на личность. «Действуя однообразно и одно-сторонне на различнейшие индивидуальности, оно может многое, конечно, и худое уничтожить, но развить что-либо в нравственном отношении может оно только извне. Конечно, и это одно можно назвать положительным результатом, но таким, который годен только для какой-либо односторонней, т. е. отрицательной для других сторон, цели. А разных сторон нашего нравственного бытия немало».

<sup>2</sup> М. «Педагогика». 1974.

Если назвать ту опасность, о которой говорил Пирогов, термином современным, то речь идет о нравственном конформизме. Именно нравственный конформизм очень легко становится антиподом гражданственности. Нравственность по природе своей тяготеет не к привычке, а к выбору, нравственное всегда конкретно. Выработка каких-то стереотипов поведения полезна только в том случае, если мы одновременно учим растущего человека не только усвоению, но и созиданию нравственных норм.

«Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная позиция, сознательное отношение к общественному долгу», — говорил в докладе на XXV съезде Л. И. Брежнев. Невнимание же к личности воспитанника, к его внутренней жизни невольно приводит к формализму в практической педагогике, сводит воспитание к сумме «воздействующих мероприятий» и нередко обращивается весьма грустными неожиданностями. Не зная ребенка, не понимая каждый час, каждый миг, что с ним происходит, воспитатель бессилён.

Немного о языке капитальных педагогических исследований. В «Примерном содержании воспитания школьников» он сравнительно прост, но как бы стерт. Наставительная интонация утомляет. Язык Б. Лихачева труден, тяжел — с необоснованными, необщепринятыми (даже в педагогике) терминами, с той претензией на значительность, за которой порой ничего не стоит. Глубокий и точный анализ явления он подчас подменяет громкой псевдозначительной фразой. За это Б. Лихачева критиковала «Правда» в связи с одной из его журнальных статей.

Еще в 30-х годах выдающийся советский ученый Л. С. Выготский предсказывал, что педагогическая наука в будущем охватит процесс формирования человеческой личности в целом, хотя для этого потребуются решительный выход за методологические пределы традиционной детской психологии. Найти новую методологию... Труднейшая задача, но именно она должна научить педагогически мыслить огромную армию родителей и всех воспитателей по должности и призванию! Поиски ее происходят на наших глазах.

Науке в чем-то помогает журналистика. Не так это и удивительно, если вспомнить, что и педагогику и прессу питает одна и та же жизнь. И самый острый, самый первый, что ли, наш интерес к ребенку утоляли именно газеты и журналы.

Помню статью А. Шарова в «Новом мире» «Взрослые и страна детства», выступления Н. Атарова в «Известиях»... Они были своего рода откровением: прекрасный язык, взволнованность и, главное, они давали новое знание о ребенке. Знание о живом, сегодняшнем ребенке, и знание-то было сегодняшнее, живое. Писательские, журналистские материалы, не претендующие на открытие закономерностей, сделанные подчас по одному факту, они безусловно обогащали нас, помогали ориентироваться в тревожных и сложных проблемах. Парадокс: люди, подчас не имеющие не только степеней, но и просто педагогического образования, открывали новые горизонты не только нам, но и специалистам по педагогике. И все, помимо, потому, что журналисты нащупали, ну, скажем, если не метод, то ту точку зрения на ребенка, по которой тосковала да и сейчас иногда тоскует педагогика.

Расширить педагогическую эрудицию — значит, научиться более глубокому и активному проникновению в духовный мир ребенка, где перекрещиваются все влияния, все отношения человека с другими людьми, где они переживаются, трансформируются в принципы и убеждения.

Но как дать в педагогической книге многогранность, сложность, тонкость и, главное, многообразную целостность процессов, происходящих в духовном мире ребенка, подростка? Полнее всего духовный мир человека издавна раскрывался литераторами, публицистами и писателями. Не потому ли так часто в одном лице живет великий художник и великий педагог? Обычно в этой связи упоминают Л. Толстого. Но разве менее «педагогичен» Достоевский, прекрасно показавший в своих романах влияние на человека «незапланированных» воздействий, «нежелательных» связей, отношений? «Логика предугадает три случая, а их миллион!» — писал он. Все мы, воспитывая, обязаны проделывать расчет, перед которым математический кажется пустяком.

Но почему так много удалось сказать о ребенке великим художникам? Потому что художественное осмысление явления — образ дает возможность анализировать человека в целом, в многообразии, противоречивости его отношений к другим, в движении. Большая педагогика всегда пользовалась средствами художественного обобщения, вплотную примыкала к литературе. Совсем не случайно к художественному, публицистическому анализу педагогических проблем

прибегал Макаренко. Страстным журналистом был Сухомлинский.

О Сухомлинском писали много и по-разному. Само время рассудило споры, расставило акценты и отмело от педагога упреки в абстрактном гуманизме. Оно доказало: доброта, которую в каждом человеке призывал возвращать Сухомлинский,—прекрасная гражданская позиция. Время же показало ценность его трудов — они служат делу воспитания, а не кастовой «узконаучной» любознательности. Вот и недавно тысячи читателей радовались еще одной его изданной работе «Как воспитать настоящего человека».

Время же высветило и то место, которое занял Сухомлинский в потоке педагогической мысли последних лет. Ярko и убедительно доказал он, что «мировоззрение — не только система взглядов на мир... но и субъективное состояние личности, проявляющееся в ее мыслях, чувствах, воле, деятельности». В своих статьях и книгах он ратовал за понимание воспитания как процесса глубинного, творческого, вовлекающего в активную деятельность и учителя и ученика. «Процесс воспитания выражается в единстве духовной жизни воспитателя и воспитанников — в единстве их идеалов, стремлений, интересов, мыслей, переживаний», — писал он.

И не случайно, что именно от Сухомлинского идет ветвь педагогики живой, рассчитанной на самого массового адресата науки, в которой началось преодоление педагогической журналистики, преодоление диалектическое, впитавшее всю ее прелесть, все богатство ее конкретности. Сухомлинский смело взял метод, угол зрения журналистики на ребенка как на личность. Развивающуюся, незавершенную, но неповторимую личность. И целостную.

В книгах «Сердце отдаю детям», «Рождение гражданина» мы то и дело встречаемся с тем, что в журналистике принято называть «портретным очерком», «очерком нравов». И в то же время обе книги не о случайном — о законах воспитания. Павлышская школа для ее директора была естественной лабораторией, исследование в которой велось на очень тонком уровне — уровне личности ребят. Всех своих воспитанников Сухомлинский наблюдает, изучает, формирует от дошкольных лет до старших классов. Зарождение чувства прекрасного, доброты, умения сопереживать... Приобщение к заботам класса, школы, колхоза, родины. Рождение гражданина... Все эти важнейшие

этапы становления личности педагог рассматривает подробно и всесторонне, стараясь совместить в себе и социолога, и психолога, и даже медика. Влияние научного и художественного, публицистического начала происходит естественно.

Вот как пишет Сухомлинский: «Окружающий мир — вечернее небо, алая заря, янтарные яблоки, виноградные гроздья, зеленая стена хмеля, белые цветы хризантем, жужжанье шмеля — весь мир предстает перед нами как чудесная арфа, дети прикасаются к ее струнам, и звучит волшебная музыка — музыка слова. Это — музыка радости и грусти». Одна из последних страниц книги «Сердце отдаю детям», заключительная ее глава «Мы прощаемся с летом». Почти стихи... Поэзия педагогики — а как иначе, какими иными высокими словами можно рассказать о союзе, возникшем между воспитателем и воспитанниками, если это тончайший и самый крепкий союз Душ, единство идей, мыслей, чувств?

От книг Сухомлинского так естествен следующий шаг — к научному разбору тех механизмов, с помощью которых строится отдельная, индивидуальная личность. Как отношения с окружающими трансформируются в ребячьей душе, как выливаются они в поступки и откладываются в убеждения? Как вообще выглядит духовный мир детства с точки зрения его общественного, социального содержания?

Передо мной две книги доктора педагогических наук Ю. Азарова «Мастерство воспитателя» (издательство «Просвещение») и «Искусство воспитывать» (издательство «Знание»). В первой формула «ребенок — коллектив» раскрывается: ребенок и другие дети. Еще точнее: духовный мир ребенка и как зависит он от общения с другими детьми. Прямо скажем, проблема — белое пятно нашей педагогики. Не берем в расчет и мы, родители, что «внутриребячьи» связи обладают огромной воспитывающей силой.

Ю. Азаров показывает, как противоречива природа классного и школьного коллектива. Формальные и неформальные группы, формальные и подлинные лидеры... Мотивы отдельного поступка, ту или иную черту характера ученика можно по-настоящему понять и объяснить, лишь имея в поле зрения коллектив, в котором живет ребенок.

Во второй книге речь идет о невидимом, не поддающемся никаким внешним методам изучения «механизме сцепления»: о взаимоотношении воспитателя и воспитанника.

Личность сталкивается с личностью, индивидуальное с индивидуальным, противоречивое с противоречивым, живое, развивающееся с живым. И поэтому естественно в этой книге авторское обращение к методу художественного обобщения, к типизации, к попытке «изнутри», целостно и полно показать всех участников воспитательного процесса. Рассказы о мальчиках Вовке Зарубине и Фреде, о воспитателях Потапове и Шевченко — это не надоевшие, плоские «примеры», а новеллы. И чтобы показать, что происходит с Вовкой Зарубиным, как растет он и мужает, как принимаются его умом и сердцем усилия учителя рисования — умного, но подчас уж слишком последовательного, жестоковатого Потапова, автор вынужден показать слишком многое из того, что вроде бы стоит за привычными рамками педагогических исследований. И облака, и домашнее, внешне ничем не примечательное, но полное внутренних событий его житье-бытье, и девочку, в которую Вовка влюблен, и даже волосы этой девочки, «слепым дождем отлетающие в сторону». И т. д. и т. п.

Разные влияния преломляются в мужающей человеческой душе, чтобы сообщить человеку движение, развитие в ту или иную сторону. Азаров берет ситуацию совсем не типичную. Вовка Зарубин плохо вписывается в детский коллектив: он так же честолюбив, как и талантлив. Его воспитатель Потапов, прекрасно ладя с детьми, для которых рисование — обычное занятие в ряду других, словно не чувствует той пронзительной боли, которую приносит Вовке любая неудача в художественном кружке. Умело и уверенно пробуждая в других творческое начало, в Вовке он чуть не загасил тягу к творчеству.

Все не стандартно, все не типично. Кроме одного: типичны сами отклонения от нормы, от типичного. Очень убедительно автор доказывает и родителям и учителям: не просто предугадать, как наше слово, поступок отзовутся в том младшем, что с нами рядом. И не часто поможет здесь формальная логика. И не надо ждать от науки «жестких рекомендаций».

В практическом своем опыте воспитатель сам накапливает знание о ребенке. Духовное зрение современного педагога, современного родителя как никогда раньше обострено и культурой, и образованностью, и потоком информации. Именно воспитатели-практики воспринимают ребят полно, во всем

богатстве живых, развивающихся отношений. Так вот: найдена нужная точка зрения на собственные знания о детях, и знания эти становятся сильным оружием воспитателя. Только такие «живые» знания открывают путь к педагогическому мастерству, к умению мгновенно угадать строй отношений в коллективе и, если надо, перестроить их.

«Искусство воспитывать»... Искусство... Как всякое другое искусство, оно требует огромного труда души. Размышлений, чувств, интуиции, изучения своего ребенка. И любви к ребенку. Потому что именно любовь, за которую всегда ратовали лучшие педагоги, сообщает воспитателю дар сопричастности к миру ребенка, дар целостного видения в каждый миг и во всех проявлениях развивающейся личности растущего человека.

Мне кажется, именно этот импульс активности и должна сегодня нести массовому читателю педагогическая литература. Увидеть ребенка, узнать его, понять его, повлиять на него... Если надо — дорости до права воспитывать. Тогда и только тогда воспитатель сможет творчески использовать любую ситуацию, чтобы заставить, «вынудить» растущего человека задуматься о себе, своей судьбе, натолкнуть его на самоанализ.

Книги Ю. Азарова читаются легко, новеллы естественно переходят в публицистические размышления, в страницы, несущие сведения по возрастной психологии. Можно говорить о более высоком литературном уровне — он сделал бы форму книги органичной, но, безусловно, форма найдена, форма в принципе удачна.

Обычные сочинения восьмиклассников «Как я оцениваю семь лет предыдущей учебы и чего я жду от старших классов». Как много рассказывают они об авторах, классе, школе. Мотивы учения. Отношения в классе, отношение к учителям и отношение к себе — в сочинениях, как лучи в линзе, преломились какие-то общие процессы, свойственные взрослению именно этого поколения. То общее, что может пригодиться и мне, матери старшеклассницы. Потому что за сочинением — современный подросток, и к нему сегодняшнему примеряются наши педагогические идеи. Он самоуглублен и уже в тринадцать — пятнадцать вступил на трудный путь самоанализа, он удивительно раскован в выборе решений. Мы в свои

пятнадцать были не такими. С одной стороны, более организованные и собранные, а с другой, более послушные внешнему течению событий. А какими были подростки до нас? Помню, как-то попалась мне небольшая книжечка — в ней собраны сочинения детей 30-х годов, детей Магнитки. О городе своем, о родине, о родителях говорили они — и какая прекрасная печать времени на этих детских строках! Поистине бесценный документ, сохранивший детские черты целого поколения. Ну а какими будут ребята в следующем поколении?

На эти вопросы ученые уже пытаются ответить. И в психологических лабораториях вызревает, рождается теория детства. Многие психологи, в том числе директор Института общей и педагогической психологии АПН В. Давыдов, с которым мне довелось побеседовать, считают детство категорией конкретно-исторической. Нет детства вообще и ребенка вообще, есть ребенок определенного времени, определенных социальных условий, его и надо изучать, для него только и можно найти ту периодизацию формирования личности, которая поможет нам понять закономерности человеческого развития, а значит, и закономерности воспитания. И это будет совсем не внешняя, волонтеристская, формальная периодизация. Это будет научная периодизация, строящаяся на знании возможностей современного ребенка, раскрывающая их для всех нас, воспитателей.

Видите, и в теории абстрактной, как во всякой теории, тоже движение к живому, конкретному ребенку. Думается, и информация для этой теории покажется новая, объемная, неотделимая от личности, не бездетная. Художественные произведения (ведь гайдаровский Тимур увековечил детство военных лет), сочинения ребят (в разные десятилетия их пишут по-разному) — прямые и косвенные свидетельства о «наборах» нравственных ценностей юного поколения. Информация о содержании духовной жизни ребят. Воспитателю нужна теория дет-

ства, история детства, социология детства... Педагогике пора распространиться с бездетностью.

Кстати, и здесь первые тропки прокладывает журналистика. Очерки И. Зюзюкина в «Комсомольской правде» читались с интересом, и каждый поначалу вызывал раздраженный вопрос: ну и что? Были поначалу странны эти художественно точно написанные сценки из жизни «без тенденции», эти выпуклые характеры «сами по себе». Наконец я почувствовала сверхзадачу. Так из стеклышек складывается мозаичный рисунок. И наконец понимаешь: да ведь это просто типология детства, которой, увы, пока не дала нам наука. Современного детства. Пятнадцатилетний Вадик, взбунтовавшийся против опеки взрослых. Витька-изобретатель, который весь в кибернетике и которого от работы не могут оттащить на час ни в школе, ни дома. С диким фанатизмом воспитывающий себя на трудностях и препятствиях Мишка — а трудности эти ему еще надо найти. Олицетворены явления, и каждый из героев И. Зюзюкина поможет нам увидеть и понять многих других ребят.

Какая она будет, грядущая наука о воспитании? Наука — живой организм, и сама жизнь покажет, как пойдет ее развитие. Но ясно одно: она будет все менее кастовой, все более социальной, будет стремиться помочь каждому из нас, воспитателям юных. Потому что педагогическая наука сейчас становится одной из ключевых сфер исследований, от которой во многом зависит и общий прогресс человеческого познания, формирование всесторонне развитой личности, и подъем экономики и культуры. Угнаться за быстротекущими явлениями действительности науке о воспитании сегодня труднее чем когда-либо. Тем важнее все время держать ориентиром зеленое пламя жизни. Ребенок, детство, взросление... Без этого нет подлинной педагогики.

И. КОШЕЛЕВА.



## ОБ АМЕРИКЕ И АМЕРИКАНЦАХ

В. Песков, Б. Стрельников. Земля за снеаном. М. «Молодая гвардия». 1975. 288 стр.

С. Кондрашов. Свидание с Калифорнией. М. «Молодая гвардия». 1975. 352 стр.

Речь пойдет не обовсей обширной Северной и Южной Америке, не о континентальной Америке, а о конкретном государ-

стве и его людях — США. Повод для разговора дают выпешдшие недавно в издательстве «Молодая гвардия» две книги. Авторы

их не нуждаются в особом представлении. «Землю за океаном» написали известные журналисты-литераторы: большой знаток Америки Борис Стрельников, пятнадцать лет проживший в США в качестве корреспондента «Правды», и Василий Песков, тонкий знаток природы, или, если позволено будет так сказать, журналист-природовед. Это счастливое сочетание и родило книгу, которая хотя и состоит из многих очерков, но читается как единое произведение. В. Песков вместе с Б. Стрельниковым проехал по США без малого двадцать тысяч километров.

Станислав Кондрашов, написавший остро-публицистическую книгу «Свидание с Калифорнией», работает собственным корреспондентом газеты «Известия» в США и сейчас. Побывав однажды в Калифорнии, этой жемчужине на побережье Тихого океана, своеобразной стране в своеобразном государстве с множеством нерешенных социальных проблем и процветающим бизнесом богатых, он спустя пять лет возвращается снова туда же, чтобы сравнить увиденное в первый раз с тем, что увидел во второй свой приезд, чтобы попытаться замерить ход времени.

Америка и американцы: образ жизни, характеры, отношение к окружающему миру, неухаляющая политическая борьба — это квинтэссенция того, о чем поведали нам журналисты. Какие они, эти люди, живущие за океаном? Что роднит их с нами, что разъединяет?

Было бы существенным упущением говорить об Америке и американцах и не сказать о долларе. Он в США, как отмечают авторы, приобрел магическое значение. Есть доллары в достатке — и ты человек, тебе все позволено. Нет их — и ты ничто. Доллар американцу достается нелегко. Простой рабочий, служащий добывает его в поте лица, если у него есть работа. А если нет? Тогда он некоторое время живет на подачки корпораций и синдикатов, всевозможных благотворительных обществ или пускается в продолжительный поиск работы. Б. Стрельников и В. Песков не раз встречали на своем пути городки, составленные из маленьких тесных домиков на колесах, прицепленных к автомобилю. В таких домиках путешествуют по всей стране многие американцы, лишившиеся работы. В настоящее время в США около 7 миллионов безработных.

Наше общество — общество неограниченных возможностей, любят говорить в Аме-

рике. Да, случается, что один из миллионов простых американцев вдруг становится миллионером. Ну и что? Тогда для него осуществится заветная мечта и он получит, как пишет С. Кондрашов, «роскошное жилище богачей на самых верхних этажах манхэттенских домов, где лифт для тебя одного и твоих домочадцев и огромные балконы-солнцелинии, воздух почище, шума поменьше, деревья в кадках под окнами — те самые деревья в поднебесье, которые смущают людей, впервые задирающих головы перед небоскребами». Став богатым, этот один из миллионов будет поступать так же, как и один из «героев» книги «Свидание с Калифорнией», магнат Генри Синглтон, на которого работают 25 тысяч рабочих и который владеет корпорацией «Телидайн» с двадцатью заводами. Его заводы территориально разбросаны, и не случайно — распыленность рабочей силы выгодна предпринимателю, препятствует созданию сильного профсоюза, а значит, и забастовкам. Профсоюз — обуза, и Синглтон говорит об этом не стесняясь. А миллионы мечтающих о богатстве и этажах манхэттенских домов? Они так и остаются мечтателями. Что им еще остается делать! У них свои проблемы, свои заботы, их очень много, и одна из них — как найти или сохранить работу, как обзавестись долларами — этим единственным, по их понятиям, измерением всех человеческих ценностей.

Путешествуя по Соединенным Штатам, встречаясь с представителями разных классов и социальных групп, авторы увидели развитую капиталистическую страну, государство сильно, со своими буржуазными устоями и традициями, со своей своеобразной культурой, государство, где всем вершит капитал. Важнейшие вопросы внутри- и внешнеполитической жизни решают власть имущие. Когда речь заходила, например, о развязывании вьетнамской войны, сулившей прибыли монополиям, они не спрашивали согласия у народа.

Вьетнамская война раскрыла глаза американцам на многие вещи. Сошлося в связи с этим на один из примеров, приводимых С. Кондрашовым. Инг Ли Келли приехала в Америку в 1945 году с очень-очень романтическими представлениями «о земле обетованной свободы и равенства». Их пришлось пересмотреть, сообщает автор книги «Свидание с Калифорнией», и вьетнамская война ускорила пересмотр. «Бесчеловечность бомбежек потрясла ее. Она и сейчас задыхается, вспоминая об этих бес-

конечных бомбежках Вьетнама... Что делать? Этот вопрос антивоенного движения вставал перед ней как сугубо личный».

Что делать? Как очень многих, в политику вовлекла ее вьетнамская война, рассказывала И. Келли. Несколько лет работала в антивоенном движении, а на выборах 1972 года голосовала за Джорджа Макговерна, считая, что его избрание — самый эффективный способ прекратить бомбежки в Юго-Восточной Азии. Когда Макговерн проиграл, вместе с очень многими людьми она поняла, что в Соединенных Штатах наступит крупнейшее разочарование политической системой. Простые американцы, чьи баснословные налоговые платежи превращались в бомбы для Вьетнама, поняли, что политика войны славы их стране не прибавит. С опозданием, но они поняли это. Один питтсбургский пастор, Э. Керри, говорил в беседе со мной: «До вьетнамской войны мир американца представлялся мне единым, а с ее началом он раскололся на две части».

Вьетнамские события, увеличивающиеся с каждым годом запасы ядерного вооружения в мире, миролюбивая политика СССР остро выдвинули на повестку дня жгучую необходимость сосуществования двух различных систем. К разрядке, или детанту (в американском обиходе значит только это французское слово), отношение в США было и остается пока разным, как разными были люди, свое отношение определявшие. Но за три года СССР и США заключили друг с другом соглашений больше, чем за сорок прежних лет дипломатических отношений. И явление это означает сознательный и трудный поворот в сторону от многолетия «холодной войны».

Западное побережье, о котором рассказывает С. Кондрашов, активно включается в новый этап советско-американских отношений — и за и против.

Рассел Гиффин, с которым встретился С. Кондрашов, — богатейший фермер богатейших сельскохозяйственных мест в Калифорнии. Он не любит ярлык политической ориентации, но с некоторыми оговорками относит себя все-таки к консерваторам. Он из разумных консерваторов. Уживаться... Вот его синоним мирного сосуществования. Нынешние попытки наладить отношения между нашими странами не просто хорошая вещь, говорит он. Мы обязаны это делать. Мир не может допустить еще одну большую войну. Наша задача — избавиться от ядерного оружия.

Калифорния выдвигает и людей-символов. Например, Арманда Хаммер из Лос-Анджелеса. Он стал символом деловых кругов, сделавших и делающих ставку на экономическое сотрудничество и торговлю с СССР. А. Хаммер часто говорит: «Ленин предвидел это», подчеркивая, как высоко ценит его, хотя сам истинный капиталист. Но есть и Генри Джексон, сенатор от штата Вашингтон, — символ упорного противодействия разрядке. Прогрессивные люди симпатизируют, конечно, А. Хаммеру и еще преподавателю из Хьюстонского университета Роберту Ридеру, который говорил мне: «Если вы требуете к себе хорошего отношения, тогда так же по-хорошему относитесь к своему партнеру». Да, чтобы сотрудничать, торговать, надо по-доброму относиться к своему партнеру, надо знать его. «Они (американцы. — Г. Р.) плохо знают нас, но и мы, — пишет С. Кондрашов, — не представляем заложенные в американском характере оперативность и динамизм, потребность быстрого результата. Они шлют гонцов, и те упорно стучатся в двери советских организаций, по-американски нетерпеливо добиваясь ответа...»

Об американском автомобиле написано много, иногда кажется — слишком много. Несмотря на это, авторы рискнули, и это им удалось, рассказать об автомобильной проблеме изнутри, копнув глубинные пласты. В Соединенных Штатах 110 миллионов грузовых и легковых автомобилей. Вся Америка на колесах, часто говорят здесь, иногда выдавая это за благо, но чаще за проблему, с которой уже столкнулось «общество потребления».

Чтобы понять, как это случилось, надо знать психологию общества, психологию дельца — поставщика автомобиля и психологию американца-потребителя. Английское слово «тап», пишут В. Песков и Б. Стрельников, переводится и как «человек» и как «мужчина». С первых дней автомобилизации американская реклама утверждает: «Ты не «тап», если у тебя нет собственного автомобиля». Уже тогда, по словам американского историка Генри Стилла, приводимым в «Земле за океаном», «обладание автомашиной стало всепоглощающей страстью, которая оказалась сильнее, чем любая религия, и которая не отпускает американца с отрочества до самой смерти». На мой взгляд, еще одно обстоятельство, а именно социальное явление буржуазного общества — грабежи и насилие, заставляло амери-



канца обзаводиться автомашиной. Вероятность ограбления или насилия меньше, если ты находишься в четырех автомобильных «стенах». Но страх остается. От него, овладевшего массами людей, избавиться трудно и в собственном доме. В каждом городе есть районы, где люди по вечерам не рискуют выйти на улицу.

Год за годом автомобиль все больше наводнял страну. Количество машин росло быстрее, чем население. Автомобиль требовал и требовал: бензина, резины, металла, запасных частей, обслуживания. Сейчас в США, рассказывают авторы, нефтяная промышленность скармливает автомобилям около 75 миллиардов галлонов горючего ежегодно (один галлон равен почти 4 литрам). На создание автомобилей расходуется четвертая часть всей стали, выплавляемой США, половина всего свинца, 75 процентов резины, 35 процентов цинка. Почти 13 миллионов американцев — каждый шестой трудоспособный — либо работают на автомобильных заводах, либо ремонтируют, заправляют бензином, рекламируют и продают машины.

Американский автомобиль долго был гордостью страны. Но, являясь таковым, он накапливал проблемы и теперь одну за другой «подбрасывает» их обществу, заводит его в автомобильный тупик, становится врагом общества, человека. Кошмаром вспоминается мне дымная пелена коричневатого-грязного цвета над Нью-Йорком. Хьюстоном, Денвером, Канзас-Сити. Недалеко от Балтимора пришлось проезжать длинный тоннель. Ощущение: едешь в дымоходной трубе. Впечатление такой же трубы оставляет и весь суеливый Лос-Анджелес. Когда наш маленький автобус оказался в огромной городской автомобильной реке, мы потянулись за носовыми платками: смог вызывал кашель, слезил глаза. Московский воздух, отнюдь не чистый, пока еще может показаться деревенским после нью-йоркского или лос-анджелесского. Сами американцы, а они любят емкую фразу, говорят, что воздух Лос-Анджелеса — это видимый воздух. По словам астронавта Ю. Сернана, с высоты сорока тысяч километров детали на Земле хорошо различаются. Но на месте, где должен был быть Лос-Анджелес, он видел лишь бурого цвета пятно.

Смог — бедствие автомобильной страны. В воздух ежегодно выбрасывается до 200 миллионов тонн продуктов горения. Автомобили дают больше половины загрязне-

ний. И вот уже человеческие легкие, как барометр, показывают «на непогоду». Поражаются дыхательные пути человека: астма, рак, бронхит, эмфиземы все чаще становятся причиной смерти в Соединенных Штатах.

Автомобиль в США вытеснил пешехода, в большинстве городов, кроме самого центра, тротуары отсутствуют и идущий вдруг человек по обочине шоссе — сущая диковинка. Лишенный автомобиля, он теряет престиж, он беспомощен и нелеп, как пеший в кавалерийском строю. Автомобиль затормозил развитие или полностью вытеснил общественный транспорт. Троллейбусов в стране нет и в помине, автобусов очень мало, и проезд в них стоит дорого, а трамвай, если он и встречается, как в Сан-Франциско, используется в основном туристами. Джон Улатон, рабочий сталелитейного завода под Питтсбургом, был со мной откровенен: «Я вынужден покупать, хоть и подержанную, автомашину для сына. Сын работает в магазине, совсем в другом месте, а общественного транспорта у нас ведь нет».

Автомобиль создал дороги. «Неискушенному глазу, — пишут в главе «Тревога» В. Песков и Б. Стрельников, — кажется: чем больше дорог, тем лучше». Многие, с кем довелось встретиться авторам, отвергают это. «Мы вышли уже на грань, — говорили собеседники, — когда каждый клочок плодородной земли надо беречь. Дорожным бетоном уже залита площадь, равная штату Вирджиния. — Дороги сметают фермы, поселки, исторические места, подминают живописные уголки, наполняют их муравейниками мотелей, бензоколонок, закусочных, вдоль дорог редеют леса, засоряются реки и ручейки. — Это шрамы на теле нашей земли... бетон продолжает поглощать землю. Четыреста тысяч гектаров в год...»

Несколько лет назад в США с автомобилем и его «атрибутами» развернулась борьба. С каждым годом она набирает силы, как когда-то их набирал сам «герой». Студенты университета в Калифорнии устроили показательные похороны... автомобиля. Они действительно вырыли яму и закопали новенький «форд», купленный в складчину. Жители Сан-Франциско добились прекращения строительства широченной автострады на набережной Эмбаркадеро. Против автомобилистов выступают велосипедисты, а сам велосипед пользуется необыкновенным спросом. Однажды пришлось наблюдать в США, как масса велосипедистов, заняв всю ширину дороги, упорно сдержи-

вала поток автомобилей. В Беркли и ряде других городов муниципальные власти, защищая велосипедистов, создают велострады. Мэры многих крупных городов с прилежанием изучают опыт работы общественно-транспортного в Москве, Ленинграде, Киеве. Ко многим американцам приходит мысль: оставить бы автомобиль дома и на работу ехать автобусом. Но автобуса нет. У вас тоже скоро будет много автомобилей, говорили американцы, не повторяйте наших ошибок.

Авторы двух рецензируемых книг показали Америку и американцев такими, какие они есть, не умаляя достоинства страны и народа и не сглаживая всех многочисленных проблем, которые порождает буржуазное общество.

Надо отдать должное. Американцы умеют трудиться, умеют хозяйствовать, любят во всем порядок, достигли определенных высот в науке и технике. В стране широко развита промышленность, на индустриальную основу поставлено сельское хозяйство, хотя уже встречаются в магазинах зазывные плакаты: «Помидоры выращены без применения химикатов». Это напоминание, предупреждение о том, что с химией надо обращаться разумно. Труд в этой стране ценится. Он прививается с детства.

Американские папы и мамы приучают своих детей с семи-восьми лет к труду, для маленького американца не существует зорного труда, а существует заработок, оплата труда, доллар. Владелец небольшой страховой компании в городке Вестон в штате Канзас Р. Кейз, представляя мне в своем доме трех сыновей Бейкара, Шефилда и Роберта, которым вместе нет и двадцати пяти лет, не без гордости называл суммы, заработанные сыновьями на разноске газет, уборке комнаты у престарелой женщины, дежурстве в местном маленьком музее первопроходцев. Отец человек обеспеченный, и дело поэтому не в сумме, она незначительная, а в труде, в самом факте. И тут нам есть что перенять у американцев, пишет С. Кондрашов, не забывая о диалектике, находя и не упуская из виду ту черту, где хорошее переходит в плохое и наоборот.

В жизни американцев авторы увидели много примечательного, порой вздорного, такого, что присуще только капиталистическому обществу и этой стране. Реклама, например. Так же как обед американца не обходится без стакана холодной воды со

льдом, так немислима жизнь страны без рекламы. Она диктует моду своим жителям на автомобили и джинсы, на прически и обувь, таблетки от бессонницы и головной боли. Ну и, конечно же, на кока-колу. «Дела лучше идут с кока-колой». Эту назойливую надпись Америка предлагает повсюду как библейскую мудрость. На рекламу американцы в год тратят двадцать миллиардов долларов. Примерно столько же стоила высадка одного экипажа астронавтов на Луну. Все окупится! Реклама идет в газетах, журналах, по радио, телевидению, не в бровь, а в глаз бьют неоновые огни, разные обертки, пакеты в прочее. На средства от рекламы существуют почти все газеты и журналы. Одна минута телерекламы стоит две тысячи долларов. Любая из многочисленных программ телевидения поэтому прерывается через каждые полчаса и в любой сюжет может врываться реклама пицци для кошек или собак, женского белья или сигарет. «Реклама — это в Америке несомненно бог, — рассказывают В. Песков и Б. Стрельников, — ибо влияние ее на души людей огромно. Считают: исчезни на день реклама — американец остолбенеет, он не будет знать, что ему делать. Главное назначение рекламы: заставить человека что-то купить. Выдумки, ухищрений, остроумия и нахальства уходит на это много. Индустрия рекламы стоит на девятом месте, после важнейших отраслей промышленности — нефтяной, тяжелой, сельскохозяйственной...» Таков один из феноменов Америки.

Реклама, создающая видимость красивой жизни «общества потребления», — это своеобразная ширма: она скрывает, прячет от глаз заезжего туриста многие пороки и проблемы буржуазного общества, которые сваливаются на головы рядовых американцев. И проблем этих, с которыми постоянно сталкивается общество, немало. За все, абсолютно за все в этой стране надо платить. За обучение в школе и высшем учебном заведении, за медицинское обслуживание и лечение в больнице, за дорогу, по которой едешь на автомобиле, а нередко только за то, что ты переехал мост. Билеты в театр, кино в десять раз дороже, чем, например, в нашей стране. Частные педагоги, частные врачи берут за услуги очень дорого. Государственный сектор в образовании и медицине играет незначительную роль. Год обучения в высшем учебном заведении обходится американцу до трех тысяч, один день нахождения в больнице — 180 долла-

ров. До 30 процентов дохода уходит на разные налоги — от федеральных до местных. Двухкомнатная заурядная квартира стоит ежедневно 10—15 долларов, не очень богатый обед в ресторане — 7—8 долларов.

подавляющее большинство населения США проживает в городах. Они до удивления однообразны. Есть, правда, и исключения. Сан-Франциско со своими неповторимыми холмами и улицами-полками, со своей необыкновенной планировкой и архитектурой. Супергород Лос-Анджелес. Гигант Нью-Йорк. Европеизированный, без небоскребов Вашингтон, где усердно вышолняется решение конгресса: зданий выше Капитолия не строить. Отличающаяся стариной Филадельфия. Да еще несколько городов. Остальные же приземистые плоскострельные города сливаются с маленькими городками, городки переходят в фермы со своими поселками. Весь их ритм организуют дороги, протянутые, как по компасу, точно с севера на юг, точно с востока на запад. И улицы в том же порядке — строго перпендикулярны одна другой. Ориентироваться в таких городах легко.

Две приметы в США делают города одинаковыми или почти одинаковыми. В каждом городе есть деловой центр. Если город побольше, то и небоскребы повыше. Пять-шесть тридцати-сорокаэтажных свечей из бетона, стекла и алюминия, вытеснившие старые постройки, обозначают деловую часть, вокруг дома-«малютки»: поближе к

центру семи-девятиэтажные, дальше двух-одноэтажные. И реклама. Она делает города близнецами, потому что если уж рекламируются сигареты «Кент» или виски «Белая лошадь», то огромные щиты с их изображением рассылаются по всей стране.

Книги «Свидание с Калифорнией» и «Земля за океаном» насыщены богатым фактическим материалом, написаны со знанием дела и страны и отображают не только сегодняшний день США, но и дают взгляд на историю. Заслуживают добрых слов спокойный, тонкий, с ароматом природы и запахами земли заокеанской стиль и язык В. Пескова и Б. Стрельникова, публицистический накал книги С. Кондрашова. Читатель узнает об острой политической борьбе в стране, о расовой дискриминации, о борьбе за права человека, о проведении выборов президента и о природе, увиденной В. Песковым по-своему, глубоко и проникновенно, о характерах американцев и их одежде, об оружии, свободном продающемся по всей стране, и специальной пище для кошек и собак, о Белом доме, о ковбоях, синтетической траве и молодежных проблемах, о религии и свободе секса. Ничто, кажется, не ускользнуло от пытливого взгляда авторов. И этим книги В. Пескова, Б. Стрельникова и С. Кондрашова привлекают к себе внимание и оставляют впечатление хороших «путеводителей» по США, достоверных источников о жизни американцев.

Г. РЕЗНИЧЕНКО.



## ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

ЦРУ глазами американцев. Сборник материалов зарубежной прессы. М. «Прогресс». 1976. 189 стр.

«На месте митинга можно рассыпать мелкий прозрачный порошок, который уляжется на почве и становится невидимым, однако затем производит эффект слезоточивого газа, когда он поднимается в воздух вместе с пылью, поднимаемой ногами... Несколько капель прозрачной жидкости могут вызвать у человека несдерживаемое желание говорить. Невидимый порошок на рулевом колесе или на туалетных сиденьях вызовет неимоверный зуд, а слегка липкая и бесцветная мазь может вызвать серьезные ожоги кожи при соприкосновении. Химически обработанный табак, добавленный в сигары, вызовет заболевание дыхательных путей...»

Эти строки, воскрешающие в памяти, с одной стороны, зловещие образы Екатерины Медичи, Цезаря Борджиа и прочих «великих» отравителей прошлого, а с другой — Джеймса Бонда и его изобретательных визави, взяты не из исторической хроники и не из современных бульварных романов. Подобные средства вредоносного воздействия на человеческий организм абсолютно достоверны; о них рассказал бывший агент Центрального разведывательного управления США Филипп Эйджин в вышедшей в прошлом году книге «Внутри компании. Дневник сотрудника ЦРУ». Эйджи свидетельствует, что в арсенале американской разведки имеется и смертоносное оружие, далеко

превосходящее по эффективности все созданное средневековыми алхимиками, например страшный яд сакситоксин из моллюсков, действующий в сотые доли секунды. Но печать времени, а точнее клеймо геноцида, лежащее на этих сатанинских изобретениях, проявляется в том, что они предназначены для применения в повседневной политической борьбе не только против отдельных неугодных личностей, но также против участников массовых движений за демократию, национальную независимость и социализм.

Деятельность ЦРУ, окрещенного самими американцами «невидимым правительством», «раком в Америке»<sup>1</sup> и располагающего агентурной сетью (по различным данным) в 160—200 тысяч человек, все больше привлекает к себе внимание мировой общественности. О преступных акциях американских джентльменов плаща и кинжала немало писалось и раньше (см., например, книгу Г. Ушакова «Тайны Лэйгли». М. 1971), но сенсационные разоблачения Эйджи и ответственного сотрудника ЦРУ В. Маркетти в прошлом году вызвали невиданно широкий резонанс. Неизвестные ранее факты деятельности ЦРУ были вскрыты специально созданными комиссиями конгресса США.

Эти факты, а также материалы американской и мировой печати, посвященные темным делам «невидимого правительства», легли в основу рецензируемой книги. Читатель узнает о конкретных «операциях» ЦРУ и об их размахе в целом, о различных формах и методах работы американской разведки, о ее связях в мире большого бизнеса и прессы, о ее проникновении в дипломатические, научные и клерикальные круги.

10—12 миллиардов долларов, которые, по последним данным американской печати, ЦРУ тратит ежегодно, позволяют его агентам плести сети интриг в самых отдаленных от США точках земного шара. Причем в «горячих» точках — с целью еще выше поднять накал, а в «холодных» — с целью превратить их в «горячие». Хорошо известна роль ЦРУ в реакционных переворотах в Гватемале, Гане, Греции, Чили, в разжигании

гражданской войны в Конго, Нигерии, Лаосе, Камбодже.

Рецензируемая книга значительно расширяет наши представления о масштабах и направлениях деятельности ЦРУ. Мы узнаем, например:

что ЦРУ, заключив в последние пятнадцать лет соглашения о сотрудничестве с 20 американскими компаниями, теснейшим образом связано с такими гигантскими корпорациями, как «Эссо», «Интерармко», «Арамко», а также является фактическим владельцем ряда частных фирм;

что в период с 1948 по 1972 год ЦРУ истратило на поддержку итальянских политических деятелей правого крыла 74 миллиона долларов;

что в 1974 году ЦРУ выделяло ежемесячно более 10 миллионов долларов на укрепление оппозиции в Португалии;

что в ходе операции под кодовым названием «Хаос» ЦРУ составило 13 тысяч dossier, в том числе 7200 из них на граждан США, причем 75 дел было заведено на членов конгресса;

что в течение тридцати последних лет сотрудники секретных служб США вскрывали до 1,8 миллиона международных телеграмм в год;

что в Анголе на вербовку английских наемников ЦРУ и другие разведслужбы Запада предполагали истратить более 20 миллионов долларов.

Последний факт показывает, что, несмотря на вскрытие целого ряда «раковых опухолей» ЦРУ, «невидимое правительство» продолжает действовать. Есть все основания полагать, что расследования комиссий конгресса не приведут к сколько-нибудь существенному ограничению методов и сфер деятельности ЦРУ и, как выразился журнал «Нью рипаблик», «эта опасная игрушка останется готовой к использованию будущими президентами».

Быть начеку в отношении происков реакционных империалистических кругов, ни на минуту не прекращающих свою подрывную деятельность против сил мира, демократии и социализма, — таков вывод, к которому приходишь, прочитав книгу «ЦРУ глазами американцев».

Ю. ИГРИЦКИЙ.

<sup>1</sup> CIA (ЦРУ) самими американцами нередко расшифровывается как «Cancer in America».

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ.** Февраль — кривые дороги. Повести. М. «Советский писатель». 1975. 304 стр.

Наверное, в этом есть какая-то психологическая закономерность, что писатель, которого уже широко знают по повестям о победе, затем уходит в глубь памяти, к горькому началу войны. Так Елена Ржевская от книги «Берлин, май 1945», ярко прозвучавшей десять лет назад, пришла теперь к повестям «От дома до фронта» (повесть эта была опубликована на страницах «Нового мира» и знакома читателям журнала) и «Февраль — кривые дороги» — обратилась памятью к затяжным боям первой военной зимы, когда под Ржевом, Вязьмой и Брянском истекающие кровью армии продолжали цепко держать друг друга, ожидая, как решится на юге.

В повести Е. Ржевской сильно передана та зима: сплетение солдатского и крестьянского, штабные машинистки в полуразбитых избах и дети, тут же умирающие от простуды и от осколков, и последние окружения, и первые успешные контрудары — война, медленно становящаяся бытом. В этом смысле новая книга Е. Ржевской играет роль еще одного точного свидетельства о том периоде войны.

Но есть тут весьма важное тематическое и психологическое качество, которое делает книгу особенной: перед нами свидетельство фронтового переводчика.

Солдат стреляет по силуэту. По фигуре. По вооруженному, закованному в сталь врагу.

Переводчик видит лицо.

Он, фронтовой переводчик, видит врага, еще не остывшего от стрельбы и убийства, еще вот только что выхваченного из боя... но это уже лицо, и пленный немец может пожаловаться на мороз и попросить одеяло, и тогда комиссар прикажет спросить его в ответ: «А что... русский, когда попадает в плен, тоже просит одеяло?» — и это сплетение вражды и вынужденного контакта создает в повести особенный, иногда фантастически сложный психологический фон. Тем более сложный, что есть во всем этом и еще одна сторона: реальность схватки с немецкими оккупантами неотделима в сознании военной пере-

водчицы от прочной, с детства впитанной любви к великой немецкой культуре. И это ведь тоже никуда из души не делось: семинары в ИФЛИ, гениальные строчки Гёте, торжественная просьба преподавателя товарища Грюнбаха: «Я прошу вас, геноссен, помнить, что автор этого стихотворения был немцем» — и это надо помнить под немецкими пулями у деревни Займище, допрашивая пленного германского офицера, переводя в захваченных у него документах: «Жизненное пространство... Драгоценная немецкая кровь... Русский должен умереть, чтобы мы жили» — и прочие открытия Альфреда Розенберга. Читая такое, помнить, что Гёте тоже был немцем, и различать «одно и другое», и все это — не в победном 1945-м, а в феврале 1942-го.

Если вы читали роман Виталия Семина «Нагрудный знак «ОСТ» и помните, как там обреченный на медленную гибель оstarбайтер чувствует телесное тепло работающего рядом немца, то вы должны ощутить, что раздумья Елены Ржевской о различении в условиях смертного боя понятий «немец» и «фашист» — неотторжимое звено в цепи важнейших раздумий современной нашей литературы о человеке.

...Пленный обер-лейтенант, высокий синеглазый красавец, вдруг перепугался, когда сидевшая в избе скрюченная, истощенная старуха дала ему каши и заплакала. Немец решил, что «русская matka» оплакивает его, и, собрав всю свою тевтонскую волю, попросил фрейлейн переводчицу сказать правду: «Меня расстреляют?»

«— С чего вы? Тетенька, вы вот плачете, вы немца пожалели и испугали насмерть.

Старуха всхлинула, высморкалась в конец головного платка.

— Не его. Не-ег. Мне его мать жалко. Она его родила, выхаживала, вырастила такого королевича, в свет отправила. Людям и себе на мученье...»

Это ж каким уровнем души надо было добраться до такого! Так пожалеть! Так увидеть, когда еще и Сталинград был впереди. И Курская дуга. И Берлин.

Л. Аннинский.



**ВАРДЕС ПЕТРОСЯН.** Армянские эскизы. Перевод с армянского. Ереван. «Айастан». 1975. 316 стр.

«Армянские эскизы», давшие название книге прозы В. Петросяна, самое значительное, на мой взгляд, произведение сборника. Маленькие зарисовки и отдельные сюжетные новеллы, относящиеся то к далекой истории, то к нашим дням, связаны общим замыслом — рассказать о сегодняшней Армении, показать, что ее настоящее есть сложный синтез прошлого и будущего. Писатель пытается осознать закономерности происходящих процессов, передать особенности национального характера, народных традиций, развести видимость и сущность, миф и действительность, угадать за отдельными чертами картину будущих человеческих отношений. Сопоставляя прошлое и настоящее, В. Петросян не просто подчеркивает эффектность и парадоксальность понятий новое — старое, но старается извлечь из этого сопоставления внутренний, глубинный смысл. Художественно запечатлеть картину, в которой проявляется его время.

«Эскизы» несут в себе множество серьезных проблем, касающихся разных аспектов нашей жизни. Среди них вопросы взаимоотношения поколений и отношения к родным святыням, проблемы, связанные с пониманием национального и традиционного, раздумья о том, какой патриотизм является истинным и что скрывается за тенденцией бурного роста города.

В «Эскизах» и повести «Прожитые и непрожитые годы» писатель показывает, какой сложный комплекс экономических, культурных, психологических и других проблем связан в Армении, например, с процессом роста городов. Какое неоднозначное влияние времени испытывает армянское село, особенно молодежь. С одной стороны, привычные, традиционные устои, на страже которых бдительно стоят старшие. С другой — книги, фильмы, телевидение, большой мир, шумно врывающийся в самую далекую деревню.

О трагической гибели двух влюбленных, современных Ромео и Джульетты, гибели, вызванной столкновением этих сложнейших противоречий, рассказывается в «Прожитых и непрожитых годах». И хотя кое-что в повести показалось мне неудачным (особенно характер главного героя, человека, склонного к фразе и позерству, которому тем не менее доверено нести заветные авторские идеи), она все-таки привлекает стремлением заставить читателя задуматься над вопросами духовными, нравственными, социальными...

Молодежи посвящена и повесть «Аптека «Ани»». Автор предостерегает читателя от упрощенного подхода к молодым. Среди действующих лиц повести нет двух одинаковых людей. Все сложно у этого поколения, как и у всех предыдущих. Только сложности иные. Каждый по-своему, они ищут смысл жизни, серьезную, настоящую

цель, им хочется любить и быть любимыми. Они боятся показаться сентиментальными, напускают на себя взрослость, стараются казаться умудреннее и опытнее...

И еще одна тема «Эскизов» представляется мне чрезвычайно интересной, публицистически острой и значительной. В истории Армении есть страшные, трагические страницы. Множество армян недобрая судьба в разные времена разметала, разбросала по свету. Новые поколения выросли на чужбине. Какая-то часть людей прижилась там, богатеет и процветает, какая-то глубоко несчастна, страдает и рвется на далекую свою родину.

Что же за чувство движет этими людьми? Что входит в понятие «родина»? Зачем нужны преданность, уважение к памяти отцов? Чем вызывается ностальгия? Что такое воздух родины? Почему одни отлично без него обходятся, а другие могут дышать только им?

В «Эскизах» перед читателем проходят люди разной судьбы, разных поколений, разных нравственных принципов, разного отношения к жизни, армяне-хозяева и армяне-туристы. Среди них есть человек, возвращающийся в Турцию, потому что в Ереване в субботу на рынке трудно найти хорошее мясо, а трамвай ходят переполненные... Есть восьмидесятилетний инвалид, приехавший прямо в коляске из Лос-Анджелеса, потому что он не мог больше жить на чужбине... Есть мальчик из Нью-Йорка, который привез в Армению жевательную резину, ловко и выгодно ее продал, а деньги, вернувшись, обратил в акции. Родственники им гордятся, называют Фордом... И есть человек, встретившийся писателю в Бейруте, который никогда не был на родине. С откровенной тоской он признается: «Моя жизнь прошла в гостинице. Ведь чужая сторона — всегда гостиница... А человеку нужен дом, я поздно это понял...»

Читая страницы «Эскизов», посвященные людям, оставшимся без родины, читатель остро и сильно чувствует, осознает, почему человеку, чтобы быть счастливым, чтобы жить настоящей полноценной жизнью, недостаточно материального преуспевания и наслаждения комфортом, дарованным XX веком, недостаточно деловитости, рассудительности, предприимчивости... Почему человеку нужно помнить свою историю, чтить героев, испытывать трепет у родных могил, любить отчий дом, дышать воздухом родины...

Г. Петрова.



**АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ.** Рябиновый сад. Стихи. М. «Современник». 1975. 77 стр.

Имя Алексея Решетова я узнал недавно. Один из друзей поэта, тоже пермяк, передал мне небольшую, скромно изданную «Современником» книжку — сборничек лирических стихов «Рябиновый сад» («Новинки «Современника»). Начав читать, я

почувствовал обаяние стихов. Это была для меня нечаянная, неожиданная радость. Стихи заговорили со мною, а потом и увлекли. Помню, я невольно пожалел, что в книжке ничего не сказано об авторе, а ведь издается он в Москве, очевидно, впервые.

Судя по стихам, автор человек уже не первой молодости, знающий, чувствующий и сельскую и городскую жизнь. Как видно, он испытал себя и деревенским и городским трудом и как бы сблизил, породнил их в себе.

Проникновенно и убежденно пишет он о сельской России в трудные годы военных испытаний. В самой образной ткани сквозит пережитое:

Может быть, и в живых я остался  
И беда не накрыла волной,  
Оттого что упрямо хватался  
За соломинку с крыши родной.

Это свое, сельское, и в родной природе сосредоточенное на человеческом (испытанном и пережитом), не суживает поле зрения поэта. Идет, скажем, речь о березах:

Как стойко держались березы  
В суровые дни, в январе.  
А нынче <sup>весенние слезы</sup>  
Бегут и бегут по коре.  
Так женщины наши <sup>в груди</sup>  
Тревоги и горести <sup>прячут.</sup>  
А если и плачут, <sup>то плачут,</sup>  
Когда уже все позади.

«Слезы — березы», нет, я забываю об этом, я просто не замечаю слишком уж привычную рифму и не о березах думаю, даже читая первую строфу. Почему-то невольно самим испытанное напрашивается, ведь так и с моей матерью было. Дала волю слезам она уже потом, когда все позади осталось.

В чем-то самом заветном Алексей Решетов близок мне, особенно когда в слиянии с природой просыпается в нем радость мягкая и добрая, как улыбка друга. Я чувствую эту улыбку, даже если и не вижу ее.

Поэт вроде бы и не пишет специально о труде, о работе, о том, что, любящая, она может доставлять радость, если вкладываешь в нее душу. Но даже ребенок, наблюдающий за работой ловкого точильщика со стороны, испытывает удивительное чувство, словно перед ним оживает чудо, когда из-под рук точильщика вырывается искристая жарптица.

В хорошей трудовой семье в подростке рано просыпается совестливое чувство по отношению к старшим. И это по-своему передает Алексей Решетов, как сам запомнил все еще с детства. В маленьком стихотворении «Ходули» герой со свойственной подростку наивной гордостью рассказывает, как выменял у товарищей ходули за отцовский «фотокор». И сразу стал всех выше, так что даже может плевать на крыши со своего выскока.

Я шагаю, словно в сказке,  
И безногий инвалид,  
Проезжая на колеске —  
Ай да парены! — говорит.

И не думал я хвалиться  
«Преимуществом» своим,  
И охота провалиться  
Мне сквозь землю перед ним...

Был паренек и разухабист и беззаботен, тем неожиданнее этот внезапный совестливый «ожог». Нет, перед нами не баловень родительский, а человек, который никогда не совершит бездумной подлости, непорядочного поступка.

Стихи А. Решетова рисуют зримые картины природы, простых, добрых людей, их мысли и чувства, их нравственную чистоту. Мне, читателю, близка и дорога эта родственность с природой, это чувство вины, когда с нею неблагополучно, чувство радости, что причастен к ней. Не отсюда ли все доброе, трудолюбивое, лучшее, что есть в нас? Трудолюбие как бы в самой атмосфере, в настроенности этой скромной, маленькой, но такой наполненной книги.

Уже закончив статью, я узнал, что Алексей Решетов работает на мельнице бригадиром, что он настоящий рабочий. И неожиданная радость открытия стала во мне еще сильнее.

Дмитрий Ковалев.



#### ВОСПОМИНАНИЯ О КОНСТАНТИНЕ ПАУСТОВСКОМ. Составитель Л. Левицкий. М. «Советский писатель». 1975. 464 стр.

«Раз в одной анкете... мне пришлось отвечать на вопрос, смысл которого заключался в следующем: «Как вы относитесь к писателям, которые в жизни — одни, на бумаге — другие?» — рассказывает Ю. Бондарев. — Паустовский-писатель и Паустовский-человек слиты воедино».

Именно потому приобретают особое значение воспоминания, которыми делятся на страницах сборника и старейшие писатели, сверстники Паустовского — Ю. Смолич, В. Шкловский, Вс. Иванов, Р. Фраерман, и его ученики, младшая, послевоенная плеяда — Ю. Бондарев, В. Тендряков, Ю. Трифонов, Г. Бакланов и другие.

Их личные наблюдения, рассказы о встречах, разговорах, жизненных эпизодах не только сами по себе интересны. Они показывают, как все это преломлялось в творчестве писателя, рождают желание еще раз, уже с новым чувством и знанием перечитать страницы Паустовского и соотнести его человеческие черты с художественными образами произведений.

В сорока очерках сборника Паустовский предстает перед нами в разные периоды своей жизни. В 20-е годы — редактором крохотной одесской газеты «Маяк», в 30-е — сотрудником РОСТА, на фронте — военным корреспондентом. Мы видим Паустовского — писателя и путешественника, педагога и рыболова, непревзойденного рассказчика за дружеской беседой.

Не побоясь громкого слова и выделим то, что так или иначе присутствует почти в каждом воспоминании: Паустовский был патриот. И не потому только, что, как и многие писатели его поколения, писал о стройках первых пятилеток, об обновленной жизни Колхиды и Кара-Бугаза, не потому только, что своим интересом к прошлому как бы приблизил к нам историю нашей страны, но и потому, что горячо любил родную землю, которую исходил и исколесил из края в край. «Со страниц Паустовского смотрит на нас Родина», — говорит Г. Бакланов. Он любил природу не только солнечной, нарядной, рассказывает его друг и сослуживец по РОСТА Р. Фраерман, но и в дождь и в зной. А мы, читая об этом, не можем не вспомнить «преlestь русского ненастья» в рассказе «Дождливый рассвет».

Нам хорошо известно, каким изяществом, тонкостью отличается язык «кудесника слова» Паустовского. Из воспоминаний же, помещенных в сборнике, с интересом узнаем, что, оказывается, изящество, тонкость, особая элегантность были присущи и самому Паустовскому, его внешнему облику.

Во время своих многочисленных странствий, сообщают нам авторы сборника, Паустовский проявлял большой интерес к простым бывалым людям — боцманам, рыбакам, штурманам, смотрителям маяков, паромщикам. Он как никто умел найти с ними общий язык, «разговорить» их. Самые разные люди охотно рассказывали ему о себе. И мы перестаем удивляться обилию этих персонажей в его «густонаселенных» произведениях.

И еще одна черта Паустовского-человека наша прямое отражение в его творчестве: и рассказывал и писал он «всегда о добре, о красивом и простом».

— Вся значительная литература основана на утверждении жизни, — вспоминает слова Паустовского-педагога на студенческом семинаре его ученик Л. Кривенко.

«Он говорил, что нет на свете ничего безнадежного, не обещающего открытия красоты, — сонных захоластий, скучных дней, неинтересных профессий, как не оказалось бесплодного Кара-Бугаза», — вспоминает Н. Атаров.

Неизменную доброту, щедрость, благожелательность к людям, простоту в общении — эти черты Паустовского, объясняющие нам «благоприятный и прекрасный мир образов» его произведений, отмечают многие принявшие участие в сборнике.

В сборнике есть страницы, посвященные тому, как Паустовский руководил семинаром в Литературном институте имени М. Горького, читал рукописи будущих писателей, давал им советы, ценные и сейчас.

Будучи сам превосходным стилистом, рассказывает один из его учеников, Ю. Бондарев, Паустовский был терпим к разным стилистическим направлениям, но был нетерпим к «чистописанию», к академической гладкости. Он учил зыскательности, тщательности, не прощал никому расхлябанности, разухабистого писания «на авось».

В произведениях Паустовского много детей. А как общался он с ними в жизни? Об этом пишет С. Львов. Паустовский захотел поближе познакомиться с детьми и выбрал для этого необычный путь: задулал взять с собой в лодочное плавание по Десне группу московских школьников. Вместе смолчили лодку, укладывали походное имущество, гребли. Паустовский говорил: умение слушать начинается с умения молчать. Учил слушать реку и лес, обращать внимание на приметы погоды, «узнавать в лицо» каждую птицу и дерево, помогать людям, которые встречались в дороге. Нет, это была «не идиллическая прогулка, не картинная туристская романтика, а прекрасный и трудный урок нравственного воспитания».

Не правда ли, выразительный, сам за себя говорящий эпизод? В книге таких немало, всех не охватишь. Хочется сказать другое. Сборники воспоминаний о выдающихся людях — вещь обычная, издаются они нередко. Порой, читая некоторые, я сомневалась: нужны ли уж такие бытовые детали, которыми заполнена, естественно, жизнь любого человека? Отдадим должное составителю сборника о Константине Паустовском — этого здесь не случилось. Материал отобран вдумчиво и целенаправленно, лишнего нет. Что ни глава, то новая грань слитого воедино литературного и человеческого образа писателя, и в этом ценность книги.

Ксения Бродер.



**АРК. ЭЛЬЯШЕВИЧ. Лиризм. Экспрессия. Гротеск. Л. «Художественная литература». 1975. 360 стр.**

Книги спорные читать интереснее, чем бесспорные, ибо живое несогласие, дискуссия всегда дороже для познания, нежели свод азбучных (и потому вроде бы очевидных) истин. Книга Арк. Эльяшевича «Лиризм. Экспрессия. Гротеск», имеющая подзаголовок «О стилевых течениях в литературе социалистического реализма», несет в себе немалый полемический заряд. Это закономерно. Автора волнуют типологические проблемы, связанные с изучением стилей в литературе. А хорошо известно, что в современном литературоведении, да и вообще в гуманитарных науках, типологические вопросы привлекли к себе пристальное внимание, вызвали широкие споры. Теоретики стремятся выдвинуть и обосновать ту или иную концепцию, позволяющую вычертить на глобусе духовной культуры границы жанровых, стилевых и прочих материков, стран и прочих целостных «территорий». Идут в ход многочисленные категории и понятия, сопоставляются, конкурируя между собой, разные определения, создаются перечни «типов», «родов» и «видов».

Арк. Эльяшевич констатирует, что в течение последнего десятилетия в нашей науке господствовала теория, делящая все многообразие художественных явлений на два потока «реализм — романтизм». Придя на смену дихотомии «реализм — антиреализм», эта концепция, как отмечает автор, «получи-



ла широкий резонанс и вскоре была взята на вооружение множеством литературоведов». Однако и эти новые представления не соответствуют, по мнению Арк. Эльяшевича, действительности и нуждаются в коррективах. Анализ наличного положения дел в типологии стилей и изложение собственных идей по этому поводу — таково содержание его монографии.

Арк. Эльяшевич удачно полемизирует с теми, кто не идет дальше схем «реалист — антиреалист», «реалист — романтик». Но, излагая собственную систему понятий, призванную отразить богатство форм в современном искусстве, он порой повторяет методу своих предшественников.

К примеру, им берется пара понятий «субъект — объект» (кстати, предмет особого разговора и спора). На этой основе постулируется различие субъективного и объективного типов творчества, методов, стилей (все сразу). А затем внутри «субъективной» группы расчерчиваются «клеточки» еще целого ряда течений. Но не злоупотребляет ли автор теоретическим словотворчеством в духе рассудочной логики? Рождаются на свет реализм субъективный (синтетический) и объективный, реализм конструктивный, экспрессивный и критический, экспрессивный урбанизм, экспрессивно-эксцентрический стиль... Арк. Эльяшевич ищет в текстах однородные свойства — экспрессию, эксцентрику, экзатичность, гротеск. Делая это, он сплошь и рядом интересно разбирает отдельные книги, творчество некоторых писателей (например, Вс. Иванова), удачно выделяя приметы разных литературных периодов. Но как только автор пробует подтянуть тексты к типологическим рубрикам, так сразу же начинает смазываться своеобразие литературного факта (Бабель — «экспрессивный реалист»?!. Допустим. И что отсюда следует?).

На уровне чисто теоретическом Арк. Эльяшевич убедительно формулирует «права» типологии. Однако, обращаясь к фактам, он, на мой взгляд, слишком поспешно возводит частные стилевые свойства в ранг типологических подразделений внутри метода (замечена, скажем, экспрессивность реализма, из нее выводится экспрессивный реализм). В монографии очень верно сказано: «...типология не может превращаться в догму. Это только трамплин для последующих исследований». Эти слова звучали бы намного веселее, если бы автор подробнее остановился на том, каковы принципы и задачи типологии, где граница между стилевой особенностью и чертой метода, каково вообще значение типологических теорий, их методологический и методический статус. Книга Арк. Эльяшевича объективно свидетельствует о том, что эти и аналогичные вопросы назрели в недрах современной теории литературы, заставляя пристальнее взглядываться в современный литературный процесс, в идейно-стилевые тенденции, характерные для новейшего этапа движения литературы.

А. Панков.



### МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Народные артисты СССР. М. «Советский композитор». 1976. 695 стр.

Большому театру исполнилось двести лет. Не надо слишком далеко углубляться в историю, достаточно оглянуться хотя бы на годы, которые в памяти нынешнего старшего поколения советских людей, чтобы понять, какой неопределенный вклад в развитие всей отечественной культуры внес творческий коллектив этого театра. Здесь создавались подлинные шедевры оперного и балетного искусства. Здесь пели Нежданова, Шалапин, Собинов, Барсова, танцевали Гельцер, Уланова, Лепешинская.

Шестьдесят лет из двухсот в истории театра приходится на советскую эпоху. За эти десятилетия театр стал центром не только русского, но и всего многонационального советского музыкально-театрального искусства. «Большой театр — гордость советского искусства», — отмечали газеты в недавние юбилейные дни.

Книга «Мастера Большого театра» рассказывает о тех, кто своим талантом, своим трудом приумножил славу театра. Очерки посвящены народным артистам СССР — замечательным советским певцам, артистам балета, дирижерам, хормейстерам, режиссерам. Нежданова, Голованов, Обухова, Файер, Барсова, Моисеев, Козловский, Семенова, Лемешев, Мелик-Пашаев, Лепешинская, Самосуд, Лавровский, Уланова, Хайкин, Плисецкая, Архипова, Анджапаридзе, Гуляев и много других прославленных имен художников разных поколений встретит читатель в этой книге.

Авторы очерков — писатели, журналисты, любящие театр и много лет связанные с ним творчески, — подошли к своей задаче широко, они не просто нарисовали портрет того или иного мастера сцены, а через личность, через развитие и становление своего героя на сцене Большого театра проследили историю театра, углубленно рассмотрели те принципы, которые определяют его музыкальное лицо.

С. Я. Лемешев писал однажды, что школа Большого театра — это «глубочайшая связь с родной песенной стихией, владение любой мелодической формой, огромная культура слова, умение вникать в смысл и поэтическое содержание музыки, передавая и мысль и искреннее чувство, наконец, умение создавать в опере человеческие характеры». Эти слова, характеризующие творческий облик всего театра, применимы и к каждому в отдельности герою книги, будь то прославленные мастера старшего поколения или молодые, но уже пользующиеся мировой известностью артисты.

В очерке «Антонина Васильевна Нежданова» (автор В. Киселев) приведено такое высказывание любимого партнера певицы С. И. Мигая: «Особенное наслаждение доставляли мне как слушателю ее выступления в операх Глинки. В партии Антонины образ простой русской девушки был подан Неждановой на необычайную высоту. Каждый звук этой партии был проникнут

духом русского народного искусства». О «великой и возвышенной правде искусства», которую умело передать в танце прославленная Уланова и пленить этим миллионы советских и зарубежных зрителей, пишет в своем очерке А. Илупина.

С. А. Самосуд, с чьим именем связаны многие достижения советского музыкального театра, более всего ненавидел в искусстве штамп, обыденность, тривиальность, отмечает А. Астель в очерке, посвященном этому дирижеру. «Дух поиска,— пишет А. Астель,— пронизывал все, за что брался этот музыкант: его постановки новых советских опер и работы над классическими партитурами, его дирижерскую и режиссерскую деятельность».

И еще одна черта, характерная для коллектива театра, ясно прослеживается при чтении очерков. Это чувство колоссальной ответственности перед зрителем. Неустанный труд, неумолимое совершенствование, строжайшая творческая дисциплина во имя искусства, во имя народа, которому оно предназначено.

Г. Койранская.



**Н. А. РУБАКИН. Избранное. В двух томах. М. «Книга». 1975. Т. 1. 224 стр. Т. 2. 280 стр.**

Наша книговедческая наука имеет давние традиции и немалые достижения. Широкий читатель получил сегодня возможность ознакомиться с ними благодаря похвальной инициативе издательства «Книга», которое начиная с 1972 года выпускает серию «Труды отечественных книговедов». Уже вышли в свет избранные работы К. Н. Дерунова, В. С. Люблинского, А. А. Сидорова, А. Г. Фомина. Недавно серия пополнилась двухтомником Н. А. Рубакина, писателя и ученого, девизом всей жизни которого стали слова «Да здравствует книга — могущественнейшее орудие борьбы за истину и справедливость!».

Составить «Избранное» Н. А. Рубакина не так-то легко. Вспомним, что за свою долгую жизнь — он прожил восемьдесят четыре года — этот, по выражению одного из биографов, «последний энциклопедист» опубликовал 280 книг и брошюр и более 350 статей. Отношение к его творчеству никогда не было однозначным. Ромен Роллан в послании к французским учителям назвал Н. А. Рубакина замечательным представителем передовой русской интеллигенции, который «сумел стать живой энциклопедией и просвещал свой народ». В. И. Ленин, отмечая в известной рецензии «Среди книг» немалые заслуги Н. А. Рубакина, в то же время связывал основные недостатки работ библиографа с эклектизмом его воззрений и с «курьезным предубеждением автора против «полемики»<sup>1</sup>. В 20-е годы в советской печати была под-

вергнута критике разработанная Н. А. Рубакиным так называемая библиопсихологическая теория.

В двухтомнике включены работы в области социологии чтения, библиотековедения, теории и практики самообразования. «Этюды о русской читающей публике», вышедшие в свет в 1895 году, впервые у нас заложили основы изучения читателя. Н. А. Рубакин, поставив перед собой вопросы «много ли читают на Руси?» и «что читает наша публика?», не ограничился выводами о чтении обеспеченных слоев населения. Он отправился в деревню, а затем на фабрику, показал, что «фабричный читатель» «вырос и продолжает расти с каждым днем». Среди выводов исследования был и следующий: «Образование народа и его развитие, подъем его теоретической и творческой мысли, его сознательного отношения к окружающей действительности — одна из величайших задач нашего времени».

Наиболее известным трудом Н. А. Рубакина был капитальный рекомендательный каталог «Среди книг», во втором издании которого (1911—1915) охвачено около 20 тысяч названий. В. И. Ленин написал для него статью о большевизме. В рецензии на это издание Владимир Ильич писал: «Ни одной солидной библиотеке без сочинения г-на Рубакина нельзя будет обойтись»<sup>2</sup>. В данном двухтомнике публикуется предисловие и три главы введения к «Среди книг». Введение — «Книжные богатства, их изучение и распространение» — сам Н. А. Рубакин назвал «научно-библиологическим очерком»; здесь изложены общекниговедческие взгляды исследователя.

Второй том «Избранного» содержит работы по вопросам самообразования, а также доклад «Основные задачи библиотечного дела» (1907). Вопросы психологии чтения в рецензируемом издании не отражены. Издательство «Книга» готовит к печати сборник работ Н. А. Рубакина «Психология читателя и книги», который должен выйти в свет в будущем году.

Остается добавить, что составитель, автор вступительной статьи и комментариев — профессор А. Н. Рубакин, сын известного книговеда, исключительно много сделал для сохранения наследия и пропаганды взглядов своего знаменитого отца.

Е. Немировский,  
доктор исторических наук.



**ЖАК-ИВ КУСТО И ФИЛИПП ДИОЛЕ. Затонувшие сокровища. Сокращенный перевод с французского. М. «Прогресс». 1975. 206 стр.**

Океан теперь нередко называют гидрокосмосом или второй планетой. И это по праву, ведь почти три четверти поверхности Земли покрыто его водами. В пучинах мирового океана скрыто много не разгадан-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 112.

<sup>2</sup> Там же.

ных до сих пор тайн, хотя люди с давних пор стремились приподнять завесу над ними.

Советским и зарубежным читателям хорошо знакомы замечательные книги отважного исследователя подводного мира Ж.-И. Кусто «В мире безмолвия» и «Живое море», написанные им совместно с Ф. Дюма и Дж. Дагеном. Широкой популярностью у зрителей пользуются и созданные им фильмы «В мире безмолвия» и «Одиссея Кусто».

Новая книга ученого посвящена описанию экспедиции, предпринятой им в июле—августе 1968 года в Карибское море.

«С 1937 года... — пишет он, — я вступил в борьбу с морем. Я отрекся от всего остального и не отступил, хотя меня часто искушали чудеса других сфер жизни. Я заключил брачный союз с водной стихией...» За эти годы Кусто тысячи раз погружался в пучины вод, спускался на дно морское, исследуя жизнь моря и его обитателей. Последняя же экспедиция была необычной. Ее целью стал поиск затонувшего в начале XVIII века испанского корабля, груженного золотом и серебром.

Кусто не специалист-археолог, но у него уже был некоторый опыт подводных археологических исследований. В течение пяти лет он со своими товарищами принимал участие в раскопках обломков римского судна, затонувшего в III веке до н. э. в Средиземном море. В этой изнурительной археологической операции, которая проводилась возле Марселя у подножия одной из прибрежных скал, на глубине сорока метров, были подняты на поверхность тысячи глиняных амфор. Исследователи получили неоценимые сведения о жизни, кипевшей на судоходных путях Средиземноморья в те далекие времена.

Предпринимая экспедицию в Карибское море, Кусто отнюдь не руководствовался стремлением обогатиться. «Все, что мы делаем на море и на суше, — пишут авторы, — должно определяться не поклонением золотому тельцу, а уважением к человеку. И на поверхности моря, и в его глубинах главной нашей заботой должно быть будущее человечества».

Перед читателем предстает удивительная по красоте панорама южного моря. С напряженным вниманием следит он за отважными аквалангистами из экипажа «Калипсо», которые, пользуясь новейшей техникой, пробираются в лабиринте коралловых зарослей в поисках остова легендарного испанского галеона.

В книге Кусто и Диоля много необычного. Необычна и сама манера изложения. Странички из дневника, которые представляют собой живо и увлекательно написанные небольшие новеллы, рисующие картины повседневного кропотливого труда соратников Кусто на дне Карибского моря, перемежаются с красочным описанием драматических событий истории. В одной из глав ярко изображена сцена кораблекрушения испанской флотилии, направившейся в 1715 году из Нового Света в метрополию с серебряными и золотыми слитками и мо-

нетами. «27 июля ураган с диким бешенством обрушился на галеоны, ломая мачты и срывая паруса. Огромные волны то поднимали их на свои гребни, то бросали в пропасти между ними. Испанские суда не могли выдержать такой неистовый натиск. ...галеон адмирала налетел на скалы и разбился... Одно за другим суда флотилии напарывались на коралловые скалы и разлетались вдребезги... Сокровища, оцениваемые в 14 млн. долларов, пошли ко дну...» При кораблекрушении погибли десять судов и более тысячи человек.

В конце своего повествования, подводя итоги работы экспедиции, Кусто отмечает, что, обнаружив на дне Карибского моря множество интересных исторических реликвий (старинные пушки, ядра и другие), она не нашла ни галеона, который искала, ни испанского золота.

Такой финал не огорчает Кусто. «Подводная деятельность — исследования, которые посвятили себя мои товарищи, жена и я, — всегда была бескорыстной. Мы принесли в жертву морю почти все свое время, деньги, семейный уют, что обычно так высоко ценится».

Читатель с удовольствием и несомненной пользой прочтет новую книгу отважного «охотника за морскими тайнами» и оценит ее по достоинству.

**Б. Розен.**



**ЕВГЕНИЙ МОРЯКОВ. Я в рабочие пошел... (Время. Люди. Мораль) Л. Лениздат. 1975. 83 стр.**

«За план, за бесперебойную работу всех технологических линий, за качество продукции должна отвечать совесть каждого работника, будь он коммунист, будь он комсомолец, будь он беспартийный». Эти слова Леонида Ильича Брежнева, высказанные им на встрече с рабочими ЗИЛа, теснейшим образом связывают воедино материально-технические и морально-этические факторы, влияющие на качество.

Совесть — это внутренняя оценка каждым человеком своих поступков, своих действий. И в то же время она продукт общественно-го воспитания. Поэтому вполне закономерно, что в раздумьях о своем труде, о подготовке рабочей смены наши известные передовики производства уделяют главное внимание воспитанию, передаче лучших рабочих традиций, учащих трудиться на совесть. Именно об этом свидетельствует небольшая книжечка одного из замечательных ленинградских рабочих, Героя Социалистического Труда Евгения Николаевича Морякова. Название ее в известной степени полемическое: «Я в рабочие пошел...» За многоточием угадывается — пошел и нашел свое место в жизни, счастлив...

Евгений Моряков начал свой трудовой путь в первые послевоенные годы на небольшом ленинградском заводе «Электротриинструмент». Роста Женя тогда был

«метр с шапкой». Попал в бригаду электриков, но вскоре выяснилось, что монтера из него не получится. Его больше влекло в механический цех, к токарным станкам. Еще до того как парнишку переадресовали в механический, его приметил мастер токарного участка Эдуард Иванович Вашкель. Хороший оказался учитель. В цехе работали и другие прекрасные знатоки своего дела, на которых равнялась молодежь. Например, В. В. Гегжнас. Как на праздник приходили молодые рабочие, чтобы полюбоваться на изумительное мастерство токаря-виртуоза. На заводе каждый знал, что все, созданное умом, сердцем и золотыми руками этого человека, не нуждается в контроле. Начальник цеха Соколов говорил: «Гегжнас сделал — бери на сборку! Надежность — сто процентов». Вот это была работа — на совесть! Вот, оказывается, когда еще зародилась рабочая гарантия качества.

Рассказывая о годах своей учебы, Моряков пишет: «На работе легко не бывает. Трудно всем — ветеранам и новичкам. Все дело в выдержке, в самодисциплине, в вере в собственные силы». Молодому, только начинающему рабочему новый станок обычно не дают. «„Сырая“ технология, — пишет автор, — отсутствие нужных абразивных кругов, издержки в станке заставляли часто приостанавливать шлифовку, брать шестерню в руки и «ловить» размер, постоянно орудуя калибром. К концу смены не чувствовал рук, ладони горели и болели так, что, придя домой, я делал ванночку для рук, и нередко от боли по лицу катились слезы».

Учитель Морякова Э. И. Вашкель все это видел и говорил ему: «Перестань жаловаться на станок, не он тобой командует, а ты им». Сам становился к станку, показывал. Его педагогика была очень доходчивой: «Делай, как я!» Постепенно у парня появилась уверенность в себе, чувство ответственности, а затем и гордость за свою профессию. Не только профессиональные навыки передал ему учитель, но, что особенно важно, приобщил его к своему пониманию нравственных норм современного рабочего человека. был примером подлинной организованности, дисциплинированности и культуры.

Отслужив в армии, Моряков вернулся на завод. «Связи с заводом были такими проч-

ными и крепкими, что... заманчивые предложения испытать счастье в поисках более интересного дела, найти себя в другой привлекательной, популярной профессии не смогли поколебать моих намерений». Моряков нашел свой путь, это было очевидно и ему и другим, и вскоре после возвращения на завод ему стали поручать все более и более сложные работы.

Несмотря на скупость, почти лаконичность повествовательной манеры автора, его книга изобилует мыслями, можно даже сказать, изречениями, которые влору записать в кодекс рабочей совести. Вот некоторые из них: «Можно жить с заплатами на обуви, с заплатами на совести жить нельзя», «Не рассматривай в человеке хорошее — пеняй на себя!», «Помнить: за тобой следят десятки глаз... Соответствуй...», «Трудно — это одновременно и интересно». А какие теплые и высокие слова находит он для характеристики людей своей профессии: токарь-кумир, токарь-художник, чудо-токарь...

Много внимания уделяет автор одному из своих самых злободневных вопросов нашей жизни — выбору профессии. «В шестнадцать лет, — пишет он, — у каждого мальчишки голова полна романтических планов... Но на заводе... вместо романтики — изо дня в день нелегкие будни». Именно к этому необходимо готовить подрастающее поколение. Моряков бывает в школах, рассказывает мальчикам и девочкам о своей профессии. Часто ему задают вопрос: за что вы любите свою работу, свой завод? Моряков признается, что это один из самых трудных вопросов, на которые ему приходится отвечать, потому что «любовь к профессии, к заводу, как и к людям, — чувство очень личное и сокровенное. О нем не кричат на трамвайных остановках, не стучат в грудь кулаком и не зовут свидетелей для убеждения. Любовь к делу, к профессии делом, работой и доказывают: каждый день и всю жизнь. Все скромно. От души. И тогда всем понятно».

Рецензируемая книга ярко раскрывает условия, в которых складывается характер советского человека, пробуждается его совесть. В этом ее ценность.

**И. Пешкин.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

## ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Памяти Герцена. 16 стр. Цена 3 к.  
**В. И. Ленин.** Лев Толстой, как зеркало русской революции. 24 стр. Цена 3 к.  
**В. И. Ленин.** Шаг вперед, два шага назад. 222 стр. Цена 30 к.  
**Л. И. Брежнев.** Речь на встрече с рабочими Автозавода имени Лихачева. 30 апреля 1976 г. 16 стр. Цена 3 к.  
**Л. И. Брежнев.** Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 5. 590 стр. Цена 1 р. 9 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- А. Адамов.** Петля. Роман. 360 стр. Цена 79 к.  
**А. Алимжанов.** Пылающее копые. Повести, рассказы, очерки. 319 стр. Цена 66 к.  
**А. Бернотас.** На горе ветров. Стихи. Перевод с литовского. 127 стр. Цена 36 к.  
**Ю. Ванэг.** Вспомни, молодость моя. Стихи. Перевод с латышского. 110 стр. Цена 38 к.  
**С. Велиев.** Узлы. Роман и рассказы. Перевод с азербайджанского. 512 стр. Цена 91 к.  
**В. Кайяк.** Моя весна. Повести и рассказы. Перевод с латышского. 352 стр. Цена 75 к.  
**В. Карлею.** Просто жизнь. Стихи. 128 стр. Цена 45 к.  
**В. Ковда.** Полустанок. Стихи. 118 стр. Цена 25 к.  
**Л. Кудреватых.** Радость встреч. Документальная повесть, рассказы, очерки, воспоминания. 623 стр. Цена 1 р. 28 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Л. Беньямин.** Стихи. Перевод с венгерского. Предисловие В. Слуцкого. 223 стр. Цена 58 к.  
**С. Бобров.** Мальчик. Лирическая повесть на правах разговора с читателем. 495 стр. Цена 1 р. 6 к.  
**Б. Галин.** В грозу и бурю. Очерки 30—70-х

лет. Предисловие Л. Кудреватых. 518 стр. Цена 1 р. 14 к.

**Две старинные японские повести.** Перевод со старояпонского. («Классическая проза Востока») 349 стр. Цена 47 к.

**История одного бессмертия.** Перевод с испанского. («Современный кубинский рассказ») 286 стр. Цена 77 к.

**М. Йокан.** Венгерский набоб. Роман. Перевод с венгерского. 460 стр. Цена 1 р. 1 к.

**М. Львов.** Избранное. Стихи. 1939—1974. Предисловие В. Дементьева. 350 стр. Цена 1 р. 35 к.

**П. Нилин.** Испытательный срок. Повесть. Вступительная статья С. Смирнова. («Народная библиотека») 203 стр. Цена 30 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. Даненбург.** Путь без привала. Роман. 272 стр. Цена 64 к.

**О. Куваев.** Каждый день как последний. («Тебе в дорогу, романтик») 367 стр. Цена 78 к.

**А. Лиханов.** Конспект судьбы. 189 стр. Цена 47 к.

**Л. Сергеев.** Утренние трамваи. Рассказы о детстве. 176 стр. Цена 25 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Автограф века.** Поэты на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 128 стр. Цена 62 к.

**Болдинские рисунки А. С. Пушкина.** 1830 год. Альбом. Автор-составитель Ю. Левина. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 63 стр. Цена 33 к.

**Москва лирическая.** Антология одного стихотворения. «Московский рабочий». 495 стр. Цена 1 р. 66 к.

**Сказки Ленинградской области.** Составители В. Бахтин и П. Ширяева. Лениздат. 267 стр. Цена 50 к.

**Солнечные часы.** Творчество молодых. Ужгород. «Карпаты». 159 стр. Цена 62 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 24/VI 1976 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 20/VIII 1976 г.  
Формат бумаги 70x108 1/16. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 09184. Тираж 175.000 экз. Зак. 2056.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в орден Ленина комбинате печати издательства «Радиссына Украина», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 04268.



Цена 70 коп.

70636